

МАКСИМ
ГОРЬКИЙ

Сказки об Италии
и не только...



✦ РУССКАЯ КЛАССИКА ✦

Максим Горький

Сказки об Италии и не только... (сборник)

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6133127

Горький, М. Сказки об Италии и не только... : АСТ, Астрель; Москва;

2011

ISBN 978-5-17-072952-4, 978-5-271-34027-7

Аннотация

Максим Горький – писатель, творчество которого, казалось бы, всем знакомо хотя бы по школьной программе. Его провозгласили классиком литературы социалистического реализма и тем самым фактически избавили от всякой критики, навязав читателям определенное, восторженно-хвалебное отношение к его творчеству.

Но если отбросить все то, что так тщательно внушали нам, можно разглядеть ЛИЧНОСТЬ, фигуру, прежде всего интересную гуманную и страдающую.

Понимание творчества Горького требует самостоятельности мышления и самых неординарных неожиданных подходов. Это поможет вам насладиться многогранностью его таланта...

Содержание

Детство	6
I	6
II	22
III	42
IV	68
V	87
VI	107
VII	118
VIII	137
IX	161
X	186
XI	216
XII	244
XIII	276
Дед Архип и Лёнька	300
Мещане	331
Действующие лица	331
Обстановка	333
Действие первое	335
Действие второе	373
Действие третье	404
Действие четвертое	440
Ма-аленькая!	482

Сказки об Италии	490
I	490
II	496
III	501
IV	506
V	512
VI	515
VII	521
VIII	527
IX	537
X	548
XI	556
XII	565
XIII	573
XIV	580
XV	590
XVI	609
XVII	623
XVIII	631
XIX	642
XX	648
XXI	657
XXII	667
XXIII	678
XXIV	687
XXV	692

XXVI	700
XXVII	709
Страсти-мордасти	715
Челкаш	740
I	743
II	758
III	779

Максим Горький

Сказки об Италии и не только... (сборник)

Детство

Сыну моему посвящаю

I

В полутёмной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смиренно положенных на грудь, тоже кривые; его весёлые глаза плотно прикрыты чёрными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами.

Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачёсывая длинные, мягкие волосы отца со лба на затылок чёрной гребёнкой, которой я любил перепиливать корки арбузов; мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом, её серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слёз.

Меня держит за руку бабушка – круглая, большоголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом; она вся чёрная, мягкая и удивительно интересная; она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дёргается меня, толкая к отцу; я упираюсь, прячусь за неё; мне больно и неловко.

Я никогда ещё не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой:

– Попрощайся с тятей-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, не в срок, не в свой час...

Я был тяжело болен, – только что встал на ноги; во время болезни – я это хорошо помню – отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек.

– Ты откуда пришла? – спросил я её.

Она ответила:

– Сверху, из Нижнего, да не пришла, а приехала! По воде-то не ходят, шиш!

Это было смешно и непонятно: наверху, в доме, жили бородатые, крашенные персияне, а в подвале старый, жёлтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах или, когда упадёшь, скатиться кувырком, это я знал хорошо. И при чём тут вода? Всё неверно и забавно спутано.

– А отчего я шиш?

– Оттого, что шумишь, – сказала она, тоже смеясь.

Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты.

Меня подавляет мать; её слёзы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу её такую, – она была всегда строгая, говорила мало; она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у неё жёсткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрёпана, всё на ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно, большую светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетённая в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня, – причёсывает отца и всё рычит, захлёбываясь слезами.

В дверь заглядывают чёрные мужики и солдат-будочник. Он сердито кричит:

– Скорее убирайте!

Окно занавешено тёмной шалью; она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул:

– Ничего не бойся, Лук!

Вдруг мать тяжело взметнулась с пола, тотчас снова осела, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу; её слепое, белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом:

– Дверь затворите... Алексея – вон!

Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала:

– Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите Христа ради!

Это не холера, роды пришли, помилуйте, батюшки!

Я спрятался в тёмный угол за сундук и оттуда смотрел как мать извивается по полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно:

– Во имя отца и сына! Потерпи, Варюша!.. Пресвятая мати божия, заступница:

Мне страшно; они возятся на полу около отца, задевают его, стонут и кричат, а он неподвижен и точно смеётся. Это длилось долго – возня на полу; не однажды мать вставала на ноги и снова падала; бабушка выкатывалась из комнаты, как большой чёрный мягкий шар; потом вдруг во тьме закричал ребёнок.

– Слава тебе, господи! – сказала бабушка. – Мальчик!

И зажгла свечу.

Я, должно быть, заснул в углу, – ничего не помню больше.

Второй оттиск в памяти моей – дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, – две уже взобрались на жёлтую крышку гроба.

У могилы – я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает тёплый дождь, мелкий, как бисер.

– Зарывай, – сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно.

– Отойди, Лёня, – сказала бабушка, взяв меня за плечо; я выскользнул из-под её руки, не хотелось уходить.

– Экой ты, господи, – пожаловалась бабушка, не то на меня, не то на бога, и долго стояла молча, опустив голову; уже могила сровнялась с землёй, а она всё ещё стоит.

Мужики гулко шлёпали лопатами по земле; налетел ветер и прогнал, унёс дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далёкой церкви, среди множества тёмных крестов.

– Ты что не поплачешь? – спросила она, когда вышла за ограду. Поплакал бы!

– Не хочется, – сказал я.

– Ну, не хочется, так и не надо, – тихонько выговорила она.

Всё это было удивительно: я плакал редко и только от обиды, не от боли; отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала:

– Не смей плакать!

Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрожках, среди тёмноокрасных домов; я спросил бабушку:

– А лягушки не вылезут?

– Нет, уж не вылезут, – ответила она. – Бог с ними!

Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя божие.

Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе, в маленькой каюте; новорожденный брат мой Максим умер и лежал на столе в углу, завёрнутый в белое, спеленатый красною тесьмой.

Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня; за мокрым стеклом бесконечно льётся мутная, пенная вода. Порою она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол.

– Не бойся, – говорит бабушка и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы.

Над водою – серый, мокрый туман; далеко где-то является тёмная земля и снова исчезает в тумане и воде. Всё вокруг трясётся. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислоняясь к стене, твёрдо и неподвижно. Лицо у неё тёмное, железное и слепое, глаза крепко закрыты, она всё время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне.

Бабушка не однажды говорила ей тихо:

– Варя, ты бы поела чего, маленько, а?

Она молчит и неподвижна.

Бабушка говорит со мною шёпотом, а с матерью – громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает

с бабушкой.

– Саратов, – неожиданно громко и сердито сказала мать. – Где же матрос?

Вот и слова у неё странные, чужие: Саратов, матрос.

Вошёл широкий седой человек, одетый в синее, принёс маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата, уложила и понесла к двери на вытянутых руках, но – толстая – она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею.

– Эх, мамаша, – крикнула мать, отняла у неё гроб, и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика.

– Что, отошёл братишка-то? – сказал он, наклонясь ко мне.

– Ты кто?

– Матрос.

– А Саратов – кто?

– Город. Гляди в окно, вот он!

За окном двигалась земля; тёмная, обрывистая, она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от каравая.

– А куда бабушка ушла?

– Внука хоронить.

– Его в землю зарюют?

– А как же? Зарюют.

Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек, хороня

отца. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал.

– Эх, брат, ничего ты ещё не понимаешь! – сказал он. – Лягушек жалеть не надо, господь с ними! Мать пожалей, – вон как её горе ушибло!

Над нами загудело, завывало. Я уже знал, что это – пароход, и не испугался, а матрос торопливо опустил меня на пол и бросился вон, говоря:

– Надо бежать!

И мне тоже захотелось убежать. Я вышел за дверь. В полутёмной узкой щели было пусто. Недалеко от двери блестела медь на ступенях лестницы. Взглянув наверх, я увидел людей с котомками и узлами в руках. Было ясно, что все уходят с парохода, – значит и мне нужно уходить.

Но когда вместе с толпою мужиков я очутился у борта парохода, перед мостками на берег, все стали кричать на меня:

– Это чей? Чей ты?

– Не знаю.

Меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконец явился седой матрос и схватил меня, объяснив:

– Это астраханский, из каюты...

Бегом он снёс меня в каюту, сунул на узлы и ушёл, грозя пальцем:

– Я тебе задам!

Шум над головою становился всё тише, пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то

мокрая стена; стало темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и всё было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе?

Подошёл к двери. Она не отворяется, медную ручку её нельзя повернуть. Взяв бутылку с молоком, я со всею силой ударил по ручке. Бутылка разбилась, молоко облило мне ноги, натекло в сапоги.

Огорчённый неудачей, я лёг на узлы, заплакал тихонько и, в слезах, уснул.

А когда проснулся, пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашёптывая. Волос у неё было странно много, они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу, чёрные, отливая синим. Приподнимая их с пола одною рукою и держа на весу, она с трудом вводила в толстые пряди деревянный редкозубый гребень; губы её кривились, тёмные глаза сверкали сердито, а лицо в этой массе волос стало маленьким и смешным.

Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у неё такие длинные волосы, она сказала вчерашним тёплым и мягким голосом:

– Видно, в наказание господь дал, – расчеши-ка вот их, окаянные! Смолоду я гривой этой хвасталась, на старости клянц! А ты спи! Ещё рано, солнышко чуть только с ночи поднялось...

– Не хочу уж спать!

– Ну, ино не спи, – тотчас согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диван, где вверх лицом, вытянувшись струною, лежала мать. – Как это ты вчера бутыль-то раскокал? Тихонько говори!

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, её тёмные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в тёмной коже щёк, всё лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из чёрной табакерки, украшенной серебром. Вся она тёмная, но светилась изнутри – через глаза – неугасимым, весёлым и тёплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка, – она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.

До неё как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала всё вокруг меня в непрерывную нить, сплела всё в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, – это её бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали

до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотой.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плечами по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светлорыжий пароход, с баржой на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывёт над Волгой солнце; каждый час вокруг всё ново, всё меняется; зелёные горы – как пышные складки на богатой одежде земли; по берегам стоят города и сёла, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывёт по воде.

– Ты гляди, как хорошо-то! – ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у неё радостно расширены.

Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слёзы. Я дёргаю её за тёмную, с набойкой цветами, юбку.

– Ась? – встрепенётся она. – А я будто задремала да сон вижу.

– А о чём плачешь?

– Это, милый, от радости да от старости, – говорит она, улыбаясь. – Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-вёсны мои перекинулись-пошли.

И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях,

о всяком зверье и нечистой силе.

Сказки она рассказывает тихо, таинственно, наклоняясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце моё силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поёт, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать её невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:

– Ещё!

– А ещё вот как было: сидит в подпечке старичок-домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, она хватается за неё руками, качает её на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.

Вокруг стоят матросы – бородатые, ласковые мужики, – слушают, смеются, хвалят её и тоже просят:

– А ну, бабушка, расскажи ещё чего!

Потом говорят:

– Айда ужинать с нами!

За ужином они угощают её водкой, меня – арбузами, дыней; это делается скрытно: на пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет похоже на будочника – с медными пуговицами – и всегда пьяный; люди прячутся от него.

Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она всё молчит, мать. Её большое, стройное тело, тёмное, железное лицо, тяжёлая корона заплетённых в косы светлых волос – вся она, мощная и твёрдая, вспоминается

мне как бы сквозь туман или прозрачное облако; из него отдалённо и неприветливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки.

Однажды она строго сказала:

– Смеются люди над вами, мамаша!

– А господь с ними! – беззаботно ответила бабушка. – А пускай смеются, на доброе им здоровье!

Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дёргая за руку, она толкала меня к борту и кричала:

– Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка Нижний-то! Вот он какой, богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!

И просила мать, чуть не плача:

– Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла ведь! Порадуйся!

Мать хмуро улыбалась.

Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загромождённой судами, ошестинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шёл небольшой сухонький старичок, в чёрном длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелёными глазками.

– Папаша! – густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая её за голову, быстро глядя щёки её маленькими, красными руками, кричал, взвизгивая:

– Что-о, дура? Ага-а! То-то вот... Эх вы-и...

Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь, как винт; она толкала меня к людям и говорила торопливо:

– Ну, скорее! Это – дядя Михайло, это – Яков... Тётка Наталья, это братья, оба Саши, сестра Катерина, это всё наше племя, вот сколько!

Дедушка сказал ей:

– Здорова ли, мать?

Они троекратно поцеловались.

Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

– Ты чей таков будешь?

– Астраханский, из каюты...

– Чего он говорит? – обратился дед к матери и, не дождав-шись ответа, отодвинул меня, сказав:

– Скулы-те отцовы... Слезайте в лодку!

Съехали на берег и толпой пошли в гору, по съезду, мощённому крупным булыжником, между двух высоких отко-сов, покрытых жухлой, примятой травой.

Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья: чёрный гладковолосый Михаил, сухой, как дед, светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шёл с бабушкой и маленькой тёткой Натальей. Бледная, голубо-

глазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала:

– Ой, не могу!

– На што они тревожили тебя? – сердито ворчала бабушка. – Эко неумное племя!

И взрослые и дети – все не понравились мне, я чувствовал себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла, отдалилась.

Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в нём врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство.

Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислоняясь к правому откосу и начиная собой улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязнорозовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких, полутёмных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стайей вороватых воробьёв метались ребятишки, и всюду стоял едкий, незнакомый запах.

Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:

– Сандал – фуксин – купорос...

II

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, – слишком обильна жестокостью темная жизнь «неумного племени».

Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил – да и по сей день живёт – простой русский человек.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому –

за Окой, в слободе Кунавине.

Уже вскоре после приезда, в кухне, во время обеда, вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко – петухом – закричал:

– По миру пуцу!

Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:

– Отдай им все, отец, – спокойней тебе будет, отдай!

– Цыц, потатчица! – кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.

Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиной.

Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатались по полу, хрипя, охая, ругаясь.

Заплакали дети; отчаянно закричала беременная тетка Наталья; моя мать потащила её куда-то, взяв в охапку; весёлая рябая нянька Евгенья выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем. Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородой по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:

– Братья, а! Родная кровь! Эх, вы-и...

Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного ручкомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжёлым голосом:

– Окаянные, дикое племя, опомнитесь!

Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:

– Что, ведьма, народила зверья?

Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясая воя:

– Пресвятая мати божия, верни разум детям моим!

Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:

– Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго...

– Полно, бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью...

И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб; он же маленький против неё – ткнулся лицом в плечо ей.

– Надо, видно, делиться, мать...

– Надо, отец, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:

– Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой – езуит, а Яшка-фармазон! И пропыют они добро моё, промо-

тают...

Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загремев по ступеням влаза, он шлёпнулся в лохань с помоями. Дед прыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.

– Кто тебя посадил на печь? Мать?

– Я сам.

– Врёшь.

– Нет, сам. Я испугался.

Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.

– Весь в отца! Пошел вон...

Я был рад убежать из кухни.

Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелёными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.

– Эх, вы-и! – часто восклицал он; долгий звук «и-и», всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.

В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядья и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками, окрашенными сандалом, обожжёнными купоросом, с повязанными тесёмкой волосами, все похожие на тёмные иконы в углу кухни, – в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со

мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точёный, острый. Его атласный, шитый шелками глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаша измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а всё-таки он казался одетым и чище и красивей сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях.

Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы её были видны из окон дома.

Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что, мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади её головы.

Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она шурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шёпотом:

– Ну, говори, пожалуйста: «Отче наш, иже еси...»

И если я спрашивал: «Что такое – яко же?» – она, пугливо оглянувшись, советовала:

– Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: «Отче наш...» Ну?

Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его:

– «Яков же», «я в коже»...

Но бледная, словно тающая тетка терпеливо поправляла

голосом, который все прерывался у неё:

– Нет, ты говори просто: «яко же»...

Но и сама она и все слова её были не просты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву.

Однажды дед спросил:

– Ну, Олёшка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку на лбу. Это не велика мудрость желвак нажить! А «Отче наш» заучил?

Тётка тихонько сказала:

– У него память плохая.

Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.

– А коли так, – высечь надо!

И снова спросил меня:

– Тебя отец сёк?

Не понимая, о чём он говорит, я промолчал, а мать сказала:

– Нет. Максим не бил его, да и мне запретил.

– Это почему же?

– Говорил, битьем не выучишь.

– Дурак он был во всем, Максим этот, покойник, прости господи! сердито и четко проговорил дед.

Меня обидели его слова. Он заметил это.

– Ты что губы надул? Ишь ты...

И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:

– А я вот в субботу Сашку за напёрсток пороть буду.

– Как это пороть? – спросил я.

Все засмеялись, а дед сказал:

– Погоди, увидишь...

Притаившись, я соображал: пороть – значит расшивать платья, отданные в краску, а сечь и бить – одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян, – это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядья щёлкали своих то по лбу, то по затылку, – дети относились к этому равнодушно, только почёсывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:

– Больно?

И всегда они храбро отвечали:

– Нет, нисколечко!

Шумную историю с напёрстком я знал. Вечером, от чая до ужина, дядья и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристёгивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечу напёрсток мастера. Саша зажал напёрсток щипцами для снятия нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришёл дедушка, сел за работу и сам сунул палец в калёный напёрсток.

Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кри-

чал:

– Чьё дело, басурмане?

Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял напёрсток пальцами и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там; бабушка терла на терке сырой картофель.

– Это Сашка Яковов устроил, – вдруг сказал дядя Михаил.

– Врешь! – крикнул Яков, выскочив из-за печки.

А где-то в углу его сын плакал и кричал:

– Папа, не верь. Он сам меня научил!

Дядья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собой меня.

Все говорили – виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил – будут ли его сечь и пороть?

– Надо бы, – проворчал дед, искоса взглянув на меня.

Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:

– Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!

Мать сказала:

– Попробуй, тронь...

И все замолчали.

Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умалелись.

Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка

говорил с нею не так, как с другими – тише. Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:

– Моя мать – самая сильная!

Они не возражали.

Но то, что случилось в субботу, надорвало моё отношение к матери.

До субботы я тоже успел провиниться.

Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут жёлтую, мочат её в чёрной воде, и материя делается густо-синей – «кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым – «бордо». Просто, а – непонятно.

Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику; он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил:

– Экой подхалим!

Худенький, темный, с выпученными, рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но когда он возбуждался, дрожали вместе с белками.

Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень Саша Михайлов, мальчик тихий, с пе-

чальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы, они высовывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его; он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда; он покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать – сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма выются – мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг покрыв угасающее небо черною сетью, исчезают куда-то, оставив за собой пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется и приятная скука наполняет грудь.

А Саша дяди Якова мог обо всём говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить её в синий цвет.

– Белое всегда легче красить, уж я знаю! – сказал он очень серьёзно.

Я вытащил тяжёлую скатерть, выбежал с нею во двор, но когда опустил край её в чан с «кубовой», на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая её широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моей ра-

ботой:

– Зови бабушку скорее!

И, зловеще качая чёрной, лохматой головой, сказал мне:

– Ну и попадет же тебе за это!

Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня:

– Ах ты, пермяк, солёны уши! Чтоб те приподняло да шлёпнуло!

Потом стала уговаривать Цыганка:

– Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу дело; авось, обойдётся как-нибудь...

Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:

– Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедничал бы!

– Я ему семишник дам, – сказала бабушка, уводя меня в дом.

В субботу, перед всенощной, кто-то привел меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерял их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:

– Ра-ад... мучитель...

Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:

– Простите Христа ради...

Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.

– Высеку – прощу, – сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. – Ну-ка, снимай штаны-то!..

Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки, – ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким закопченным потолком.

Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, подерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошёл к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги.

Но стало ещё хуже, когда он покорно лёг на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил чёрными руками ноги его у щиколоток.

– Лексей, – позвал дед, – иди ближе!.. Ну, кому говорю? Вот, гляди, как секут... Раз!..

Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул.

– Врешь, – сказал дед, – это не больно! А вот эдак больней!

И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла крас-

ная полоса, а брат протяжно завыл.

– Не сладко? – спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. – Не любишь? Это за наперсток!

Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею; падала рука – и я весь точно падал.

Саша визжал страшно тонко, противно:

– Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть... Ведь я сказал...

Спокойно, точно псалтирь читая, дед говорил:

– Донос – не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!

Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав:

– Лексея не дам! Не дам, изверг!

Она стала бить ногою в дверь, призывая:

– Варя, Варвара!

Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергая рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:

– Привязывай! Убью!

Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бежала вдоль лавки и хрипела:

– Папаша, не надо!.. Отдайте...

Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели

в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу перед киотом со множеством икон.

Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.

Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, чёрная и большая, лезла на мать, заталкивая ее в угол, к образам, и шипела:

– Ты что не отняла его, а?

– Испугалась я.

– Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я – старуха, да не боюсь! Стыдно!..

– Отстаньте, мамаша: тошно мне...

– Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!

Мать сказала тяжело и громко:

– Я сама на всю жизнь сирота!

Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:

– Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша! Сил нет...

– Кровь ты моя, сердце моё, – шептала бабушка.

Я запомнил: мать – не сильная; она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было

очень грустно. Вскоре мать, действительно, исчезла из дома. Уехала куда-то гостить.

Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лёд, рукою:

– Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что ли?..

Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил всё это на подушку, к носу моему.

– Вот, видишь, я тебе гостинца принес!

Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой, жёсткой рукою, окрашенной в жёлтый цвет, особенно заметный на кривых птичьих ногтях.

– Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел – взачет пойдет! Ты знай: когда свой, родной бьет – это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олёша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам господь бог глядел – плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошёл до

своего места, – старшиной цеховым сделан, начальник людям.

Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко.

Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:

– Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа – по воде, я по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, – косточки скрипят, – идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, – эхма, Олеша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю – и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у бога на глазах, у милостивого господа Иисуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, – в это многие тысячи верст! А на четвертый год уж и водоливом пошел, – показал хозяину разум свой!..

Говорил он и – быстро, как облако, рос передо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы

сказочной, – он один ведет против реки огромную серую баржу...

Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:

– Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе, летним вечером, в Жигулях, где-нибудь под зеленой горой, поразложим, бывалочке костры – кашицу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, – аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрее пойдет, – так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков. И всякое горе – как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни!

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:

– Не уходи!

Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

– Погодите там...

Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.

Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра

до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые весёлые глаза под густыми бровями и белые зубы под чёрной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампы.

– Ты глянь-ка, – сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку, до локтя в красных рубцах, – вон как разнесло! Да ещё хуже было, зажило много!

– Чуешь ли: как вошёл дед в ярость, и вижу, запрет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал – переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и уташат бабаня али мать! Ну, прут не переломился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало, – видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:

– Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет...

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда, сразу близкий мне, детски простой.

Я сказал ему, что очень люблю его, – он незабвенно просто ответил:

– Так ведь и я тебя тоже люблю, – за то и боль принял, за любовь! Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне...

Потом он учил меня, тихонько, часто оглядываясь на дверь:

– Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, – чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, – киселем лежи! И не надувайся, дыши во всю, кричи благим матом, – ты это помни, это хорошо!

Я спросил:

– Разве еще сечь будут?

– А как же? – спокойно сказал Цыганенок. – Конечно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть...

– За что?

– Уж дедушка сыщет...

И снова озабоченно стал учить:

– Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, – ну тут лежи спокойно, мягко, а ежели он с оттяжкой сечет, – ударит, да к себе тянет лозину, чтобы кожу снять, – так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:

– Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть голицы шей!

Я смотрел на его весёлое лицо и вспоминал бабушкины

сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.

III

Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает в доме особенное место: дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нём, жмурясь и покачивая головою:

– Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово: не мал человек растёт!

Дядья тоже обращались с Цыганком ласково, дружески и никогда не «шутили» с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием или подложат, полуслепому, разноцветные куски материи, – он сошьёт их в «штуку», а дедушка ругает его за это.

Однажды, когда он спал после обеда в кухне на полатах, ему накрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык.

Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер все сносил молча, только крякал тихонько да, прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов или наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за обедом, перед тем как взять нож или вилку, он муслил паль-

цы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе.

Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала:

– Бесстыжие рожи, злыдни!

Но и о Цыганке за глаза дядья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали воров и лентяем.

Я спросил бабушку, отчего это.

Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне:

– А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут, вот они друг перед другом и хают его: дескать, плохой работник! Это они врут, хитрят. А ещё боятся, что не пойдёт к ним Ванюшка, останется с дедом, а дед – своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может, – дядьям-то невыгодно будет, понял?

Она тихонько засмеялась:

– Хитрят всё, богу на смех! Ну, а дедушка хитрости эти видит да нарочно дразнит Яшу с Мишей: «Куплю, говорит, Ивану рекрутскую квитанцию, чтобы его в солдаты не забрали: мне он самому нужен!» А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль, – квитанция-то дорогая!

Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи – о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя –

она говорила посмеиваясь, отчуждённо, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству.

Я узнал от неё, что Цыганок – подкидыш; раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке.

– Лежит, в запон обёрнут, – задумчиво и таинственно сказывала бабушка, – еле попискивает, закоченел уж.

– А зачем подкидывают детей?

– Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то.

Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:

– Бедность всё, Олёша; такая бывает бедность, что и говорить нельзя! И считается, что незамужняя девица не смей родить, – стыдно-де! Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила: возьмём, мол, себе; это бог нам послал в тех место, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено; кабы все жили – целая улица народу, восемнадцать-то домов! Я, гляди, на четырнадцатом году замуж отдана, а к пятнадцати уж и родила; да вот полюбил господь кровь мою, всё брал и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно!

Сидя на краю постели в одной рубаше, вся осыпанная чёрными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородастый, лесной мужик из Сергача. Крестя снежно-белую, чи-

стую грудь, она тихонько смеётся, колыхается вся:

– Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовалась Иванке, – уж больно люблю вас, маленьких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и живёт, хорош. Я его вначале Жуком звала, – он, бывало, ужжал особенно, совсем жук, ползёт и ужжит на все горницы. Люби его – он простая душа!

Я и любил Ивана и удивлялся ему до немоты.

По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неопишимо забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи чёрных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги сани, и по жёлтому, чисто выскобленному столу разезжала четвёрка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбуждённо визжал:

– За архереем поехали!

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял:

– Мешок забыли. Монах бежит, тащит!

Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:

– Дьячок из кабака к вечерней идёт!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая чёрненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно:

– Мышь – умный житель, ласковый, её домово́й очень любит! Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мирволит...

Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его «дураком» несколько раз кряду, – он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру, и потом жаловался мне, шмыгая носом:

– Знаю я, они уговорились! Они перемигивались, карты совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже...

Ему было девятнадцать лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе.

Но особенно он памятен мне в праздничные вечера; когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрёпанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зелёном штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая тёмными стёклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и ещё какие-то тёмные, скользкие люди, похожие на щук и налимов.

Все много пили, ели, вздыхая тяжело, детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье.

Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, говорил всегда одни и те же слова:

– Ну-с, я начну-с!

Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, сгибал шею, точно гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось сонным; живые, неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то размычное, невольно поднимавшее на ноги.

Его музыка требовала напряжённой тишины; торопливым ручьём она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого, большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании.

Особенно напряжённо слушал Саша Михайлов; он всё вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза.

И все застывали, очарованные; только самовар тихо поёт, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко постукивает в них. На столе качаются жёлтые огни двух сальных свеч, острые, точно копыя.

Дядя Яков всё более цепенел; казалось, он крепко спит, сцепив зубы, только руки его живут отдельной жизнью: изогнутые пальцы правой неразличимо дрожали над тёмным голосником, точно птица порхала и билась; пальцы левой с неуловимой быстротой бегали по грифу.

Выпивши, он почти всегда пел сквозь зубы голосом, неприятно свистящим, бесконечную песню:

Быть бы Якову собакою
Выл бы Яков с утра до ночи:

Ой, скушно мне!
Ой, грустно мне!

По улице монахиня идёт;
На заборе ворона сидит.

Ой, скушно мне!

За печкою сверчок торохтит,
Тараканы беспокоятся.

Ой, скушно мне!

Нищий вывесил портянки сушить,
А другой нищий портянки украл!

Ой, скушно мне!

Да, ох, грустно мне!

Я не выносил этой песни и, когда дядя запевал о нищих, буйно плакал в невыносимой тоске.

Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои чёрные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал:

– Эх, кабы голос мне, – пел бы я как, господи!

Бабушка, вздыхая, говорила:

– Будет тебе, Яша, сердце надрывать! А ты бы, Ванятка, поплясал...

Они не всегда исполняли просьбу её сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное и ухарски кричал:

– Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!

Охорашиваясь, одёргивая жёлтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щёки краснели и, сконфуженно улыбаясь, он просил:

– Только почаще, Яков Васильич!

Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкапу дребезжала посуда, а среди кухни огнём пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая всё вокруг блеском шёл-

ка, а шёлк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.

Цыганок плясал неумоимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдёт плясом по улице, по городу, неизвестно куда...

– Режь поперёк! – кричал дядя Яков, притопывая.

И пронзительно свистел и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки:

Эхма! Кабы не было мне жалко лаптей,
Убежал бы от жены и детей!

Людей за столом подёргивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало; бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородою плечо моё, сказал прямо в ухо, обращаясь словно к взрослому:

– Отца бы твоего, Лексей Максимыч, сюда, – он бы другой огонь зажёл! Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли?

– Нет.

– Ну? Бывало он да бабушка, – стой-ко, погоди!

Он поднялся на ноги, высокий, измождённый, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить её необычно густым голосом:

– Акулина Ивановна, сделай милость, пройдишь разок! Как, бывало, с Максимом Савватеевым хаживала. Утешь!

– Что ты, свет, что ты, сударь Григорий Иваныч? – посмеиваясь и поёживаясь, говорила бабушка. – Куда уж мне плясать? Людей смешить только...

Но все стали просить её, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжёлую голову, и пошла по кухне, вскрикивая:

– А смейтесь, ино, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!

Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее; Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошёл вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль тёмными глазами. Мне она показалась смешной, я фыркнул; мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно.

– Не стучи, Иван! – сказал мастер, усмехаясь; Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгенья, выгнув кадык, запела низким, приятным голосом:

Всю неделю, до субботы,
Плела девка кружева,
Истомилася работой,
Эх, просто чуть жива!

Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идёт тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, всё её большое тело колеблется нерешительно.

тельно, ноги шупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй, приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь всё веселее, – и вдруг её сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уже нельзя было глаз отвести от неё – так буйно красива и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности!

А нянька Евгенья гудела, как труба:

В воскресенье от обедни
До полуночи плясала.
Ушла с улицы последней,
Жаль – праздника мало!

Кончив плясать, бабушка села на своё место к самовару; все хвалили её, а она, поправляя волосы, говорила:

– А вы полноте-ка! Не видали вы настоящих-то плясуний. А вот у нас в Балахне была девка одна, – уж и не помню чья, как звали, – так иные, глядя на её пляску, даже плакали в радости! Глядишь, бывало, на неё, – вот тебе и праздник, и боле ничего не надо! Завидовала я ей, грешница!

– Певцы да плясуны – первые люди на миру! – строго сказала нянька Евгенья и начала петь что-то про царя Давида, а дядя Яков, обняв Цыганка, говорил ему:

– Тебе бы в трактирах плясать, – с ума свёл бы ты людей!..

– Мне голос иметь хочется! – жаловался Цыганок. – Ежели бы голос бог дал, десять лет я бы попел, а после – хоть в монахи!

Все пили водку, особенно много – Григорий. Наливая ему стакан за стаканом, бабушка предупреждала:

– Гляди, Гриша, вовсе ослепнешь!

Он отвечал солидно:

– Пускай! Мне глаза больше не надобны, – всё видел я...

Пил он не пьянея, но становился всё более разговорчивым и почти всегда говорил мне про отца:

– Большого сердца был муж, дружок мой, Максим Савва-теич...

Бабушка вздыхала, поддакивая:

– Да, господне дитя...

Всё было страшно интересно, всё держало меня в напряжении, и от всего просачивалась в сердце какая-то тихая, неутомляющая грусть. И грусть и радость жили в людях рядом, нераздельно почти, заменяя одна другую с неуловимой, непонятной быстротой.

Однажды дядя Яков, не очень пьяный, начал рвать на себе рубаху, яростно дёргать себя за кудри, за редкие белесые усы, за нос и отвисшую губу.

– Что это такое, что? – выл он, обливаясь слезами. – Зачем это?

Бил себя по щекам, по лбу, в грудь и рыдал:

– Негодяй и подлец, разбитая душа!

Григорий рычал:

– Ага-а! То-то вот!..

А бабушка, тоже нетрезвая, уговаривала сына, ловя его руки:

– Полно, Яша, господь знает, чему учит!

Выпивши, она становилась ещё лучше: тёмные её глаза, улыбаясь, изливали на всех греющий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся лицо, она певуче говорила:

– Господи, господи! Как хорошо всё! Нет, вы, глядите, как хорошо-то всё!

Это был крик её сердца, лозунг всей жизни.

Меня очень поразили слёзы и крики беззаботного дяди. Я спросил бабушку, отчего он плакал и ругал и бил себя.

– Всё бы тебе знать! – неохотно, против обыкновения, сказала она. Погоди, рано тебе торкаться в эти дела...

Это ещё более возбудило моё любопытство. Я пошёл в мастерскую и привязался к Ивану, но и он не хотел ответить мне, смеялся тихонько, искоса поглядывая на мастера, и, выталкивая меня из мастерской, кричал:

– Отстань, отойди! Вот я тебя в котёл спущу, выкрашу!

Мастер, стоя пред широкой низенькой печью, со вмазанными в неё тремя котлами, помешивал в них длинной чёрной мешалкой и, вынимая её, смотрел, как стекают с конца цветные капли. Жарко горел огонь, отражаясь на подоле кожаного передника, пёстрого, как риза попа. Шипела в котлах окрашенная вода, едкий пар густым облаком тянулся к две-

ри, по двору носился сухой позёмок.

Мастер взглянул на меня из-под очков мутными, красными глазами и грубо сказал Ивану:

– Дров! Али не видишь?

А когда Цыганок выбежал во двор, Григорий, присев на куль сандала, поманил меня к себе:

– Подь сюда!

Посадил на колени и, уткнувшись тёплой, мягкой бородой в щёку мне, памятно сказал:

– Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дёргает, – понял? Тебе всё надо понимать, гляди, а то пропадёшь!

С Григорием – просто, как с бабушкой, но жутко, и кажется, что он из-под очков видит всё насквозь.

– Как забил? – говорит он не торопясь. – А так: ляжет спать с ней, накроет её одеялом с головою и тискает, бьёт. Зачем? А он поди и сам не знает.

И, не обращая внимания на Ивана, который, возвратясь с охапкой дров, сидит на корточках перед огнём, грея руки, мастер продолжает внушительно:

– Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со света сживали. Она всё скажет – она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьёт, табак нюхает. Блаженная как бы. Ты держись за

неё крепко...

Он оттолкнул меня, и я вышел на двор, удручённый, напуганный. В сенях дома меня догнал Ванюшка, схватил за голову и шепнул тихонько:

– Ты не бойся его, он добрый; ты гляди прямо в глаза ему, он это любит.

Всё было странно и волновало. Я не знал другой жизни, но смутно помнил, что отец и мать жили не так: были у них другие речи, другое веселье, ходили и сидели они всегда рядом, близко. Они часто и подолгу смеялись вечерами, сидя у окна, пели громко; на улице собирались люди, глядя на них. Лица людей, поднятые вверх, смешно напоминали мне грязные тарелки после обеда. Здесь смеялись мало, и не всегда было ясно, над чем смеются. Часто кричали друг на друга, грозили чем-то один другому, тайно шептались в углах. Дети были тихи, незаметны; они прибиты к земле, как пыль дождём. Я чувствовал себя чужим в доме, и вся эта жизнь возбуждала меня десятками уколов, настраивая подозрительно, заставляя присматриваться ко всему с напряжённым вниманием.

Моя дружба с Иваном всё росла; бабушка от восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я почти весь день вертелся около Цыганка. Он всё так же подставлял под розги руку свою, когда дедушка сёк меня, а на другой день, показывая опухшие пальцы, жаловался мне:

– Нет, это всё без толку! Тебе – не легче, а мне – гляди-ка

вот! Больше я не стану, ну тебя!

И в следующий раз снова принимал ненужную боль.

– Ты ведь не хотел?

– Не хотел, да вот сунул... Так уж как-то, незаметно...

Вскоре я узнал про Цыганка нечто, ещё больше поднявшее мой интерес к нему и мою любовь.

Каждую пятницу Цыганок запрягал в широкие сани гнедого мерина Шарапа, любимца бабушки, хитрого озорника и сластёну, одевал короткий, до колен, полушубок, тяжёлую шапку и, туго подпоясавшись зелёным кушаком, ехал на базар покупать провизию. Иногда он не возвращался долго. Все в доме беспокоились, подходили к окнам и, протаивая дыханием лёд на стёклах, заглядывали на улицу.

– Не едет?

– Нет!

Больше всех волновалась бабушка.

– Эхма, – говорила она сыновьям и деду, – погубите вы мне человека и лошадь погубите! И как не стыдно вам, рожи бессовестные? Али мало своего? Ох, неумное племя, жадюги, – накажет вас господь!

Дедушка хмуро ворчал:

– Ну, ладно. Последний раз это...

Иногда Цыганок возвращался только к полудню; дядья, дедушка поспешно шли на двор; за ними, ожесточённо нюхая табак, медведицей двигалась бабушка, почему-то всегда неуклюжая в этот час. Выбегали дети, и начиналась весёлая

разгрузка саней, полных поросятами, битой птицей, рыбой и кусками мяса всех сортов.

– Всего купил, как сказано было? – спрашивал дед, искоса острыми глазами ощупывая воз.

– Всё как надо, – весело отзывался Иван и, прыгая по двору, чтобы согреться, оглушительно хлопал рукавицами.

– Не бей голиц, за них деньги даны, – строго кричал дед. – Сдача есть?

– Нету.

Дед медленно обходил вокруг воза и говорил негромко:

– Опять что-то много ты привёз. Гляди, однако, – не без денег ли покупал? У меня чтобы не было этого.

И уходил быстро, сморщив лицо.

Дядья весело бросались к возу и, взвешивая на руках птицу, рыбу, гусиные потроха, телячьи ноги, огромные куски мяса, посвистывали, одобрительно шумели.

– Ну, ловко отобрал!

Дядя Михаил особенно восхищался: пружинисто прыгал вокруг воза, приплюхиваясь ко всему носом дятла, вкусно чмокая губами, сладко жмуря беспокойные глаза, сухой, похожий на отца, но выше его ростом и чёрный, как головня. Спрятав озябшие руки в рукава, он расспрашивал Цыганка:

– Тебе отец сколько дал?

– Пять целковых.

– А тут на пятнадцать. А сколько ты потратил?

– Четыре с гривной.

– Стало быть, девять гривен в кармане. Видал, Яков, как деньги растут?

Дядя Яков, стоя на морозе в одной рубахе, тихонько посмеивался, моргая в синее холодное небо.

– Ты нам, Ванька, по косушке поставь, – лениво говорит он.

Бабушка распягала коня.

– Что, дитяtko? Что, котёнок? Пошалить охота? Не, побалуй, богова забава! Огромный Шарап, взмахивая густою гривой, цапал её белыми зубами за плечо, срывал шёлковую головку с волос, заглядывал в лицо её весёлым глазом и, встряхивая иней с ресниц, тихонько ржал.

– Хлебца просишь?

Она совала в зубы ему большую краюху, круто посоленную, мешком подставляла передник под морду и смотрела задумчиво, как он ест.

Цыганок, играючи тоже, как молодой конь, подскочил к ней.

– Уж так, бабаня, хорош мерин, так умён...

– Поди прочь, не верти хвостом! – крикнула бабушка, притопнув ногою. Знаешь, что не люблю я тебя в этот день.

Она объяснила мне, что Цыганок не столько покупает на базаре, сколько ворует.

– Даст ему дед пятишницу, он на три рубля купит, а на десять украдёт, – невесело говорила она. – Любит воровать, баловник! Раз попробовал – ладно вышло, а дома посмея-

лись, похвалили за удачу, он и взял воровство в обычай. А дедушка смолоду бедности-горя досыта отведал – под старость жаден стал, ему деньги дороже детей кровных, он рад даровщине! А Михайло с Яковом...

Махнув рукой, она замолчала на минуту, потом, глядя в открытую табакерку, прибавила ворчливо:

– Тут, Лёня, дела-кружева, а плела их слепая баба, где уж нам узор разобрать! Вот поймают Иванку на воровстве – забьют до смерти...

И ещё, помолчав, она тихонько сказала:

– Эхе-хе! Правил у нас много, а правды нет...

На другой день я стал просить Цыганка, чтоб он не воровал больше.

– А то тебя будут бить до смерти...

– Не достигнут, – вывернусь: я ловкий, конь резвый! – сказал он, усмехаясь, но тотчас грустно нахмурился. – Ведь я знаю: воровать нехорошо и опасно. Это я так себе, от скуки. И денег я не коплю, дядя твои за неделю-то всё у меня выманят. Мне не жаль, берите! Я сыт. Он вдруг взял меня на руки, потряс тихонько.

– Лёгкий ты, тонкий, а кости крепкие, силач будешь. Ты знаешь что: учись на гитаре играть, проси дядю Якова, ей-богу! Мал ты ещё, вот незадача! Мал ты, а сердитый. Дедушку-то не любишь?

– Не знаю.

– А я всех Кашириных, кроме бабани, не люблю, пускай

их демон любит!

– А меня?

– Ты – не Каширин, ты – Пешков, другая кровь, другое племя...

И вдруг, стиснув меня крепко, он почти застонал:

– Эх, кабы голос мне певучий, ух ты, господи! Вот ожёг бы я народ... Иди, брат, работать надо...

Он спустил меня на пол, всыпал в рот себе горсть мелких гвоздей и стал натягивать, набивать на большую квадратную доску сырое полотнище чёрной материи.

Вскоре он погиб.

Случилось это так: на дворе, у ворот, лежал, прислонён к забору, большой дубовый крест с толстым суковатым комлем. Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме, – тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло морёным дубом, и был он на тесном, грязном дворе лишний.

Его купил дядя Яков, чтобы поставить над могилою своей жены, и дал обет отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину смерти её.

Этот день наступил в субботу, в начале зимы; было морозно и ветрено, с крыш сыпался снег. Все из дома вышли на двор, дед и бабушка с тремя внучатами ещё раньше уехали на кладбище служить панихиду; меня оставили дома в наказание за какие-то грехи.

Дядья, в одинаковых чёрных полушубках, приподняли

крест с земли и встали под крылья; Григорий и какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжёлый комель, положили его на широкое плечо Цыганка; он пошатнулся, расставил ноги.

– Не сдюжишь? – спросил Григорий.

– Не знаю. Тяжело будто...

Дядя Михаил сердито закричал:

– Отворяй ворота, слепой чёрт!

А дядя Яков сказал:

– Стыдись, Ванька, мы оба жиже тебя!

Но Григорий, распахивая ворота, строго посоветовал Ивану:

– Гляди же, не перемогайся! Пошли с богом!

– Плешивая дура! – крикнул дядя Михаил с улицы.

Все, кто был на дворе, усмехнулись, заговорили громко, как будто всем понравилось, что крест унесли.

Григорий Иванович, ведя меня за руку в мастерскую, говорил:

– Может, сегодня дедушка не посечёт тебя, – ласково глядит он...

В мастерской, усадив меня на груду приготовленной в краску шерсти и заботливо укутав ею до плеч, он, понюхивая восходивший над котлами пар, задумчиво говорил:

– Я, милый, тридцать семь лет дедушку знаю, в начале дела видел и в конце гляжу. Мы с ним раньше дружки-приятели были, вместе это дело начали, придумали. Он умный, дедушка! Вот он хозяином поставил себя, а я не сумел. Гос-

подь, однако, всех нас умнее: он только улыбнётся, а самый премудрый человек уж и в дураках мигает. Ты ещё не понимаешь, что к чему говорится, к чему делается, а надобно тебе всё понимать. Сиротское житьё трудное. Отец твой, Максим Савватеевич, козырь был, он всё понимал, – за то дедушка и не любил его, не признавал.

Было приятно слушать добрые слова, глядя, как играет в печи красный и золотой огонь, как над котлами вздымаются молочные облака пара, оседая сизым инеем на досках косяк крыши, – сквозь мохнатые щели её видны голубые ленты неба. Ветер стал тише, где-то светит солнце, весь двор словно стеклянной пылью посыпан, на улице взвизгивают полозья саней, голубой дым вьётся из труб дома, лёгкие тени скользят по снегу, тоже что-то рассказывая.

Длинный, костлявый Григорий, бородатый, без шапки, с большими ушами, точно добрый колдун, мешает кипящую краску и всё учит меня:

– Гляди всем прямо в глаза; собака на тебя бросится, и ей тоже, отстанет...

Тяжёлые очки надавили ему переносье, конец носа налился синей кровью и похож на бабушкин.

– Стой-ко? – вдруг сказал он, прислушиваясь, потом прикрыл ногою дверцу печи и прыжками побежал по двору. Я тоже бросился за ним.

В кухне, среди пола, лежал Цыганок, вверх лицом; широкие полосы света из окон падали ему одна на голову, на

грудь, другая – на ноги. Лоб его странно светился; брови высоко поднялись; косые глаза пристально смотрели в чёрный потолок; тёмные губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри; из углов губ, по щекам, на шею и на пол стекала кровь; она текла густыми ручьями из-под спины. Ноги Ивана неуклюже развалились, и видно было, что шаровары мокрые; они тяжело приклеились к половицам. Пол был чисто вымыт с дресвою. Он солнечно блестел. Ручьи крови пересекали полосы света и тянулись к порогу, очень яркие.

Цыганок не двигался, только пальцы рук, вытянутых вдоль тела, шевелились, царапаясь за пол, и блестели на солнце окрашенные ногти.

Нянька Евгенья, присев на корточки, вставляла в руку Ивана тонкую свечу; Иван не держал её, свеча падала, кисточка огня тонула в крови; нянька, подняв её, отирала концом запона и снова пыталась укрепить в беспокойных пальцах. В кухне плавал качающий шёпот; он, как ветер, толкал меня с порога, но я крепко держался за скобу двери.

– Споткнулся он, – каким-то серым голосом рассказывал дядя Яков, вздрагивая и крутя головою. Он весь был серый, измятый, глаза у него выцвели и часто мигали.

– Упал, а его и придавило, – в спину ударило. И нас бы покалечило, да мы вовремя сбросили крест.

– Вы его и задавили, – глухо сказал Григорий.

– Да, – как же...

– Вы!

Кровь всё текла, под порогом она уже собралась в лужу, потемнела и как будто поднималась вверх. Выпуская розовую пену, Цыганок мычал, как во сне, и таял, становился всё более плоским, приклеиваясь к полу, уходя в него.

– Михайло в церковь погнал на лошади за отцом, – шептал дядя Яков, – а я на извозчика навалил его да скорее сюда уж... Хорошо, что не сам я под комель-то встал, а то бы вот...

Нянька снова прикрепляла свечу к руке Цыганка, капала на ладонь ему воском и слезами.

Григорий громко и грубо сказал:

– Да ты в головах к полу прилепи, чуваша!

– И то.

– Шапку-то сними с него!

Нянька стянула с головы Ивана шапку; он тупо стукнулся затылком. Теперь голова его сбочилась, и кровь потекла обильней, но уже с одной стороны рта. Это продолжалось ужасно долго. Сначала я ждал, что Цыганок отдохнёт, поднимется, сядет на полу и сплюнув, скажет:

– Ф-фу, жарынь...

Так делал он, когда просыпался по воскресеньям, после обеда. Но он не вставал, всё таял. Солнце уже отошло от него, светлые волосы укоротились и лежали только на подоконниках. Весь он потемнел, уже не шевелил пальцами, и пена на губах исчезла. За теменем и около ушей его торчали три свечи, помахивая золотыми кисточками, освещая лох-

матые, досиня чёрные волосы, жёлтые зайчики дрожали на смуглых щеках, светился кончик острого носа и розовые губы.

Нянька, стоя на коленях, плакала, прищёпывая:

– Голубчик ты мой, ястребёнок утешный... Было жутко, холодно. Я залез под стол и спрятался там. Потом в кухню тяжело ввалился дед, в енотовой шубе, бабушка в салопе с хвостами на воротнике, дядя Михаил, дети и много чужих людей.

Сбросив шубу на пол, дед закричал:

– Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток...

На пол валилась одежда, мешая мне видеть Ивана; я вылез, попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, грозя дядьям маленьким красным кулаком:

– Волки!

И сел на скамью, упёршись в неё руками, сухо всклипывая, говоря скрипучим голосом:

– Знаю я – он вам поперёк глоток стоял... Эх, Ванюшечка... дурачок! Что поделаешь, а? Что – говорю – поделаешь? Кони – чужие, вожжи – гнилые. Мать, невзлюбил, нас господь за последние года, а? Мать?

Распластавшись на полу, бабушка шупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, чёрная вся, в чёрном блестящем платье, страшно

вытаращила глаза и сказала негромко:

– Вон, окаянные!

Все, кроме деда, высыпались из кухни.

...Цыганка похоронили незаметно, непамятно.

IV

Я лежу на широкой кровати, вчетверо окутан тяжёлым одеялом, и слушаю, как бабушка молится богу, стоя на коленях, прижав одну руку к груди, другою неторопливо и нечасто крестясь.

На дворе стреляет мороз; зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные – во льду – стёкла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая тёмные глаза фосфорическим огнём. Шёлковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит, точно кованая, тёмное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь по полу.

Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и подойдёт к постели, а я притворяюсь, что крепко уснул.

– Ведь врёшь, поди, разбойник, не спишь? – тихонько говорит она. – Не спишь, мол, голуба душа? Ну-ко, давай одеяло!

Предвкушая дальнейшее, я не могу сдержать улыбки; тогда она рычит:

– А-а, так ты над бабушкой-старухой шутки шутить затеял!

Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дёргает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлёпаюсь в мягкую перину, а она хохочет:

– Что, редькин сын? Съел комара?

Но иногда она молится очень долго, я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится.

Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк; слушать их очень интересно; бабушка подробно рассказывает богу обо всём, что случилось в доме; грузно, большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит:

– Ты, господи, сам знаешь, – всякому хочется, что получше. Михайло-то старшой, ему бы в городе-то надо остаться, за реку ехать обидно ему, и место там новое, неиспытанное, что будет – неведомо. А отец – он Якова больше любит. Али хорошо – неровно-то детей любить? Упрям старик – ты бы, господи, вразумил его.

Глядя на тёмные иконы большими светящимися глазами, она советует богу своему:

– Наведи-ко ты, господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить!

Крестится, кланяется в землю, стучаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:

– Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живёт. И вспомяни, господи, Григорья, – глаза-то у него всё хуже. Слепнет – по миру пойдёт, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет... О, господи, господи...

Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула крепко, замёрзла.

– Что еще? – вслух вспоминает она, приморщив брови. – Спаси, помилуй всех православных; меня, дуру окаянную, прости, – ты знаешь: не со зла грешу, а по глупому разуму.

И, глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворенно:

– Все ты, родимый, знаешь, все тебе, батюшка, ведомо.

Мне очень нравился бабушкин бог, такой близкий ей, и я часто просил ее:

– Расскажи про бога!

Она говорила о нём особенно: очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя; приподнимется, сядет, накинёт на простоволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь:

– Сидит господь на холме, среди луга райского, на престоле синя камня яхонта, под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом; нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи не вянут, так и цветут неустанно, в радость угодникам божьим. А около господя ангелы летают во множестве, – как снег идёт али пчелы роятся, – али бы белые голуби летают с неба на землю да опять на небо и обо всем богу сказывают про нас, про людей. Тут и твой, и мой, и дедушкин – каждому ангел дан, господь ко всем равен. Вот твой ангел господу приносит: «Лексей дедушке язык высунул!» А господь и распорядится: «Ну, пускай старик посечёт его!» И так

всё, про всех, и всем он воздаёт по делам – кому горем, кому радостью. И так все это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему бесперечь: «Слава тебе, господи, слава тебе!» А он, милый, только улыбается им – дескать, ладно уж!

И сама она улыбается, покачивая головою.

– Ты это видела?

– Не видала, а знаю! – отвечает она задумчиво.

Говоря о боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой, лицо её молодело, влажные глаза струили особенно теплый свет. Я брал в руки тяжёлые атласные косы, обертывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надоедавшие рассказы.

– Бога видеть человеку не дано – ослепнешь; только святые глядят на него во весь глаз. А вот ангелов видела я; они показываются, когда душа чиста. Стояла я в церкви у ранней обедни, а в алтаре и ходят двое, как туманы, видно сквозь них всё, светлые, светлые, и крылья до полу, кружевные, кисейные. Ходят они кругом престола и отцу Илье помогают, старичку: он поднимет ветхие руки, богу молясь, а они локотки его поддерживают. Он очень старенький был, слепой уж, тыкался обо всё и поскорости после того успел, скончался. Я тогда, как увидела их, – обмерла от радости, сердце заныло, слезы катятся, – ох, хорошо было! Ой, Ленька, голуба душа, хорошо все у бога на небе и на земле, так хорошо...

– А у нас хорошо разве?

Осенив себя крестом, бабушка ответила:

– Слава пресвятой богородице, – все хорошо!

Это меня смущало: трудно было признать, что в доме всё хорошо; мне казалось, в нем живётся хуже и хуже. Однажды, проходя мимо двери в комнату дяди Михаила, я видел, как тетка Наталья, вся в белом, прижав руки ко груди, металась по комнате, вскрикивая негромко, но страшно:

– Господи, прибери меня, уведи меня...

Молитва ее была мне понятна, и я понимал Григория, когда он ворчал:

– Слепну, по миру пойду, и то лучше будет...

Мне хотелось, чтобы он ослеп скорее, – я попросился бы в поводыри к нему, и ходили бы мы по миру вместе. Я уже говорил ему об этом; мастер, усмехаясь в бороду, ответил:

– Вот и ладно, и пойдём! А я буду оглашать в городе: это вот Василья Каширина, цехового старшины, внук, от дочери! Занятно будет...

Не однажды я видел под пустыми глазами тетки Натальи синие опухоли, на жёлтом лице её – вспухшие губы. Я спрашивал бабушку:

– Дядя бьет ее?

Вздыхая, она отвечала:

– Бьет тихонько, анафема проклятый? Дедушка не велит бить её, так он по ночам. Злой он, а она – кисель...

И рассказывает, воодушевляясь:

– Все-таки теперь уж не бьют так, как бивали! Ну, в зубы

ударит, в ухо, за косы минуту потреплет, а ведь раньше-то часами истязали! Меня дедушка снова бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьёт устанет, а отдохнув – опять. И вожжами н всяко.

– За что?

– Не помню уж. А вдругорядь он меня избил до полусмерти да пятеро суток есть не давал, – еле выжила тогда. А то еще...

Это удивляло меня до онемения: бабушка была вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть её.

– Разве он сильнее тебя?

– Не сильнее, а старше! Кроме того – муж! За меня с него бог спросит, а мне заказано терпеть...

Интересно и приятно было видеть, как она оттирала пыль с икон, чистила ризы; иконы были богатые, в жемчугах, серебре и цветных камнях по венчикам; она брала ловкими руками икону, улыбаясь смотрела на неё и говорила умиленно:

– Эко милое личико!..

Перекрестясь, целовала.

– Запылилася, окоптела, – ах ты, мать всепомощная, радость неизбывная! Гляди, Леня, голуба душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякая отдельно стоит. Зовется это Двенадцать праздников, в середине же божия мать Феодоровская, предобрая. А это вот – Не рыдай мене, мати, зряще во гробе...

Иногда мне казалось, что она так же задушевно и серьёзно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина – в куклы.

Она нередко видала чертей, во множестве и в одиночку.

– Иду как-то великим постом, ночью, мимо Рудольфова дома; ночь лунная, молосная, вдруг вижу: верхом на крыше, около трубы, сидит чёрный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматый. Нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его: «Да воскреснет бог и расточатся врази его», – говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши-то во двор, – расточился! Должно, скоромное варили Рудольфы в этот день, он и нюхал, радуясь...

Я смеюсь, представляя, как черт летит кувырком с крыши, и она тоже смеётся, говоря:

– Очень они любят озорство, совсем как малые дети! Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи; вдруг дверца каменки как отскочит! И посыпались оттуда они, мал мала меньше, красненькие, зелёные, черные, как тараканы. Я – к двери, – нет ходу; увязла среди бесов, всю баню заби-ли они, повернуться нельзя, под ноги лезут, дёргают, сжали так, что и окститься не могу! Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все; кружатся, озору-ют, зубёнки мышинные скалят, глазишки-то зелёные, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики поросячьи – ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь! А как воротилась в

себя – свеча еле горит, корыто простыло, стиранное на пол брошено. Ах вы, думаю, раздуй вас горой!

Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки, с её серых булыжников густым потоком льются мохнатые, пёстрые твари, наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниковато розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко. Бабушка, качая головою, молчит минуту и вдруг снова точно вспыхнет вся.

– А то, проклятых, видела я; это тоже ночью, зимой, вьюга была. Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывала, отца-то твоего Яков да Михайло в проруби в пруде хотели утопить? Ну, вот, иду; только скувырнулась по тропе вниз, на дно, ка-ак засвистит, загикает по оврагу! Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, и дородный такой чёрт в красном колпаке колом торчит, правит ими, на облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из кованых цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже всё черти; свистят, кричат, колпаками машут, – да эдак-то семь троек проскакало, как пожарные, и все кони вороной масти, и все они – люди, проклятые отцами-матерьюми; такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видела...

Не верить бабушке нельзя – она говорит так просто, убедительно.

Но особенно хорошо сказывала она стихи о том, как бого-

родица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу «князь-барыню» Енгалычеву не бить, не грабить русских людей; стихи про Алексея божия человека, про Ивана-воина; сказки о премудрой Василисе, о Попе-козле и божьем крестнике; страшные были о Марфе Посаднице, о Бабе Усте, атамане разбойников, о Марии, грешнице египетской, о печалях матери разбойника; сказок, былей и стихов она знала бесчисленно много.

Не боясь ни людей, ни деда, ни чертей, ни всякой иной нечистой силы, она до ужаса боялась чёрных тараканов, чувствуя их даже на большом расстоянии от себя. Бывало, разбудит меня ночью и шепчет:

– Олёша, милый, таракан лезет, задави. Христа ради!

Сонный, я зажигал свечу и ползал по полу, отыскивая врага; это не сразу и не всегда удавалось мне.

– Нет нигде, – говорил я, а она, лёжа неподвижно, с головой закутавшись одеялом, чуть слышно просила:

– Ой, есть! Ну, поищи, прошу тебя! Тут он, я уж знаю...

Она никогда не ошибалась – я находил таракана где-нибудь далеко от кровати.

– Убил? Ну, слава богу! А тебе спасибо...

И, сбросив одеяло с головы, облегчённо вздыхала, улыбаясь.

Если я не находил насекомое, она не могла уснуть; я чувствовал, как вздрагивает её тело при малейшем шорохе в ночной, мёртвой тишине, и слышал, что она, задерживая ды-

хание, шепчет:

– Около порога он... под сундук пополз...

– Отчего ты боишься тараканов?

Она резонно отвечала:

– А непонятно мне – на что они? Ползают и ползают, чёрные. Господь всякой тле свою задачу задал: мокрица показывает, что в доме сырость; клоп – значит, стены грязные; вошь нападает – нездоров будет человек, – всё понятно! А эти – кто знает, какая в них сила живёт, на что они насылаются?

Однажды, когда она стояла на коленях, сердечно беседуя с богом, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал:

– Ну, мать, посетил нас господь, – горим!

– Да что ты! – крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжело топая, бросились в темноту большой парадной комнаты.

– Евгенья, снимай иконы! Наталья, одевай ребят! – строго, крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл:

– И-и-ы...

Я выбежал в кухню; окно на двор сверкало, точно золотое; по полу текли-скользили жёлтые пятна; босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал:

– Это Мишка поджег, поджег да ушел, ага!

– Цыц, пёс, – сказала бабушка, толкнув его к двери так,

что он едва не упал.

Сквозь иней на стёклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью её вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно; лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высываясь из них раскалёнными кривыми гвоздями. По тёмным доскам сухой крыши, быстро опутывая её, извивались золотые, красные ленты; среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба; тихий треск, шёлковый шелест бился в стёкла окна; огонь всё разрастался; мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе.

Накинув на голову тяжёлый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени, на крыльцо и обомлел, ослеплённый яркой игрою огня, оглушённый криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на голову пустой мешок, обернувшись попой, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая:

– Купорос, дураки! Взорвет купорос...

– Григорий, держи ее! – выл дедушка. – Ой, пропала...

Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой,

согнувшись, неся на вытянутых руках ведёрную бутылку ку-поросного масла.

– Отец, лошадь выведи! – хрипя, кашляя, кричала она. – Снимите с плеч-то, – горю, али не видно!..

Григорий сорвал с плеч её тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья снега; дядя прыгал около него с топором в руках, дед бежал около бабушки, бросая в неё снегом; она сунула бутылку в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила:

– Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, – наше всё дотла сгорит и ваше займётся! Рубите крышу, сено – в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружной, – бог вам на́ помочь.

Она была так же интересна, как и пожар: освещаемая огнем, который словно ловил её, чёрную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, всё видя.

На двор выбежал Шарап, скидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, упёрлась передними ногами; дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:

– Мать, держи!

Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала пред ним крестом; конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь

на пламя.

– А ты не бойся! – басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. – Али я тебя оставлю в страхе этом? Ох ты, мышонок...

Мышонок, втрое больший её, покорно шёл за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное её лицо.

Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала:

– Василий Васильич, Лексея нет...

– Пошла, пошла! – ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня.

Крыша мастерской уже провалилась; торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей; внутри постройки с воем и треском взрывались зелёные, синие, красные вихри, пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз; я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке.

– Уйди! – крикнула она. – Задавят, уйди...

На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал; грозя:

– Раздайсь!

Весело и торопливо звенели колокольчики, всё было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо:

– Я кому говорю? Уйди!

Нельзя было не послушать её в этот час. Я ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за тёмной кучей людей уже не видно огня, – только медные шлемы сверкают среди зимних чёрных шапок и картузов.

Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.

– Это кто? Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, всё уже кончилось...

Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко.

Дед вошёл, остановился у порога и спросил:

– Мать?

– Ой?

– Обожглась?

– Ничего.

Он зажёг серную спичку, осветив синим огнём своё лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой.

– Умылся бы, – сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом.

Дед вздохнул:

– Милостив господь бывает до тебя, большой тебе разум

дает...

И, погладив её по плечу, добавил, оскалив зубы:

– На краткое время, на час, а дает!..

Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился.

– Григория рассчитать надо – это его недосмотр! Отработал мужик, отжил! На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак... Пошла бы ты к нему...

Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дую на пальцы, а дед, не глядя на меня, тихо спросил:

– Весь пожар видел, с начала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь... Бита, ломана... То-то же! Эх вы-и...

Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил:

– Боялся ты?

– Нет.

– И нечего бояться...

Сердито сдернув с плеч рубаху, он пошёл в угол, к ручной мойнике, и там, в темноте, топнув ногою, громко сказал:

– Пожар – глупость! За пожар кнутом на площади надо бить погорельца; он – дурак, а то – вор! Вот как надо делать, и не будет пожаров!.. Ступай спи. Чего сидишь?

Я ушел, но спать в эту ночь не удалось: голько что лёг в постель меня вышвырнул из нее нечеловеческий вой; я снова бросился в кухню; среди нее стоял дед без рубахи, со свечой в руках; свеча дрожала, он шаркал ногами по полу и, не сходя

с места, хрипел:

– Мать, Яков, что это?

Я вскочил на печь, забился в угол, а в доме снова началась суетня, как на пожаре; волною бился в потолок и стены размеренный, всё более громкий, надсадный вой. Ошалело бегали дед и дядя, кричала бабушка, выгоняя их куда-то; Григорий грохотал дровами, набивая их в печь, наливал воду в чугуны и ходил по кухне, качая головою, точно астраханский верблюд.

– Да ты затопи сначала печь-то! – командовала бабушка.

Он бросился за лучиной, нащупал мою ногу и беспокойно крикнул:

– Кто тут? Фу, испугал... Везде ты, где не надо...

– Что это делается?

– Тетка Наталья родит, – равнодушно сказал он, спрыгнув на пол.

Мне вспомнилось, что мать моя не кричала так, когда родила.

Поставив чугуны в огонь, Григорий влез ко мне на печь и, вынув из кармана глиняную трубку, показал мне её.

– Курить начинаю, для глаз! Бабушка советует: нюхай, а я считаю лучше курить...

Он сидел на краю печи, свесив ноги, глядя вниз, на бедный огонь свечи; ухо и щека его были измазаны сажей, рубашка на боку изорвана, я видел его рёбра, широкие, как обручи. Одно стекло очков было разбито, почти половинка стекла

вывалилась из ободка, и в дыру смотрел красный глаз, мокрый, точно рана. Набывая трубку листовым табаком, он прислушивался к стонам роженицы и бормотал бессвязно, напоминая пьяного:

– Бабушка-то обожглась-таки. Как она принимать будет? Ишь как стенает тётка! Забыли про неё; она, слышь, ещё в самом начале пожара корчиться стала – с испугу... Вот оно как трудно человека родить, а баб не уважают! Ты запомни: баб надо уважать, матерей то есть..

Я дремал и просыпался от возни, хлопанья дверей, пьяных криков дяди Михаила; в уши лезли странные слова:

– Царские двери отворить надо...

– Дайте ей масла лампадного с ромом да сажи: полстакана масла, полстакана рому да ложку столовую сажи...

Дядя Михаилу назойливо просил:

– Пустите меня поглядеть...

Он сидел на полу, растопырив ноги, и плевал перед собою, шлёпая ладонями по полу. На печи стало нестерпимо жарко, я слез, но когда поравнялся с дядей, он поймал меня за ногу, дёрнул, и я упал, ударившись затылком.

– Дурак, – сказал я ему.

Он вскочил на ноги, снова схватил меня и взревел, размахнувшись мною:

– Расшибу об печку...

Очнулся я в парадной комнате, в углу, под образами, на коленях у деда; глядя в потолок, он покачивал меня и гово-

рил негромко:

– Оправдания же нам нет, никому...

Над головой его ярко горела лампада, на столе, среди комнаты, – свеча, а в окно уже смотрело мутное зимнее утро.

Дед спросил, наклонясь ко мне:

– Что болит?

Всё болело: голова у меня была мокрая, тело тяжёлое, но не хотелось говорить об этом, – всё кругом было так странно: почти на всех стульях комнаты сидели чужие люди: священник в лиловом, седой старичок в очках и военном платье и ещё много; все они сидели неподвижно, как деревянные, застыв в ожидании, и слушали плеск воды, где-то близко. У косяка двери стоял дядя Яков, вытянувшись, спрятав руки за спину. Дед сказал ему:

– На-ко, отведи этого спать...

Дядя поманил меня пальцем и пошёл на цыпочках к двери бабушкиной комнаты, а когда я влез на кровать, он шепнул:

– Умерла тетка-то Наталья...

Это не удивило меня – она уже давно жила невидимо, не выходя в кухню, к столу.

– А где бабушка?

– Там, – ответил дядя, махнув рукою, и ушел всё так же на пальцах босых ног.

Я лежал на кровати, оглядываясь. К стеклам окна прижались чьи-то волосатые, седые, слепые лица; в углу, над сундуком, висит платье бабушки, – я это знал, – но теперь каза-

лось, что там притаился кто-то живой и ждет. Спрятав голову под подушку, я смотрел одним глазом на дверь; хотелось выскочить из перины и бежать. Было жарко, душил густой тяжёлый запах, напоминая, как умирал Цыганок и по полу растекались ручьи крови; в голове или сердце росла какая-то опухоль; всё, что я видел в этом доме, тянулось сквозь меня, как зимний обоз по улице, и давило, уничтожало...

Дверь очень медленно открылась, в комнату вползла бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиной и, протянув руки к синему огоньку неугасимой лампы, тихо, по-детски жалобно, сказала:

– Рученьки мои, рученьки больно...

V

К весне дядья разделились; Яков остался в городе, Михаил уехал за реку, а дед купил себе большой интересный дом на Полевой улице, с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнаткой на чердаке и садом, который опускался в овраг, густо оцетинившийся голыми прутьями ивняка.

– Розог-то! – сказал дед, весело подмигнув мне когда, осматривая сад, я шел с ним по мягким, протаявшим дорожкам. – Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они годятся...

Весь дом был тесно набит квартирантами; только в верхнем этаже дед оставил большую комнату для себя и приёма гостей, а бабушка поселилась со мною на чердаке. Окно его выходило на улицу, и, перегнувшись через подоконник, можно было видеть, как вечерами и по праздникам из кабака вылезают пьяные, шатаясь, идут по улице, орут и падают. Иногда их выкидывали на дорогу, словно мешки, а они снова ломились в дверь кабака; она хлопала, дребезжала, взвизгивал блок, начиналась драка, – смотреть на всё это сверху было очень занятно. Дед с утра уезжал в мастерские сыновей, помогая им устраиваться; он возвращался вечером усталый, угнетенный, сердитый.

Бабушка стряпала, шила, копалась в огороде и в саду, вер-

телась целый день, точно огромный кубарь, подгоняемый невидимой плёткой, нюхала табачок, чихала смачно и говорила, отирая потное лицо:

– Здравствуй, мир честной, во веки веков! Ну, вот, Олёша, голуба́ душа, и зажили мы тихо-о! Слава те, царица небесная, уж так-то ли хорошо стало всё!

А мне не казалось, что мы живем тихо; с утра до позднего вечера на дворе и в доме суматошно бегали квартирантки, то и дело являлись соседки, все куда-то торопились и, всегда опаздывая, охали, всё готовились к чему-то и звали:

– Акулина Ивановна!

Всем улыбаясь одинаково ласково, ко всем мягко внимательная, Акулина Ивановна заправляла большим пальцем табак в ноздри, аккуратно вытирала нос и палец красным клетчатым платком и говорила:

– Против вошей, сударыня моя, надо чаще в бане мыться, мятным паром надобно париться; а коли вошь подкожная – берите гусяного сала, чистейшего, столовую ложку, чайную сулемы, три капли веских ртути, разотрите всё это семь раз на блюдце черепочком фаянсовым и мажьте! Ежели деревянной ложкой али костью будете тереть – ртуть пропадет; меди, серебра не допускайте – вредно!

Иногда она задумчиво советовала:

– Вы, матушка, в Печёры, к Асафу-схимнику сходите, – не умею я ответить вам.

Она служила повитухой, разбирала семейные ссоры и спо-

ры, лечила детей, сказывала наизусть «Сон богородицы», чтобы женщины заучивали его «на счастье», давала хозяйственные советы:

– Огурец сам скажет, когда его солить пора; ежели он перестал землей и всякими чужими запахами пахнуть, тут вы его и берите. Квас нужно обидеть, чтобы ядрён был, разъярился; квас сладкого не любит, так вы его изюмцем заправьте, а то сахару бросьте, золотник на ведро. Варенцы делают разно: есть дунайский вкус и гишпанский, а то еще – кавказский...

Я весь день вертелся около неё в саду, на дворе, ходил к соседкам, где она часами пила чай, непрерывно рассказывая всякие истории; я как бы прирос к ней и не помню, чтоб в эту пору жизни видел что-либо иное, кроме неугомонной, неустанно доброй старухи. Иногда, на краткое время, являлась откуда-то мать; гордая, строгая, она смотрела на всё холодными серыми глазами, как зимнее солнце, и быстро исчезала, не оставляя воспоминаний о себе.

Однажды я спросил бабушку:

– Ты – колдунья?

– Ну, вот еще выдумал! – усмехнулась она и тотчас же задумчиво прибавила: – Где уж мне: колдовство – наука трудная. А я вот и грамоты не знаю – ни аза; дедушка-то вон какой грамотей едучий, а меня не умудрила богородица.

И открывала предо мною ещё кусок своей жизни:

– Я ведь тоже сиротой росла, матушка моя бобылка была,

увечный человек; ещё в девушках её барин напугал. Она ночью со страха выкинулась из окна да бок себе и перебила, плечо ушибла тоже, с того у неё рука правая, самонужная, отсохла, а была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она барам не надобна, и дали они ей вольную, – живи-де, как сама знаешь, – а как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру, за милостью к людям, а в та́ пора люди-то богаче жили, добрее были, – славные балахонские плотники да кружевницы, – всё напоказ народ! Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой-осенью по городу, а как Гаврило-архангел мечом взмахнёт, зиму отгонит, весна землю обымет, – так мы подалее, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по тихой Оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить, земля ласковая, трава бархатная; пресвятая богородица цветами осыпала поля, тут тебе радость, тут ли сердцу простор! А матушка-то, бывало, прикроет синие глаза да как заведёт песню на великую высоту, – голосок у ней не силен был, а звонок, – и всё кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает её. Хорошо было Христа ради жить! А как минуло мне девять лет, зазорно стало матушке по миру водить меня, застыдилась она и осела на Балахне; кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздниках – по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести, тороплюсь-учусь, хочется скорее помочь матушке-то; бывало, не удаётся чего – слезы лью. В два года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу

вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам; ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки! А я и рада, мне праздник! Конечно, не мое мастерство, а матушкин указ. Она хоть и об одной руке, сама-то не работница, так ведь показать уме-ла. А хороший указчик дороже десяти работников. Ну, тут загордилась я: ты, мол, матушка, бросай по миру собирать, теперь я тебя одна-сама прокормлю! А она мне: «Молчи-ка знай, это тебе на приданое копится». Тут вскоре и дедушка насунулся, заметный парень был: двадцать два года, а уж водолив! Высмотрела меня мать его, видит: работница я, ни-щего человека дочь, значит смирной буду, н-ну... А была она калашница и злой души баба, не тем будь помянута... Эхма, что нам про злых вспоминать? Господь и сам их видит; он их видит, а беси любят.

И она смеётся сердечным смешком, нос ее дрожит умори-тельно, а глаза, задумчиво светясь, ласкают меня, говоря обо всем еще понятнее, чем слова.

Помню, был тихий вечер; мы с бабушкой пили чай в ком-нате деда; он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем, и, ежеминутно отирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зелёные глаза его по-мутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя.

– Что мне сахару не даешь? – капризным тоном балованного ребенка спрашивал он бабушку. Она отвечала ласково, но твердо:

– С мёдом пей, это тебе лучше!

Задыхаясь, крикая, он быстро глотал горячий чай и говорил:

– Ты гляди, не помереть бы мне!

– Не бойся, догляжу.

– То-то! Теперь помереть – это будет как бы вовсе и не жил, – всё прахом пойдет!

– А ты не говори, лежи немо!

С минуту он молчал, закрыв глаза, почмокивая тёмными губами, и вдруг, точно уколотый, встряхивался, соображал вслух:

– Яшку с Мишкой женить надобно как можно скорей; может, жёны да новые дети попридержат их – а?

И вспоминал, у кого в городе есть подходящие невесты. Бабушка помалкивала, выпивая чашку за чашкой; я сидел у окна, глядя, как рдеет над городом вечерняя заря и красно сверкают стёкла в окнах домов, – дедушка запретил мне гулять по двору и саду за какую-то провинность.

В саду, вокруг берез, гудя, летали жуки, бондарь работал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом, в овраге, шумно возились ребяташки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.

Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлёпнул ею по ладони и бодро позвал меня:

– Ну-ка, ты, пермяк, солёны уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это – аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это – что?

– Буки.

– Попал! Это?

– Веди.

– Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть, – это что?

– Добро.

– Попал! Это?

– Глаголь.

– Верно! А это?

– Аз.

Вступилась бабушка:

– Лежал бы ты, отец, смирно...

– Стой, молчи! Это мне в пору, а то меня мысли одолевают. Валяй, Лексей!

Он обнял меня за шею горячеей, влажной рукою и через плечо моё тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печеным луком, я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне:

– Земля! Люди!

Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» – на сутулого Григо-

рия, «я» – на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд и вразбивку; он заразил меня своей горячей яростью, я вспотел и кричал во всё горло. Это смешило его; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел.

– Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего?

– Это вы кричите...

Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щёки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря:

– Да будет вам надрываться-то!..

Дед объяснял мне дружески:

– Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего?

И говорил бабушке, встряхивая мокрой головой:

– А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету; память, слава богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!

Наконец он шутливо столкнул меня с кровати.

– Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак...

Когда я протянул руку за книжкой, он снова привлёк меня к себе и сказал угрюмо:

– Бросила тебя мать-то поверх земли, брат...

Бабушка встрепенулась:

– Ай, отец, почто ты говоришь эдак?..

– Не сказал бы – горе нудит... Эх. какая девка заплута-

лась...

Он резко оттолкнул меня.

– Иди гуляй! На улицу не смей, а по двору да в саду...

Мне именно и нужно было в сад: как только я появлялся в нём, на горке, – мальчишки из оврага начинали метать в меня камнями, а я с удовольствием отвечал им тем же.

– Бырь пришёл! – кричали они, завидя меня и поспешно вооружаясь. Лупи его!

Я не знал, что такое «бырь», и прозвище не обижало меня, но было приятно отбиваться одному против многих, приятно видеть, когда метко брошенный тобою камень заставляет врага бежать, прятаться в кусты. Велись эти сражения беззлобно, кончались почти безобидно.

Грамота давалась мне легко, дедушка смотрел на меня все внимательнее и всё реже сёк, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего: становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказания, а он только ругался да замахивался на меня.

Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно бил, и я однажды сказал ему это.

Легким толчком в подбородок он приподнял голову мою и, мигая, протянул:

– Чего-о?

И дробно засмеялся, говоря:

– Ах ты, еретик! Да как ты можешь сосчитать, сколько тебя сечь надобно! Кто может знать это, кроме меня? Сгинь,

пошел!

Но тотчас же схватил меня за плечо и снова, заглянув в глаза, спросил:

– Хитер ты али простодушен, а?

– Не знаю...

– Не знаешь? Ну, так я тебе скажу: будь хитер, это лучше, а простодушность – та же глупость, понял? Баран простодушен. Запомни! Айда, гуляй...

Вскоре я уже читал по складам Псалтырь; обыкновенно этим занимались после вечернего чая, и каждый раз я должен был прочесть псалом.

– Буки-люди-аз-ла-бла; живе-те-иже-же блаже; наш-ер-блажен выговаривал я, водя указкой по странице, и от скуки спрашивал:

– Блажен муж, – это дядя Яков?

– Вот я тресну тебя по затылку, ты и поймешь, кто блажен муж! сердито фыркая, говорил дед, но я чувствовал, что он сердится только по привычке, для порядка.

И почти никогда не ошибался: через минуту дед, видимо, забыв обо мне, ворчал:

– Н-да, по игре да песням он – царь Давид, а по делам – Авессалом ядовит! Песнотворец, словотёр, балагур... Эх вы-и! «Скакаше, играя веселыми ногами», а далеко доскачете? Вот – далеко ли?

Я переставал читать, прислушиваясь, поглядывая в его

хмурое, озабоченное лицо; глаза его, прищурясь, смотрели куда-то через меня, в них светилось грустное, тёплое чувство, и я уже знал, что сейчас обычная суровость деда тает в нём. Он дробно стучал тонкими пальцами по столу, блестели окрашенные ногти, шевелились золотые брови.

– Дедушка!

– Ась?

– Расскажите что-нибудь.

– А ты читай, ленивый мужик! – ворчливо говорил он, точно проснувшись, протирая пальцами глаза. – Побасенки любишь, а Псалтырь не любишь...

Но я подозревал, что он и сам любит побасенки больше Псалтыря; он знал его почти весь на память, прочитывая, по обету, каждый вечер, перед сном, кафизму вслух и так, как дьячки в церкви читают часослов.

Я усердно просил его, и старик, становясь все мягче, уступал мне.

– Ну, ин ладно! Псалтырь навсегда с тобой останется, а мне скоро к богу на суд идти...

Отвалившись на вышитую шерстями спинку старинного кресла и всё плотнее прижимаясь к ней, вскинув голову, глядя в потолок, он тихо и задумчиво рассказывал про старину, про своего отца: однажды приехали в Балахну разбойники грабить купца Заева, дедов отец бросился на колокольню бить набат, а разбойники настигли его, порубили саблями и сбросили вниз из-под колоколов.

– Я о ту пору мал ребенок был, дела этого не видел, не помню; помнить себя я начал от француза, в двенадцатом году, мне как раз двенадцать лет минуло. Пригнали тогда в Балахну нашу десятка три пленников; все народ сухонькой, мелкой; одеты кто в чем, хуже нищей братии, дрожат, а которые и поморожены, стоять не в силе. Мужики хотели было насмерть перебить их, да конвой не дал, гарнизонные вступились, – разогнали мужиков по дворам. А после ничего, привыкли все; французы эти – народ ловкой, догадливый; довольно даже весёлые – песни, бывало, поют. Из Нижнего баре приезжали на тройках глядеть пленных; приедут и одни ругают, кулаками французам грозят, бивали даже; другие – разговаривают мило на ихнем языке, денег дают и всякой хурды-мурды теплой. А один барин-старичок закрыл лицо руками и заплакал: вконец – говорит – погубил француза злодей Бонапарт! Вот, видишь, как: русский был, и даже барин, а добрый: чужой народ пожалел...

С минуту он молчит, закрыв глаза, приглаживая ладонями волоса, потом продолжает, будя прошлое с осторожностью.

– Зима, метель метет по улице, мороз избы жмет, а они, французы, бегут, бывало, под окошко наше, к матери, – она калачи пекла да продавала, стучат в стекло, кричат, прыгают, горячих калачей просят. Мать в избу-то не пускала их, а в окно сунет калач, так француз схватит да за пазуху его, с пылу, горячий – прямо к телу, к сердцу; уж как они терпели это – нельзя понять! Многие поумирали от холода, они – люди

тёплой стороны, мороз им непривычен. У нас в бане, на огороде, двое жили, офицер с денщиком Мироном; офицер был длинный, худущий, кости да кожа, в салопе бабьем ходил, так салоп по колени ему. Очень ласков был и пьяница; мать моя тихонько пиво варила-продавала, так он купит, напьётся и песни поет. Научился по-нашему, лопочет, бывало: ваша сторона нет белый, он – чёрный, злой! Плохо говорил, а понять можно, верно это: верховые края наши неласковы, ниже-то во Волге теплей земля, а по-за Каспием будто и вовсе снегу не бывает. В это можно поверить: ни в Евангелии, ни в деяниях, ни того паче во Псалтыри про снег, про зиму не упоминается, а места жития Христова в той стороне... Вот Псалтырь кончим, начну я с тобой Евангелие читать.

Он снова молчит, точно задремал; думает о чем-то, смотрит в окно, скосив глаза, маленький и острый весь.

– Рассказывайте, – напоминаю я тихонько.

– Ну, вот, – вздрогнув, начинает он, – французы значит! Тоже люди, не хуже нас, грешных. Бывало, матери-то кричат: мадама, мадама, – это стало быть, моя дама, барыня моя, – а барыня-то из лабаза на себе мешок муки носила по пяти пудов весу. Силища была у неё не женская, до двадцати годов меня за волосья трясла очень легко, а в двадцать-то годов я сам неплох был. А денщик этот, Мирон, лошадей любил: ходит по дворам и знаками просит, дали бы ему лошадь почистить! Сначала боялись: испортит, враг; а после сами мужики стали звать его: айда, Мирон! Он усмехнётся, наклонит

голову и быком идет. Рыжий был даже докрасна, носатый, толстогубый. Очень хорошо ходил за лошадьми и умел чудесно лечить их; после здесь, в Нижнем, коновалом был, да сошел с ума, и забили его пожарные до смерти. А офицер к весне чахнуть начал и в день Николая Вешнего помер тихо сидел, задумавшись, в бане под окном да так и скончался, высунув голову на волю. Мне его жалко было, я даже поплакал тихонько о нём; нежным он был, возьмёт меня за уши и говорит ласково про что-то свое, и непонятно, а хорошо! Человечью ласку на базаре не купишь. Стал было он своим словам учить меня, да мать запретила, даже к попу водила меня, а поп высечь велел и на офицера жаловался. Тогда, брат, жили строго, тебе уж этого не испытать, за тебя другими обиды испытаны, и ты это запомни! Вот я, примерно, я такое испытал...

Стемнело. В сумраке дед странно увеличился; глаза его светятся, точно у кота. Обо всем он говорит негромко, осторожно, задумчиво, а про себя горячо, быстро и хвалебно. Мне не нравится, когда он говорит о себе, не нравятся его постоянные приказы:

– Запомни! Ты это запомни!

Многое из того, что он рассказывал, не хотелось помнить, но оно и без приказаний деда насильно вторгалось в память болезненной занозой. Он никогда не рассказывал сказок, а всё только бывалое, и я заметил, что он не любит вопросов; поэтому я настойчиво расспрашивал его:

– А кто лучше: французы или русские?

– Ну, как это знать? Я ведь не видал, каково французы у себя дома живут, – сердито ворчит он и добавляет:

– В своей норе и хорёк хорош...

– А русские хорошие?

– Со всячинкой. При помещиках лучше были; кованный был народ. А теперь вот все на воле – ни хлеба, ни соли! Баре, конечно, немилостивы, зато у них разума больше накоплено; не про всех это скажешь, но коли барин хорош, так уж залюбуешься! А иной и барин, да дурак, как мешок, – что в него сунут, то и несёт. Скорлупы у нас много; взглянешь – человек, а узнаешь – скорлупа одна, ядра-то нет, съедено. Надо бы нас учить, ум точить, а точила тоже нет настоящего...

– Русские сильные?

– Есть силачи, да не в силе дело – в ловкости; силы сколько ни имей, а лошадь всё сильней.

– А зачем французы нас воевали?

– Ну, война – дело царское, нам это недоступно понять!

Но на мой вопрос, кто таков был Бонапарт, дед памятно ответил:

– Был он лихой человек, хотел весь мир повоевать, и чтобы после того все одинаково жили, ни господ, ни чиновников не надо, а просто: живи без сословия! Имена только разные, а права одни для всех. И вера одна. Конечно, это глупость: только раков нельзя различить, а рыба – вся разная: осётр сому не товарищ, стерлядь селедке не подруга. Бона-

парты эти и у нас бывали – Разин Степан Тимофеев, Пугач Емельян Иванов; я те про них после скажу...

Иногда он долго и молча разглядывал меня, округлив глаза, как будто впервые заметив. Это было неприятно.

И никогда не говорил со мною об отце моем, о матери.

Нередко на эти беседы приходила бабушка, тихо садилась в уголок, долго сидела там молча, невидная, и вдруг спрашивала мягко обнимавшим голосом:

– А помнишь, отец, как хорошо было, когда мы с тобой в Муром на богомолье ходили? В каком бишь это году?..

Подумав, дед обстоятельно отвечал:

– Точно не скажу, а было это до холеры, в год, когда олончан ловили по лесам.

– А верно! Ещё боялись мы их...

– То-то.

Я спрашивал: кто такие олончане и отчего они бегали по лесам, – дед не очень охотно объяснял:

– Олончане – просто мужики, а бегали из казны, с заводов, от работы.

– А как их ловили?

– Ну, как? Как мальчишки играют: одни – бегут, другие – ловят, ищут. Поймают, плетями бьют, кнутом; ноздри рвали тоже, клейма на лоб ставили для отметки, что наказан.

– За что?

– За спрос. Это – дела неясные, и кто виноват: тот ли, кто

бежит, али тот, кто ловит, – нам не понять...

– А помнишь, отец, – снова говорит бабушка, – как после большого пожара... Любя во всём точность, дед строго спрашивает:

– Которого большого?

Уходя в прошлое, они забывали обо мне. Голоса и речи их звучат негромко и так ладно, что иногда кажется, точно они песню поют, невеселую песню о болезнях, пожарах, избиении людей, о нечаянных смертях и ловких мошенничествах, о юродивых Христа ради, о сердитых господах.

– Сколько прожито, сколько видано! – тихонько бормотал дед.

– Али плохо жили? – говорила бабушка. – Ты вспомни-ка, сколь хороша началась весна после того, как я Варю родила!

– Это – в сорок восьмом году, в самый венгерский поход: кума-то Тихона на другой день после крестин и погнали...

– И пропал, – вздыхает бабушка.

– И пропал, да! С того года божья благостыня, как вода на плот, в дом нам потекла. Эх, Варвара...

– А ты полно, отец...

Он сердился, хмурился.

– Чего полно? Не удались дети-то, с коей стороны ни взгляни на них. Куда сок-сила наша пошла? Мы с тобой думали – в лукошко кладём, а господь-то вложил в руки нам худое решето...

Он вскрикивал и, точно обожженный, бегал по комнате,

болезненно побрякивая, ругая детей, грозя бабушке маленьким сухим кулаком.

– А все ты потакала им, татам, потатчица! Ты, ведьма!

В горестном возбуждении доходя до слезливого воя, со-вался в угол, к образам, бил с размаху в сухую, гулкую грудь.

– Господи, али я грешней других? За что-о?

И весь дрожал, обиженно и злобно сверкая мокрыми, в слезах, глазами.

Бабушка, сидя в темноте, молча крестилась, потом, осторожно подойдя к нему, уговаривала:

– Ну, что уж ты растосковался так? Господь знает, что делает. У многих ли дети лучше наших-то? Везде, отец, одно и то же – споры, да распри, да томаша. Все отцы-матери грехи свои слезами омывают, не ты один...

Иногда эти речи успокаивали его, он молча, устало валился в постель, а мы с бабушкой тихонько уходили к себе на чердак.

Но однажды, когда она подошла к нему с ласковой речью, он быстро повернулся и с размаху хряско ударил её кулаком в лицо. Бабушка отшатнулась, покачалась на ногах, приложив руку к губам, окрепла и сказала негромко, спокойно:

– Эх, дурак...

И плюнула кровью под ноги ему, а он дважды протяжно взвыл, подняв обе руки: – Уйди, убью!

– Дурак, – повторила бабушка, отходя от двери; дед бросился за нею, но она, не торопясь, перешагнула порог и за-

хлопнула дверь пред лицом его.

– Старая шкура, – шипел дед, багровый, как уголь, держась за косяк, царапая его пальцами.

Я сидел на лежанке ни жив ни мёртв, не веря тому, что видел: впервые при мне он ударил бабушку, и это было угнетающе гадко, открывало что-то новое в нём – такое, с чем нельзя было примириться и что как будто раздавило меня. А он всё стоял, вцепившись в косяк, и, точно пеплом покрываясь, серел, съеживался. Вдруг вышел на середину комнаты, встал на колени и, не устояв, ткнулся вперед, коснувшись рукою пола, но тотчас выпрямился, ударил себя руками в грудь:

– Ну, господи...

Я съехал с тёплых изразцов лежанки, как по льду, бросился вон; наверху бабушка, расхаживая по комнате, полоскала рот.

– Тебе больно?

Она отошла в угол, выплюнула воду в помойное ведро и спокойно ответила:

– Ничего, зубы целы, губу разбил только.

– За что он?

Выглянув в окно на улицу, она сказала:

– Сердится, трудно ему, старому, неудачи всё... Ты ложись с богом, не думай про это...

Я спросил её еще о чем-то, но она необычно строго крикнула:

– Кому я говорю – ложись? Неслух какой...

Села у окна и, посасывая губу, стала часто сплёвывать в платок. Раздеваясь, я смотрел на неё: в синем квадрате окна над черной её головою сверкали звёзды. На улице было тихо, в комнате – темно.

Когда я лёг, она подошла и, тихонько погладив голову мою, сказала:

– Спи спокойно, а я к нему спущусь... Ты меня не больно жалеешь, голуба душа, я ведь тоже поди-ка и сама виновата... Спи!

Поцеловав меня, она ушла, а мне стало нестерпимо грустно, я выскочил из широкой, мягкой и жаркой кровати, подошёл к окну и, глядя вниз на пустую улицу, окаменел в невыносимой тоске.

VI

Снова началось что-то кошмарное. Однажды вечером, когда, напившись чаю, мы с дедом сели за Псалтырь, а бабушка начала мыть посуду, в комнату ворвался дядя Яков, расстрёпанный, как всегда, похожий на изработанную метлу. Не здоровавшись, бросив картуз куда-то в угол, он скороговоркой начал, встряхиваясь, размахивая руками:

– Тятенька, Мишка буянит неестественно совсем! Обедал у меня, напился и начал безобразное безумие показывать: посуду перебил, изорвал в клочья готовый заказ – шерстяное платье, окна выбил, меня обидел, Григория. Сюда идет, грозитя: отцу, кричит, бороду выдеру, убью! Вы смотрите...

Дед, упираясь руками в стол, медленно поднялся на ноги, лицо его сморщилось, сошло к носу; стало жутко похоже на топор.

– Слышишь, мать? – взвизгнул он. – Каково, а? Убить отца идет, чу, сын родной! А пора! Пора, ребята...

Прошёлся по комнате, расправляя плечи, подошёл к двери, резко закинул тяжёлый крюк в пробой и обратился к Якову:

– Это вы всё хотите Варварино приданое сцапать? На-те-ка!

Он сунул кукиш под нос дяде; тот обиженно отскочил.

– Тятенька, я-то при чем?

– Ты? Знаю я тебя!

Бабушка молчала, торопливо убирая чашки в шкаф.

– Я же защитит вас приехал...

– Ну? – насмешливо воскликнул дед. – Это хорошо! Спасибо, сынок! Мать, дай-кось лисе этой чего-нибудь в руку – кочергу, хоть, что ли, утюг! А ты, Яков Васильев, как вломится брат – бей его в мою голову!

Дядя сунул руки в карманы и отошёл в угол.

– Коли вы мне не верите...

– Верю? – крикнул дед, топнув ногой – Нет, всякому зверю поверю собаке, ежу, – а тебе погожу! Знаю: ты его напоил, ты научил! Ну-ко, вот бей теперь! На выбор бей: его, меня...

Бабушка тихонько шепнула мне:

– Беги наверх, гляди в окошко, а когда дядя Михайло покажется на улице, соскочи сюда, скажи! Ступай, скорее...

И вот я, немножко напуганный грозящим нашествием буйного дяди, но гордый поручением, возложенным на меня, торчу в окне, осматривая улицу; широкая, она покрыта густым слоем пыли, сквозь пыль высовывается опухолями крупный булыжник. Налево она тянется далеко и, пересекая овраг, выходит на Острожную площадь, где крепко стоит на глинистой земле серое здание с четырьмя башнями по углам – старый острог; в нем есть что-то грустно красивое, внушительное. Направо, через три дома от нашего, широко развёртывается Сенная площадь, замкнутая жёлтым корпусом арестантских рот и пожарной каланчой свинцового цвета. Во-

круг глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторож, как собака на цепи. Вся площадь изрезана оврагами, в одном на дне его стоит зеленоватая жижа, правее – тухлый Дюков пруд, куда, по рассказу бабушки, дядя зимою бросили в прорубь моего отца. Почти против окна – переулочек, застроенный маленькими пёстрыми домиками; он упирается в толстую, приземистую церковь Трёх Святителей. Если смотреть прямо – видишь крыши, точно лодки, опрокинутые вверх дном в зеленых волнах садов.

Стёртые выюгами долгих зим, омытые бесконечными дождями осени, слинявшие дома нашей улицы напудрены пылью; они жмутся друг к другу, как нищие на паперти, и тоже, вместе со мною, ждут кого-то, подозрительно вытаращив окна. Людей немного, двигаются они не спеша, подобно задумчивым тараканам на шестке печи. Душная теплота поднимается ко мне; густо слышны не любимые мною запахи пирогов с зелёным луком, с морковью; эти запахи всегда вызывают у меня уныние.

Скучно; скучно как-то особенно, почти невыносимо; грудь наполняется жидким, тёплым свинцом, он давит изнутри, распирает грудь, рёбра; мне кажется, что я вздуваюсь, как пузырь, и мне тесно в маленькой комнатке, под гробообразным потолком.

Вот он, дядя Михаил: он выглядывает из переулка, из-за угла серого дома; нахлобучил картуз на уши, и они оттопырились, торчат. На нём рыжий пиджак и пыльные сапоги до

колен, одна рука в кармане клетчатых брюк, другою он держится за бороду. Мне не видно его лица, но он стоит так, словно собрался перепрыгнуть через улицу и вцепиться в дедов дом чёрными мохнатыми руками. Нужно бежать вниз, сказать, что он пришёл, но я не могу оторваться от окна и вижу, как дядя осторожно, точно боясь запачкать пылью серые сапоги, переходит улицу, слышу, как он отворяет дверь кабака, – дверь визжит, дребезжат стёкла.

Я бегу вниз, стучусь в комнату деда.

– Кто это? – грубо спрашивает он, не открывая. – Ты? Ну? В кабак зашёл? Ладно, ступай!

– Я боюсь там...

– Потерпишь!

Снова я торчу в окне. Темнеет; пыль на улице вспухла, стала глубже, чернее; в окнах домов масляно растекаются жёлтые пятна огней; в доме напротив – музыка, множество струн поют грустно и хорошо. И в кабаке тоже поют; когда отворится дверь, на улицу вытекает усталый, надломленный голос; я знаю, что это голос кривого нищего Никитушки, бородатого старика с красным углём на месте правого глаза, а левый плотно закрыт. Хлопнет дверь и отрубит его песню, как топором.

Бабушка завидует нищему: слушая его песни, она говорит, вздыхая:

– Экой ведь благодатной, – какие стихи знает. Удача!

Иногда она зазывает его во двор; он сидит на крыльце,

опираясь на палку, и поёт, сказывает, а бабушка – рядом с ним, слушает, расспрашивает.

– Погоди-ка, да разве божия мать и в Рязани была?

И нищий говорит басом, уверенно:

– Она везде была, по всем губерниям...

Невидимо течёт по улице сонная усталость и жмёт, давит сердце, глаза. Как хорошо, если б бабушка пришла! Или хотя бы дед. Что за человек был отец мой, почему дед и дядья не любили его, а бабушка, Григорий и нянька Евгенья говорят о нем так хорошо? А где мать моя?

Я всё чаще думаю о матери, ставя её в центр всех сказок и былей, рассказанных бабушкой. То, что мать не хочет жить в своей семье, всё выше поднимает её в моих мечтах; мне кажется, что она живёт на постоялом дворе при большой дороге, у разбойников, которые грабят проезжих богачей и делят награбленное с нищими. Может быть, она живёт в лесу, в пещере, тоже, конечно, с добрыми разбойниками, стряпает на них и сторожит награбленное золото. А может, ходит по земле, считая её сокровища, как ходила «князь-барыня» Енгальчева вместе с божией матерью, и богородица уговаривает мать мою, как уговаривала «князь-барыню»:

Не собрать тебе, раба жадная,
Со всея земли злата, серебра;
Не прикрыть тебе, душа алчная,
Всею добром земли наготу твою...

И мать отвечает ей словами «князь-барыни», разбойницы:

Ты прости, пресвятая богородица,
Пожалей мою душеньку грешную.
Не себя ради мир я грабила,
А ведь ради сына единого!..

И богородица, добрая, как бабушка, простит её, скажет:

Эх ты, Марьюшка, кровь татарская,
Ой ты, зла-беда христианская!
А иди, ино, по своему пути
И стезя твоя, и слеза твоя!
Да не тронь хоть народа-то русского,
По лесам ходи да мордву зори,
По степям ходи, калмыка гони!..

Вспоминая эти сказки, я живу, как во сне, меня будит топот, возня, рёв внизу, в сенях, на дворе; высунувшись в окно, я вижу, как дед, дядя Яков и работник кабатчика, смешной черемисин Мельян, выталкивают из калитки на улицу дядю Михаила; он упирается, его бьют по рукам, в спину, шею, пинают ногами, и наконец он стремглав летит в пыль улицы. Калитка захлопнулась, гремит щеколда и запор; через ворота перекинули измятый картуз; стало тихо.

Полежав немного, дядя приподнимается, весь оборванный, лохматый, берёт булыжник и мечет его в ворота; раздаётся гулкий удар, точно по дну бочки. Из кабака лезут тём-

ные люди, орут, храпят, размахивают руками; из окон домов высовываются человечьи головы – улица оживает, смеётся, кричит. Все это тоже как сказка, любопытная, но неприятная, пугающая.

И вдруг всё сотрётся, все замолчат, исчезнут.

...У порога, на сундуке, сидит бабушка, согнувшись, не двигаясь, не дыша; я стою перед ней и глажу её теплые, мягкие, мокрые щеки, но она, видимо, не чувствует этого и бормочет угрюмо:

– Господи, али не хватило у тебя разума доброго на меня, на детей моих? Господи, помилуй...

Мне кажется, что в доме на Полевой улице дед жил не более года – от весны до весны, но и за это время дом приобрел шумную славу; почти каждое воскресенье к нашим воротам сбегались мальчишки, радостно оповещая улицу:

– У Кашириных опять дерутся!

Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером и всю ночь держал дом в осаде, жителей его в трепете; иногда с ним приходило двое-трое помощников, отбойных кунавинских мещан, они забирались из оврага в сад и хлопотали там во всю ширь пьяной фантазии, выдёргивая кусты малины и смородины; однажды они разнесли баню, переломав в ней всё, что можно было сломать: полок, скамьи, котлы для воды, а печь разметали, выломали несколько половиц, сорвали дверь, раму.

Дед, тёмный и немой, стоял у окна, вслушиваясь в рабо-

ту людей, разорывших его добро; бабушка бегала где-то по двору, невидимая в темноте, и умоляюще взывала:

– Миша, что ты делаешь, Миша!

Из сада в ответ ей летела идиотски гнусная русская ругань, смысл которой, должно быть, недоступен разуму и чувству скотов, изрыгающих ее.

За бабушкой не угнаться в эти часы, а без неё страшно; я спускаюсь в комнату деда, но он хрипит встречу мне:

– Вон, ан-нафема!

Я бегу на чердак и оттуда через слуховое окно смотрю во тьму сада и двора, стараясь не упустить из глаз бабушку, боюсь, что её убьют, и кричу, зову. Она не идёт, а пьяный дядя, услышав мой голос, дико и грязно ругает мать мою.

Однажды в такой вечер дед был нездоров, лежал в постели и, перекатывая по подушке обвязанную полотенцем голову, крикливо жалобился:

– Вот оно, чего ради жили, грешили, добро копили! Кабы не стыд, не срам, позвать бы полицию, а завтра к губернатору... Срамно! Какие же это родители полицией детей своих травят? Ну, значит, лежи, старик.

Он вдруг спустил ноги с кровати, шатаясь пошёл к окну, бабушка подхватила его под руки:

– Куда ты, куда?

– Зажги огонь! – задыхаясь, шумно всасывая воздух, приказал он.

А когда бабушка зажгла свечу, он в взял подсвечник в ру-

ки и, держа его пред собою, как солдат ружьё, закричал в окно насмешливо и громко:

– Эй, Мишка, вор ночной, бешеный пёс шелудивый!

Тотчас же вдребезги разлетелось верхнее стекло окна и на стол около бабушки упала половинка кирпича.

– Не попал! – завыл дед и засмеялся или заплакал.

Бабушка схватила его на руки, точно меня, и понесла на постель, приговаривая испуганно:

– Что ты, что ты, Христос с тобою! Ведь эдак-то – Сибирь ему; ведь разве он поймёт, в ярости, что Сибирь!..

Дед дрыгал ногами и рыдал сухо, хрипуче:

– Пускай убьёт...

За окном рычало, топало, царапало стену. Я взял кирпич со стола, побежал к окну; бабушка успела схватить меня и, швырнув в угол, зашипела:

– Ах ты, окаянный...

В другой раз дядя, вооружённый толстым колом, ломился со двора в сени дома, стоя на ступенях чёрного крыльца и разбивая дверь, а за дверью его ждали дедушка, с палкой в руках, двое постояльцев, с каким-то дрекольем, и жена кабатчика, высокая женщина, со скалкой; сзади их топталась бабушка, умоляя:

– Пустите вы меня к нему! Дайте слово сказать...

Дед стоял, выставив ногу вперёд, как мужик с рогатиной на картине «Медвежья охота»; когда бабушка подбегала к нему, он молча толкал её локтем и ногою. Все четверо сто-

яли, страшно приготовившись; над ними на стене горел фонарь, нехорошо, судорожно освещая их головы; я смотрел на всё это с лестницы чердака, и мне хотелось увести бабушку вверх.

Дядя ломал дверь усердно и успешно, она ходуном ходила, готовая соскочить с верхней петли, – нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякающим голосом:

– По рукам бейте, по ногам, пожалуйста, а по башке не надо...

Рядом с дверью в стене было маленькое окошко – только голову просунуть, дядя уже вышиб стекло из него, и оно, утыканное осколками, чернело, точно выбитый глаз.

Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая ею, закричала:

– Миша, Христа ради уйди! Изувечат тебя, уйди!

Он ударил её колом по руке; было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей упало что-то широкое, а вслед за этим и сама бабушка осела, опрокинулась на спину, успев еще крикнуть:

– Миш-ша, беги...

– А, мать? – страшно взвыл дед.

Дверь распахнулась, в чёрную дыру её вскочил дядя и тотчас, как грязь лопатой, был сброшен с крыльца.

Кабатчица отвела бабушку в комнату деда; скоро и он явился туда, угрюмо подошёл к бабушке.

– Кость цела?

– Ох, переломилась, видно, – сказала бабушка, не открывая глаз. – А с ним что сделали, с ним?

– Уймись! – строго крикнул дед. – Зверь, что ли, я? Свяжали, в сарае лежит. Водой окатил я его... Ну, зол! В кого бы это?

Бабушка застонала.

– За костоправкой я послал, – ты потерпи! – сказал дед, присаживаясь к ней на постель. – Изведут нас с тобою, мать; раньше срока изведут!

– Отдай ты им все...

– А Варвара?

Они говорили долго; бабушка – тихо и жалобно, он – крикливо, сердито.

Потом пришла маленькая старушка, горбатая, с огромным ртом до ушей; нижняя челюсть у неё тряслась, рот был открыт, как у рыбы, и в него через верхнюю губу заглядывал острый нос. Глаз её было не видно; она едва двигала ногами, шаркая по полу клюкою, неся в руке какой-то гремящий узелок.

Мне показалось, что это пришла бабушкина смерть; я подскочил к ней и заорал во всю силу:

– Пошла вон!

Дед неосторожно схватил меня и весьма нелюбезно отнёс на чердак...

VII

Я очень рано понял, что у деда – один бог, а у бабушки – другой.

Бывало – проснётся бабушка, долго, сидя на кровати, чешет гребнем свои удивительные волосы, дёргает головою, вырывает, сцепив зубы, целые пряди длинных чёрных шелковинок и ругается шёпотом, чтоб не разбудить меня:

– А, пострели вас! Колтун вам, окаянные...

Кое-как распутав их, она быстро заплетает толстые косы, умывается наскоро, сердито фыркая, и, не смыв раздражения с большого, измятого сном лица, встаёт перед иконами, – вот тогда и начиналось настоящее утреннее омовение, сразу освежавшее всю её.

Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской божией матери, она широко, истоково крестилась и шумно, горячо шептала:

– Богородица преславная, подай милости твоя на грядущий день, матушка!

Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала всё горячее и умиленнее:

– Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!..

Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву её с напря-

женным вниманием.

– Сердечушко моё чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, мати господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!

С улыбкой в тёмных глазах и как будто помолодевшая, она снова крестилась медленными движениями тяжёлой руки.

– Иисусе Христе, сыне божий, буди милостив ко мне, грешнице, матери твоея ради...

Всегда её молитва была акафистом, хвалою искренней и простодушной.

Утром она молилась недолго; нужно было ставить самовар, – прислугу дед уже не держал; если бабушка опаздывала приготовить чай к сроку, установленному им, он долго и сердито ругался.

Иногда он, проснувшись раньше бабушки, всходил на чердак и, заставая её за молитвой, слушал некоторое время её шёпот, презрительно кривя тонкие, тёмные губы, а за чаем ворчал:

– Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты всё своё бормочешь, еретица! Как только терпит тебя господь!

– Он поймёт, – уверенно отвечала бабушка. – Ему что ни говори – он разберёт...

– Чуваша проклятая! Эх вы-и...

Её бог был весь день с нею, она даже животным говорила о нём. Мне было ясно, что этому богу легко и покорно

подчиняется всё: люди, собаки, птицы, пчёлы и травы; он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково близок.

Однажды балованный кот кабатчицы, хитрый сластёна и подхалим, дымчатый, золотоглазый, любимец всего двора, притащил из сада скворца; бабушка отняла измученную птицу и стала упрекать кота:

– Бога ты не боишься, злодей подлый!

Кабатчица и дворник посмеялись над этими словами, но бабушка гневно закричала на них:

Думаете – скоты бога не понимают? Всякая тварь понимает это не хуже вас, безжалостные...

Запрягая ожиревшего, унылого Шарapa, она беседовала с ним:

– Что ты скучен, богов работник, а? Старенький ты...

Конь вздыхал, мотая головою.

И всё-таки имя божие она произносила не так часто, как дед. Бабушкин бог был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было лгать, стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога. и, кажется, даже не возникало желания скрывать.

Однажды кабатчица, поссорившись с дедом, изругала заодно с ним и бабушку, не принимавшую участия в ссоре, изругала злобно и даже бросила в неё морковь.

– Ну, и дура вы, сударыня моя, – спокойно сказала ей бабушка, а я жестоко обиделся и решил отомстить злодейке.

Я долго измышлял, чем бы уязвить большее эту рыжую толстую женщину с двойным подбородком и без глаз.

По наблюдениям моим над междоусобицами жителей я знал, что они, мстя друг другу за обиды, рубят хвосты кошкам, травят собак, убивают петухов и кур или, забравшись ночью в погреб врага, наливают керосин в кадки с капустой и огурцами, выпускают квас из бочек, но – всё это мне не нравилось, нужно было придумать что-нибудь более внушительное и страшное.

Я придумал: подстерег, когда кабатчица спустилась в погреб, закрыл над ней творило, запер его, сплясал на нём танец мести и, забросив ключ на крышу, стремглав прибежал в кухню, где стряпала бабушка. Она не сразу поняла мой восторг, а поняв, нашлёпала меня, где подobaет, вытащила на двор и послала на крышу за ключом. Удивлённый её отношением, я молча достал ключ и, убежав в угол двора, смотрел оттуда, как она освобождала пленную кабатчицу и как обе они, дружелюбно посмеиваясь, идут по двору.

– Я-а тебя, – погрозила мне кабатчица пухлым кулаком, но её безглазое лицо добродушно улыбалось. А бабушка взяла меня за шиворот, привела в кухню и спросила:

– Это ты зачем сделал?

– Она в тебя морковью кинула...

– Значит, это ты из-за меня? Так! Вот я тебя, брандахлыст, мышам в подпечек суну, ты и очнёшься! Какой защитник – взгляните на пузырь, а то сейчас лопнет! Вот скажу дедушке

– он те кожу-то спустит! Ступай на чердак, учи книгу...

Целый день она не разговаривала со мною, а вечером, прежде чем встать на молитву, присела на постель и внушительно сказала памятные слова:

– Вот что, Лёнька, голуба душа, ты закажи себе это: в дела взрослых не путайся! Взрослые – люди порченые; они богом испытаны, а ты ещё нет, и живи детским разумом. Жди, когда господь твоего сердца коснётся, дело твоё тебе укажет, на тропу твою приведёт, – понял? А кто в чём виноват – это дело не твоё. Господу судить и наказывать. Ему, а – не нам!

Она помолчала, понюхала табаку и, прищулив правый глаз, добавила:

– Да поди-ка и сам-от господь не всегда в силе понять, где чья вина...

– Разве бог не всё знает? – спросил я, удивлённый, а она тихонько и печально ответила:

– Кабы всё-то знал, так бы многого поди люди-то не делали бы. Он, чай, батюшка, глядит-глядит с небеси-то на землю, на всех нас, да в иную минуту как восплачет, да как возрыдает: «Люди вы мои, люди, милые мои люди! Ох, как мне вас жалко!»

Она сама заплакала и, не отирая мокрых щёк, отошла в угол молиться.

С той поры её бог стал ещё ближе и понятней мне.

Дед, поучая меня, тоже говорил, что бог – существо вездесущее, всеведущее, всевидящее, добрая помощь людям во

всех делах, но молился он не так, как бабушка.

Утром, перед тем как встать в угол к образам, он долго умывался, потом, аккуратно одетый, тщательно причёсывал рыжие волосы, оправлял бородку и, осмотрев себя в зеркало, одёрнув рубаху, заправив черную косынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шёл к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу, с минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом, прямой и тонкий, внушительно говорил:

– «Во имя отца и сына и святого духа!»

Мне казалось, что после этих слов в комнате наступала особенная тишина, – даже мухи жужжат осторожнее.

Он стоит, вздернув голову; брови у него приподняты, ощетились, золотистая борода торчит горизонтально; он читает молитвы твёрдо, точно отвечая урок: голос его звучит внятно и требовательно.

– «Напрасно судия приидет, и коегождо деяния обнажатся...»

Не шибко бьёт себя по груди кулаком и настойчиво просит:

– «Тебе единому согреших, – отврати лице твоё от грех моих...»

Читает «Верую», отчеканивая слова; правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притопывая в такт молитве; весь он напряжённо тянется к образам, растёт и как бы ста-

новится всё тоньше, суше, чистенький такой, аккуратный и требующий:

– «Врача родшая, врачуй души моя многолетние страсти! Стенания от сердца приношу ти непрестанно, усердствуй, владычице!»

И громко взывает, со слезами на зелёных глазах:

– «Вера же вместо дел да вменится мне, боже мой, да не взыщеси дел, отнюдь оправдывающих мя!»

Теперь он крестится часто, судорожно, кивает головою, точно бодаясь, голос его взвизгивает и всхлипывает. Позднее, бывая в синагогах, я понял, что дед молился, как еврей.

Уже самовар давно фыркает на столе, по комнате плавает горячий запах ржаных лепёшек с творогом, – есть хочется! Бабушка хмуро прислонилась к притолоке и вздыхает, опустив глаза в пол; в окно из сада смотрит весёлое солнце, на деревьях жемчугами сверкает роса, утренний воздух вкусно пахнет укропом, смородиной, зреющими яблоками, а дед всё ещё молится, качается, взвизгивает:

– «Погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен!»

Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущий, – знаю и напряжённо слежу: не ошибётся ли дед, не пропустит ли хоть слово?

Это случалось крайне редко и всегда возбуждало у меня злорадное чувство.

Кончив молиться, дед говорил мне и бабушке:

– Здравствуйте!

Мы кланялись и наконец садились за стол. Тут я говорил деду:

– А ты сегодня «довлеет» пропустил!

– Врёшь? – беспокойно и недоверчиво спрашивает он.

– Уж пропустил! Надо: «Но та вера моя да довлеет вместо всех», а ты и не сказал «довлеет».

– На ко вот! – восклицает он, виновато мигая глазами.

Потом он чем-нибудь горько оплатит мне за это указание, не пока, видя его смущённым, я торжествую.

Однажды бабушка шутливо сказала:

– А скушно поди-ка богу-то слушать моление твоё, отец, – всегда ты твердишь одно да всё то же.

– Чего-о это? – зловеще протянул он – Чего ты мычишь?

– Говорю, от своей-то души ни словечка господу не подарить ты никогда, сколько я ни слышу!

Он побагровел, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечку в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке:

– Вон, старая ведьма!

Рассказывая мне о необоримой силе божией, он всегда и прежде всего подчёркивал её жестокость: вот, согрешили люди и – потоплены, ещё согрешили и – сожжены, разрушены города их; вот бог наказал людей голодом и мором, и всегда он – меч над землёю, бич грешникам.

– Всяк, нарушающий непослушанием законы божии, наказан будет горем и погибелью! – постукивая костями тон-

ких пальцев по столу, внушал он.

Мне было трудно поверить в жестокость бога. Я подозревал, что дед нарочно придумывает всё это, чтобы внушить мне страх не пред богом, а пред ним. И я откровенно спрашивал его:

– Это ты говоришь, чтобы я слушался тебя?

А он так же откровенно отвечал:

– Ну, конечно! Ещё бы не слушался ты?!

– А как же бабушка?

– Ты ей, старой дуре, не верь! – строго учил он. – Она смолоду глупа, она безграмотна и безумна. Я вот прикажу ей, чтобы не смела она говорить с тобой про эти великие дела! Отвечай мне: сколько есть чинов ангельских?

Я отвечал и спрашивал:

– А кто такие чиновники?

– Эк тебя мотает! – усмехался он, пряча глаза, и, пожевав губами, объяснял неохотно:

– Это бога не касаемо, чиновники, это – человеческое!

Чиновник суть законоед, он законы жрёт.

– Какие законы?

– Законы? Это значит – обычаи, – веселее и охотнее говорил старик, поблескивая умными, колючими глазами. – Живут люди, живут и согласятся: вот эдак – лучше всего, это мы и возьмём себе за обычай, поставим правилом, законом! Примерно: ребятишки, собираясь играть, уговариваются, как игру вести, в каком порядке. Ну, вот уговор этот и

есть закон!

– А чиновники?

– А чиновник озорнику подобен, придёт и все законы порушит.

– Зачем?

– Ну, этого тебе не понять! – строго нахмурясь, говорит он и снова внушает:

– Надо всеми делами людей – господь! Люди хотят одного, а он другого. Всё человечье – непрочно, дунет господь, – и всё во прах, в пыль!

У меня было много причин интересоваться чиновниками, и я допытывался:

– А вон дядя Яков поёт:

Светлы ангелы – божи чины,
А чиновники – холопи сатаны!

Дед приподнял ладонью бородку, сунул её в рот и закрыл глаза. Щёки у него дрожали. Я понял, что он внутренне смеётся.

– Связать бы вас с Яшкой по ноге да пустить по воде! – сказал он. Песен этих ни ему петь, ни тебе слушать не надобно. Это – кулугурские шутки, раскольниками придумано, еретиками. И, задумавшись, устремив глаза куда-то через меня, он тихонько тянул:

– Эх вы-и...

Но, ставя бога грозно и высоко над людьми, он, как и бабушка, тоже вовлекал его во все свои дела, – и его и бесчисленное множество святых угодников. Бабушка же как будто совсем не знала угодников, кроме Николы, Юрия, Фрола и Лавра, хотя они тоже были очень добрые и близкие людям. ходили по деревням и городам, вмешиваясь в жизнь людей, обладая всеми свойствами их. Дедовы же святые были почти все мученики, они свергали идолов, спорили с римскими царями, и за это их пытали, жгли, сдирали с них кожу.

Иногда дед мечтал:

– Помог бы господь продать домишко этот, хоть с пятьюстами пользы отслужил бы я молебен Николе Угоднику!

Бабушка, посмеиваясь, говорила мне:

– Так ему, старому дураку, Никола и станет дома продавать, – нет у него, Николы-батюшки, никакого дела лучше-то!

У меня долго хранились дедовы святцы, с разными надписями его рукою, в них, между прочим, против дня Иоакима и Анны было написано рыжими чернилами и прямыми буквами: «Избавили от беды, милостивци».

Я помню эту «беду»: заботясь о поддержке неудавшихся детей, дедушка стал заниматься ростовщицеством, начал тайно принимать вещи в заклад. Кто-то донёс на него, и однажды ночью нагрянула полиция с обыском. Была великая суета, но всё кончилось благополучно; дед молился до восхода солнца и утром при мне написал в святцах эти слова.

Перед ужином он читал со мною Псалтырь, часослов или тяжёлую книгу Ефрема Сирина, а поужинав, снова становился на молитву, и в тишине вечерней долго звучали унылые, покаянные слова:

– «Что ты принесу или что ты воздам, великодаровитый бессмертный царю... И соблюди нас от всякого мечтания... Господи, покрый мя от человек некоторых... Дажь ми слёзы и память смертную...» А бабушка нередко говаривала:

– Ой, как сёдни устала я! Уж, видно, не помолясь лягу...

Дед водил меня в церковь: по субботам – ко всенощной, по праздникам к поздней обедне. Я и во храме разделял, когда какому богу молятся: всё, что читают священник и дьячок, – это дедову богу, а певчие поют всегда бабушкину.

Я, конечно, грубо выражаю то детское различие между богами, которое, помню, тревожно раздвояло мою душу, но дедов бог вызывал у меня страх и неприязнь: он не любил никого, следил за всем строгим оком, он, прежде всего, искал и видел в человеке дурное, злое, грешное. Было ясно, что он не верит человеку, всегда ждёт покаяния и любит наказывать.

В те дни мысли и чувства о боге были главной пищей моей души, самым красивым в жизни, – все же иные впечатления только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая отвращение и грусть. Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня, – бог бабушки, такой милый друг всему живому. И, конечно, меня не мог не тревожить вопрос: как же это дед не видит доброго бога? Меня не пус-

кали гулять на улицу, потому что она слишком возбуждала меня, я точно хмелел от её впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств. Товарищей у меня не заводилось, соседские ребяташки относились ко мне враждебно; мне не нравилось, что они зовут меня Кашириным, а они, замечая это, тем упорнее кричали друг другу:

– Кощея Каширина внучонок вышел, глядите!

– Валяй его!

И начиналась драка.

Был я не по годам силён и в бою ловок, – это признавали сами же враги, всегда нападавшие на меня кучей. Но всё-таки улица всегда била меня, и домой я приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассечёнными губами и синяками на лице, оборванный, в пыли.

Бабушка встречала меня испуганно, соболезнуя:

– Что, редькин сын, опять дрался? Да что же это такое, а? Как я тебя начну, с руки на руку...

Мыла мне лицо, прикладывала к синякам бодягу, медные монеты или свинцовую примочку и уговаривала:

– Ну, что ты всё дерёшься? Дома смирный, а на улице ни на что не похож! Бесстыдник. Вот скажу дедушке, чтоб он не выпускал тебя...

Дедушка видел мои синяки, но никогда не ругался, только кричал и мычал:

– Опять с медалями? Ты у меня, Аника-воин, не смей на улицу бегать, слышишь!

Меня и не тянула улица, если на ней было тихо, но когда я слышал весёлый ребячий гам, то убегал со двора, не глядя на дедов запрет. Синяки и ссадины не обижали, но неизменно возмущала жестокость уличных забав, жестокость, слишком знакомая мне, доводившая до бешенства. Я не мог терпеть, когда ребята стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли еврейских коз, издевались над пьяными нищими и блаженным Игошей Смерть в Кармане.

Это был высокий, сухой и копчёный человек, в тяжёлом тулупе из овчины, с жёсткими волосами на костлявом, заржавевшем лице. Он ходил по улице согнувшись, странно качаясь, и молча, упорно смотрел в землю под ноги себе. Его чугунное лицо, с маленькими грустными глазами, внушало мне боязливое почтение – думалось, что этот человек занят серьёзным делом, он чего-то ищет, и мешать ему не надобно.

Мальчишки бежали за ним, лукавая камнями в сутулую спину. Он долго как бы не замечал их и не чувствовал боли ударов, но вот остановился, вскинул голову в мохнатой шапке, поправил шапку судорожным движением руки и оглядывается, словно только что проснулся.

– Игоша Смерть в Кармане! Игош, куда идешь? Гляди – смерть в кармане! – кричат мальчишки.

Он хватался рукою за карман, потом, быстро наклонясь, поднимал с земли камень, чурку, ком сухой грязи и, неуклюже размахивая длинной рукою, бормотал ругательство. Ругался он всегда одними и теми же тремя погаными слова-

ми, – в этом отношении мальчишки были неизмеримо богаче его. Иногда он гнался за ними, прихрамывая; длинный тулуп мешал ему бежать, он падал на колени, упираясь в землю чёрными руками, похожими на сухие сучки. Ребятишки садили ему в бока и спину камни, наиболее смелые подбегали вплоть и отскакивали, высыпав на голову его пригоршни пыли.

Другим и, может быть, ещё более тяжким впечатлением улицы был мастер Григорий Иванович. Он совсем ослеп и ходил по миру, высокий, благообразный, немой. Его водила под руку маленькая серая старушка; останавливаясь под окнами, она писклявым голосом тянула, всегда глядя куда-то вбок:

– Подайте, Христа ради, слепому, убогому...

А Григорий Иванович молчал. Чёрные очки его смотрели прямо в стену дома, в окно, в лицо встречного; насквозь покрашенная рука тихонько поглаживала широкую бороду, губы его были плотно сжаты. Я часто видел его, но никогда не слышал ни звука из этих сомкнутых уст, и молчание старика мучительно давило меня. Я не мог подойти к нему, никогда не подходил, а напротив, завидя его, бежал домой и говорил бабушке:

– Григорий ходит по улице!

– Ну? – беспокойно и жалостно восклицала она. – На-ко, беги, подай ему!

Я отказывался грубо и сердито. Тогда она сама шла за во-

рота и долго разговаривала с ним, стоя на тротуаре. Он усмехался, тряс бородой, но сам говорил мало, односложно.

Иногда бабушка, зазвав его в кухню, поила чаем, кормила. Как-то раз он спросил: где я? Бабушка позвала меня, но я убежал и спрятался в дровах. Не мог я подойти к нему – было нестерпимо стыдно пред ним, и я знал, что бабушке – тоже стыдно. Только однажды говорили мы с нею о Григории: проводив его за ворота, она шла тихонько по двору и плакала, опустив голову. Я подошел к ней, взял её руку. – Ты что же бегаешь от него? – тихо спросила она. – Он тебя любит, он хороший ведь...

– Отчего дедушка не кормит его? – спросил я.

– Дедушка-то?

Она остановилась, прижала меня к себе и почти шёпотом, пророчески сказала:

– Помяни моё слово: горестно накажет нас господь за этого человека! Накажет...

Она не ошиблась: лет через десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами:

– Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то мне бы! Эх вы-и...

Прежнего от него только и осталось, что это горькое, тягучее, волнующее душу:

– Эх вы-и...

Кроме Игоши и Григория Ивановича, меня давила, из-

гоняя с улицы, распутная баба Ворониха. Она появлялась в праздники, огромная, растрёпанная, пьяная. Шла она какой-то особенной походкой, точно не двигая ногами, не касаясь земли, двигалась, как туча, и орала похабные песни. Все встречные прятались от неё, заходя в ворота домов, за углы, в лавки, – она точно мела улицу. Лицо у неё было почти синее, надуто, как пузырь, большие, серые глаза страшно и насмешливо вытаращены. А иногда она выла, плакала:

– Деточки мои, где вы?

Я спрашивал бабушку: что это?

– Нельзя тебе знать! – ответила она угрюмо, но всё-таки рассказала кратко: был у этой женщины муж, чиновник Воронов, захотелось ему получить другой, высокий чин, он и продал жену начальнику своему, а тот её увёз куда-то, и два года она дома не жила. А когда воротилась, дети её – мальчик и девочка – померли уже, муж проиграл казённые деньги и сидел в тюрьме. И вот с горя женщина начала пить, гулять, буяннить. Каждый праздник к вечеру её забирает полиция...

Нет, дома было лучше, чем на улице. Особенно хороши были часы после обеда, когда дед уезжал в мастерскую дяди Якова, а бабушка, сидя у окна, рассказывала мне интересные сказки, истории, говорила про отца моего.

Скворцу, отнятому ею у кота, она обрезала сломанное крыло, а на место откушенной ноги ловко пристроила деревяшку и, вылечив птицу, учила её говорить. Стоит, бывало, целый час перед клеткой на косяке окна – большой такой,

добрый зверь – и густым голосом твердит переимчивой, чёрной, как уголь, птице:

– Ну, проси: скворушке – каши!

Скворец, скосив на неё круглый, живой глаз юмориста, стучит деревяшкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мякнуть кошкой, подражает вою собаки, а человечья речь – не даётся ему.

– Да ты не балуй! – серьёзно говорит ему бабушка. – Ты говори: скворушке – каши!

Чёрная обезьяна в перьях оглушительно орёт что-то похожее на слова бабушки, – старуха смеётся радостно, даёт птице просяной каши с пальца и говорит:

– Я тебя, шельму, знаю; притворяшка ты – всё можешь, всё умеешь!

И ведь выучила скворца: через некоторое время он довольно ясно просил каши, а завидя бабушку, тянул что-то похожее на – «Дра-астуй...»

Сначала он висел в комнате деда, но скоро дед изгнал его к нам, на чердак, потому что скворец выучился дразнить дедушку; дед внятно произносит слова молитв, а птица, просунув восковой жёлтый нос между палочек клетки, высвистывает:

– Тью, тью, тью-иррь, ту-иррь, ти-и-ррь, тью-уу!

Деду показалось обидным это; однажды он, прервав молитву, топнул ногой и закричал свирепо:

– Убери его, дьявола, – убью!

Много было интересного в доме, много забавного, но порою меня душила неотразимая тоска, весь я точно наливался чем-то тяжким и подолгу жил, как в глубокой тёмной яме, потеряв зрение, слух и все чувства, слепой и полумертвый...

VIII

Дед неожиданно продал дом кабатчику, купив другой, по Канатной улице; немощёная, заросшая травой, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких, пёстро окрашенных домиков.

Новый дом был нарядней, милей прежнего; его фасад покрашен тёплой и спокойной тёмно-малиновой краской; на нём ярко светились голубые ставни трёх окон и одинарная решётчатая ставня чердачного окна; крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы. На дворе и в саду было множество уютных закоулков, как будто нарочно для игры в прятки. Особенно хорош сад, небольшой, но густой, и приятно запутанный; в одном углу его стояла маленькая, точно игрушка, баня; в другом была большая довольно глубокая яма; она заросла бурьяном, а из него торчали толстые головни, остатки прежней, сгоревшей бани. Слева сад ограждала стена конюшен полковника Овсянникова, справа – постройки Бетленга; в глубине он соприкасался с усадьбой молочницы Петровны, бабы толстой, красной, шумной, похожей на колокол; её домик, осевший в землю, тёмный и ветхий, хорошо покрытый мхом, добродушно смотрел двумя окнами в поле, исковырянное глубокими оврагами, с тяжёлой синей тучей леса вдали; по полю целый день двигались, бегали солдаты; в косых лучах осеннего солнца сверкали бе-

лые молнии штыков.

Весь дом был тесно набит невиданными мною людьми: в передней половине жил военный из татар, с маленькой, круглой женою; она с утра до вечера кричала, смеялась, играла на богато украшенной гитаре и высоким, звонким голосом пела чаще других задорную песню:

Одна любишь – не рада,
Искать другую надо!
Умей её найти.
И ждёт тебя награда,
На верном сём пути!
О-о, са-ладкая нагр-рада-а!

Военный, круглый, как шар, сидя у окна, надувал синее лицо и, весело выкатывая какие-то рыжие глаза, непрерывно курил трубку, кашлял странным, собачьим звуком:

– Вух, вух-вух-хх...

В тёплой пристройке над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков: маленький, сивый дядя Петр, немой племянник его Стёпа, гладкий, литой парень, с лицом, похожим на поднос красной меди, – и невесёлый, длинный татарин Вале́й, денщик. Всё это были люди новые, богатые незнакомым для меня.

Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе на хлебник Хорошее Дело. Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна – в сад и на

двор.

Это был худощавый, сутулый человек, с белым лицом в чёрной раздвоенной бороде, с добрыми глазами, в очках. Был он молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал:

– Хорошее дело.

Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза.

– Лёнька, кричи Хорошее Дело чай пить! Вы, Хорошее Дело, что мало кушаете?

Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати; всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он, в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрёпанный и неловкий, плавил свинец. паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный.

Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно, видел синий огонь спиртовой лампы на столе, тёмную фигуру; видел, как он пишет что-то в растрёпан-

ной тетради, очки его блестят холодно и синевато, как льдины; колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство.

Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нём.

Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет, но он был беден: над воротником его куртки торчал измятый, грязный ворот рубахи, штаны – в пятнах и заплатках, на босых ногах – стоптанные туфли. Бедные – не страшны, не опасны, в этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное – со стороны деда.

Никто в доме не любил Хорошее Дело; все говорили о нём посмеиваясь; весёлая жена военного звала его «меловой нос», дядя Пётр – аптекарем и колдуном, дед – чернокнижником, фармазоном.

– Чего он делает? – спросил я бабушку. Она строго откликнулась:

– Не твоё дело; молчи знай...

Однажды, собравшись, с духом, я подошёл к его окну и спросил, едва скрывая волнение:

– Ты чего делаешь?

Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал:

– Влезай...

То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, ещё более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и наконец спросил негромко:

– Ты откуда?

Это было странно: я четыре раза в день сидел в кухне за столом около него! Я ответил:

– Здешний внук...

– Ага, да, – сказал он, осматривая свой палец, и замолчал.

Тогда я счёл возможным пояснить ему:

– Я не Каширин, а – Пешкóв...

– Пёшков? – неверно повторил он. – Хорошее дело.

Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу сказал:

– Ну, сиди смирно...

Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски; на картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой, как соль, облил чем-то из тёмной бутылки, – в чашке зашипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне, я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил:

– Скверно пахнет?

– Да!

– То-то же! Это, брат, весьма хорошо!

«Чем хвастается!» – подумалось мне, и я строго сказал:

– Если скверно, так уж не хорошо...

– Ну? – воскликнул он, подмигивая. – Это, брат, не всегда, однако! А ты в бабки играешь?

– В козны?

– В козны, да?

– Играю.

– Хочешь – налиток сделаю? Хорошая битка будет!

– Хочу.

– Неси давай бабку.

Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в неё одним глазом, подошел и сказал:

– Я тебе налиток сделаю; а ты за это не ходи ко мне, – хорошо?

Это меня преждеостоко обидело.

– Я и так не приду никогда...

Обиженный, я ушел в сад; там возился дедушка, обкладывая навозом корни яблонь; осень была, уже давно начался листопад.

– Ну-ко, подстригай малину, – сказал дед, подавая мне ножницы.

Я спросил его:

– Хорошее Дело чего строит?

– Горницу портит, – сердито ответил он. – Пол прожёт, обои попачкал, ободрал. Вот скажу ему – съезжал бы!

– Так и надо, – согласился я, принимаясь остригать сухие

лозы малинника.

Но я – поспешил.

Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания, приглашая пить чай всех жителей: извозчиков, денщика; часто являлась бойкая Петровна, иногда приходила даже весёлая постоялка, и всегда в углу, около печи, неподвижно и немотно торчал Хорошее Дело. Немой Стёпа играл с татаринном в карты; Вале́й хлопал ими по широкому носу немого и приговаривал:

– Аш-шайтан!

Дядя Пётр приносил огромную краюху белого хлеба и варенье «семечки» в большой глиняной банке, резал хлеб ломтями, щедро смазывал их вареньем и раздавал всем эти вкусные малиновые ломти, держа их на ладони, низко кланяясь.

– Пожалуйста-ко милостью, покушайте! – ласково просил он, а когда у него брали ломоть, он внимательно осматривал свою тёмную ладонь и, заметя на ней капельку варенья, слизывал его языком.

Петровна приносила вишнёвую наливку в бутылке, весёлая барыня – орехи и конфетти. Начинался пир горой, любимое бабушкино удовольствие.

Спустя некоторое время после того, как Хорошее Дело предложил мне взятку за то, чтоб я не ходил к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлопал неуёмный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену, – в кухне было тепло, уютно, все сидели близко

друг ко другу, все были как-то особенно мило тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше.

Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклонясь к людям, освещенным огнём маленькой жестяной лампы; уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя:

– Мне сверху надо говорить, – сверху-то лучше!

Я поместился у ног её, на широком приступке, почти над головою Хорошего Дела. Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана-воина и Мирона-отшельника; мерно лились сочные, веские слова:

Жил-был злой воевода Гордион,
Чёрная душа, совесть каменная;
Правду он гнал, людей истязал,
Жил во зле, словно сыч в дупле.
Пуще же всего невзлюбил Гордион
Старца Мирона-отшельника,
Тихого правды защитника,
Миру доброддея бесстрашного.
Кличет воевода верного слугу,
Храброго Иванушку-воина:
– Подь-ка, Иванко, убей старика,
Старчища Мирона кичливого!
Подь да сруби ему голову,
Подхвати её за сиву бороду,
Принеси мне, я собак прокормлю!

Пошёл Иван, послушался.
Идет Иван, горько думает:
«Не сам иду – нужда ведёт!
Знать, такая мне доля от господа»
Спрятал вострый меч Иван под полу,
Пришёл, поклонился отшельнику:
– Всё ли ты здоров, честной старичок?
Как тебя, старца, господь милует?
Тут прозорливец усмехается,
Мудрыми устами говорит ему:
– Полно-ка, Иванушко, правду-то скрывать!
Господу богу – всё ведомо.
Злое и доброе – в его руке!
Знаю ведь, пошто ты пришел ко мне!
Стыдно Иванке пред отшельником,
А и боязно Ивану послушаться.
Вынул он меч из кожаных ножон,
Вытер железо широкой полой.
– Я было, Мироне, хотел тебя убить
Так, чтобы ты и меча не видал.
Ну, а теперь – молись господу,
Молись ты ему в останний раз
За себя, за меня, за весь род людской,
А после я тебе срублю голову!..
Стал на коленки старец Мирон,
Встал он тихонько под дубок молодой,
Дуб перед ним преклоняется.
Старец говорит, улыбаясь:
– Ой, Иван, гляди – долго ждать тебе!

Велика молитва за весь род людской!
Лучше бы сразу убить меня,
Чтобы тебе лишнего не маяться!
Тут Иван сердито прихмурился,
Тут он глупенько похвастался:
– Нет, уж коли сказано – так сказано!
Ты знай молись, я хоть век подожду!
Молится отшельник до вечера,
С вечера он молится до утренней зари,
С утренней зари он вплоть до ночи,
С лета он молится опять до весны.
Молится Мироне год за годом,
Дуб-от молодой стал до облака,
С жёлудя его густо лес пошёл,
А святой молитве всё нет конца!
Так они по сей день и держатся:
Старче всё тихонько богу плачется,
просит у бога людям помощи,
У преславной богородицы – радости,
А Иван-от воин стоит около,
Меч его давно в пыль рассыпался,
Кованы доспехи съела ржавчина,
Добрая одёжа поистлела вся.
Зиму и лето гол стоит Иван,
Зной его сушит – не высушит,
Гнус ему кровь точит – не выточит,
Волки, медведи – не трогают,
Вьюги да морозы – не для него.
Сам-от он не в силе с места двинуться,

Ни руки поднять и ни слова сказать,
Это, вишь, ему в наказание дано:
Злого бы приказу не слушался,
За чужую совесть не прятался!
А молитва старца за нас, грешников,
И по сей добрый час течёт ко господу,
Яко светлая река в окиян-море!

Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что Хорошее Дело чем-то обеспокоен: он странно, судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и всё вытирал быстрым движением ладони лоб и щёки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел:
– Шш!

А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал:

– Знаете, это удивительно, это надо записать, непременно! Это страшно верное, наше...

Теперь ясно было видно, что он плачет, – глаза его были полны слёз; они выступали сверху и снизу, глаза купались в них; это было странно и очень жалостно. Он бегал по кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивал очками перед носом своим, желая надеть их, и всё не мог зацепить проволоку за уши. Дядя Пётр усмехался, поглядывая на него, все сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила:

– Запишите, что же, греха в этом нету; я и ещё много знаю эдакого...

– Нет, именно это! Это – страшно русское, – возбуждённо выкрикивал нахлебник и, вдруг остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукою, а в левой дрожали очки. Говорил долго, яростно, подвизгивая и притопывая ногою, часто повторяя одни и те же слова:

– Нельзя жить чужой совестью, да, да!

Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех и тихонько, виновато ушёл, склонив голову. Люди усмехались, сконфуженно переглядываясь, бабушка отодвинулась глубоко на печь, в тень, и тяжело вздохнула там.

Отирая ладонью красные, толстые губы, Петровна спросила:

– Рассердился будто?

– Не, – ответил дядя Петр. – Это он так себе...

Бабушка слезла с печи и стала молча подогревать самовар, а дядя Петр, не торопясь, говорил:

– Господа все такие – капризники!

Валей угрюмо буркнул:

– Холостой всегда дурит!

Все засмеялись, а дядя Пётр тянул:

– До слёз дошел. Видно – бывало, щука клевала, а ноне и плотва едва...

Стало скучно; какое-то уныние щемило сердце. Хорошее Дело очень удивил меня, было жалко его, – так ясно помни-

лись его утонувшие глаза.

Он не ночевал дома, а на другой день пришёл после обеда – тихий, измятый, явно сконфуженный.

– Вчера я шумел, – сказал он бабушке виновато, словно маленький. – Вы не сердитесь?

– На что же?

– А вот, что я вмешался, говорил?

– Вы никого не обидели...

Я чувствовал, что бабушка боится его, не смотрит в лицо ему и говорит необычно – тихо слишком.

Он подошёл вплоть к ней и сказал удивительно просто:

– Видите ли, я страшно один, нет у меня никого! Молчишь, молчишь, – и вдруг – вскипит в душе, прорвёт... Готов камню говорить, дереву...

Бабушка отодвинулась от него.

– А вы бы женились...

– Э! – воскликнул он, сморщившись, и ушёл, махнув рукой.

Бабушка, нахмурясь, поглядела вслед ему, понюхала табак и потом строго сказала мне:

– Ты, гляди, не очень вертись около него; бог его знает, какой он такой...

А меня снова потянуло к нему.

Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он сказал «страшно один»; в этих словах было что-то понятное мне, тронувшее меня за сердце, и я пошёл за ним.

Заглянул со двора в окно его комнаты, – она была пуста и похожа на чулан, куда наскоро, в беспорядке, брошены разные ненужные вещи, – такие же ненужные и странные, как их хозяин. Я пошёл в сад и там, в яме, увидел его; согнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колени, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна; бревно было засыпано землёю, а конец его, лоснясь углем, торчал в воздухе над жухлой полынью, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, ещё более располагало к этому человеку.

Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо, слепыми глазами филина, потом вдруг спросил как будто с досадой:

– За мной?

– Нет.

– А что же?

– Так.

Он снял очки, протёр их платком в красных и черных пятнах и сказал:

– Ну, полезай сюда!

Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи.

– Сиди... Будем сидеть и молчать – ладно? Вот это самое... Ты упрямый?

– Да.

– Хорошее дело!

Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий, один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда всё вокруг так цвети-

сто и так заметно линяет, беднеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытные, летние запахи, пахнет только холодной сыростью, воздух же странно прозрачен и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невеселые мысли. Всё немотно и тихо; каждый звук – шорох птицы, шелест упавшего листа – кажется громким, заставляет опасно вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замираешь в тишине она обняла всю землю и наполняет грудь. В такие минуты рождаются особенно чистые, лёгкие мысли, но они тонки, прозрачны, словно паутина, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звёзды, обжигая душу печалью о чём-то, ласкают её, тревожат, и тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь, тут создаётся её лицо.

Прижимаясь к тёплому боку нахлебника, я смотрел вместе с ним сквозь чёрные сучья яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечёток, видел, как щеглыята треплют маковки сухого репья, добывая его терпкие зерна, как с поля тянутся мохнатые, сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летят вороны ко гнездам, на кладбище. Всё было хорошо и как-то особенно – не по-всегдашнему – понятно и близко.

Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув:

– Славно, брат? То-то? А не сыро, не холодно?

А когда небо потемнело и все вокруг вспухло, наливаясь сырым сумраком, он сказал:

– Ну, будет! Идем...

У калитки сада он остановился, тихо говоря:

– Хороша у тебя бабушка, – о, какая земля!

Закрыв глаза и, улыбаясь, прочитал негромко, очень внят-

но:

Это ему в наказание дано:

Злого бы приказа не слушался,

За чужую совесть не прятался!..

– Ты, брат, запомни это, очень!

И, поталкивая меня вперёд, спросил:

– Ты писать умеешь?

– Нет.

– Научись. А научишься – записывай, что бабушка рассказывает, – это, брат, очень годится...

Мы подружились. С этого дня я приходил к Хорошему Делу, когда хотел, садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь; раскалив, куёт железные пластины на маленькой наковальне лёгким молотком с красивой ручкой, работает рашпилем, напильником, наждаком, и тонкой, как нитка, пилою... И всё взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки разные жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом, морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько тянет сиповатым голосом:

– О, роза Сарона...

– Это чего ты делаешь?

– Одну штуку, брат...

– Какую?

– А-а, видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял...

– Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь...

– Дедушка? Мм... Ну, это он пустяки говорит! Деньги, брат, – ерунда...

– А чем за хлеб платить?

– Н-да, брат, за хлеб надобно платить, верно...

– Видишь? И за говядину тоже...

– И за говядину...

Он тихонько удивительно мило смеется, щекочет меня за ухом, точно кутёнка, и говорит:

– Никак не могу я спорить с тобой, – забиваешь ты, брат, меня: давай лучше помолчим...

Иногда он прерывал работу, садился рядом со мною, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыши, на двор, заросший травой, как беднеют яблони, теряя лист. Говорил Хорошее Дело скупно, но всегда какими-то нужными словами; чаще же, желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая.

Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих толчков

локтём и от кратких слов все видимое кажется особо значительным, все крепко запоминается. Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на своё отражение, подняла мягкую лапу, точно ударить хочет его, Хорошее Дело говорит тихонько:

– Кошки горды и недоверчивы...

Золотисто-рыжий петух Мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упал и, обидевшись, сердито бормочет, вытянув шею.

– Важен генерал, а не очень умный...

Идёт неуклюжий Валея, ступая по грязи тяжело, как старая лошадь; скуластое лицо его надуто, он смотрит, прищурясь в небо, а оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч, – медная пуговица на куртке Валея горит, татарин остановился и трогает её кривыми пальцами.

– Точно медаль получил, любитесь...

Я быстро и крепко привязался к Хорошему Делу, он стал необходим для меня и во дни горьких обид, и в часы радостей. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всём, что приходило в голову мою, а дед всегда обрывал меня строгим окриком:

– Не болтай, бесова мельница!

Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого.

Хорошее Дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь:

– Ну, это, брат, не так, это ты сам выдумал...

И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы, – он как будто насквозь видел всё, что делалось в сердце и голове у меня, видел все лишние, неверные слова раньше, чем я успевал сказать их, видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами:

– Врёшь, брат!

Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность; бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю как бывшее, но он, послушав немножко, отрицательно качал головой:

– Ну, врешь, брат...

– А почему ты знаешь?

– Уж я, брат, вижу...

Часто, отправляясь на Сенную площадь за водой, бабушка брала меня с собою, и однажды мы увидели, как пятеро мещан бьют мужика, – свалили его на землю и рвут, точно собаки собаку. Бабушка сбросила вёдра с коромысла и, размахивая им, пошла на мещан, крикнув мне:

– Беги прочь!

Но я испугался, побежал за нею и стал швырять в мещан голышами, камнями, а она храбро тыкала мещан коромыслом, колотила их по плечам, по башкам. Вступились и ещё какие-то люди, мещане убежали, бабушка стала мыть избитого; лицо у него было растоптано, я и сейчас с отвращением вижу, как он прижимал грязным пальцем оторванную нозд-

рю, и выл, и кашлял, а из-под пальца брызгала кровь в лицо бабушке, на грудь ей; она тоже кричала, тряслась вся.

Когда я, придя домой, вбежал к нахлебнику и стал рассказывать ему, он бросил работу и остановился предо мной, подняв длинный напильник, как саблю, глядя на меня из-под очков пристально и строго, а потом вдруг прервал меня, говоря необычно внушительно:

– Прекрасно, именно так и было всё! Очень хорошо!

Потрясённый виденным, я не успел удивиться его словам и продолжал говорить, но он обнял меня и, расхаживая по комнате, спотыкаясь, заговорил:

– Довольно, больше не надо! Ты уж, брат, все сказал, что надо, понимаешь? Все!

Я замолчал, обидясь, но, подумав, с изумлением, очень памятным мне, понял, что он остановил меня вовремя: действительно я всё сказал.

– Ты, брат, на этих случаях не останавливайся, – это нехорошо запоминать! – сказал он.

Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мною на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге моем Ключникове, бойце из Новой улицы, толстом, большеголовом мальчишке, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он меня. Хорошее Дело внимательно выслушал горести мои и сказал:

– Это – ерунда; такая сила – не сила! Настоящая сила – в быстроте движения; чем быстрее, тем сильнее – понял?

В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и легко победил Ключникова. Это ещё более подняло мое внимание к словам нахлебника.

– Всякую вещь надо уметь взять, понимаешь? Это очень трудно – уметь взять!

Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные слова, именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное; ведь не требовалось никакого особого умения взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток!

А в доме Хорошее Дело всё больше не любили; даже ласковая кошка весёлой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я её бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал её не бояться человека.

– У меня одежда пахнет кислотами, вот кошка и не идёт ко мне, объяснял он, но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе, враждебно нахлебнику, неверно и обидно.

– Пошто ты торчишь у него? – сердито спрашивала бабушка. – Гляди, научит он тебя чему-нибудь...

А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось известно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил Хорошему Делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся к нему в доме.

– Бабушка тебя боится, она говорит – чернокнижник ты,

а дедушка тоже, что ты богу враг и людям опасный...

Он дергал головою, как бы отгоняя мух; на меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах.

– Я, брат, вижу уж! – тихонько говорил он. – Это, брат, грустно, а?

– Да!

– Грустно, брат...

Наконец его выжили.

Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона.

– Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю...

– Зачем?

Он пристально посмотрел на меня, говоря:

– Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери...

– Это кто сказал?

– Дедушка...

– Врёт он!

Хорошее Дело потянул меня за руку к себе, и, когда я сел на пол, он заговорил тихонько:

– Не сердись! А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне; это нехорошо, подумал я...

Было грустно и досадно на него за что-то.

– Послушай-ко, – почти шёпотом говорил он, улыбаясь, – ты помнишь, я тебе сказал – не ходи ко мне? Я кивнул го-

ЛОВОЙ.

– Обиделся ты на меня, да?

– Да...

– А я, брат, не хотел тебя обидеть; я, видишь ли, знал: если ты со мной подружишься, твои станут ругать тебя, – так? Было так? Ты понял, почему я сказал это?

Он говорил, словно маленький, одних лет со мною; а я страшно обрадовался его словам; мне даже показалось, что я давно, еще тогда, понял его; я так и сказал:

– Это я давно понял!

– Ну, вот! Так-то, брат. Вот это самое, голубчик...

У меня нестерпимо заныло сердце.

– Отчего они не любят тебя никто?

Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув:

– Чужой – понимаешь? Вот за это самое. Не такой...

Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать.

– Не сердись, – повторил он и шёпотом, на ухо, добавил:

– Плакать тоже не надо...

А у самого тоже слёзы текут из-под мутных очков.

И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами.

Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавшей колёсами кочки мёрзлой грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей.

– Уйди! – кричала она, натыкаясь на меня.

– Вы зачем прогнали его?

– А ты поговори!

– Дураки вы все, – сказал я.

Она стала шлёпать меня мокрой тряпкой, крича:

– Да ты ошалел, пострел!

– Не ты, а все другие дураки, – поправился я, но это её не успокоило.

За ужином дед говорил:

– Ну, слава богу! А то, бывало, как увижу его, – нож в сердце: ох, надобно выгнать!

Я со зла изломал ложку и снова потерпел.

Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране, – лучших людей её...

IX

В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные простые, серые люди сносили, как пчёлы, мёд своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем мог. Часто мёд этот бывал грязен и горек, но всякое знание – всё-таки мёд.

После отъезда Хорошего Дела со мною подружился дядя Пётр. Он был похож на деда: такой же сухонький, аккуратный, чистый, но был он ниже деда ростом и весь меньше его; он походил на подростка, нарядившегося для шутки стариком. Лицо у него было плетёное, как решето, всё из тонких кожаных жгутиков, между ними прыгали, точно чижы в клетке, смешные бойкиё глаза с желтоватыми белками. Сивые волосы его курчавились, бородка вилась кольцами; он курил трубку, дым её – одного цвета с волосами – тоже завивался, и речь его была кудрява, изобилуя прибаутками. Говорил он жужжащим голосом и будто ласково, но мне всегда казалось, что он насмешничает надо всеми.

– В начале годов повелела мне барыня-графиня, Татьяна, свет, Лексевна, «будь кузнецом», а спустя некоторое время приказывает: «Помогай садовнику!» Ладно; только, как мужика ни положишь – всё не хорош! В другое время она говорит: «Тебе, Петрушка, рыбу ловить!» А для меня всё едино, я и рыбу... Однако только я прирастался – прощай рыба, спа-

сибо; а мне – в город ехать, в извозчики, на оброк. Ну, что ж, в извозчики, а – ещё как? А ещё уж ничего не успели мы с барыней переменить, подошла воля и остался при лошади, теперь она у меня за графиню ходит.

Была она старенькая, и точно её, белую, однажды начал красить разными красками пьяный маляр, – начал, да и не кончил. Ноги у неё были вывихнуты, и вся она – из тряпок шита, костлявая голова с мутными глазами печально опущена, слабо пристёгнутая к туловищу вздутыми жилами и старой, вытертой кожей. Дядя Пётр относился к ней почтительно, не бил и называл Танькой.

Дед сказал ему однажды:

– Ты что это скота христианским именем зовёшь?

– Никак, Василь Васильев, никак, почтенный! Христианского такого имени нет – Танька, а есть – Татиана!

Дядя Пётр тоже был грамотен и весьма начитан от Писания, они всегда спорили с дедом, кто из святых кого святее; осуждали, один другого строже, древних грешников; особенно же доставалось – Авессалому. Иногда споры принимали характер чисто грамматический, дедушка говорил: «согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом», а дядя Пётр утверждал, что надо говорить «согресишиа, беззаконноваша, неправдоваша».

– Ино дело – по-моему, ино – по-твоему! горячился дед, багровея, и дразнил: – Вашá, шишá!

Но дядя Пётр, окружаясь дымом, ехидно спрашивал:

– А чем лучше хомы твои? Нисколько они богу не лучше!
Бог-от, может, молитву слушая, думает: молись как хошь, а цена тебе – грош!

– Уйди, Лексей! – яростно кричал дед, сверкая зелёными глазами.

Пётр очень любил чистоту, порядок; идя по двору, он всегда откидывал в сторону ударом ноги щепки, черепки, кости, – откидывал и упрекал вдогонку:

– Лишняя вещь, а – мешаешь!

Он был словоохотлив, казался добрым, весёлым, но порою глаза его наливались кровью, мутнели и останавливались, как у мёртвого. Бывало, сидит он где-нибудь в углу, в темноте, скорчившись, угрюмый, немой, как его племянник.

– Ты – что, дядя Пётр?

– Отойди, – говорил он глухо и строго.

В одном из домиков нашей улицы поселился какой-то барин, с шишкой на лбу и чрезвычайно странной привычкой: по праздникам он садился у окна и стрелял из ружья дробью в собак, кошек, кур, ворон, а также и в прохожих, которые не нравились ему. Однажды он осеял бекасинником бок Хорошего Дела; дробь не пробилла кожаной куртки, но несколько штук очутилось в кармане её; я помню, как внимательно хлебник рассматривал сквозь очки сизые дробины. Дед стал уговаривать его жаловаться, но он сказал, отбросив дробины в угол кухни:

– Не стоит.

Другой раз стрелок всадил несколько дробинок в ногу дедушке; дед рассердился, подал прошение мировому, стал собирать в улице потерпевших и свидетелей, но барин вдруг исчез куда-то.

И вот, каждый раз, когда на улице бухали выстрелы, дядя Пётр – если был дома – поспешно натягивал на сивую голову праздничный выгоревший картуз, с большим козырьком, и торопливо бежал за ворота. Там он прятал руки за спину под кафтан и, приподняв его, как петушиный хвост, выпятив живот, солидно шёл по тротуару мимо стрелка; пройдёт, воротится назад и снова. Мы, весь дом, стоим у ворот, из окна смотрит синее лицо военного, над ним – белокурая голова его жены; со двора Бетленга тоже вышли какие-то люди, только серый, мёртвый дом Овсянникова не показывает никого.

Иногда дядя Пётр гуляет без успеха, – охотник, видимо, не признаёт его дичью, достойной выстрела, но порою двустольное ружьё бухает раз за разом:

– Бух-бух...

Не ускоряя шага, дядя Пётр подходит к нам и, очень довольный, говорит:

– В полу хлестнул!

Однажды дробь попала ему в плечо и шею; бабушка, выковыривая её иголкой, журила дядю Петра:

– Что ты ему, дикому, потакаешь? А ну он глаз тебе выбьет!

– Не-е, никак, Акулина Иванна, – пренебрежительно тянул Пётр. – Он стрелок никакой...

– Да ты-то по́што балуешь его?

– Я разве балую? Мне охота подразнить барина...

И, разглядывая на ладони извлечённые дробины, говорил.

– Никакой стрелец! А вот у барыни-графини, Татьян Лексевны, состоял временно в супружеской должности, – она мужьёв меняла вроде бы лакеев, – так состоял при ней, говорю, Мамонт Ильич, военный человек, ну – он правильно стрелял! Он, бабушка, пулями, не иначе! Поставит Игнашку-дурачка за далеко, шагов, может, за сорок, а на пояс дураку бутылку привяжет так, что она у него промеж ног висит, а Игнашка ноги раскорячит, смеётся по глупости. Мамонт Ильич наведёт пистолет – бац! Хряснула бутылка. Только, единова, овод, что ли, Игнашку укусил – дёрнулся он, а пуля ему в коленку, в самую в чашечку! Позвали лекаря, сейчас он ногу отчекрыжил – готово! Схоронили её...

– А дурачок?

– Он – ничего. Дураку ни ног, ни рук не надо, он и глупостью своей сытно кормится. Глупого всякий любит, глупость безобидна. Сказано: и дьяк и повытчик, коли дурак – так не обидчик...

Бабушку эдакие рассказы не удивляли, она сама знала их десятки, а мне становилось немножко жутко, я спрашивал Петра:

– А до смерти убить может барин?

– Отчего не мочь? Мо-ожет. Они даже друг друга бьют. К Татьян Лексевне приехал улан, повздорили они с Мамонтом, сейчас пистолеты в руки, пошли в парк, там, около пруда, на дорожке, улан этот бац Мамонту – в самую печень! Мамонта – на погост, улана – на Кавказ, – вот те и вся недолга! Это они сами себя! А про мужиков и прочих – тут уж нечего говорить! Теперь им поди – особо не жаль людей-то, не ихние стали люди, ну, а прежде всё-таки жалели – своё добро!

– Ну, и тогда не больно жалели, – говорит бабушка.

Дядя Пётр соглашается:

– И это верно: свое добро, да – дешёвое...

Ко мне он относился ласково, говорил со мною добродушнее, чем с большими, и не прятал глаз, но что-то не нравилось мне в нём. Угощая всех любимым вареньем, намазывал мой ломоть хлеба гуще, привозил мне из города солодовые пряники, маковую сбойну и беседовал со мною всегда серьёзно, тихонько.

– Как жить будем, сударик? В солдаты пойдёшь али в чиновники?

– В солдаты.

– Это – хорошо. Теперь и солдату не трудно стало. В попы тоже хорошо, покрикивай себе – осподи помилуй, – да и вся недолга! Попу даже легче, чем солдату, а ещё того легче – рыбаку; ему вовсе никакой науки не надо – была бы привычка!..

Он забавно изображал, как ходят рыбы вокруг наживки,

как бьются, попав на крючок, окуни, голавли, лещи.

– Вот ты сердисься, когда тебя дедушко высекет, – утешительно говорил он. – Сердиться тут, сударик, никак не надобно, это тебя для науки секут, и это сечение – детское! А вот госпожа моя Татьян Лексевна – ну, она секла знаменито! У неё для того нарочный человек был, Христофором звали, такой мастак в деле своём, что его, бывало, соседи из других усадеб к себе просят у барыни-графини: отпустите, сударыня Татьян Лексевна, Христофора дворню посечь! И отпускала.

Он безобидно и подробно рассказывал, как барыня, в кисейном белом платье и воздушном платочке небесного цвета, сидела на крылечке с колонками, в красном креслице, а Христофор стегал перед нею баб и мужиков.

– И был, сударик, Христофор этот, хоша рязанской, ну вроде цыгана али хохла, усы у него до ушей, а рожа – синяя, бороду брил. И не то он дурачок, не то притворялся, чтобы лишнего не спрашивали. Бывало, в кухне нальёт воды в чашку, поймает муху, а то – таракана, жука какого и – топит их прутиком, долго топит. А то – собственную серую изымет из-за шиворота её топит...

Такие и подобные рассказы были уже хорошо знакомы мне, я много слышал их из уст бабушки и деда. Разнообразные, они все странно схожи один с другим: в каждом мучили человека, издевались над ним, гнали его. Мне надоели эти рассказы, слушать их не хотелось, и я просил извозчика:

– Расскажи другое!

Он собирал все свои морщины ко рту, потом поднимал их до глаз и соглашался:

– Ладно, жадный, – другое. Вот был у нас повар...

– У кого?

– У графини Татьян Лексевны.

– Зачем ты её зовешь Татьян? Разве она мужчина?

Он смеялся тоненько.

– Конечно – барыня она, однако – были у ней усики. Чёрненькие, – она из чёрных немцев родом, это народец вроде арапов. Так вот – повар: это, сударик, будет смешная история...

Смешная история заключалась в том, что повар испортил кулебяку и его заставили съесть её всю сразу; он съел и захворал.

Я сердился:

– Это вовсе не смешно!

– А что смешно? Ну-ко, скажи!

– Я не знаю...

– Тогда – молчи!

Он снова плёл скучную паутину.

Иногда, по праздникам, приходили гости братья – печальный и ленивый Саша Михайлов, аккуратный, всезнающий Саша Яковов. Однажды, путешествуя втроём по крышам построек, мы увидели на дворе Бетленга барина в меховом зелёном сюртуке; сидя на куче дров у стены, он играл со щенками; его маленькая, лысая, желтая голова была непокрыта.

Кто-то из братьев предложил украсть одного щенка, и тотчас составиля остроумный план кражи; братья сейчас же выйдут на улицу к воротам Бетленга, я испугаю барина, а когда он, в испуге, убежит, они ворвутся во двор и схватят щенка.

– Как испугать?

Один из братьев предложил:

– Ты поплюй ему на лысину!

Велик ли грех наплевать человеку на голову? Я многократно слышал и сам видел, что с ним поступают гораздо хуже, и, конечно, я честно выполнил взятую на себя задачу.

Был великий шум и скандал, на двор к нам пришла из дома Бетленга целая армия мужчин и женщин, её вёл молодой, красивый офицер, и так как братья в момент преступления смиренно гуляли по улице, ничего не зная о моем диком озорстве, – дедушка выпорол одного меня, отменно удовлетворив этим всех жителей Бетленгова дома.

Когда я, побитый, лежал в кухне на полатях, ко мне влез празднично одетый и весёлый дядя Пётр.

– Это ты ловко удумал, сударик! – шептал он. – Так ему и надо, старому козлу, так его, – плюй на них! Ещё бы – камнем по гнилой-то башке!

Предо мною стояло круглое, безволосое, ребячье лицо барина, я помнил, как он, подобно щенку тихонько и жалобно взвизгивал, отирая жёлтую лысину маленькими ручками, мне было нестерпимо стыдно, я ненавидел братьев, но всё это сразу забылось, когда я разглядел плетёное лицо извоз-

чика: оно дрожало так же пугающе противно, как лицо деда, когда он сёк меня.

– Уйди! – закричал я, сталкивая Петра руками и ногами. Он захихикал, замигал и слез с полатей.

С той поры у меня пропало желание разговаривать с ним, я стал избегать его и, в то же время, начал подозрительно следить за извозчиком, чего-то смутно ожидая.

Вскоре после истории с барином случилась ещё одна. Меня давно уже занимал тихий дом Овсянникова, мне казалось, что в этом сером доме течёт особенная, таинственная жизнь сказок.

В доме Бетленга жили шумно и весело, в нём было много красивых барынь, к ним ходили офицеры, студенты, всегда там смеялись, кричали и пели, играла музыка. И самое лицо дома было весёлое, стёкла окон блестели ясно, зелень цветов за ними была разнообразно ярка. Дедушка не любил этот дом.

– Еретики, безбожники, – говорил он о всех его жителях, а женщин называл гадким словом, смысл которого дядя Пётр однажды объяснил мне тоже очень гадко и злорадно.

Строгий и молчаливый дом Овсянникова внушал деду почтение.

Этот одноэтажный, но высокий дом вытянулся во двор, заросший дёрном, чистый и пустынный, с колодцем среди него, под крышей на двух столбиках. Дом точно отодвинулся с улицы, прячась от неё. Три его окна, узкие и прорезанные

арками, были высоко над землёй, и стёкла в них – мутные, окрашены солнцем в радугу. А по другую сторону ворот стоял амбар, совершенно такой же по фасаду, как и дом, тоже с тремя окнами, но фальшивыми: на серую стену набиты наличники, и в них белой краской нарисованы переплёты рам. Эти слепые окна были неприятны, и весь амбар снова намекал, что дом хочет спрятаться, жить незаметно. Что-то тихое и обиженное или тихое и гордое было во всей усадьбе, в её пустых конюшнях, в сараях с огромными воротами и тоже пустых.

Иногда по двору ходил, прихрамывая, высокий старик, бритый, с белыми усами, волосы усов торчали, как иголки. Иногда другой старик, с баками и кривым носом, выводил из конюшни серую длинноголовую лошадь; узкогрудая, на тонких ногах, она, выйдя на двор, кланялась всему вокруг, точно смиренная монахиня. Хромой звонко шлёпал её ладонью, свистел, шумно вздыхал, потом лошадь снова прятали в тёмную конюшню. И мне казалось, что старик хочет уехать из дома, но не может, заколдован.

Почти каждый день на дворе, от полудня до вечера, играли трое мальчиков; одинаково одетые в серые куртки и штаны, в одинаковых шапочках, круглолицые, сероглазые, похожие друг на друга до того, что я различал их только по росту.

Я наблюдал за ними в щели забора, они не замечали меня, а мне хотелось, чтобы заметили. Нравилось мне, как хорошо, весело и дружно они играют в незнакомые игры, нравились

их костюмы, хорошая заботливость друг о друге, особенно заметная в отношении старших к маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал – они смеялись, как всегда смеются над упавшим, но смеялись не злорадно, тотчас же помогали ему встать, а если он выпачкал руки или колена, они вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками, а средний мальчик добродушно говорил:

– Вот ус неуклюзый!..

Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один другого, и все трое были очень ловки, сильны, неутомимы. Однажды я влез на дерево и свистнул им, – они остановились там, где застал их свист, потом сошлись не торопясь и, поглядывая на меня, стали о чём-то тихонько совещаться. Я подумал, что они станут швырять в меня камнями, спустился на землю, набрал камней в карманы, за пазуху и снова влез на дерево, но они уже играли далеко от меня в углу двора и, видимо, забыли обо мне. Это было грустно, однако мне не хотелось начать войну первому, а вскоре кто-то крикнул им в форточку окна:

– Дети, – марш домой!

Они пошли не торопясь и покорно, точно гуси.

Много раз сидел я на дереве над забором, ожидая, что вот они позовут меня играть с ними, – а они не звали. Мысленно я уже играл с ними, увлекаясь иногда до того, что вскрикивал и громко смеялся; тогда они, все трое, смотрели на меня, тихонько говоря о чём-то, а я, сконфуженный, спускался на

землю.

Однажды они начали игру в прятки, очередь искать выпала среднему, он встал в угол за амбаром и стоял честно, закрыв глаза руками, не подглядывая, а братья его побежали прятаться. Старший быстро и ловко залез в широкие пошевни, под навесом амбара, а маленький, растерявшись, смешно бегал вокруг колодца не видя, куда девать себя.

– Раз, – кричал старший, – два...

Маленький вспрыгнул на сруб колодца, схватился за верёвку, забросил ноги в пустую бадью, и бадья, глухо постукивая по стенкам сруба, исчезла.

Я обомлел, глядя, как быстро и бесшумно вертится хорошо смазанное колесо, но быстро понял, что может быть, и соскочил к ним во двор, крича:

– Упал в колодезь!..

Средний мальчик подбежал к срубу в одно время со мной, вцепился в веревку, его дернуло вверх, обожгло ему руки, но я уже успел перенять верёвку, а тут подбежал старший; помогая мне вытягивать бадью, он сказал:

– Тихонько, пожалуйста!..

Мы быстро вытянули маленького, он тоже был испуган; с пальцев правой руки его капала кровь, щека тоже сильно ссажена, был он по пояс мокрый, бледен до синевы, но улыбался, вздрагивая, широко раскрыв глаза, улыбался и тянул:

– Ка-ак я па-ада-ал...

– Ты с ума сосол, вот сто, – сказал средний, обняв его и

стирая платком кровь с лица, а старший, нахмурясь, говорил:

– Идём, всё равно не скроешь...

– Вас будут бить? – спросил я.

Он кивнул головой, потом сказал, протянув мне руку:

– Ты очень быстро прибежал!

Обрадованный похвалой, я не успел взять его руку, а он уже снова говорил среднему брату:

– Идем, он простудится! Мы скажем, что он упал, а про колодезь – не надо!

– Да, не надо, – согласился младший, вздрагивая. – Это я упал в лужу, да?

Они ушли.

Всё это разыгралось так быстро, что когда я взглянул на сучок, с которого соскочил во двор, он еще качался, сбрасывая жёлтый лист.

С неделю братья не выходили во двор, а потом явились более шумные, чем прежде; когда старший увидел меня на дереве, он крикнул ласково:

– Иди к нам!

Мы забрались под навес амбара, в старые пошевни, и, приглядываясь друг ко другу, долго беседовали.

– Били вас? – спросил я.

– Досталось, – ответил старший.

Трудно было поверить, что этих мальчиков тоже бьют, как меня, было обидно за них.

– Зачем ты ловишь птиц? – спрашивал младший.

– Они поют хорошо.

– Нет, ты не лови, пускай лучше они летают, как хотят...

– Ну, ладно, не буду!

– Только ты прежде поймай одну и подари мне.

– Тебе – какую?

– Весёлую. И в клетке.

– Значит – это чиж.

– Коска съест, – сказал младший. – И папа не позволит.

Старший согласился:

– Не позволит...

– А мать у вас есть?

– Нет, – сказал старший, но средний поправил его:

– Есть, только – другая, не наша, а нашей – нет, она померла.

– Другая называется – мачеха, – сказал я; старший кивнул головою:

– Да.

И все трое задумались, отемнели.

По сказкам бабушки я знал, что такое мачеха, и мне была понятна эта задумчивость. Они сидели плотно друг с другом, одинаковые, точно цыплята; а я вспомнил ведьму-мачеху, которая обманом заняла место родной матери, и пообещал им:

– Ещё вернётся родная-то, погодите!

Старший пожал плечами:

– Если умерла? Этого не бывает...

Не бывает? Господи, да сколько же раз мёртвые, даже изрубленные на куски, воскресали, если их sprыснуть живою водою, сколько раз смерть была не настоящая, не божья, а от колдунов и колдуний!

Я начал возбуждённо рассказывать им бабушкины истории; старший сначала всё усмехался и говорил тихонько:

– Это мы знаем, это – сказки...

Его братья слушали молча, маленький – плотно сжав губы и надувшись, а средний, опираясь локтем в колено, – наклонился ко мне и пригибал брата рукою, закинутой за шею его.

Уже сильно за вечерело, красные облака висели над крышами, когда около нас явился старик с белыми усами, в коричневой, длинной, как у попа, одежде и в меховой, мохнатой шапке.

– Это кто такое? – спросил он, указывая на меня пальцем.

Старший мальчик встал и кивнул головою на дедов дом:

– Он – оттуда...

– Кто его звал?

Мальчики, все сразу, молча вылезли из пошевней и пошли домой, снова напомнив мне покорных гусей.

Старик крепко взял меня за плечо и повёл по двору к воротам; мне хотелось плакать от страха пред ним, но он шагал так широко и быстро, что я не успел заплакать, как уже очутился на улице, а он, остановясь в калитке, погрозил мне пальцем и сказал:

– Не смей ходить ко мне!

Я рассердился:

– Вовсе я не к тебе хожу, старый чёрт!

Длинной рукою своей он снова схватил меня и повёл по тротуару, спрашивая, точно молотком колотя по голове моей:

– Твой дед дома?

На моё горе дед оказался дома; он встал пред грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперёд, и торопливо говорил, глядя в глаза, тусклые и круглые, как семишники:

– Мать у него – в отъезде, я человек занятой, глядеть за ним некому, уж вы простите, полковник!

Полковник крякнул на весь дом, повернулся, как деревянный столб, и ушёл, а меня, через некоторое время, выбросило на двор, в телегу дяди Петра.

– Опять нарвался, сударик? – спрашивал он, распрягая лошадь. – За что бит?

Когда я рассказал ему – за что, он вспыхнул и зашипел:

– А ты на што подружился с ними? Они – барчуки-змеёныши; вон как тебя за них! Ты теперь сам их отдуй – чего глядеть!

Он шипел долго; обозлённый побоями, я сначала слушал его сочувственно, но его плетёное лицо дрожало всё неприятней и напомнило мне, что мальчиков тоже побьют и что они предо мной неповинны.

– Их бить – не нужно, они хорошие, а ты врешь всё, –

сказал я.

Он поглядел на меня и неожиданно крикнул:

– Пошёл прочь с телеги!

– Дурак ты! – крикнул я, соскочив на землю.

Он стал бегать за мною по двору, безуспешно пытаюсь поймать, бегал и неестественно кричал:

– Дурак я? Вру я? Так я ж тебя...

На крыльцо кухни вышла бабушка, я сунулся к ней, а он начал жаловаться:

– Никакого житья нет мне от парнишки! Я его до пяти раз старше, а он меня – по матушке и всяко... и вралём...

Когда в глаза мне лгали, я терялся и глупел от удивления; потерялся и в эту минуту, но бабушка твёрдо сказала:

– Ну, это ты, Пётр, и впрямь врешь, – зазорно он тебя не ругал!

Дедушка поверил бы извозчику.

С того дня у нас возникла молчаливая, злая война: он старался будто нечаянно толкнуть меня, задеть вожжами, выпускал моих птиц, однажды стравил их кошке и по всякому поводу жаловался на меня деду, всегда привирая, а мне всё чаще казалось, что он такой же мальчишка, как я, только наряжен стариком. Я расплетал ему лапти, незаметно раскручивал и надрывал оборы, и они рвались, когда Пётр обувался; однажды насыпал в шапку ему перцу, заставив целый час чихать, вообще старался, по мере сил и разумения, не остаться в долгу у него. По праздникам он целые дни зорко

следил за мною и не однажды ловил меня на запрещённом – на сношениях с барчуками; ловил и шёл ябедничать к деду.

Знакомство с барчуками продолжалось, становясь всё приятней для меня. В маленьком закоулке, между стеною дедова дома и забором Овсянникова, росли вяз, липа и густой куст бузины; под этим кустом я прорезал в заборе полукруглое отверстие, братья поочерёдно или по двое подходили к нему, и мы беседовали тихонько, сидя на корточках или стоя на коленях. Кто-нибудь из них всегда следил, как бы полковник не застал нас врасплох.

Они рассказывали о своей скучной жизни, и слышать это мне было очень печально; говорили о том, как живут наловленные мною птицы, о многом детском, но никогда ни слова не было сказано ими о мачехе и отце, – по крайней мере я этого не помню.

Чаще же они просто предлагали мне рассказать сказку; я добросовестно повторял бабушкины истории, а если забывал что-нибудь, то просил их подождать, бежал к бабушке и спрашивал её о забытом. Это всегда было приятно ей.

Я много рассказывал им и про бабушку; старший мальчик сказал однажды, вздохнув глубоко:

– Бабушки, должно быть, все очень хорошие, – у нас тоже хорошая была...

Он так часто и грустно говорил: было, была, бывало, точно прожил на земле сто лет, а не одиннадцать. У него были, помню, узкие ладони, тонкие пальцы, и весь он – тонкий,

хрупкий, а глаза – очень ясные, но кроткие, как огоньки лампадок церковных. И братья его были тоже милые, тоже вызывали широкое доверчивое чувство к ним, – всегда хотелось сделать для них приятное, но старший больше нравился мне.

Увлечённый разговором, я часто не замечал, как появлялся дядя Пётр и разгонял нас тягучим возгласом:

– О-опя-ать?

Я видел, что с ним всё чаще повторяются припадки угрюмого оцепенения, даже научился заранее распознавать, в каком духе он возвращается с работы: обычно он отворял ворота не торопясь, петли их визжали длительно и лениво, если же извозчик был не в духе, петли взвизгивали кратко, точно охая от боли.

Его немой племянник уехал в деревню жениться; Пётр жил один над конюшней, в низенькой конуре с крошечным окном, полной густым запахом прелой кожи, дёгтя, пота и табака, – из-за этого запаха я никогда не ходил к нему в жилище. Спал он теперь не гася лампу, что очень не нравилось деду.

– Гляди, сожжёшь ты меня, Пётр!

– Никак, будь покоен! Я огонь на ночь в чашку с водой ставлю, – отвечал он, глядя в сторону.

Он теперь вообще смотрел всё как-то вбок и давно перестал посещать бабушкины вечера; не угощал вареньем, лицо его ссохлось, морщины стали глубже, и ходил он качаясь, загибая ногами, как больной.

Однажды, в будний день, поутру, я с дедом разгребал на дворе снег, обильно выпавший за ночь – вдруг щеколда калитки звучно, по-особенному, щёлкнула, на двор вошёл полицейский, прикрыл калитку спиной и поманил деда толстым серым пальцем. Когда дед подошёл, полицейский наклонил к нему носатое лицо и, точно долбя лоб деда, стал неслышно говорить о чём-то, а дед торопливо отвечал:

– Здесь! Когда? Дай бог память...

И вдруг, смешно подпрыгнув, он крикнул:

– Господи помилуй, неужто?

– Тише, – строго сказал полицейский.

Дед оглянулся, увидал меня.

– Прибери лопаты да ступай домой!

Я спрятался за угол, а они пошли в конуру извозчика, полицейский снял с правой руки перчатку и хлопал ею по ладони левой, говоря:

– Он – понимает; лошадь бросил, а сам – скрылся вот...

Я побежал в кухню рассказать бабушке все, что видел и слышал, она месила в квашне тесто на хлебы, покачивая опылённой головою, выслушав меня, она спокойно сказала:

– Украл, видно, чего-нибудь... Иди гуляй, что тебе!

Когда я снова выскочил во двор, дед стоял у калитки, сняв картуз, и крестился, глядя в небо. Лицо у него было сердитое, ошетилившееся, и одна нога дрожала.

– Я сказал – пошёл домой! – крикнул он мне, притопнув.

И сам пошёл за мною, а войдя в кухню, позвал:

– Подь-ка сюда, мать!

Они ушли в соседнюю комнату, долго шептались там, и, когда бабушка снова пришла в кухню, мне стало ясно, что случилось что-то страшное.

– Ты чего испугалась?

– Молчи знай, – тихонько ответила она.

Весь день в доме было нехорошо, боязно; дед и бабушка тревожно переглядывались, говорили тихонько и непонятно, краткими словами, которые ещё более сгущали тревогу.

– Ты, мать, зажги-ко лампадки везде, – приказывал дед, покашливая.

Обедали нехотя, но торопливо, точно ожидая кого-то; дед устало надувал щёки, крякал и ворчал:

– Силён дьявол противу человека! Ведь вот и благочестив будто и церковник, а – на-ко ты, а?

Бабушка вздыхала.

Томительно долго таял этот серебристо-мутный зимний день, а в доме становилось всё беспокойней, тяжелее.

Перед вечером пришёл полицейский, уже другой, рыжий и толстый, он сидел в кухне на лавке, дремал, посапывая и кланяясь, а когда бабушка спрашивала его: «Как же это дознались?» – он отвечал не сразу и густо:

– У нас до всего дознаются, не беспокойтесь!

Помню, я сидел у окна и, нагревая во рту старинный грош, старался отпечатать на льду стекла Георгия Победоносца, поражавшего змея.

Вдруг в сенях тяжело зашумело, широко распахнулась дверь, и Петровна оглушительно крикнула с порога:

– Глядите, что у вас на задах-то!

Увидав будочника, она снова метнулась в сени, но он схватил её за юбку и тоже испуганно заорал:

– Постой, – кто такая? Чего глядеть?

Запнувшись за порог, она упала на колени и начала кричать, захлёбываясь словами и слезами:

– Иду коров доить, вижу: что это у Кашириных в саду вроде сапога?

Тут яростно закричал дед, топая ногами:

– Врёшь, дура! Не могла ты ничего в саду видеть, забор высокий, щелей в нём нет, врёшь! Ничего у нас нет!

– Батюшка! – выла Петровна, протягивая одну руку к нему, а другой держась за голову. – Верно, батюшка, вру ведь я! Иду я, а к вашему забору следы, и снег обмят в одном месте, я через забор и заглянула, и вижу – лежит он...

– Кто-о?

Этот крик длился страшно долго, и ничего нельзя было понять в нём; но вдруг все, точно обезумев, толкая друг друга, бросились вон из кухни, побежали в сад, – там в яме, мягко выстланной снегом, лежал дядя Пётр, прислонясь спиной к обгорелому бревну, низко свесив голову на грудь. Под правым ухом у него была глубокая трещина, красная, словно рот; из неё, как зубы, торчали синеватые кусочки; я прикрыл глаза со страха и сквозь ресницы видел в коленях Петра зна-

комый мне шорный нож, а около него скрюченные, тёмные пальцы правой руки; левая была отброшена прочь и утонула в снегу. Снег под извозчиком обтаял, его маленькое тело глубоко опустилось в мягкий, светлый пух и стало ещё более детским. С правой стороны от него на снегу краснел странный узор, похожий на птицу, а с левой снег был ничем не тронут, гладок и ослепительно светел. Покорно склонённая голова упиралась подбородком в грудь, примяв густую курчавую бороду, на голой груди в красных потоках застывшей крови лежал большой медный крест. От шума голосов тяжело кружилась голова; непрерывно кричала Петровна, кричал полицейский, посылая куда-то Валея, дед кричал:

– Не топчите следов!

Но вдруг нахмурился и, глядя под ноги себе, громко и властно сказал полицейскому:

– А ты зря орёшь, служивый! Здесь божье дело, божий суд, а ты со своей дрянью разной, – эх вы-и!

И все сразу замолчали, все уставились на покойника, вздыхая, крестясь.

Со двора в сад бежали какие-то люди, они лезли через забор от Петровны, падали, урчали, но всё-таки было тихо до поры, пока дед, оглянувшись вокруг, не закричал в отчаянии:

– Соседи, что же это вы малинник-то ломаете, как же это не совестно вам!

Бабушка взяла меня за руку и, всхлипывая, повела в

дом...

– Что он сделал? – спросил я; она ответила:

– Али не видишь...

Весь вечер до поздней ночи в кухне и комнате рядом с нею толпились и кричали чужие люди, командовала полиция, человек, похожий на дьякона, писал что-то и спрашивал, крикая, точно утка:

– Как? Как?

Бабушка в кухне угощала всех чаем, за столом сидел круглый человек, рябой, усатый, и скрипучим голосом рассказывал:

– Настоящее имя-прозвище его неизвестно, только дознаю, что родом он из Елатымы. А Немой – вовсе не немой и во всём признался. И третий признался, тут ещё третий есть. Церкви они грабили давным-давно, это главное их мастерство...

– О господи, – вздыхала Петровна, красная и мокрая.

Я лежал на полотах, глядя вниз, все люди казались мне коротенькими, толстыми и страшными...

Х

Однажды в субботу, рано утром, я ушёл в огород Петровны ловить снегирей; ловил долго, но красногрудые, важные птицы не шли в западню; поддразнивая свою красотой, они забавно расхаживали по среброкованому насту, взлетали на сучья кустарника, тепло одетые инеем, и качались на них, как живые цветы, осыпая синеватые искры снега. Это было так красиво, что неудача охоты не вызывала досаду; охотник я был не очень страстный, процесс нравился мне всегда больше, чем результат; я любил смотреть, как живут пичужки, и думать о них.

Хорошо сидеть одному на краю снежного поля, слушая, как в хрустальной тишине морозного дня щебечут птицы, а где-то далеко поёт, улетаая, колокольчик проезжей тройки, грустный жаворонок русской зимы...

Продрогнув на снегу, чувствуя, что обморозил уши, я собрал западни и клетки, перелез через забор в дедов сад и пошёл домой, – ворота на улицу были открыты, огромный мужик сводил со двора тройку лошадей, запряжённых в большие крытые сани, лошади густо курились паром, мужик весело посвистывал, – у меня дрогнуло сердце.

– Кого привёз?

Он обернулся, поглядел на меня из-под руки, вскочил на облучок и сказал:

– Попа!

Ну, это меня не касалось; если поп, то, наверное, к постояльцам.

– Эх, курочки-и! – закричал, засвистел мужик, трогая лошадей вожжами, наполнив тишину весельем; лошади дружно рванули в поле, я поглядел вслед им, прикрыл ворота, но когда вошёл в пустую кухню, рядом в комнате раздался сильный голос матери, её отчётливые слова:

– Что же теперь – убить меня надо?

Не раздеваясь, бросив клетки, я выскочил в сени, наткнулся на деда; он схватил меня за плечо, заглянул в лицо мне дикими глазами и, с трудом проглотив что-то, сказал хрипло:

– Мать приехала, ступай! Постой... – Качнул меня так, что я едва устоял на ногах, и толкнул к двери в комнату: – Иди, иди...

Я ткнулся в дверь, обитую войлоком и клеёнкой, долго не мог найти скобу, шаря дрожащими от холода и волнения руками, наконец тихонько открыл дверь и остановился на пороге, ослеплённый.

– Вот он, – говорила мать. – Господи, какой большущий! Что, не узнаёшь? Как вы его одеваете, ну уж... Да у него уши белые! Мамаша, дайте гусяного сала скорей...

Она стояла среди комнаты, наклонясь надо мною, сбрасывая с меня одежду, повёртывая меня, точно мяч; её большое тело было окутано тёплым и мягким красным платьем, широким, как мужицкий чапан, его застёгивали большие чёр-

ные пуговицы от плеча и – наискось – до подола. Никогда я не видел такого платья.

Лицо её мне показалось меньше, чем было прежде, меньше и белее, а глаза выросли, стали глубже и волосы золотистее. Раздевая меня, она кидала одежду к порогу, её малиновые губы брезгливо кривились, и всё звучал командующий голос:

– Что молчишь? Рад? Фу, какая грязная рубашка...

Потом она растирала мне уши гусиным салом; было больно, но от неё исходил освежающий, вкусный запах, и это уменьшало боль. Я прижимался к ней, заглядывая в глаза её, онемевший от волнения, и сквозь её слова слышал негромкий, невесёлый голос бабушки:

– Своевольник он, совсем от рук отбился, даже дедушку не боится... Эх, Варя, Варя...

– Ну, не нойте, мамаша, обойдётся!

В сравнении с матерью всё вокруг было маленькое, жалостное и старое, я тоже чувствовал себя старым, как дед. Сжимая меня крепкими коленями, приглаживая волосы тяжёлой, тёплой рукой, она говорила:

– Остричь нужно. И в школу пора. Учиться хочешь?

– Я уж выучился.

– Ещё немножко надо. Нет, какой ты крепкий, а?

И смеялась густым, греющим смехом, играя мною.

Вошёл дед, серый, ошетилившийся, с покрасневшими глазами; она отстранила меня движением руки, громко спро-

Сив:

– Ну, что же, папаша? Уезжать?

Он остановился у окна, царапая ногтем лёд на стекле, долго молчал, всё вокруг напряглось, стало жутким, и, как всегда в минуты таких напряжений, у меня по всему телу вырастали глаза, уши, странно расширялась грудь, вызывая желание крикнуть.

– Алексей, поди вон, – глухо сказал дед.

– Зачем? – спросила мать, снова привлекая меня к себе.

– Никуда ты не поедешь, запрещаю...

Мать встала, проплыла по комнате, точно заревое облако, остановилась за спиной деда.

– Папаша, послушайте...

Он обернулся к ней, взвизгнув:

– Молчи!

– Ну, а кричать на меня я вам не позволяю, – тихо сказала мать.

Бабушка поднялась с дивана, грозя пальцем:

– Варвара!

А дед сел на стул, забормотал:

– Постой, я – кто? А? Как это?

И вдруг взревел не своим голосом:

– Опозорила ты меня, Варька-а!..

– Уйди, – приказала мне бабушка; я ушёл в кухню, подавленный, залез на печь и долго слушал, как за переборкой то – говорили все сразу, перебивая друг друга, то – молчали,

словно вдруг уснув. Речь шла о ребёнке, рождённом матерью и отданном ею кому-то, но нельзя было понять, за что сердится дедушка: за то ли, что мать родила, не спросясь его, или за то, что не привезла ему ребёнка?

Потом он вошёл в кухню встрёпанный, багровый и усталый, за ним бабушка, отирая полою кофты слёзы со щёк; он сел на скамью, опёршись руками в неё, согнувшись, вздрагивая и кусая серые губы, она опустилась на колени пред ним, тихонько, но жарко говоря:

– Отец, да прости ты ей Христа ради, прости! И не эдакие сани подламываются. Али у господ, у купцов не бывает этого? Женщина – гляди какая! Ну, прости, ведь никто не праведен...

Дед откинулся к стене, смотрел в лицо ей и ворчал, криво усмехаясь, всхлипывая:

– Ну да, ещё бы! А как же? Ты кого не простишь, ты – всех простишь, ну да-а, эх вы-и...

Наклонился к ней, схватил за плечи и стал трясти её, нащёптывая быстро:

– А господь небойсь ничего не прощает, а? У могилы вот настиг, наказывает, последние дни наши, а – ни покоя, ни радости нет и – не быть! И помяни ты моё слово! – ещё нищими подохнем, нищими!

Бабушка взяла руки его, села рядом с ним и тихонько, легко засмеялась.

– Эка беда! Чего испугался – нищими! Ну, и – нищими.

Ты знай сиди себе дома, а по миру-то я пойду, – не бойсь мне подадут, сыты будем! Ты – брось-ка всё!

Он вдруг усмехнулся, повернул шею, точно козёл, и, схватив бабушку за шею, прижался к ней, маленький, измятый, всхлипывая:

– Эх, ду-ура, блаженная ты дура, последний мне человек! Ничего тебе, дуре, не жалко, ничего ты не понимаешь! Ты бы вспомнила: али мы с тобой не работали, али я не грешил ради их, – ну, хоть бы теперь, хоть немножко бы...

Тут и я, не стерпев больше, весь вскипел слезами, соскочил с печи и бросился к ним, рыдая от радости, что вот они так говорят невиданно хорошо, от горя за них и оттого, что мать приехала, и оттого, что они равноправно приняли меня в свой плач, обнимают меня оба, тискают, кропя слезами, а дед шепчет в уши и глаза мне:

– Ах ты, бесёныш, ты тоже тут! Вот мать приехала, теперь ты с ней будешь, дедушку-то, старого чёрта, злого, – прочь теперь, а? Бабушку-то, потатчицу, баловницу, – прочь? Эх вы-и...

Развёл руками, отстраняя нас, и встал, сказав громко, сердито:

– Отходят все, всё в сторону норовят – всё врозь идёт... Ну, зови её, что ли! Скорее уж...

Бабушка пошла вон из кухни, а он, наклоня голову, сказал в угол:

– Всемилоостивый господи, ну – вот, видишь вот!

И крепко, гулко ударил себя кулаком в грудь; мне это не понравилось, мне вообще не нравилось, как он говорит с богом, всегда будто хвастаясь пред ним.

Пришла мать, от её красной одежды в кухне стало светлее, она сидела на лавке у стола, дед и бабушка – по бокам её, широкие рукава её платья лежали у них на плечах, она тихонько и серьёзно рассказывала что-то, а они слушали её молча, не перебивая. Теперь они оба стали маленькие, и казалось, что она – мать им.

Уставший от волнений, я крепко заснул на полатах.

Вечером старики, празднично одевшись, пошли ко всенощной, бабушка весело подмигнула на деда, в мундире цехового старшины, в енотовой шубе и брюках навывпуск, подмигнула и сказала матери:

– Ты гляди, каков отец-то, – козлёнок чистенький!

Мать весело засмеялась.

Когда я остался с нею в её комнате, она села на диван, поджав под себя ноги, и сказала, хлопнув ладонью рядом с собою:

– Иди ко мне! Ну, как ты живёшь – плохо, а?

Как я жил?

– Не знаю.

– Дедушка бьёт?

– Теперь – не очень уж.

– Да? Ты расскажи мне, что хочешь, – ну?

Рассказывать о дедушке не хотелось, я начал говорить о

том, что вот в этой комнате жил очень милый человек, но никто не любил его, и дед отказал ему от квартиры. Видно было, что эта история не понравилась ей, она сказала:

– Ну, а ещё что?

Я рассказал о трёх мальчиках, о том, как полковник прогнал меня со двора, – она обняла меня крепко.

– Экая дрянь...

И замолчала, прищурясь, глядя в пол, качая головой. Я спросил:

– За что дед сердился на тебя?

– Я пред ним виновата.

– А ты бы привезла ему ребёнка-то...

Она откачнулась, нахмурилась, закусив губы, и – захохотала, тиская меня.

– Ах ты, чудовище! Ты – молчи об этом, слышишь? Молчи и – не думай даже!

Долго говорила что-то тихо, строго и непонятно, потом встала и начала ходить, стучая пальцами о подбородок, двигая густыми бровями.

На столе горела, оплывая и отражаясь в пустоте зеркала, сальная свеча, грязные тени ползали по полу, в углу перед образом теплилась лампада, ледяное окно серебрил лунный свет. Мать оглядывалась, точно искала что-то на голых стенах, на потолке.

– Ты когда ложишься спать?

– Немножко погода.

– Впрочем, ты днём спал, – вспомнила она и вздохнула.

Я спросил:

– Ты уйти хочешь?

– Куда же? – удивлённо откликнулась она и, приподняв голову мою, долго смотрела мне в лицо, так долго, что у меня слёзы выступили на глазах.

– Ты что это?

– Шею больно.

Было больно и сердцу, я сразу почувствовал, что не будет она жить в этом доме, уйдёт.

– Ты будешь похож на отца, – сказала она, откидывая ногами половики в сторону. – Бабушка рассказывала тебе про него?

– Да.

– Она очень любила Максима, – очень! И он её тоже...

– Я знаю.

Мать посмотрела на свечу, поморщилась и погасила её, сказав:

– Так лучше!

Да, так свежее и чище, перестали возиться тёмные, грязные тени, на пол легли светло-голубые пятна, золотые искры загорелись на стёклах окна.

– А где ты жила?

Словно вспоминая давно забытое, она назвала несколько городов и всё кружилась по комнате бесшумно, как ястреб.

– А где ты взяла такое платье?

– Сама сшила. Я всё себе делаю сама.

Было приятно, что она ни на кого не похожа, но грустно, что говорит она мало, а если не спрашивать её, так она и совсем молчит.

Потом она снова села ко мне на диван, и мы сидели молча, близко прижавшись друг к другу, до поры, пока не пришли старики, пропитанные запахом воска, ладана, торжественно тихие и ласковые.

Ужинали празднично, чинно, говорили за столом мало и осторожно, словно боясь разбудить чей-то чуткий сон.

Вскоре мать начала энергично учить меня «гражданской» грамоте: купила книжки, и по одной из них – «Родному слову» – я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати, но мать тотчас же предложила мне заучивать стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения.

Стихи говорили:

Большая дорога, прямая дорога,
Простора немало берёшь ты у бога...
Тебя не ровняли топор и лопата,
Мягка ты копыту и пылью богата.

Я читал «простого» вместо «простора», «рубили» вместо «ровняли», «копыта» вместо «копыту».

– Ну, подумай, – внушала мать, – чего – простого? Чудо-вище! Про-сто-ра, понимаешь?

Я понимал и всё-таки читал «простого», сам себе удивляясь.

Она говорила, сердясь, что я бестолков и упрям; это было горько слышать, я очень добросовестно старался вспомнить проклятые стихи и мысленно читал их без ошибок, но, читая вслух, – неизбежно перевирал. Я возненавидел эти неуловимые строки и стал, со зла, нарочно коверкать их, нелепо подбирая в ряд однозвучные слова; мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла.

Но эта забава не прошла даром: однажды, после удачного урока, когда мать спросила, выучены ли наконец стихи, я, помимо воли, забормотал:

Дорога, двурога, творог, недорога,
Копыта, попы-то, корыто...

Опомнился я поздно: мать, упираясь руками в стол, поднялась и спросила отдельно:

– Это что такое?

– Не знаю, – сказал я, обомлев.

– Нет, всё-таки?

– Это – так.

– Что – так?

– Смешно.

– Поди в угол.

– Зачем?

Она тихо, но грозно повторила:

– В угол!

– В какой?

Не ответив, она смотрела в лицо мне так, что я окончательно растерялся, не понимая – чего ей надо? В углу под образами торчал круглый столик, на нём ваза с пахучими сухими травами и цветами, в другом переднем углу стоял сундук, накрытый ковром, задний угол был занят кроватью, а четвёртого – не было, косяк двери стоял вплоть к стене.

– Я не знаю, что тебе надо, – сказал я, отчаявшись понять её.

Она опустила голову, помолчала, потирая лоб и щёки, потом спросила:

– Тебя дедушка ставил в угол?

– Когда?

– Вообще, когда-нибудь! – крикнула она, ударив дважды ладонью по столу.

– Нет. Не помню.

– Ты знаешь, что это наказание – стоять в углу?

– Нет. Почему – наказание?

Она вздохнула.

– Ф-фу! Поди сюда.

Я подошел, спросив её:

– Зачем ты кричишь на меня?

– А ты зачем нарочно перевираешь стихи?

Как умел, я объяснил ей, что вот, закрыв глаза, я помню

стихи, как они напечатаны, но если буду читать – подвернутся другие слова.

– Ты не притворяешься?

Я ответил – нет, но тотчас подумал: «А может быть, притворяюсь?» И вдруг не спеша прочитал стихи совершенно правильно; это меня удивило и уничтожило.

Чувствуя, что лицо моё вдруг точно распухло, а уши налились кровью, отяжелели и в голове неприятно шумит, я стоял пред матерью, сгорая в стыде, и сквозь слёзы видел, как печально потемнело её лицо, сжались губы, сдвинулись брови.

– Как же это? – спросила она чужим голосом. – Значит – притворялся?

– Не знаю. Я не хотел...

– Трудно с тобой, – сказала она, опуская голову. – Ступай!

Она стала требовать, чтоб я всё больше заучивал стихов, а память моя всё хуже воспринимала эти ровные строки, и всё более росло, всё злее становилось непобедимое желание переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова; это удавалось мне легко – ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательное, книжное. Часто бывало, что целая строка становилась для меня невидимой, и как бы честно я ни старался поймать её, она не давалась зрению памяти. Много огорчений принесло мне жалобное стихотворение – кажется, князя Вяземского:

И вечерней и ранней порою
Много старцев, и вдов, и сирот
Христа ради на помощь зовёт,

а третью строку

под окошками ходят с сумою

я аккуратно пропускал. Мать, негодуя, рассказывала о моих подвигах деду; он зловеще говорил:

– Балует! Память у него есть: молитвы он твёрже моего знает. Врёт, память у него – каменная, коли что высечено на ней, так уж крепко! Ты выпори его!

Бабушка тоже уличала меня:

– Сказки – помнит, песни – помнит, а песни – не те ли же стихи?

Всё это было верно, я чувствовал себя виноватым, но как только принимался учить стихи – откуда-то сами собою являлись, ползли тараканами другие слова и тоже строились в строки.

Как у наших у ворот
Много старцев и сирот
Ходят, ноют, хлеба просят,
Наберут – Петровне носят,

Для коров ей продают
И в овраге водку пьют.

Ночью, лёжа с бабушкой на полатях, я надоедно твердил ей всё, что помнил из книг, и всё, что сочинял сам; иногда она хохотала, но чаще журила меня:

– Ведь вот, знаешь ты, можешь! А над нищими не надо смеяться, господь с ними! Христос был нищий и все святые тоже...

Я бормотал:

Не люблю нищих
И дедушку – тоже,
Как тут быть?
Прости меня, боже!
Дед всегда ищет,
За что меня бить...

– Что ты говоришь, отсохни твой язык! – сердилась бабушка. – Да как услышит дед эти твои слова!

– Пускай!

– Напрасно ты озорничаешь да сердишь мать! Ей и без тебя не больно хорошо, – задумчиво и ласково уговаривала бабушка.

– Отчего ей нехорошо?

– Молчи знай! Не понять тебе...

– Я знаю, это дедушка её...

– Молчи, говорю!

Мне жилось плохо, я испытывал чувство, близкое к отча-

янию, но почему-то мне хотелось скрыть его, я бойчился, озорничал. Уроки матери становились всё обильнее, непонятней, я легко одолевал арифметику, но терпеть не мог писать и совершенно не понимал грамматики. Но главное, что угнетало меня, — я видел, чувствовал, как тяжело матери жить в доме деда; она всё более хмурилась, смотрела на всех чужими глазами, она подолгу молча сидела у окна в сад и как-то выцветала вся. Первые дни по приезде она была ловкая, свежая, а теперь под глазами у неё легли тёмные пятна, она целыми днями ходила непричёсанная, в измятом платье, не застегнув кофту, это её портило и обижало меня: она всегда должна быть красивая, строгая, чисто одетая — лучше всех!

Во время уроков она смотрела углублёнными глазами через меня — в стену, в окно, спрашивала меня усталым голосом, забывала ответы и всё чаще сердилась, кричала — это тоже обидно: мать должна быть справедлива больше всех, как в сказках.

Иногда я спрашивал её:

– Тебе нехорошо с нами?

Она сердито откликнулась:

– Делай своё дело.

Я видел также, что дед готовит что-то, пугающее бабушку и мать. Он часто запирался в комнате матери и ныл, взвизгивал там, как неприятная мне деревянная дудка кривобочного пастуха Никанора. Во время одной из таких бесед мать

крикнула на весь дом:

– Этого не будет, нет!

И хлопнула дверь, а дед – завыл.

Это было вечером; бабушка, сидя в кухне у стола, шила деду рубаху и шептала что-то про себя. Когда хлопнула дверь, она сказала, прислушавшись:

– К постояльцам ушла, о господи!

Вдруг в кухню вскочил дед, подбежал к бабушке, ударил её по голове и зашипел, раскачивая ушибленную руку.

– Не болтай чего не надо, ведьма!

– Старый ты дурак, – спокойно сказала бабушка, поправляя сбитуую головку. – Буду я молчать, как же! Всегда всё, что узнаю про затеи твои, скажу ей...

Он бросился на неё и стал быстро колотить кулаками по большой голове бабушки; не защищаясь, не отталкивая его, она говорила:

– Ну, бей, бей, дурачок! Ну, на, бей!

Я, с полатей, стал бросать в них подушки, одеяла, сапоги с печи, но разъярённый дед не замечал этого, бабушка же свалилась на пол, он бил голову её ногами, наконец споткнулся и упал, опрокинув ведро с водой. Вскочил, отплёвываясь и фыркая, дико оглянулся и убежал к себе на чердак; бабушка поднялась, охая, села на скамью, стала разбирать спутанные волосы. Я соскочил с полатей, она сказала мне сердито:

– Подбери подушки и всё да поклади на печь! Надумал тоже: подушками швырять! Твоё это дело? И тот, старый бес,

разошёлся, – дурак!

Вдруг она охнула, сморщилась и, наклоня голову, позвала меня:

– Взгляни-ка, чего это больно тут?

Я разобрал её тяжёлые волосы, – оказалось, что глубоко под кожу ей вошла шпилька, я вытащил её, нашёл другую, у меня онемели пальцы.

– Я лучше мать позову, боюсь!

Она замахала рукой:

– Что ты? Я те позову! Слава богу, что не слышала, не видела она, а ты – на-ко! Пошел ин прочь!

И стала сама гибкими пальцами кружевницы рыться в густой чёрной гриве своей. Собравшись с духом, я помог ей вытащить из-под кожи ещё две толстые, изогнутые шпильки.

– Больно тебе?

– Ничего, завтра баню топить буду, вымоюсь – пройдет.

И стала просить меня ласково:

– А ты, голубá душа, не сказывай матери-то, что он бил меня, слышишь? Они и без того злы друг на друга. Не скажешь?

– Нет.

– Ну, помни же! Давай-ко уберём тут всё. Лицо-то избито у меня? Ну ладно, стало быть, все шито-крыто...

Она начала подтирать пол, а я сказал от души:

– Ты – ровно святая, мучают-мучают тебя, а тебе – ничего!

– Что глупости мелешь? Святая... Нашел где!

Она долго ворчала, расхаживая на четвереньках, а я, сидя на приступке, придумывал – как бы отомстить деду за неё?

Первый раз он бил бабушку на моих глазах так гадко и страшно. Предо мною, в сумраке, пылало его красное лицо, развевались рыжие волосы: в сердце у меня жгуче кипела обида, и было досадно, что я не могу придумать достойной мести.

Но дня через два, войдя зачем-то на чердак к нему, я увидел, что он, сидя на полу перед открытой укладкой, разбирает в ней бумаги, а на стуле лежат его любимые святцы – двенадцать листов толстой серой бумаги, разделённых на квадраты по числу дней в месяце, и в каждом квадрате фигурки всех святых дня. Дед очень дорожил этими святцами, позволяя мне смотреть их только в тех редких случаях, когда был почему-либо особенно доволен мною, а я всегда разглядывал эти тесно составленные серые маленькие и милые фигурки с каким-то особенным чувством. Я знал жития некоторых из них – Кирика и Улиты, Варвары Великомученицы, Пантелеймона и ещё многих, мне особенно нравилось грустное житие Алексея божия человека и прекрасные стихи о нём: их часто и трогательно читала мне бабушка. Смотришь, бывало, на сотни этих людей и тихо утешаешься тем, что всегда были мученики.

Но теперь я решил изрезать эти святцы, и, когда дед отошёл к окошку, читая синюю, с орлами, бумагу, я схватил несколько листов, быстро сбежал вниз, стащил ножницы из

стола бабушки и, забравшись на полати, принялся отстригать святым головы. Обезглавил один ряд, и – стало жалко святцы; тогда я начал резать по линиям, разделявшим квадраты, но не успел искрошить второй ряд – явился дедушка, встал на приступок и спросил:

– Тебе кто позволил святцы взять?

Увидав квадратики бумаги, рассеянные по доскам, он начал хватать их, подносил к лицу, бросал, снова хватал, челюсть у него скривилась, борода прыгала, и он так сильно дышал, что бумажки слетали на пол.

– Что ты сделал? – крикнул он наконец и за ногу дёрнул меня к себе; я перевернулся в воздухе, бабушка подхватила меня на руки, а дед колотил кулаком её, меня и визжал:

– Убью-у!

Явилась мать, я очутился в углу, около печи, а она, загораживая меня, говорила, лоя и отталкивая руки деда, левтавшие пред её лицом:

– Что за безобразие? Опомнитесь!..

Дед повалился на скамью, под окно, завывая:

– Убили! Все, все против меня, а-а...

– Как вам не стыдно? – глухо звучал голос матери. – Что вы всё притворяетесь?

Дед кричал, бил ногами по скамье, его борода смешно торчала в потолок, а глаза были крепко закрыты; мне тоже показалось, что ему – стыдно матери, что он – действительно притворяется, оттого и закрыл глаза.

– Наклею я вам эти куски на коленкор, ещё лучше будет, прочнее, говорила мать, разглядывая обрезки и листы. – Видите – измято всё, слежалось, рассыпается...

Она говорила с ним, как со мною, когда я, во время уроков, не понимал чего-либо, и вдруг дедушка встал, деловито оправил рубаху, жилет, отхаркнулся и сказал:

– Сегодня же и наклей! Я тебе сейчас остальные листы принесу...

Пошёл к двери, но у порога обернулся, указывая на меня кривым пальцем:

– А его надо сечь!

– Следует, – согласилась мать, наклонясь ко мне. – Зачем ты сделал это?

– Я – нарочно. Пусть он не бьёт бабушку, а то я ему ещё бороду отстригу...

Бабушка, снимавшая разорванную кофту, укоризненно сказала, покачивая головою:

– Промолчал, как обещано было!

И плюнула на пол:

– Чтоб у тебя язык вспух, не пошевелить бы тебе его, не поворотить!

Мать поглядела на неё, прошлась по кухне, снова подошла ко мне.

– Когда он её бил?

– А ты, Варвара, постыдилась бы, чай, спрашивать об этом, твое ли дело? – сердито сказала бабушка.

Мать обняла её.

– Эх, мамаша, милая вы моя...

– Вот те и мамаша! Отойди-ка...

Они поглядели друг на друга и замолчали, разошлись: в сенях топал дед.

В первые же дни по приезде мать подружилась с весёлой постоялкой, женой военного, и почти каждый вечер уходила в переднюю половину дома, где бывали и люди от Бетленга – красивые барыни, офицера. Дедушке это не нравилось, не однажды, сидя в кухне, за ужином, он грозил ложкой и ворчал:

– Окаянные, опять собрались! Теперь до утра уснуть не дадут.

Скоро он попросил постояльцев очистить квартиру, а когда они уехали привёз откуда-то два воза разной мебели, расставил её в передних комнатах и запер большим всяческим замком:

– Не надобно нам стояльцев, я сам гостей принимать буду!

И вот, по праздникам, стали являться гости: приходила сестра бабушки Матрена Ивановна, большеносая крикливая прачка, в шёлковом полосатом платье и золотистой головке, с нею – сыновья: Василий – чертёжник, длинноволосый, добрый и веселый, весь одетый в серое; пёстрый Виктор, с лошадиной головою, узким лицом, обрызганный веснушками, – ещё в сенях, снимая галоши, он напевал пискляво, точно Петрушка:

– Андрей-папá, Андрей-папá...

Это очень удивляло и пугало меня.

Приезжал дядя Яков с гитарой, привозил с собою кривого и лысого часовых дел мастера, в длинном чёрном сюртуке, тихонького, похожего на монаха. Он всегда садился в угол, наклонял голову набок и улыбался, странно поддерживая её пальцем, воткнутом в бритый раздвоенный подбородок. Был он тёмненький, его единый глаз смотрел на всех как-то особенно пристально; говорил этот человек мало и часто повторял одни и те же слова:

– Не утруждайтесь, всё равно-с...

Когда я увидел его впервые, мне вдруг вспомнилось, как однажды, давно, ещё во время жизни на Новой улице, за воротами гулко и тревожно били барабаны, по улице, от острога на площадь, ехала, окружённая солдатами и народом, чёрная высокая телега, и на ней – на скамье – сидел небольшой человек в суконной круглой шапке, в цепях; на грудь ему повешена чёрная доска с крупной надписью белыми словами, – человек свесил голову, словно читая надпись, и качался весь, позванивая цепями. И когда мать сказала часовых дел мастеру: «Вот мой сын», – я испуганно попятился прочь от него, спрятав руки.

– Не утруждайтесь, – сказал он, страшно передвинув весь рот к правому уху, охватил меня за пояс, привлёк к себе, быстро и легко повернул кругом и отпустил, одобряя:

– Ничего, мальчик крепкий...

Я забрался в угол, в кожаное кресло, такое большое, что в нём можно было лежать, – дедушка всегда хвастался, называя его креслом князя Грузинского, – забрался и смотрел, как скучно веселятся большие, как странно и подозрительно изменяется лицо часовых дел мастера. Оно у него было масляное, жидкое, таяло и плавало; если он улыбался, толстые губы его съезжали на правую щёку, и маленький нос тоже ездил, как пельмень по тарелке. Странно двигались большие, оттопыренные уши, то приподнимаясь вместе с бровью зрячего глаза, то сдвигаясь на скулы, – казалось, что если он захочет, то может прикрыть ими свой нос, как ладонями. Иногда он, вздохнув, высовывал тёмный, круглый, как пест, язык и, ловко делая им правильный круг, гладил толстые масляные губы. Всё это было не смешно, а только удивляло, заставляя неотрывно следить за ним.

Пили чай с ромом, – он имел запах жжёных луковых перьев; пили бабушкины наливки, жёлтую, как золото, тёмную, как деготь, и зелёную; ели ядрёный варенец, сдобные медовые лепёшки с маком, потели, отдувались и хвалили бабушку. Наевшись, красные и вспухшие, чинно рассаживались по стульям, лениво уговаривали дядю Якова поиграть.

Он сгибался над гитарой и тренькал, неприятно, назойливо подпевая:

Эх, пожили, как умели,
На весь город нашумели,

Ба-арыне из Казани
Всё подробно рассказали...

Мне думалось, что это очень грустная песня, а бабушка говорила:

– Ты бы, Яша, другое что играл, верную бы песню, а? Помнишь, Мотря, какие, бывало, песни-то пели?

Оправляя шумящее платье, прачка внушительно говорила:

– Нынче, матушка, другая мода...

Дядя смотрел на бабушку прищурясь, как будто она сидела очень далеко, и продолжал настойчиво сеять невесёлые звуки, навязчивые слова.

Дед таинственно беседовал с мастером, показывая ему что-то на пальцах, а тот, приподняв бровь, глядел в сторону матери, кивал головою, и жидкое его лицо неуловимо переливалось.

Мать сидела всегда между Сергеевыми, тихонько и серьёзно разговаривая с Васильем; он вздыхал, говоря:

– Да-а, над этим надо думать...

А Виктор сыто улыбался, шаркал ногами и вдруг пискляво пел:

Андрей-папá, Андрей-папá...

Все, удивлённо примолкнув, смотрели на него, а прачка важно объясняла:

– Это он из киятра взял, это там поют...

Было два или три таких вечера, памятных своей давящей скукой, потом часовых дел мастер явился днём, в воскресенье, тотчас после поздней обедни. Я сидел в комнате матери, помогая ей разнизывать изорванную вышивку бисером, неожиданно и быстро открылась дверь, бабушка сунула в комнату испуганное лицо и тотчас исчезла, громко шепнув:

– Варя – пришёл!

Мать не пошевелилась, не дрогнула, а дверь снова открылась, на пороге встал дед и сказал торжественно:

– Одевайся, Варвара, иди!

Не вставая, не глядя на него, мать спросила:

– Куда?

– Иди, с богом! Не спорь. Человек он спокойный, в своём деле – мастер и Алексею – хороший отец...

Дед говорил необычно важно и всё гладил ладонями бока свои, а локти у него вздрагивали, загибаясь за спину, точно руки его хотели вытянуться вперёд, и он боролся против них.

Мать спокойно перебила:

– Я вам говорю, что этому не бывать...

Он шагнул к ней, вытянул руки, точно ослепший, нагибаясь, ошестинившись, и захрипел:

– Иди! А то – поведу! За косы...

– Поведёте? – спросила мать, вставая; лицо у неё побелело, глаза жутко сузились, она быстро стала срывать с себя кофту, юбку и, оставшись в одной рубашке, подошла к деду:

– Ведите!

Он оскалил зубы, грозя ей кулаком:

– Варвара, одевайся!

Мать отстранила его рукою, взялась за скобу двери:

– Ну, идёмте!

– Проклянуну, – шёпотом сказал дед.

– Не боюсь. Ну?

Она отворила дверь, но дед схватил её за подол рубахи, припал на колени и зашептал:

– Варвара, дьявол, погибнешь! Не срами...

И тихонько, жалобно заныл:

– Ма-ать, ма-ать...

Бабушка уже загородила дорогу матери, махая на неё руками, словно на курицу, она загоняла её в дверь и ворчала сквозь зубы:

– Варька, дура, – что ты? Пошла, бесстыдница!

Втолкнув её в комнату, заперла дверь на крюк и наклонилась к деду, одной рукой поднимая его, другой грозя:

– У-у, старый бес, бестолковый!

Посадила его на диван, он шлёпнулся, как тряпичная кукла, открыл рот и замотал головой; бабушка крикнула матери:

– Оденься, ты!

Поднимая с пола платье, мать сказала:

– Я не пойду к нему, – слышите?

Бабушка столкнула меня с дивана:

– Принеси ковш воды, скорей!

Говорила она тихо, почти шёпотом, спокойно и властно.

Я выбежал в сени, в передней половине дома мерно топали тяжёлые шаги, а в комнате матери прогудел её голос:

– Завтра уеду!

Я вошел в кухню, сел у окна, как во сне.

Стонал и всхлипывал дед, ворчала бабушка, потом хлопнула дверь, стало тихо и жутко. Вспомнив, зачем меня послали, я зачерпнул медным ковшом воды, вышел в сени – из передней половины явился часовых дел мастер, нагнув голову, глядя рукою меховую шапку и крикая. Бабушка, прижав руки к животу, кланялась в спину ему и говорила тихонько:

– Сами знаете – насильно мил не будешь...

Он запнулся за порог крыльца и выскочил на двор, а бабушка перекрестилась и задрожала вся, не то молча заплакав, не то – смеясь.

– Что ты? – спросил я, подбежав.

Она вырвала у меня ковш, облив мне ноги и крикнув:

– Это куда же ты за водой-то ходил? Запри дверь!

И ушла в комнату матери, а я – снова в кухню, слушать, как они, рядом, охают, стонут и ворчат, точно передвигая с места на место непосильные тяжести.

День был светлый; в два окна, сквозь ледяные стёкла, смотрели косые лучи зимнего солнца; на столе, убранном к обеду, тускло блестела оловянная посуда, графин с рыжим квасом и другой с тёмно-зелёной дедовой водкой, постоянной на буквице и зверобое. В проталины окон был виден ослепительно сверкающий снег на крышах, искрились сереб-

ряные чепчики на столбах забора и скворешне. На косяках окон, в клетках, пронизанных солнцем, играли мои птицы: щебетали весёлые, ручные чижи, скрипели снегири, заливался щегол. Но весёлый, серебряный и звонкий этот день не радовал, был ненужен, и всё было ненужно. Мне захотелось выпустить птиц, я стал снимать клетки – вбежала бабушка, хлопая себя руками по бокам, и бросилась к печи, ругаясь:

– А, окаянные, раздуй вас горой! Ах ты, дура старая, Акулина...

Вытащила из печи пирог, постучала пальцем по корке и озлобленно плюнула.

Ну – засох! Вот те и разогрела! Ах, демоны, чтоб вас разорвало всех! Ты чего вытаращил буркалы, сыч? Так бы всех вас и перебила, как худые горшки!

И – заплакала, надувшись, переворачивая пирог со стороны на сторону, стучая пальцами по сухим коркам, большие слёзы грузно шлёпались на них.

В кухню вошли дед с матерью; она швырнула пирог на стол так, что тарелки подпрыгнули.

– Вот, глядите, что сделалось из-за вас, ни дна бы вам, ни крышки!

Мать, весёлая и спокойная, обняла её, уговаривая не огорчаться; дедушка, измятый, усталый, сел за стол и, навязывая салфетку на шею, ворчал, щуря от солнца затёкшие глаза:

– Ладно, ничего! Едали и хорошие пироги. Господь – скуповат, он за года минутами платит... Он процента не при-

знает. Садись-ка, Варя... ладно!

Он был словно безумен, всё время обеда говорил о божестве, о нечестивом Ахаве, о тяжёлой доле быть отцом – бабушка сердито останавливала его:

– А ты – ешь знай!

Мать шутила, сверкая ясными глазами.

– Что, испугался давеча? – спросила она, толкнув меня.

Нет, я не очень испугался тогда, но теперь мне было неловко, непонятно.

Ели они, как всегда по праздникам, утомительно долго, много, и казалось, что это не те люди, которые полчаса тому назад кричали друг на друга, готовые драться, кипели в слезах и рыданиях. Как-то не верилось уже, что всё это они делали серьёзно и что им трудно плакать. И слёзы, и крики их, и все взаимные мучения, вспыхивая часто, угасая быстро, становились привычны мне, всё меньше возбуждали меня, всё слабее трогали сердце.

Долго спустя я понял, что русские люди, по нищете и скудости жизни своей, вообще любят забавляться горем, играют им, как дети, и редко стыдятся быть несчастными.

В бесконечных буднях и горе – праздник, и пожар – забава; на пустом лице и царапина – украшение...

XI

После этой истории мать сразу окрепла, туго выпрямилась и стала хозяйкой в доме, а дед сделался незаметен, задумчив, тих непохоже на себя.

Он почти перестал выходить из дома, всё сидел одиноко на чердаке, читал таинственную книгу «Записки моего отца». Книгу эту он держал в укладке под замком, и не однажды я видел, что прежде, чем вынуть её, дед моет руки. Она была коротенькая, толстая, в рыжем кожаном переплёте; на синеватом листе пред титулом красовалась фигурная надпись выцветшими чернилами: «Почтенному Василью Каширину с благодарностью на сердечную память», подписана была какая-то странная фамилия, а росчерк изображал птицу в полёте. Открыв осторожно тяжёлую корку переплёта, дед надевал очки в серебряной оправе и, глядя на эту надпись, долго двигал носом, прилаживая очки. Я не раз спрашивал его – что это за книга? – он внушительно отвечал:

– Этого тебе не нужно знать. Погоди, помру – откажу тебе. И шубу енотовую тебе откажу.

Он стал говорить с матерью мягче и меньше, её речи слушал внимательно, поплёскивая глазами, как дядя Пётр, и ворчал, отмахиваясь:

– Ну, ладно! Делай, как хошь...

В сундуках у него лежало множество диковинных наря-

дов: штофные юбки, атласные душегреи, шёлковые сарафаны, тканые серебром, кики и кокошники, шитые жемчугами, головки и косынки ярких цветов, тяжёлые мордовские мониста, ожерелья из цветных камней; он сносил всё это охапками в комнаты матери, раскладывал по стульям, по столам, мать любовалась нарядами, а он говорил:

– В наши-те годы одёжа куда красивей да богаче нынешней была! Одёжа богаче, а жили – проще, ладнее. Прошли времена, не воротятся! Ну, примеряй, рядись...

Однажды мать ушла ненадолго в соседнюю комнату и явилась оттуда одетая в синий, шитый золотом сарафан, в жемчужную кикку; низко поклонясь деду, она спросила:

– Ладно ли, сударь-батюшка?

Дед крикнул, весь как-то заблестел, обошёл кругом её, разводя руками, шевеля пальцами, и сказал невнятно, точно сквозь сон:

– Эх, кабы тебе, Варвара, большие деньги да хорошие бы около тебя люди...

Теперь мать жила в двух комнатах передней половины дома, у неё часто бывали гости, чаще других братья Максимова: Пётр, мощный красавец офицер с большущей светлой бородой и голубыми глазами, – тот самый, при котором дед высек меня за оплевание старого барина; Евгений, тоже высокий, тонконогий, бледнолицый, с чёрной остренькой бородкой. Его большие глаза были похожи на сливы, одевался он в зеленоватый мундир с золотыми пуговицами и золоты-

ми вензелями на узких плечах. Он часто и ловко взмахивал головою, отбрасывая с высокого, гладкого лба волнистые, длинные волосы, снисходительно улыбался и всегда рассказывал о чем-то глуховатым голосом, начиная речь вкрадчивыми словами:

– Видите ли, как я думаю...

Мать слушала его прищурившись, усмехаясь и часто прерывала:

– Ребёнок вы, Евгений Васильевич, извините...

Офицер, хлопая себя широкой ладонью по колену, кричал:

– Именно же-ребёнок...

Шумно и весело прошли святки, почти каждый вечер у матери бывали ряженные, она сама рядилась – всегда лучше всех – и уезжала с гостями.

Каждый раз, когда она с пёстрой ватагой гостей уходила за ворота, дом точно в землю погружался, везде становилось тихо, тревожно-скучно. Старой гусыней плавала по комнатам бабушка, приводя всё в порядок, дед стоял, прижавшись спиной к тёплым изразцам печи, и говорил сам себе:

– Ну, – ладно, хорошо... Поглядим, что за дым...

После святок мать отвела меня и Сашу, сына дяди Михайла, в школу. Отец Саши женился, мачеха с первых же дней невзлюбила пасынка, стала бить его, и, по настоянию бабушки, дед взял Сашу к себе. В школу мы ходили с месяц времени, из всего, что мне было преподано в ней, я помню только,

что на вопрос: «Как твоя фамилия?» – нельзя ответить просто: «Пешков», – а надобно сказать: «Моя фамилия – Пешков». А также нельзя сказать учителю: «Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь...»

Мне школа сразу не понравилась, брат же первые дни был очень доволен, легко нашёл себе товарищей, но однажды он во время урока заснул и вдруг страшно закричал во сне:

– Не буду-у...

Разбуженный, он попросился вон из класса, был жестоко осмеян за это, и на другой день, когда мы, идя в школу, спустились в овраг на Сенной площади, он, остановясь, сказал:

– Ты – иди, а я не пойду! Я лучше гулять буду.

Присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушёл. Был ясный январский день, всюду сверкало серебряное солнце, я очень позавидовал брату, но скрепя сердце пошёл учиться, – не хотелось огорчить мать. Книги, зарытые Сашей, конечно, пропали, и на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу, а на третий его поведение стало известно деду.

Нас привлекли к суду, – в кухне за столом сидели дед, бабушка, мать и допрашивали нас, – помню, как смешно отвечал Саша на вопросы деда:

– Как же это ты не попадаешь в училище-то?

Саша, глядя прямо в лицо деда кроткими глазами, отвечал не спеша:

– Забыл, где оно.

– Забыл?

– Да. Искал-искал...

– Ты бы за Лексеем шел, он помнит!

– Я его потерял.

– Лексея?

– Да.

– Это как же?

Саша подумал и сказал, вздохнув:

– Метель была, ничего не видно.

Все засмеялись, – погода стояла тихая, ясная. Саша тоже осторожно улыбнулся, а дедушка ехидно спрашивал, оскалив зубы:

– Ты бы за руку его держал, за пояс?

– Я – держал, да меня оторвало ветром, – объяснил Саша.

Говорил он лениво, безнадежно, мне было неловко слушать эту ненужную, неуклюжую ложь, и я очень удивлялся его упрямству.

Нас выпороли и наняли нам провожатого, бывшего пожарного, старичка со сломанной рукою, – он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути к науке. Но это не помогло: на другой же день брат, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок и метнул его прочь от себя, снял другой и бросил в ином направлении, а сам, в одних чулках, пустился бежать по площади. Старичок, охая, потрусил собирать сапоги, а затем, испуганный, повёл меня домой.

Целый день дед, бабушка и моя мать ездили по городу, отыскивая сбежавшего, и только к вечеру нашли Сашу у монастыря, в трактире Чиркова, где он увеселял публику пляской. Привезли его домой и даже не били, смущённые упрямым молчанием мальчика, а он лежал со мною на полотах, задрав ноги, шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорил:

– Мачеха меня не любит, отец тоже не любит, и дедушка не любит, – что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним, – тогда вы все и узнаете... Бежим вместе?

Я не мог бежать с ним: в те дни у меня была своя задача – я решил быть офицером с большой, светлой бородой, а для этого необходимо учиться. Когда я рассказал брату план, он, подумав, согласился со мною:

– Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицером, я уж буду атаманом, и тебе нужно будет ловить меня, и кто-нибудь кого-нибудь убьёт, а то в плен схватит. Я тебя не стану убивать.

– И я тебя тоже.

На этом и порешили.

Пришла бабушка, влезла на печь и, заглядывая к нам, начала говорить:

– Что, мышата? Э-эх, сироты, осколочки!

Пожалев нас, она стала ругать мачеху Саши – толстую тётку Надежду, дочь трактирщика; потом вообще всех мачех, вотчимов и, кстати, рассказала историю о том, как мудрый

пустынник Иона, будучи отроком, судился со своей мачехой
божьем судом; отца его, угличанина, рыбака на Белоозере,

Извела молодая жена:
Напоила его крепкой брагою,
А ещё – сонным зелием.
Положила его, сонного,
Во дубовый чёлн, как во тесный гроб,
А взяла она вёсельце кленовое,
Сама выгребла посередь озера
Что на те ли на тёмные омуты,
На бесстыжее дело ведьмино.
Там нагнулася, покачнулася,
Опрокинула, ведьма, легок чёлн.
Муж-от якорем на дно пошёл.
А она поплыла скоро к берегу,
Доплыла, пала на землю
И завыла бабьи жалобы,
Стала горе лживое оказывать.
Люди добрые ей поверили,
С нею вместе горько плакали:
– Ой же ты, молодая вдова!
Велико твоё горе женское,
А и жизнь наша – дело божие,
А и смерть нам богом посылается!
Только пасынок Ионушко
Не поверил слезам мачехи,
Положил он ей ручку на сердце,
Говорил он ей кротким голосом:

– Ой ты, мачеха, судьба моя,
Ой ты, птица ночная, хитрая,
А не верю я слезам твоим:
Больно сердце у тебя бьется радостно!
А давай-ко ты спросим господу,
Все святые силы небесные:
Пусть возьмет кто-нибудь булатный нож
Да подбросит его в небо чистое,
Твоя правда – нож меня убьёт,
Моя правда – на тебя падёт!
Поглядела на него мачеха,
Злым огнем глаза её вспыхнули,
Крепко она встала на ноги,
Супроти Ионы заспорила:
– Ах ты, тварь неразумная,
Недоносок ты, выбросок,
Ты чего это выдумал?
Да ты как это мог сказать?

Смотрят на них люди, слушают.
Видят они – дело тёмное.
Приуныли все, призадумались,
Промежду собой совещаются.
После вышел рыбак старенький,
Поклонился во все стороны,
Молвил слово решённое:
– А вы дайте-ко, люди добрые,
В праву руку мне булатный нож,
Я воскину его до неба,

Пусть падет, чья вина – найдет!
Дали старцу в рученьку острый нож,
Взбросил он его над седою головой,
Птицею нож полетел в небеса,
Ждут-пождут – он не падает.
Смотрят люди во хрустальную высь,
Шапки поснимали, тесно стоят,
Все молчат, да и ночь нема,
А нож с высоты всё не падает!
Вспыхнула на озере алая заря,
Мачеха зарделась, усмехнулася,
Тут он быстрой ласточкой летит к земле
Прямо угодил в сердце мачехе.
Встали на колени люди добрые,
Господу богу помолилися:
– Слава тебе, господи, за правду твою!
Старенький рыбак взял Ионушку
И отвёл его в далекий скит,
Что на светлой реке Керженце,
Близко невидима града Китежа...¹

На другой день я проснулся весь в красных пятнах, началась оспа. Меня поместили на заднем чердаке, и долго я лежал там слепой, крепко связанный по рукам и по ногам широкими бинтами, переживая дикие кошмары, – от одного из

¹ В селе Колопановке, Тамб<овской> губ., Борисоглебского уезда, я слышал иной вариант этой легенды: нож убивает пасынка, оклеветавшего мачеху. (Прим. М.Горького)

них я едва не погиб. Ко мне ходила только бабушка кормить меня с ложки, как ребёнка, рассказывать бесконечные, всегда новые сказки. Однажды вечером, когда я уже выздоравливал и лежал развязанный, – только пальцы были забинтованы в рукавички, чтоб я не мог царапать лица, – бабушка почему-то запоздала прийти в обычное время, это вызвало у меня тревогу, и вдруг я увидел её: она лежала за дверью на пыльном помосте чердака, вниз лицом, раскинув руки, шея у неё была наполовину перерезана, как у дяди Петра, из угла, из пыльного сумрака к ней подвигалась большая кошка, жадно вытаращив зелёные глаза.

Я вскочил с постели, вышиб ногами и плечами обе рамы окна и выкинулся на двор, в сугроб снега. В тот вечер у матери были гости, никто не слышал, как я бил стёкла и ломал рамы, мне пришлось пролежать в снегу довольно долго. Я ничего не сломал себе, только вывихнул руку из плеча да сильно изрезался стёклами, но у меня отнялись ноги, и месяца три я лежал, совершенно не владея ими; лежал и слушал, как всё более шумно живёт дом, как часто там, внизу, хлопают двери, как много ходит людей.

Шаркали по крыше тоскливые вьюги, за дверью на чердаке гулял-гудел ветер, похоронно пело в трубе, дребезжали вьюшки, днём каркали вороны, тихими ночами с поля доносился заунывный вой волков, – под эту музыку и росло сердце. Потом в окно робко и тихонько, но всё ласковее с каждым днём стала заглядывать пугливая весна лучистым гла-

зом мартовского солнца, на крыше и на чердаке запели, заорали кошки, весенний шорох проникал сквозь стены – ломались хрустальные сосульки, съезжал с конька крыши подтаявший снег, а звон колоколов стал гуще, чем зимою.

Приходила бабушка; всё чаще и крепче слова её пахли водкой, потом она стала приносить с собою большой белый чайник, прятала его под кровать ко мне и говорила, подмигивая:

– Ты, голуба душа, деду-то, домовому, не сказывай!

– Зачем ты пьешь?

– Нишкни! Вырастешь – узнаешь...

Пососав из рыльца чайника, отерев губы рукавом, она сладко улыбалась, спрашивая:

– Ну и вот, сударь ты мой, про что бишь я вчера сказывала?

– Про отца.

– А которое место?

Я напоминал ей, и долго текла ручьём её складная речь.

Она сама начала рассказывать мне про отца, пришла однажды трезвая, печальная и усталая и говорит:

– Видела я во сне отца твоего, идёт будто полем с палочкой ореховой в руке, посвистывает, а следом за ним пёстрая собака бежит, трясёт языком. Что-то частенько Максим Савватеич сниться мне стал, – видно, беспокойна душенька его неприятная...

Несколько вечеров подряд она рассказывала историю от-

ца, такую же интересную, как все её истории: отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчинёнными ему; там, где-то в Сибири, и родился мой отец. Жилось ему плохо, уже с малых лет он стал бегать из дома; однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца; другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребёнка и спрятали его.

– Маленьких всегда бьют? – спрашивал я; бабушка спокойно отвечала:

– Всегда.

Мать отца померла рано, а когда ему минуло девять лет, помер и дедушка, отца взял к себе крёстный – столяр, приписал его в цеховые города Перми и стал учить своему мастерству, но отец убежал от него, водил слепых по ярмаркам, шестнадцати лет пришёл в Нижний и стал работать у подрядчика столяра на пароходах Колчина. В двадцать лет он был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда, на Ковалихе.

Заборы-то невысокие, а люди-то бойкие, – говорила бабушка, посмеиваясь. – Вот, собираем мы с Варей малину в саду, вдруг он, отец твой, шасть через забор, я индо испугалась: идёт меж яблонь эдакой могучей, в белой рубашке, в плисовых штанах, а – босый, без шапки, на длинных волосах – ремешок. Это он – свататься привалил! Видала я его и прежде, мимо окон ходил, увижу подумаю: экой парень хо-

роший! Спрашиваю я его, как подошёл: «Что это ты, молодец, не путём ходишь?» А он на коленки стал. «Акулина, говорит, Ивановна, вот те я весь тут, со всей полной душой, а вот – Варя; помоги ты нам, бога ради, мы жениться хотим!» Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать-то твоя, мошенница, за яблоню спрятавшись, красная вся, малина малиной, и знаки ему подаёт, а у самой – слёзы на глазах. «Ах вы, говорю, пострели вас горой, да что же это вы затеяли? Да в уме ли ты, Варвара? Да и ты, молодец, говорю, ты подумай-ко: по себе ли ты берёзу ломишь?» Дедушко-то наш о ту пору богач был, дети-то ещё не выделены, четыре дома у него, у него и деньги, и в чести он, незадолго перед этим ему дали шляпу с позументом да мундир за то, что он девять лет бессменно старшиной в цехе сидел, – гордый он был тогда! Говорю я, как надо, а сама дрожу со страху, да и жалко мне их: потемнели оба. Тут отец твой сказал: «Я-де знаю, что Василий Васильев не отдаст Варю добром за меня, так я её выкраду, только ты помоги нам», – это я чтобы помогла! Я даже замахнулась на него, а он и не сторонится: «Хоть камнем, говорит, бей, а – помоги, всё равно я-де не отступлюсь?» Тут и Варвара подошла к нему, руку на плечо его положила, да и скажи: «Мы, говорит, уж давно поженились, ещё в мае, нам только обвенчаться нужно». Я так и покатила, – ба-атюшки!

Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом, потом понюхала табаку, вытерла слёзы и продолжала, отрадно

вздохнув:

– Ты этого ещё не можешь понять, что значит – жениться и что венчаться, только это – страшная беда, ежели девица, не венчаясь, дитя родит! Ты это запомни да, как вырастешь, на такие дела девиц не подбивай, тебе это будет великий грех, а девица станет несчастна, да и дитя незаконно, – запомни же, гляди! Ты живи, жалеючи баб, люби их сердечно, а не ради баловства, это я тебе хорошее говорю!

Она задумалась, покачиваясь на стуле, потом, встрепенувшись, снова начала:

– Ну, как же тут быть? Я Максима – по лбу, я Варвару – за косу, а он мне разумно говорит: «Боем дела не исправишь!» И она тоже: «Вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться – после!» Спрашиваю его: «Деньги-то у тебя есть?» – «Были, говорит, да я на них Варе кольцо купил». – «Что же это у тебя – трёшница была?» – «Нет, говорит, около ста целковых». А в те поры деньги были дороги, вещи – дешёвы, гляжу я на них, на мать твою с отцом, – экие ребята, думаю, экие дурачишки! Мать говорит: «Я кольцо это под пол спрятала, чтоб вы не увидали, его можно продать!» Ну, совсем ещё дети! Однако, так ли, эдак ли, уговорились мы, что венчаться им через неделю, а с попом я сама дело устрою. А сама – реву, сердце дрожмя дрожит, боюсь дедушку, да и Варе – жутко. Ну, наладились!

Только был у отца твоего недруг, мастер один, лихой человек, и давно он обо всём догадался и приглядывал за на-

ми. Вот, обрядила я доченьку мою единую во что пришлось получше, вывела её за ворота, а за углом тройка ждала, села она, свистнул Максим – поехали! Иду я домой во слезах – вдруг встречу мне этот человек, да и говорит, подлец: «Я, говорит, добрый, судьбе мешать не стану, только ты, Акулина Ивановна, дай мне за это полсотни рублей!» А у меня денег нет, я их не любила, не копила, вот я, сдуру, и скажи ему: «Нет у меня денег и не дам!» – «Ты, говорит, обещай!» – «Как это – обещать, а где я их после-то возьму?» – «Ну, говорит, али трудно у богатого мужа украсть?» Мне бы, дурёхе, поговорить с ним, задержать его, а я плюнула в рожу-то ему да и пошла себе! Он – вперёд меня забежал на двор и – поднял бунт!

Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку:

– Даже и сейчас вспомнить страшно дела эти дерзкие! Взревел дедушко-то, зверь зверем, – шутка ли это ему? Он, бывало, глядит на Варвару-то, хвастается: за дворянина выдам, за барина! Вот те и дворянин, вот те и барин! Пресвятая богородица лучше нас знает, кого с кем свести. Мечется дедушко по двору-то, как огнём охвачен, вызвал Якова с Михаилом, конопатого этого мастера согласил да Клима, кучера; вижу я – кистень он взял, гирю на ремешке, а Михайло – ружьё схватил, лошади у нас были хорошие, горячие, дрожки-тарантас – лёгкие, – ну, думаю, догонят! И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин, – добыла я нож да гужи-то у оглобель и подрезала, авось, мол, лопнут дорогой! Так и

сделалось: вывернулась оглобля дорогой-то, чуть не убило деда с Михайлом да Климом, и задержались они, а как, поправившись, доскакали до церкви – Варя-то с Максимом на паперти стоят, обвенчаны, слава те господи!

Пошли было наши-то боем на Максима, ну – он здоров был, сила у него была редкая! Михаила с паперти сбросил, руку вышиб ему, Клима тоже ушиб, а дедушко с Яковом да мастером этим – забоялись его.

Он и во гневе не терял разума, говорит дедушке: «Брось кистень, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то бог мне дал и отнять никому нельзя, и больше мне ничего у тебя не надо». Отступились они от него, сел дедушко на дрожки, кричит: «Прощай теперь, Варвара, не дочь ты мне, и не хочу тебя видеть, хошь – живи, хошь – с голоду издохни». Воротился он – давай меня бить, давай ругать, я только покряхтываю да помалкиваю: всё пройдет, а чему быть, то останется! После говорит он мне: «Ну, Акулина, гляди же: дочери у тебя больше нет нигде, помни это!» Я одно своё думаю: ври больше, рыжий, – злоба – что лёд, до тепла живёт!

Я слушаю внимательно, жадно. Кое-что в её рассказе удивляет меня, дед изображал мне венчание матери совсем не так: он был против этого брака, он после венца не пустил мать к себе в дом, но венчалась она, по его рассказу, – не тайно, и в церкви он был. Мне не хочется спросить бабушку, кто из них говорит вернее, потому что бабушкина история красивее и больше нравится мне. Рассказывая, она всё время

качается, точно в лодке плывёт. Если говорит о печальном или страшном, то качается сильнее, протянув руку вперёд, как бы удерживая что-то в воздухе. Она часто прикрывает глаза, и в морщинах щёк её прячется слепая, добрая улыбка, а густые брови чуть-чуть дрожат. Иногда меня трогает за сердце эта слепая, всё примиряющая доброта, а иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула.

– Первое время, недели две, и не знала я, где Варя-то с Максимом, а потом прибежал от неё мальчонко бойкенький, сказал. Подождала я субботы да будто ко всенощной иду, а сама к ним! Жили они далеко, на Суетинском съезде, во флигельке, весь двор мастеровщиной занят, сорно, грязно, шумно, а они – ничего, ровно бы котята, весёлые оба, мурлычут да играют. Привезла я им чего можно было: чаю, сахару, круп разных, варенья, муки, грибов сушёных, деньжонок, не помню сколько, понатаскала тихонько у деда – ведь коли не для себя, так и украсть можно! Отец-то твой не берёт ничего, обижается: «Али, говорит, мы нищие?» И Варвара поёт под его дудку: «Ах, зачем это, мамаша?..» Я их пожурила: «Дурачишко, говорю, я тебе – кто? Я тебе – богоданная мать, а тебе, дурёхе, – кровная! Разве, говорю, можно обижать меня? Ведь когда мать на земле обижают – в небесах мать божия горько плачет!» Ну, тут Максим схватил меня на руки и давай меня по горнице носить, носит да ещё приплясывает, – силен был, медведь! А Варька-то ходит, девчонка, па-

вой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой, и всё глаза заводит и всё таково важно про хозяйство рассказывает, будто всамделишная баба, – уморюшка глядеть! А ватрушки к чаю подала, так об них волк зубы сломит, и творог – дресвой рассыпается!

Так оно и шло долгое время, уж и ты готов был родиться, а дедушко всё молчит, – упрям, домовой! Я тихонько к ним похаживаю, а он и знал это, да будто не знает. Всем в дому запрещено про Варю говорить, все молчат, и я тоже помалкиваю, а сама знаю свое – отцово сердце ненадолго немо. Вот как-то пришёл заветный час – ночь, вьюга воеет, в окошки-то словно медведи лезут, трубы поют, все беси сорвались с цепей, лежим мы с дедушкой – не спится, я и скажи: «Плохо бедному в такую ночь, а ещё хуже тому, у кого сердце беспокойно!» Вдруг дедушко спрашивает: «Как они живут?» – «Ничего, мол, хорошо живут». – «Я, говорит, про кого это спросил?» – «Про дочь Варвару, про зятя Максима». – «А как ты догадалась, что про них?» «Полно-ко, говорю, отец, дурить-то, бросил бы ты эту игру, ну – кому от неё весело?» Вздыхает он: «Ах вы, говорит, черти, серые вы черти!» Потом выспрашивает: что, дескать, дурак этот большой – это про отца твоего, верно, что дурак? Я говорю: «Дурак, кто работать не хочет, на чужой шее сидит, ты бы вот на Якова с Михайлой поглядел – не эти ли дураками-то живут? Кто в дому работник, кто добытчик? Ты. А велики ли они тебе помощники?» Тут он – ругать меня: и дура-то я, и подлая,

и сводня, и уж не знаю как! Молчу. «Как ты, говорит, могла обольститься человеком, неведомо откуда, неизвестно каким?» Я себе молчу, а как устал он, говорю: «Пошёл бы ты, поглядел, как они живут, хорошо ведь живут». – «Много, говорит, чести будет им, пускай сами придут...» Тут уж я даже заплакала с радости, а он волосы мне распускает, любил он волосьями моими играть, бормочет: «Не хлюпай, дура, али, говорит, нет души у меня?» Он ведь раньше-то больно хороший был, дедушко наш, да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился и глупым стал.

– Ну, вот и пришли они, мать с отцом, во святой день, в прощёное воскресенье, большие оба, гладкие, чистые; встал Максим-то против дедушка а дед ему по плечо, – встал и говорит: «Не думай, бога ради, Василий Васильевич, что пришёл я к тебе по приданое, нет, пришёл я отцу жены моей честь воздать». Дедушке это понравилось, усмехается он: «Ах ты, говорит, орясина, разбойник! Ну, говорит, будет баловать, живите со мной!» Нахмурился Максим: уж это, дескать, как Варя хочет, а мне всё равно! И сразу началось у них зуб за зуб – никак не сладятся! Уж я отцу-то твоему и мигаю и ногой его под столом – нет, он всё своё! Хороши у него глаза были: весёлые, чистые, а брови – тёмные, бывало, сведёт он их, глаза-то спрячутся, лицо станет каменное, упрямое, и уж никого он не слушает, только меня; я его любила куда больше, чем родных детей, а он знал это и тоже любил меня! Прижмётся, бывало, ко мне, обнимет, а то схватит

на руки, таскает по горнице и говорит: «Ты, говорит, настоящая мне мать, как земля, я тебя больше Варвары люблю!» А мать твоя, в ту пору, развесёлая была озорница – бросится на него, кричит: «Как ты можешь такие слова говорить, пермяк солёны уши?» И возимся, играем трое; хорошо жили мы, голубá душа! Плясал он тоже редкостно, песни знал хорошие – у слепых перенял, а слепые лучше нет певцов!

– Поселились они с матерью во флигеле, в саду, там и родился ты, как раз в полдень – отец обедать идёт, а ты ему встречу. То-то радовался он, то-то бесновался, а уж мать – замаял просто, дурачок, будто и невесть какое трудное дело ребёнка родить! Посадил меня на плечо себе и понёс через весь двор к дедушке докладывать ему, что ещё внук явился, – дедушко даже смеяться стал: «Экой, говорит, леший ты, Максим!»

– А дядья твои не любили его, – вина он не пил, на язык дерзок был и горазд на всякие выдумки, – горько они ему отрыгнулись! Как-то о великом посте заиграл ветер, и вдруг по всему дому запело, загудело страшно – все обомлели, что за наваждение? Дедушко совсем струхнул, велел везде лампадки зажечь, бегаёт, кричит: «Молебен надо отслужить!» И вдруг всё прекратилось; ещё хуже испугались все. Дядя Яков догадался: «Это, говорит, наверное, Максимом сделано!» После он сам сказал, что наставил в слуховом окне бутылок разных да склянок, – ветер в горлышки дует, а они и гудут, всякая по-своему. Дед погрозил ему: «Как бы эти

шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим!»

– Один год сильно морозен был, и стали в город заходить волки с поля, то собаку зарежут, то лошадь испугают, пьяного караульщика заели, много суматохи было от них! А отец твой возьмёт ружьё, лыжи наденет да ночью в поле, глядишь – волка притащит, а то и двух. Шкуры снимет, головы вышелушит, вставит стеклянные глаза – хорошо выходило! Вот и пошёл дядя Михайло в сени за нужным делом, вдруг – бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено – ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет – волк! Все схватили кто что успел, бросились в сени с огнём, – глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул! Его бить, его стрелять, а он – хоть бы что! Пригляделись – одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку! Дед тогда сильно – горячо рассердился на Максима. А тут ещё Яков стал шутки эти перенимать: Максим-то склеит из картона будто голову – нос, глаза, рот сделает, пакли налепит вместо волос, а потом идут с Яковым по улице и рожи эти страшные в окна суют – люди, конечно, бояться, кричат. А по ночам – в простынях пойдут, попа напугали, он бросился на будку, а будочник, тоже испугавшись, давай караул кричать. Много они эдак-то куролесили, и никак не унять их; уж и я говорила – бросьте, и Варя тоже, – нет, не унимаются! Смеётся Максим-то: «Больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут сломя голову!» Поди говори с ним...

– И отдалось всё это ему чуть не гибелью: дядя-то Михайло весь в дедушку – обидчивый, злопамятный, и задумал он извести отца твоего. Вот, шли они в начале зимы из гостей, четверо: Максим, дядя да дьячок один его расстригли после, он извозчика до смерти забил. Шли с Ямской улицы и заманили Максима-то на Дюков пруд, будто покататься по льду, на ногах, как мальчишки катаются, заманили да и столкнули его в прорубь, – я тебе рассказывала это...

– Отчего дядя злые?

– Они – не злые, – спокойно говорит бабушка, нюхая табак. – Они просто глупые! Мишка-то хитёр, да глуп, а Яков так себе, блаженный муж... Ну, столкнули они его в воду-то, он вынырнул, схватился руками за край проруби, а они его давай бить по рукам, все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его – был он трезвый, а они – пьяные, он как-то, с божьей помощью, вытянулся подо льдом-то, держится вверх лицом посередь проруби, дышит, а они не могут достать его, покидали некоторое время в голову-то ему ледяшками и ушли – дескать, сам потонет! А он вылез, да бегом, да в полицию – полиция тут же, знаешь, на площади. Квартальный знал его и всю нашу семью, спрашивает: как это случилось?

Бабушка крестится и благодарно говорит:

– Упокой, господи, Максима Савватеича с праведными твоими, стоит он того! Скрыл ведь он от полиции дело-то! «Это, говорит, сам я, будучи выпивши, забрёл на пруд да и

свернулся в прорубь». Квартальный говорит: «Неправда, ты непьющий!» Долго ли, коротко ли, растёрли его в полиции вином, одели в сухое, окутали тулупом, привезли домой, и сам квартальный с ним и ещё двое. А Яшка-то с Мишкой ещё не успели воротиться, по трактирам ходят, отца-мать славят. Глядим мы с матерью на Максима, а он не похож на себя, багровый весь, пальцы разбиты, кровью сочатся, на висках будто снег, а не тает – поседели височки-то!

Варвара – криком кричит: «Что с тобой сделали?» Квартальный принохивается ко всем, выспрашивает, а моё сердце чует – ох, нехорошо! Я Варю-то натравила на квартального, а сама тихонько пытаю Максимушку – что случилось? «Встречайте, шепчет он, Якова с Михайлой первая, научите их говорили бы, что разошлись со мной на Ямской, сами они пошли до Покровки, а я, дескать, в Прядильный проулок свернул! Не спутайте, а то беда будет от полиции!» Я – к дедушке: «Иди, заговаривай кварташку, а я сыновей ждать за ворота», и рассказала ему, какое зло вышло. Одевается он, дрожит, бормочет: «Так я и знал, того я и ждал!» Врёт всё, ничего не знал! Ну, встретила я деток ладонями по рожам – Мишка-то со страху сразу трезвый стал, а Яшенька, милый, и лыка не вяжет, однако бормочет: «Знать ничего не знаю; это всё Михайло, он старшой!» Успокоили мы квартального кое-как – хороший он был господин! «Ох, говорит, глядите, коли случится у вас что худое, я буду знать, чья вина!» С тем и ушёл. А дед подошёл к Максиму-то и говорит: «Ну, спа-

сибо тебе, другой бы на твоём месте так не сделал, я это понимаю! И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в отцов дом привела!» Он ведь, дедушко-то, когда хотел, так хорошо говорил, это уж после, по глупости, стал на замок сердце-то запираить. Остались мы втроём, заплакал Максим Савватеич и словно бредить стал: «За что они меня, что худого сделал я для них? Мама – за что?» Он меня не мамашей, а мамой звал, как маленький, да он и был, по характеру-то, вроде ребёнка. «За что?» – спрашивает. Я – реву, что мне больше осталось? Мои дети-то, жалко их! Мать твоя все пуговицы на кофте оборвала, сидит растрёпана, как после драки, рычит: «Уедем, Максим! Братья нам враги, боюсь их, уедем!» Я уж на неё цыкнула: «Не бросай в печь сору, и без того угар в доме!» Тут дедушко дураков этих прислал прощенья просить, наскочила она на Мишку, хлысь его по щеке – вот те и прощенье! А отец жалуется: «Как это вы, братцы? Ведь вы калеккой могли оставить меня, какой я работник без рук-то?» Ну, помирились кое-как. Похворал отец-то, недель семь валялся и нет-нет да скажет: «Эх, мама, едем с нами в другие города – скушноовато здесь!» Скоро и вышло ему ехать в Астрахань; ждали туда летом царя, а отцу твоему было поручено триумфальные ворота строить. С первым пароходом поплыли они; как с душой рассталась я с ними, он тоже печален был и всё уговаривал меня – ехала бы я в Астрахань-то. А Варвара радовалась, даже не хотела скрыть радость свою, бесстыдница... Так и уехали. Вот те и – всё...

Она выпила глоток водки, понюхала табак и сказала, задумчиво поглядывая в окно на сизое небо:

– Да, были мы с отцом твоим крови не родной, а души – одной...

Иногда, во время её рассказа, входил дед, поднимал кверху лицо хорька, нюхал острым носом воздух, подозрительно оглядывал бабушку, слушал её речь и бормотал:

– Ври, ври...

Неожиданно спрашивал:

– Лексей, она тут пила вино?

– Нет.

– Врёшь, по глазам вижу.

И нерешительно уходил. Бабушка, подмигнув вслед ему, говорила какую-нибудь прибаутку:

– Проходи, Авдей, не пугай лошадей...

Однажды он, стоя среди комнаты, глядя в пол, тихонько спросил:

– Мать?

– Ай?

– Ты видишь, что ли, дела-то?

– Вижу.

– Что ж ты думаешь?

– Судьба, отец! Помнишь, ты всё говорил про дворянина?

– Н-да.

– Вот он и есть.

– Голь.

– Ну, это её дело!

Дед ушёл. Почуввав что-то недоброе, я спросил бабушку:

– Про что вы говорили?

– Всё бы тебе знать, – ворчливо отозвалась она, растирая мои ноги. Смолоду все узнаешь – под старость и спросить не о чём будет... – И засмеялась, покачивая головою.

– Ах, дедушко, дедушко, малая ты пылинка в божьем глазу! Ленька, ты только молчи про это! – разорился ведь дедушко-то дотла! Дал барину одному большущие деньги-тысячи, а барин-то обанкрутился...

Улыбаясь, она задумалась, долго сидела молча, а большое лицо её морщилось, становясь печальным, темнея.

– Ты о чём думаешь?

– А вот, думаю, что тебе рассказать? – встрепенулась она. – Ну, про Евстигнея – ладно? Вот значит:

Жил-был дьяк Евстигней,
Думал он – нет его умней,
Ни в попах, ни в боярах,
Ни во псах, самых старых!
Ходит он кичливо, как пырин,
А считает себя птицей Сирин,
Учит соседей, соседок,
Всё ему не так да не эдак.
Взглянет на церковь – низка!
Покосится на улицу – узка!
Яблоко ему – не румяно!

Солнышко взошло – рано!
На что ни укажут Евстигнею,
А он:

бабушка надувает щёки, выкатывает глаза, доброе лицо её
делается глупым и смешным, она говорит ленивым, тяжёлым
ГОЛОСОМ:

– Я-ста сам эдак-то умею,
Я-ста сделал бы и лучше вещь эту,
Да всё время у меня нету.

Помолчав, улыбаясь, она тихонько продолжает

И пришли ко дьяку в ночу беси:
– Тебе, дьяк, не угодно здесь?
Так пойдём-ко ты с нами во ад,
Хорошо там уголья горят!
Не поспел умный дьяк надеть шапки,
Подхватили его беси в свои лапки,
Тащат, щекотят, воют,
На плечи сели ему двое,
Сунули его в адское пламя.
– Ладно ли, Евстигнеюшка, с нами?
Жарится дьяк, озирается,
Руками в бока подпирается,
Губы у него спесиво надуты,
– А – угарно, – говорит, – у вас в аду-то!

Закончив басню ленивым, жирным голосом, она, переменяв лицо, смеётся тихонько, поясняя мне:

– Не сдался, Евстигней-то, крепко на своем стоит, упрям, вроде бы дедушко наш! Ну-ко, спи, пора...

Мать всходила на чердак ко мне редко, не оставалась долго со мною, говорила торопливо. Она становилась всё красивее, всё лучше одевалась, но и в ней, как в бабушке, я чувствовал что-то новое, спрятанное от меня, чувствовал и догадывался.

Всё меньше занимали меня сказки бабушки, и даже то, что рассказывала она про отца, не успокаивало смутной, но разрастающейся с каждым днём тревоги.

– Отчего беспокоится отцова душа? – спрашивал я бабушку.

– А как это знать? – говорила она, прикрывая глаза. – Это дело божие, небесное, нам неведомое...

Ночами, бессонно глядя сквозь синие окна, как медленно плывут по небу звёзды, я выдумывал какие-то печальные истории, главное место в них занимал отец, он всегда шёл куда-то, один, с палкой в руке, и – мохнатая собака сзади его...

XII

Однажды я заснул под вечер, а проснувшись, почувствовал, что и ноги проснулись, спустил их с кровати – они снова отнялись, но уже появилась уверенность, что ноги целы и я буду ходить. Это было так ярко хорошо, что я закричал от радости, придавил всем телом ноги к полу – свалился, но тотчас же пополз к двери, по лестнице, живо представляя, как все внизу удивятся, увидав меня.

Не помню, как я очутился в комнате матери у бабушки на коленях, пред нею стояли какие-то чужие люди, сухая, зелёная старуха строго говорила, заглушая все голоса:

– Напоить его малиной, закусать с головой...

Она была вся зелёная, и платье, и шляпа, и лицо с бородавкой под глазом, даже кустик волос на бородавке был, как трава. Опустив нижнюю губу, верхнюю она подняла и смотрела на меня зелёными зубами, прикрыв глаза рукою в чёрной кружевной перчатке без пальцев.

– Это кто? – спросил я, оробев. Дед ответил неприятным голосом:

– Это ещё тебе бабушка...

Мать, усмехаясь, подвинула ко мне Евгения Максимова.

– Вот и отец...

Она стала что-то говорить быстро, непонятно; Максимов, прищурясь, наклонился ко мне и сказал:

– Я тебе подарю краски.

В комнате было очень светло, в переднем углу, на столе, горели серебряные канделябры по пяти свеч, между ними стояла любимая икона деда «Не рыдай мене, мати», сверкал и таял в огнях жемчуг ризы, лучисто горели малиновые алмадины на золоте венцов. В тёмных стёклах окон с улицы молча прижались блинами мутные круглые рожи, прилипли расплющенные носы, всё вокруг куда-то плыло, а зелёная старуха щупала холодными пальцами за ухом у меня, говоря:

– Непременно, непременно...

– Сомлел, – сказала бабушка и понесла меня к двери.

Но я не сомлел, а просто закрыл глаза и, когда она тащила меня вверх по лестнице, спросил её:

– Что же ты не говорила мне про это?...

– А ты – ладно, молчи!

– Обманщики вы...

Положив меня на кровать, она ткнулась головою в подушку и задрожала вся, заплакала, плечи у неё ходуном ходили, захлёбываясь, она бормотала:

– А ты поплачь... поплачь...

Мне плакать не хотелось. На чердаке было сумрачно и холодно, я дрожал, кровать качалась и скрипела, зелёная старуха стояла пред глазами у меня, я притворился, что уснул, и бабушка ушла.

Тонкой струйкой однообразно протекло несколько пустых дней, мать после сговора куда-то уехала, в доме было удру-

чающе тихо.

Как-то утром пришёл дед со стамеской в руке, подошёл к окну и стал отковыривать замазку зимней рамы. Явилась бабушка с тазом воды и тряпками, дед тихонько спросил её:

– Что, старуха?

– А что?

– Рада, что ли?

Она ответила так же, как мне на лестнице:

– А ты – ладно, молчи!

Простые слова теперь имели особенный смысл, за ними пряталось большое, грустное, о чём не нужно говорить и что все знают.

Осторожно вынув раму, дед понёс её вон, бабушка распахнула окно – в саду кричал скворец, чирикали воробьи; пьяный запах оттаявшей земли налился в комнату, синеватые изразцы печи сконфуженно побелели, смотреть на них стало холодно. Я слез на пол с постели.

– Босиком-то не ходи, – сказала бабушка.

– Пойду в сад.

– Не сухо еще там, погодил бы!

Не хотелось слушать её, и даже видеть больших было неприятно.

В саду уже пробились светло-зелёные иглы молодой травы, на яблонях набухли и лопались почки, приятно позеленел мох на крыше домика Петровны, всюду было много птиц; весёлый звон, свежий пахучий воздух приятно кружил

голову. В яме, где зарезался дядя Пётр, лежал, спутавшись, поломанный снегом рыжий бурьян, – нехорошо смотреть на неё, ничего весеннего нет в ней, чёрные головни лоснятся печально, и вся яма раздражающе ненужна. Мне сердито захотелось вырвать, выломать бурьян, вытаскать обломки кирпичей, головни, убрать всё грязное, ненужное и, устроив в яме чистое жилище себе, жить в ней летом одному, без больших. Я тотчас же принялся за дело, оно сразу, надолго и хорошо отвело меня от всего, что делалось в доме, и хотя было всё ещё очень обидно, но с каждым днём теряло интерес.

– Ты что это надул губы? – спрашивали меня то бабушка, то мать, – было неловко, что они спрашивают так, я ведь не сердился на них, а просто всё в доме стало мне чужим. За обедом, вечерним чаем и ужином часто сидела зелёная старуха, точно гнилой кол в старой изгороди. Глаза у неё были пришиты к лицу невидимыми ниточками; легко выкатываясь из костлявых ям, они двигались очень ловко, всё видя, всё замечая, поднимаясь к потолку, когда она говорила о боге, опускаясь на щёки, если речь шла о домашнем. Брови у неё были точно из отрубей и какие-то приклеенные. Её голые, широкие зубы бесшумно перекусывали всё, что она совала в рот, смешно изогнув руку, оттопырив мизинец, около ушей у неё катались костяные шарики, уши двигались, и зелёные волосы бородавки тоже шевелились, ползая по жёлтой, сморщенной и противно чистой коже. Она вся была такая же чистая, как её сын, – до них неловко, нехорошо бы-

ло притронуться. В первые дни она начала было совать свою мёртвую руку к моим губам, от руки пахло жёлтым казанским мылом и ладаном, я отворачивался, убегал.

– Мальчика непременно надо очень воспитывать, понимаешь, Женя?

Он послушно наклонял голову, хмурил брови и молчал. И все хмурились при этой зелёной.

Я ненавидел старуху – да и сына её – сосредоточенной ненавистью, и много принесло мне побоев это тяжёлое чувство. Однажды за обедом она сказала, страшно выкатив глаза:

– Ах, Алёшенька, зачем ты так торопишься кушать и такие большущие куски! Ты подавишься, милый!

Я вынул кусок изо рта, снова надел его на вилку и протянул ей:

– Возьмите, коли жалко...

Мать выдернула меня из-за стола, я с позором был прогнан на чердак, пришла бабушка и хохотала, зажимая себе рот:

– А, ба-атюшки! Ну, и озорник же ты, Христос с тобой...

Мне не нравилось, что она зажимает рот, я убежал от неё, залез на крышу дома и долго сидел там за трубой. Да, мне очень хотелось озорничать, говорить всем злые слова, и было трудно побороть это желание, а пришлось побороть: однажды я намазал стулья будущего вотчима и новой бабушки вишнёвым клеем, оба они прилипли; это было очень смеш-

но, но когда дед отколотил меня, на чердак ко мне пришла мать, привлекла меня к себе, крепко сжала коленями и сказала:

– Послушай, – зачем ты злишься? Знал бы ты, какое это горе для меня!

Глаза её налились светлыми слезами, она прижала голову мою к своей щеке, – это было так тяжело, что лучше бы уж она ударила меня! Я сказал, что никогда не буду обижать Максимовых, никогда, – пусть только она не плачет.

– Да, да, – сказала она тихонько, – не нужно озорничать! Вот скоро мы обвенчаемся, потом поедem в Москву, а потом воротимся, и ты будешь жить со мной. Евгений Васильевич очень добрый и умный, тебе будет хорошо с ним. Ты будешь учиться в гимназии, потом станешь студентом, – вот таким же, как он теперь, а потом доктором. Чем хочешь, – учёный может быть чем хочет. Ну, иди, гуляй...

Эти «потом», положенные ею одно за другим, казались мне лестницею куда-то глубоко вниз и прочь от неё, в темноту, в одиночество, – не обрадовала меня такая лестница. Очень хотелось сказать матери:

«Не выходи, пожалуйста, замуж, я сам буду кормить тебя!»

Но это не сказалось. Мать всегда будила очень много ласковых дум о ней, но выговорить думы эти я не решался никогда.

В саду дела мои пошли хорошо: я выполол, вырубил ко-

сарём бурьян, обложил яму по краям, где земля оползла, обломками кирпичей, устроил из них широкое сиденье, – на нём можно было даже лежать. Набрал много цветных стёкол и осколков посуды, вмазал их глиной в щели между кирпичами – когда в яму смотрело солнце, всё это радужно разгоралось, как в церкви.

– Ловко придумал! – сказал однажды дедушка, разглядывая мою работу. Только бурьян тебя забудёт, корни-то ты оставил! Дай-ко я перекопаю землю заступом, – иди принеси!

Я принёс железную лопату, он поплевал на руки и, покрывивая, стал глубоко всаживать ногою заступ в жирную землю.

– Отбрасывай коренья! Потом я тебе насажу тут подсолнухов, мальвы хорошо будет! Хорошо...

И вдруг, согнувшись над лопатой, он замолчал, замер; я присмотрелся к нему – из его маленьких, умных, как у собаки, глаз часто падали на землю мелкие слёзы.

– Ты что?

Он встряхнулся, вытер ладонью лицо, мутно поглядел на меня.

– Вспотел я! Гляди-ко – червей сколько!

Потом снова стал копать землю и вдруг сказал:

– Зря всё это настроил ты! Зря, брат. Дом-от я ведь скоро продам. К осени, наверное, продам. Деньги нужны, матери в приданое. Так-то. Пускай хоть она хорошо живёт, господь

с ней...

Он бросил лопату и, махнув рукою, ушёл за баню, в угол сада, где у него были парники, а я начал копать землю и тотчас же разбил себе заступом палец на ноге.

Это помешало мне проводить мать в церковь к венцу, я мог только выйти за ворота и видел, как она под руку с Максимовым, наклоня голову, осторожно ставит ноги на кирпич тротуара, на зелёные травы, высунувшиеся из щелей его, — точно она шла по остриям гвоздей.

Свадьба была тихая; придя из церкви, невесело пили чай, мать сейчас же переделалась и ушла к себе в спальню укладывать сундуки, вотчим сел рядом со мною и сказал:

— Я обещал подарить тебе краски, да здесь в городе нет хороших, а свои я не могу отдать, уж я пришлю тебе краски из Москвы...

— А что я буду делать с ними?

— Ты не любишь рисовать?

— Я не умею.

— Ну, я тебе другое что-нибудь пришлю.

Подошла мать.

— Мы ведь скоро вернёмся; вот отец сдаст экзамен, кончит учиться, мы и назад...

Было приятно, что они разговаривают со мною, как со взрослым, по как-то странно было слышать, что человек с бородой всё ещё учится, Я спросил:

— Ты чему учишься?

– Межевому делу...

Мне было лень спросить – что это за дело? Дом наполняла скучная тишина, какой-то шерстяной шорох, хотелось, чтобы скорее пришла ночь. Дед стоял, прижавшись спиной к печи, и смотрел в окно прищурясь; зелёная старуха помогала матери укладываться, ворчала, охала, а бабушку, с полудня пьяную, стыда за неё ради, спровадили на чердак и заперли там.

Мать уехала рано утром на другой день; она обняла меня на прощание, легко приподняв с земли, заглянула в глаза мне какими-то незнакомыми глазами и сказала, целуя:

– Ну, прощай...

– Скажи ему, чтобы слушался меня, – угрюмо проговорил дед, глядя в небо, ещё розовое.

– Слушайся дедушку, – сказала мать, перекрестив меня. Я ждал, что она скажет что-то другое, и рассердился на деда, – это он помешал ей.

Вот они сели в пролётку, мать долго и сердито отцепляла подол платья, зацепившийся за что-то.

– Помоги, али не видишь? – сказал мне дед; я не помог, туго связанный тоскою.

Максимов терпеливо уставлял в пролётке свои длинные ноги в узких синих брюках, бабушка совала в руки ему какие-то узлы, он складывал их на колени себе, поддерживал подбородком и пугливо морщил бледное лицо, растягивая:

– До-остаточно-о...

На другую пролётку уселась зелёная старуха со старшим сыном, офицером, – она сидела, как написанная, а он чесал себе бороду ручкой сабли и позёвывал.

– Значит – вы на войну пойдёте? – спрашивал дед.

– Обязательно!

– Дело доброе. Турок надо бить...

Поехали. Мать несколько раз обернулась, взмахивая платком, бабушка, опираясь рукою о стену дома, тоже трясла в воздухе рукою, обливаясь слезами, дед тоже выдавливал пальцами слёзы из глаз и ворчал отрывисто:

– Не будет... добра тут... не будет.

Я сидел на тумбе, глядя, как подпрыгивают пролётки, – вот они повернули за угол, и в груди что-то захлопнулось, закрылось.

Было рано, окна домов ещё прикрыты ставнями, улица пустынна – никогда я не видал её такой мёртво пустой. Вдали назойливо играл пастух.

– Пойдем чай пить, – сказал дед, взяв меня за плечо. – Видно – судьба тебе со мной жить; так и станешь ты об меня чиркать, как спичка о кирпич!

С утра до вечера мы с ним молча возились в саду; он копал гряды, подвязывал малину, снимал с яблонь лишай, давил гусеницу, а я всё устраивал и украшал жилище себе. Дед отрубил конец обгоревшего бревна, воткнул в землю палки, я развесил на них клетки с птицами, сплёл из сухого бурьяна плотный плетень и сделал над скамьёй навес от солнца и

росы, – у меня стало совсем хорошо.

Дед говорил:

– Это очень полезно, что ты учишься сам для себя устраивать как лучше.

Я очень ценил его слова. Иногда он ложился на седалище, покрытое мною дёрном, и поучал меня не торопясь, как бы с трудом вытаскивая слова:

– Теперь ты от матери отрезан ломоть, пойдут у неё другие дети, будут они ей ближе тебя. Бабушка вот пить начала.

Долго молчит, будто прислушиваясь, – снова неохотно роняет тяжёлые слова.

– Это она второй раз запивает, – когда Михайле выпало в солдаты идти она тоже запила. И уговорила меня, дура старая, купить ему рекрутскую квитанцию. Может, он в солдатах-то другим стал бы... Эх вы-и... А я скоро помру. Значит – останешься ты один, сам про себя – весь тут, своей жизни добытчик – понял? Ну, вот. Учись быть самому себе работником, а другим – не поддавайся! Живи тихонько, спокойненько, а – упрямо! Слушай всех, а делай как тебе лучше...

Всё лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожил в саду, тёплыми ночами даже спал там на кошке, подаренной бабушкой; нередко и сама она ночевала в саду, принесёт охапку сена, разбросает его около моего ложа, ляжет и долго рассказывает мне о чём-нибудь, прерывая речь свою неожиданными вставками:

– Гляди – звезда упала! Это чья-нибудь душенька чистая

встосковалась, мать-землю вспомнила! Значит – сейчас где-то хороший человек родился.

Или указывала мне:

– Новая звезда взошла, глянь-ко! Экая глазастая! Ох ты, небо-небушко, риза бога светлая...

Дед ворчал:

– Простудитесь, дурачьё, захвораете, а то пострел схватит. Воры придут, задавят...

Бывало – зайдёт солнце, прольются в небесах огненные реки и – сгорят, ниспадёт на бархатную зелень сада золоти-сто-красный пепел, потом всё вокруг ощутимо темнеет, ширится, пухнет, облитое тёплым сумраком, опускаются сытые солнцем листья, гнутся травы к земле, всё становится мягче, пышнее, тихонько дышит разными запахами, ласковыми, как музыка, – и музыка плывёт издали, с поля: играют зорю в лагерях. Ночь идёт, и с нею льётся в грудь нечто сильное, освежающее, как добрая ласка матери, тишина мягко гладит сердце тёплой, мохнатой рукою, и стирается в памяти всё, что нужно забыть, вся едкая, мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверх лицом, следя, как разгораются звёзды, бесконечно углубляя небо; эта глубина, уходя всё выше, открывая новые звёзды, легко поднимает тебя с земли, и – так странно – не то вся земля умалилась до тебя, не то сам ты чудесно разросся, развернулся и плавишься, сливаясь со всем, что вокруг. Становится темнее, тише, но всюду невидимо протянуты чуткие струны, и каждый звук – запоёт ли птица во

сне, пробежит ли ёж, или где-то тихо вспыхнет человеческий голос – всё особенно, не по-дневному звучно, подчёркнутое любовно чуткой тишиной.

Проиграла гармоника, прозвучал женский смех, гремит сабля по кирпичу тротуара, взвизгнула собака – всё это не нужно, это падают последние листья отцветшего дня.

Бывали ночи, когда вдруг в поле, на улице вскипал пьяный крик, кто-то бежал, тяжело топая ногами, – это было привычно и не возбуждало внимания.

Бабушка не спит долго, лежит, закинув руки под голову, и в тихом возбуждении рассказывает что-нибудь, видимо, несколько не заботясь о том, слушаю я её или нет. И всегда она умела выбрать сказку, которая делала ночь ещё значительней, ещё краше.

Под её мерную речь я незаметно засыпал и просыпался вместе с птицами; прямо в лицо смотрит солнце, нагреваясь, тихо струится утренний воздух, листья яблонь стряхивают росу, влажная зелень травы блестит всё ярче, приобретая хрустальную прозрачность, тонкий парок вздымается над нею. В сиреновом небе растёт веер солнечных лучей, небо голубеет. Невидимо высоко звенит жаворонок, и все цвета, звуки росой просачиваются в грудь, вызывая спокойную радость, будя желание скорее встать, что-то делать и жить в дружбе со всем живым вокруг.

Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь, именно этим летом во мне сложилось и окрепло чув-

ство уверенности в своих силах. Я одичал, стал нелюдям; слышал крики детей Овсянникова, но меня не тянуло к ним, а когда являлись братья, это нимало не радовало меня, только возбуждало тревогу, как бы они не разрушили мои постройки в саду – моё первое самостоятельное дело.

Перестали занимать меня и речи деда, всё более сухие, ворчливые, охающие. Он начал часто ссориться с бабушкой, выгонял её из дома, она уходила то к дяде Якову, то – к Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по нескольку дней, дед сам стряпал, обжигал себе руки, выл, ругался, колотил посуду и заметно становился жаден.

Иногда, приходя ко мне в шалаш, он удобно усаживался на дёрн, следил за мною долго, молча и неожиданно спрашивал:

– Что молчишь?

– Так. А что?

Он начинал поучать:

– Мы – не баре. Учить нас некому. Нам надо всё самим понимать. Для других вон книги написаны, училища выстроены, а для нас ничего не поспело. Всё сам возьми...

И задумывался, засыхал, неподвижный, немой, почти – жуткий.

Осенью он продал дом, а незадолго до продажи, вдруг, за утренним чаем, угрюмо и решительно объявил бабушке:

– Ну, мать, кормил я тебя, кормил – будет! Добывай хлеб себе сама.

Бабушка отнеслась к этим словам совершенно спокойно, точно давно знала, что они будут сказаны, и ждала этого. Не торопясь достала табакерку, зарядила свой губчатый нос и сказала:

– Ну, что ж! Коли – так, так – эдак...

Дед снял две тёмные комнатки в подвале старого дома, в тупике, под горкой. Когда переезжали на квартиру, бабушка взяла старый лапоть на длинном оборе, закинула его в подпечек и, присев на корточки, начала вызывать домового:

– Домовик-родовик, – вот тебе сани, поезжай-ко с нами на новое место, на иное счастье...

Дед заглянул в окно со двора и крикнул:

– Я те повезу, еретица! Попробуй осрами-ка меня...

– Ой, гляди, отец, худо будет, – серьёзно предупредила она, но дед освирепел и запретил ей перевозить домового.

Мебель и разные вещи он дня три распродал старьёвщикам-татарам, яростно торгуясь и ругаясь, а бабушка смотрела из окна и то плакала, то смеялась, негромко покрикивая:

– Тащи-и! Ломай...

Я тоже готов был плакать, жалея мой сад, шалаш. Переезжали на двух телегах, и ту, на которой сидел я, среди разного скарба, страшно трясло, как будто затем, чтобы сбросить меня долой.

И в этом ощущении упорной, сбрасывающей куда-то тряски я прожил года два, вплоть до смерти матери.

Мать явилась вскоре после того, как дед поселился в под-

вале, бледная, похудевшая, с огромными глазами и горячим, удивлённым блеском в них. Она всё как-то присматривалась, точно впервые видела отца, мать и меня, присматривалась и молчала, а вотчим неустанно расхаживал по комнате, насвистывая тихонько, покашливая, заложив руки за спину, играя пальцами.

– Господи, как ты ужасно растёшь! – сказала мне мать, сжав горячими ладонями щёки мои. Одета она была некрасиво – в широкое, рыжее платье, вздущееся на животе.

Вотчим протянул мне руку.

– Здравствуй, брат! Ну, как ты, а?

Понюхал воздух и сказал:

– А знаете – у вас очень сыро!

Оба они как будто долго бежали, утомились, всё на них смялось, вытерлось, и ничего им не нужно, а только бы лечь да отдохнуть.

Скучно пили чай, дедушка спрашивал, глядя, как дождь моет стекло окна:

– Стало быть – всё сгорело?

– Всё, – решительно подтвердил вотчим. – Мы сами едва выскочили...

– Так. Огонь не шутит.

Прижавшись к плечу бабушки, мать шептала что-то на ухо ей, – бабушка щурила глаза, точно в них светом било. Становилось всё скучнее.

Вдруг дед сказал ехидно и спокойно, очень громко:

– А до меня слух дошёл, Евгений Васильев, сударь, что пожара-то не было, а просто ты в карты проиграл всё...

Стало тихо, как в погребке, фыркал самовар, хлестал дождь по стёклам, потом мать выговорила:

– Папаша...

– Что-о, папаша-а? – оглушительно закричал дед. – Что ещё будет? Не говорил я тебе: не ходи тридцать за двадцать? Вот тебе, – вон он – тонкий! Дворянка, а? Что, дочка?

Закричали все четверо, громче всех вотчим. Я ушёл в сени, сел там на дрова и окоченел в изумлении: мать точно подменили, она была совсем не та, не прежняя. В комнате это было меньше заметно, но здесь, в сумраке, ясно вспомнилось, какая она была раньше.

Потом, как-то не памятно, я очутился в Сормове, в доме, где всё было новое, стены без обоев, с пенькой в пазах между бревнами и со множеством тараканов в пеньке. Мать и вотчим жили в двух комнатах, на улицу окнами, а я с бабушкой – в кухне, с одним окном на крышу. Из-за крыш чёрными кукишами торчали в небо трубы завода и густо, кудряво дымили, зимний ветер раздувал дым по всему селу; всегда у нас, в холодных комнатах, стоял жирный запах гари. Рано утром волком выл гудок:

– Хвоу, оу, оу-у...

Если встать на лавку, то в верхние стёкла окна, через крыши, видны освещённые фонарями ворота завода, раскрытые, как беззубый чёрный рот старого нищего, – в него густо ле-

зет толпа маленьких людей. В полдень снова гудок; отваливались чёрные губы ворот, открывая глубокую дыру, завод тошнило пережёванными людьми, чёрным потоком они изливались на улицу, белый, мохнатый ветер летал вдоль улицы, гоняя и раскидывая людей по домам. Небо было видимо над селом очень редко: изо дня в день над крышами домов, над сугробами снега, посоленными копотью, висела другая крыша, серая, плоская, она притискивала воображение и ослепляла глаза своим тоскливым одноцветом.

Вечерами над заводом колебалось мутно-красное зарево, освещая концы труб, и было похоже, что трубы не от земли к небу поднялись, а опускаются к земле из этого дымного облака, – опускаются, дышат красным и воют, гудят. Смотреть на всё это было невыносимо тошно, злая скука грызла сердце. Бабушка работала за кухарку – стряпала, мыла полы, колола дрова, носила воду, она была в работе с утра до вечера, ложилась спать усталая, кряхтя и охая. Иногда она, отстряпавшись, надевала короткую ватную кофту и, высоко подоткнув юбку, отправлялась в город.

– Поглядеть, как там старик живёт..

– Возьми меня!

– Замёрзнешь, гляди, как выужно!

И уходила она за семь вёрст, по дороге, затерянной в снежных полях. Мать, жёлтая, беременная, зябко куталась в серую, рваную шаль с бахромой. Ненавидел я эту шаль, искажавшую большое, стройное тело, ненавидел и обрывал хво-

стики бахромы, ненавидел дом, завод, село. Мать ходила в растоптанных валенках, кашляла, встряхивая безобразно большой живот, её серо-синие глаза сухо и сердито сверкали и часто неподвижно останавливались на голых стенах, точно приклеиваясь к ним. Иногда она целый час смотрела в окно на улицу; улица была похожа на челюсть, часть зубов от старости почернела, покривилась, часть их уже вывалилась и неуклюже вставлены новые, не по челюсти большие.

– Зачем мы тут живём? – спрашивал я. Она отвечала:

– Ах, молчи ты...

Она мало говорила со мною, всё только приказывала:

– Сходи, подай, принеси...

На улицу меня пускали редко, каждый раз я возвращался домой избитый мальчишками, – драка была любимым и единственным наслаждением моим, я отдавался ей со страстью. Мать хлестала меня ремнём, но наказание ещё более раздражало, и в следующий раз я бился с ребятами яростней, – а мать наказывала меня сильнее. Как-то раз я предупредил её, что, если она не перестанет бить, я укушу ей руку, убегу в поле и там замёрзну, – она удивлённо оттолкнула меня, прошлась по комнате и сказала, задыхаясь от усталости:

– Зверёныш!

Живая, трепетная радуга тех чувств, которые именуется любовью, выцветала в душе моей, всё чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на всё, тлело в сердце чувство

тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой, безжизненной чепухе.

Вотчим был строг со мной, неразговорчив с матерью, всё посвистывал, кашлял, а после обеда становился перед зеркалом и заботливо, долго ковырял лучинкой в неровных зубах. Всё чаще он ссорился с матерью, сердито говорил ей «вы» – это выканье отчаянно возмущало меня. Во время ссор он всегда плотно прикрывал дверь в кухню, видимо, не желая, чтоб я слышал его слова, но я все-таки вслушивался в звуки его глуховатого баса.

Однажды он крикнул, топнув ногою:

– Из-за вашего дурацкого брюха я никого не могу пригласить в гости к себе, корова вы эдакая!

В изумлении, в бешеной обиде я так привскочил на полатах, что ударился головою о потолок и сильно прикусил до крови язык себе.

По субботам к вотчиму десятками являлись рабочие продавать записки на провизию, которую они должны были брать в заводской лавке, этими записками им платили вместо денег, а вотчим скупал их за полцены. Он принимал рабочих в кухне, сидя за столом, важный, хмурый, брал записку и говорил:

– Полтора рубля.

– Евгений Васильев, побойся бога...

– Полтора рубля.

Эта нелепая, тёмная жизнь недолго продолжалась; перед

тем, как матери родить, меня отвели к деду. Он жил уже в Кунавине, занимая тесную комнату с русской печью и двумя окнами на двор, в двухэтажном доме на песчаной улице, опускавшейся под горку к ограде кладбища Напольной церкви.

– Что-о? – сказал он, встретив меня, и засмеялся, подвизгивая. Говорилось: нет милей дружка, как родимая матушка, а нынче, видно, скажем: не родимая матушка, а старый чёрт дедушка! Эх вы-и..

Не успел я осмотреться на новом месте, приехали бабушка и мать с ребенком, вотчима прогнали с завода за то, что он обирал рабочих, но он съездил куда-то, и его тотчас взяли на вокзал кассиром по продаже билетов.

Прошло много пустого времени, и меня снова переселили к матери в подвальный этаж каменного дома, мать тотчас же сунула меня в школу; с первого же дня школа вызвала во мне отвращение.

Я пришёл туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в жёлтой рубаше и штанах «навыпуск», всё это сразу было осмеяно, за жёлтую рубашу я получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп невзлюбили меня.

Учитель был жёлтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа, он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал её,

качая головою. Лицо у него было плоское, медное, окисшее, в морщинах лежала какая-то прázелень, особенно уродовали это лицо совершенно лишние на нём оловянные глаза, так неприятно прилипавшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щёки ладонью.

Несколько дней я сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя, – это было нестерпимо, казалось, он никого не видит, кроме меня, он гнусил всё время:

– Песко-ов, перемени рубаху-у! Песко-ов, не вози ногами! Песков, опять у тебя с обуви луза натекла-а!

Я платил ему за это диким озорством: однажды достал половинку замороженного арбуза, выдолбил её, и привязал на нитке к блоку двери в полутёмных сенях. Когда дверь открылась – арбуз взъехал вверх, а когда учитель притворил дверь – арбуз шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвёл меня с запиской учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкурой.

Другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку; он так расчихался, что ушёл из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставил весь класс петь «Боже царя храни» и «Ах ты, воля, моя воля». Тех, кто пел неверно, он щёлкал линейкой по головам, как-то особенно звучно и смешно, но не больно.

Законоучитель, красивый и молодой, пышноволосый поп, невзлюбил меня за то, что у меня не было «Священной ис-

тории ветхого и нового завета», и за то, что я передразнивал его манеру говорить.

Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня:

– Пешков, книгу принёс или нет? Да. Книгу?

Я отвечал:

– Нет. Не принёс. Да.

– Что – да?

– Нет.

– Ну, и – ступай домой! Да. Домой. Ибо тебя учить я не намерен. Да. Не намерен.

Это меня не очень огорчало, я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам слободы присматриваясь к её шумной жизни.

У попа было благообразное Христово лицо, ласковые, женские глаза и маленькие руки, тоже какие-то ласковые ко всему, что попадало в них. Каждую вещь – книгу, линейку, ручку пера – он брал удивительно хорошо, точно вещь была живая, хрупкая, поп очень любил её и боялся повредить ей неосторожным прикосновением. С ребяташками он был не так ласков, но они всё-таки любили его.

Несмотря на то, что я учился сносно, мне скоро было сказано, что меня выгонят из школы за недостойное поведение. Я приуныл, – это грозило мне всякими неприятностями: мать, становясь всё более раздражительной, всё чаще поколачивала меня.

Но явилась помощь, – в школу неожиданно приехал епи-

скоп Хрисанф², похожий на колдуна и, помнится, горбатый.

Когда он, маленький, в широкой чёрной одежде и смешном ведёрке на голове, сел за стол, высвободил руки из рукавов и сказал: «Ну, давайте беседовать, дети мои!» – в классе сразу стало тепло, весело, повеяло незнакомо приятным.

Вызвав после многих меня к столу, он спросил серьёзно: – Тебе – который год? Только-о? Какой ты, брат, длинный, а? Под дождями часто стоял, а?

Положив на стол сухонькую руку, с большими острыми ногтями, забрав в пальцы непышную бородку, он уставился в лицо мне добрыми глазами, предложив:

– Ну-ко, расскажи мне из священной истории, что тебе нравится?

Когда я сказал, что у меня нет книги и я не учу священную историю, он поправил клобук и спросил:

– Как же это? Ведь это надобно учить! А может, что-нибудь знаешь, слышал? Псалтырь знаешь? Это хорошо! И молитвы? Ну, вот видишь! Да ещё и жития? Стихами? Да ты у меня знающий...

Явился наш поп, красный, запыхавшийся, епископ благословил его, но когда поп стал говорить про меня, он поднял руку, сказав:

² Автор известного трёхтомного труда – «Религии древнего мира», статьи – «Египетский метампсихоз», а также публицистической статьи – «О браке и женщине». Эта статья, в юности прочитанная мною, произвела на меня сильное впечатление. Кажется, я неверно привёл титул её. Напечатана в каком-то богословском журнале семидесятых годов. (Прим. М.Горького)

– Позвольте, минутку... Ну-ко, расскажи про Алексея человека божия...

– Прехорошие стихи, брат, а? – сказал он, когда я приостановился, забыв какой-то стих. – А ещё что-нибудь?.. Про царя Давида? Очень послушаю!

Я видел, что он действительно слушает и ему нравятся стихи, он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь, быстро:

– По Псалтырю учился? Кто учил? Добрый дедушка-то? Злой? Неужто? А ты очень озорничаешь?

Я замаялся, но сказал – да. Учитель с попом многословно подтвердили моё сознание, он слушал их, опустив глаза, потом сказал, вздохнув:

– Вот что про тебя говорят – слышал? Ну-ко, подойди!

Положив на голову мне руку, от которой исходил запах кипарисового дерева, он спросил:

– Чего же это ты озорничаешь?

– Скушно очень учиться.

– Скушно? Это, брат, неверно что-то. Было бы скушно учиться – учился бы ты плохо, а вот учителя свидетельствуют, что хорошо ты учишься. Значит, есть что-то другое.

Вынув маленькую книжку из-за пазухи, он записал:

– Пешкóв Алексей. Так. А ты всё-таки сдерживался бы, брат, не озорничал бы много-то! Немножко можно, а уж много-то досадно людям бывает! Так ли я говорю, дети?

Множество голосов весело ответили:

– Так.

– Вы сами то ведь не много озорничаете?

Мальчишки, ухмыляясь, заговорили:

– Нет. Тоже много! Много!

Епископ отклонился на спинку стула, прижал меня к себе и удивлённо сказал, так, что все – даже учитель с попом – засмеялись:

– Экое дело, братцы мои, ведь и я тоже в ваши-то годы великим озорником был! Отчего бы это, братцы?

Дети смеялись, он расспрашивал их, ловко путая всех, заставляя возражать друг другу, и всё усугублял весёлость. Наконец встал и сказал:

– Хорошо с вами, озорники, да пора ехать мне!

Поднял руку, смахнув рукав к плечу, и, крестя всех широкими взмахами, благословил:

– Во имя отца и сына и святого духа, благословляю вас на добрые труды! Прощайте.

Все закричали:

– Прощайте, владыко! Опять приезжайте.

Кивая клобуком, он говорил:

– Я – приеду, приеду! Я вам книжек привезу!

И сказал учителю, выплывая из класса:

– Отпустите-ка их домой!

Он вывел меня за руку в сени и там сказал тихонько, наклонясь ко мне:

– Так ты – сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты

озорничаешь! Ну, прощай, брат!

Я был очень взволнован, какое-то особенное чувство кипело в груди, и даже, – когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды, ниже травы, – выслушал его внимательно, охотно.

Поп, надевая шубу, ласково гудел:

– Отныне ты на моих уроках должен присутствовать! Да. Должен. Но сиди смиренно! Да. Смирно.

Поправились дела мои в школе – дома разыгралась скверная история: я украл у матери рубль. Это было преступлением без заранее обдуманного намерения: однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребёнком; скучая, я развернул одну из книг вотчима – «Записки врача» Дюма-отца – и между страниц увидел два билета – в десять рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл её и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только «Священную историю», но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе: в морозный день, во время перемены, я рассказывал мальчикам сказку, вдруг один из них презрительно заметил:

– Сказки – чушь, а вот Робинзон – это настоящая история!

Нашлось ещё несколько мальчиков, читавших Робинзона, все хвалили эту книгу, я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нём – это чушь!

На другой день я принёс в школу «Священную историю»

и два растрёпанных томика сказок Андерсена, три фунта белого хлеба и фунт колбасы. В тёмной, маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в жёлтой обложке, и на первом листе изображён бородатый человек в меховом колпаке, в звериной шкуре на плечах, – это мне не понравилось, а сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то что растрёпаны.

Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей» – она сразу взяла всех за сердце.

«В Китае все жители – китайцы, и сам император – китаец», – помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простой, весело улыбающейся музыкой и ещё чем-то удивительно хорошим.

Мне не удалось дочитать «Соловья», в школе – не хватило времени, а когда я пришёл домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным, погашенным голосом:

– Ты взял рубль?

– Взял; вот – книги...

Сковородником она меня и побила весьма усердно, а книги Андерсена отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоев.

Несколько дней я не ходил в школу, а за это время вотчим, должно быть, рассказал о подвиге моём сослуживцам, те – своим детям, один из них принёс эту историю в школу,

и, когда я пришёл учиться, меня встретили новой кличкой – вор. Коротко и ясно, но – неправильно: ведь я не скрыл, что рубль взят мною. Попытался объяснить это – мне не поверили, тогда я ушёл домой и сказал матери, что в школу не пойду больше.

Сидя у окна, снова беременная, серая, с безумными, замученными глазами, она кормила брата Сашу и смотрела на меня, открыв рот, как рыба.

– Ты – врёшь, – тихо сказала она. – Никто не может знать, что ты взял рубль.

– Поди спроси.

– Ты сам проболтался. Ну, скажи – сам? Смотри, я сама узнаю завтра, кто принёс это в школу!

Я назвал ученика. Лицо её жалобно сморщилось и начало таять слезами.

Я ушёл в кухню, лёг на свою постель, устроенную за печью на ящиках, лежал и слушал, как в комнате тихонько воет мать.

– Боже мой, боже мой...

Терпения не стало лежать в противном запахе нагретых, сальных тряпок, я встал, пошёл на двор, но мать крикнула:

– Куда ты? Куда? Иди ко мне!..

Потом мы сидели на полу, Саша лежал в коленях матери, хватал пуговицы её платья, кланялся и говорил:

– Бувуга, – что означало: пуговка.

Я сидел, прижавшись к боку матери, она говорила, обняв

меня:

– Мы – бедные, у нас каждая копейка, каждая копейка...

И всё не договаривала чего-то, тиская меня горячей рукою.

– Экая дрянь... дрянь! – вдруг сказала она слова, которые я уже слышал от неё однажды.

Саша повторил:

– Дянь!

Странный это был мальчик: неуклюжий, большеголовый, он смотрел на всё вокруг прекрасными синими глазами, с тихой улыбкой и словно ожидая чего-то. Говорить он начал необычно рано, никогда не плакал, живя в непрерывном состоянии тихого веселья. Был слаб, едва ползал и очень радовался, когда видел меня, просился на руки ко мне, любил мять уши мои маленькими мягкими пальцами, от которых почему-то пахло фиалкой. Он умер неожиданно, не хвораю; ещё утром был тихо весел, как всегда, а вечером, во время благовеста ко всенощной, уже лежал на столе. Это случилось вскоре после рождения второго ребёнка, Николая. Мать сделала, что обещала; в школе я снова устроился хорошо, но меня опять перебросило к деду.

Однажды, во время вечернего чая, войдя со двора в кухню, я услышал надорванный крик матери:

– Евгений, я тебя прошу, прошу...

– Глу-по-сти! – сказал вотчим.

– Но ведь я знаю – ты к ней идёшь!

– Н-ну?

Несколько секунд оба молчали, мать закашлялась, говоря:

– Какая ты злая дрянь...

Я слышал, как он ударил её, бросился в комнату и увидел, что мать, упав на колени, опёрлась спиной и локтями о стул, выгнув грудь, закинув голову, хрипя и страшно блестя глазами, а он, чисто одетый, в новом мундире, бьёт её в грудь длинной своей ногою. Я схватил со стола нож с костяной ручкой в серебре, – им резали хлеб, это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца, – схватил и со всею силою ударил вотчима в бок.

По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова, нож проехал по боку, широко распоров мундир и только оцарапав кожу. Вотчим, охнув, бросился вон из комнаты, держась за бок, а мать схватила меня, приподняла и с рёвом бросила на пол. Меня отнял вотчим, вернувшись со двора.

Поздно вечером, когда он всё-таки ушёл из дома, мать пришла ко мне за печку, осторожно обнимала, целовала меня и плакала:

– Прости, я виновата! Ах, милый, как ты мог? Ножом?

Я совершенно искренне и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что зарежу вотчима и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это, во всяком случае попробовал бы. Даже сейчас я вижу эту подлую, длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьёт носком в грудь женщины.

Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновлённой уверенностью, отвечаю себе – стоит; ибо это – живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать её из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной.

И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, – русский человек всё-таки настолько ещё здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их.

Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодovit и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растёт доброе – человеческое, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой.

XIII

Снова я у деда.

– Что, разбойник? – встретил он меня, стуча рукою по столу. – Ну, теперь уж я тебя кормить не стану, пускай бабушка кормит!

– И буду, – сказала бабушка. – Эка задача, подумаешь!

– Вот и корми! – крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив мне:

– Мы с ней совсем разделились, у нас теперь всё порознь...

Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева, весело щёлкали коклюшки, золотым ежом блестела на вешнем солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка, точно из меди лита, – неизменна! А дед ещё более ссохся, сморщился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зелёные глаза смотрят подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказала мне о разделе имущества между ею и дедом: он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал:

– Это – твоё, а больше ничего с меня не спрашивай!

Затем отобрал у неё все старинные платья, вещи, лисий салоп, продал всё за семьсот рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Он окончательно заболел скупостью и потерял стыд: стал хо-

дить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорён детьми, выпрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уважением, ему давали обильно, крупными билетами; размахивая билетом под носом бабушки, дед хвастался и дразнил её, как ребёнок:

– Видала, дура? Тебе сотой доли этого не дадут!

Собранные деньги он отдавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке Хлыстом, и его сестре – лавочнице, дородной, краснощёкой бабе, с карими глазами, томной и сладкой, как патока.

Всё в доме строго делилось: один день обед готовила себе бабушка из провизии, купленной на её деньги, на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеда бывали хуже: бабушка брала хорошее мясо, а он – требуху, печёнку, лёгкие, сычуг. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил:

– Постой, погоди, – ты сколько положила?

Высыплет чайники на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет:

– У тебя чай-то мельче моего, значит – я должен положить меньше, мой крупнее, наваристее.

Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему и себе одной крепости и чтоб она выпивала одинаковое с ним количество чашек.

– По последней, что ли? – спрашивала она перед тем, как слить весь чай.

Дед заглядывал в чайник и говорил:

– Ну, уж – по последней!

Даже масло для лампадки пред образом каждый покупал своё, – это после полусотни лет совместного труда!

Мне было и смешно и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке только смешно.

– А ты – полно! – успокаивала она меня. – Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит! Ему ведь восемь десятков, – отшагай-ка столько-то! Пускай дурит, кому горе? А я себе да тебе – заработаю кусок небойсь!

Я тоже начал зарабатывать деньги: по праздникам, рано утром, брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по двугривенному, железо – тоже, пуд костей по гривеннику, по восемь копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза:

– Вот и спасибо тебе, голубá душа! Мы с тобой не прокормимся, – мы? Велико дело!

Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пя-таки, глядела на них и молча плакала, одна мутная слеза ви-

села у неё на носу, ноздреватом, как пемза.

Более доходной статьёй, чем ветошничество, было воровство дров и тёса в лесных складах на берегу Оки или на Песках, – остров, где во время ярмарки торгуют железом из наскоро сбитых балаганов. После ярмарки балаганы разбирают, а жерди, тёс – складывают в штабеля, и они лежат там, на Песках, почти вплоть до весеннего половодья. За хорошую тесину домовладельцы-мещане давали по гривеннику, в день можно было стащить штуки две, три. Но для удачи необходимы были ненастные дни, когда вьюга или дождь разгоняли сторожей, заставляя их прятаться.

Подобралась дружная ватага: десятилетний сын нищей мордовки, Санька Вяхирь, мальчик милый, нежный и всегда спокойно весёлый; безродный Кострома, вихрастый, костлявый, с огромными чёрными глазами, – он впоследствии, тринадцати лет, удавился в колонии малолетних преступников, куда попал за кражу пары голубей; татарчонок Хаби, двенадцатилетний силач, простодушный и добрый; тупоносый Язь, сын кладбищенского сторожа и могильщика, мальчик лет восьми, молчаливый, как рыба, страдавший «чёрной немочью», а самым старшим по возрасту был сын портнихи-вдовы Гришка Чурка, человек рассудительный, справедливый и страстный кулачный боец; всё – люди с одной улицы.

Воровство в слободе не считалось грехом, являясь обычаем и почти единственным средством к жизни для полуголодных мещан. Полтора месяца ярмарки не могли накормить на

весь год, и очень много почтенных домохозяев «прирабатывали на реке» – ловили дрова и брёвна, унесённые половодьем, перевозили на дощаниках мелкий груз, но главным образом занимались воровством с барж и вообще – «мартышничали» на Волге и Оке, хватая всё, что было плохо положено. По праздникам большие хвастались удачами своими, маленькие слушали и учились.

Весною, в горячее время перед ярмаркой, по вечерам улицы слободы были обильно засеяны упившимися мастеровыми, извозчиками и всяким рабочим людом, – слободские ребяташки всегда ошаривали их карманы, это был промысел узаконенный, им занимались безбоязненно, на глазах старших.

Воровали инструмент у плотников, гаечные ключи у легковых извозчиков, а у ломовых – шкворни, железные подоски из тележных осей, – наша компания этими делами не занималась; Чурка однажды решительно заявил:

– Я воровать не буду, мне мамка не велит.

– А я – боюсь! – сказал Хаби.

У Костромы было чувство брезгливости к воришкам, слово – вор он произносил особенно сильно и, когда видел, что чужие ребята обирают пьяных, – разгонял их, если же удавалось поймать мальчика – жестоко бил его. Этот большеглазый, невесёлый мальчик воображал себя взрослым, он ходил особенной походкой, вперевалку, точно крючник, старался говорить густым, грубым голосом, весь он был какое-то ту-

гой, надуманный, старый. Вяхирь был уверен, что воровство – грех.

Но таскать тёс и жерди с Песков не считалось грехом, никто из нас не боялся этого, и мы выработали ряд приёмов, очень успешно облегчавших нам это дело. Вечером, когда темнело, или в ненастный день Вяхирь и Язь отправлялись на Пески через затон по набухшему, мокрому льду, – они шли открыто, стараясь обратить на себя внимание сторожей, а мы, четверо, перебирались незаметно, порознь. Сторожа, встревоженные Язём и Выхирем, следили за ними, мы собирались у заранее назначенного штабеля, выбирали себе поноски, и, пока быстроногие товарищи дразнят сторожей, заставляя их бегать за собою, мы отправляемся назад. У каждого из нас верёвка, на конце её загнут крючком большой гвоздь; зацепив им тесины или жерди, мы волокли их по снегу и по льду, – сторожа почти никогда не замечали нас, а заметив не могли догнать. Продав поноски, мы делили выручку на шесть частей приходилось по пятаку, иногда по семи копеек на брата.

На эти деньги можно было очень сытно прожить день, но Выхиря била мать, если он не приносил ей на шкалик или на косушку водки; Кострома копил деньги, мечтая завести голубиную охоту; мать Чурки была больна, он старался заработать как можно больше; Хаби тоже копил деньги, собираясь ехать в город, где он родился и откуда его вывез дядя, вскоре по приезде в Нижний утонувший. Хаби забыл, как назы-

вается город, помнил только, что он стоит на Каме, близко от Волги.

Нас почему-то очень смешил этот город, мы дразнили ко-соглазого татарчонка, распевая:

Город на Каме,
Где – не знаем сами!
Не достать руками,
Не дойти ногами!

Сначала Хаби сердился на нас, но однажды Вяхирь сказал ему воркующим голосом, который оправдывал проз-вище:
– Чего ты? Разве на товарищев сердуются?

Татарчонок сконфузился и сам стал распевать о городе на Каме.

Нам всё-таки больше нравилось собирание тряпок и костей, чем воровство тёса. Это стало особенно интересно весной, когда сошёл снег, и после дождей, чисто омывавших мощёные улицы пустынной ярмарки. Там, на ярмарке, всегда можно было собрать в канавах много гвоздей, обломков железа, нередко мы находили деньги, медь и серебро, но для того, чтобы рядские сторожа не гоняли нас и не отнимали мешков, нужно было или платить им семишники, или долго кланяться им. Вообще деньги давались нам нелегко, но жили мы очень дружно, и, хотя иногда ссорились немножко, – я не помню ни одной драки между нами.

Нашим миротворцем был Вяхирь, он всегда умел вовремя

сказать нам какие-то особенные слова; простые – они удивляли и конфузили нас. Он и сам говорил их с удивлением. Злые выходки Язя не обижали, не пугали его, он находил всё дурное ненужным и спокойно, убедительно отрицал.

– Ну, зачем это ещё? – спрашивал он, и мы ясно видели – незачем!

Мать свою он называл «моя мордовка», – это не смешило нас.

– Вчерась моя мордовка опять привалилась домой пьянёхонькая! – весело рассказывал он, поблёскивая глазами золотистого цвета. – Расхлебянила дверь, села на пороге и поёт, и поёт, курица!

Положительный Чурка спрашивал:

– Что – поёт?

Вяхирь, прихлопывая ладонью по колену, тонким голоском воспроизводил песню своей матери:

Ой, стук-постук
Молодой пастух,
Он – в окошко падогом,
Мы на улицу бегом!
Пастух Борька,
Вечерняя зорька,
Заиграет на свирели
Все в деревне присмирели!

Он знал множество таких задорных песенок и очень ловко

распевал их.

– Да, – продолжает он, – так она и заснула на пороге, выстудила горницу беда как, я весь дрожу, чуть не замёрз, а стащить её – силы не хватает. Уж сегодня утром говорю ей: «Что ты какая страшная пьяница?» А она говорит: «Ничего, потерпи немножко, я уж скоро помру!»

Чурка серьёзно подтверждает:

– Она скоро помрёт, набухла уж вся.

– Жалко будет тебе? – спрашиваю я.

– А как же? – удивляется Вяхирь. – Она ведь у меня хорошая...

И все мы, зная, что мордовка походя колотит Вяхиря, верили, что она хорошая; бывало даже, во дни неудач, Чурка предлагал:

– Давайте сложимся по копейке, Вяхиревой матери на вино, а то она побьёт его!

Грамотных в компании было двое – Чурка да я; Вяхирь очень завидовал нам и ворковал, дёргая себя за острое, мышиное ухо:

– Схороню свою мордовку – тоже пойду в училище, поклонюсь учителю в ножки, чтобы взял меня. Выучусь – в садовники наймусь к архиерею, а то к самому царю!..

Весною мордовку, вместе со стариком, сборщиком на построение храма, и бутылкой водки, придавило упавшей на них поленницей дров; женщину отвезли в больницу, а солидный Чурка сказал Вяхирю:

– Айда ко мне жить, мамка моя выучит тебя грамоте...

И через малое время Вяхирь, высоко задирая голову, читал вывески:

– Балакейная лавка...

Чурка поправлял его:

– Бакалейная, кикимора!

– Я вижу, да перескакивают буквовки.

– Буковки!

– Они прыгают – рады, что читают их!

Он очень смешил и удивлял всех нас своей любовью к деревьям, травам.

Слобода, разбросанная по песку, была скудна растительностью; лишь кое-где, по дворам, одиноко торчали бедные ветлы, кривые кусты бузины, да под забором робко прятались серые сухие былинки; если кто-нибудь из нас садился на них – Вяхирь сердито ворчал:

– Ну, на что траву мнёте? Сели бы мимо, на песок, не всё ли равно вам?

При нём неловко было сломать сучок ветлы, сорвать цветущую ветку бузины или срезать прут ивняка на берегу Оки – он всегда удивлялся, вздёрнув плечи и разводя руками:

– Что вы всё ломаете? Вот уж черти!

И всем было стыдно от его удивления.

По субботам мы устраивали весёлую забаву, – готовились к ней всю неделю, собирая по улицам стоптанные лапти, складывая их в укромных углах. Вечером, в субботу, ко-

гда с Сибирской пристани шли домой ватаги крючников-татар, мы, заняв позиции, где-нибудь на перекрёстке, начинали швырять в татар лаптями. Сначала это раздражало их, они бегали за нами, ругались, но скоро начали сами увлекаться игрою и уже зная, что их ждёт, являлись на поле сражения тоже вооружёнными множеством лаптей, мало того подсмотрев, куда мы прячем боевой материал, они не однажды обкрадывали нас, – мы жаловались им:

– Это – не игра!

Тогда они делили лапти, отдавая нам половину, и – начинался бой. Обыкновенно они выстраивались на открытом месте, мы с визгом носились вокруг их, швыряя лаптями, они тоже выли и оглушительно хохотали, когда кто-нибудь из нас на бегу зарывался головою в песок, сбитый лаптем, ловко брошенным под ноги.

Игра горела долго, иногда вплоть до темноты, собиралось мешанство, выглядывало из-за углов и ворчало, порядка ради. Ворбнами летали по воздуху серые, пыльные лапти, иногда кому-нибудь из нас сильно доставалось, но удовольствие было выше боли и обиды.

Татаре горячились не меньше нас; часто, кончив бой, мы шли с ними в артель, там они кормили нас сладкой кониной, каким-то особенным варевом из овощей, после ужина пили густой кирпичный чай со сдобными орешками из сладкого теста. Нам нравились эти огромные люди, на подбор – силачи, в них было что-то детское, очень понятное, – меня осо-

бенно поражала их незлобивость, непоколебимое добродушие и внимательное, серьёзное отношение друг ко другу.

Все они превосходно смеялись, до слёз захлёбываясь смехом, а один из них – касимовец, с изломанным носом, мужик сказочной силы: он снёс однажды с баржи далеко на берег колокол в двадцать семь пудов веса, – он, смеясь, выл и кричал:

– Вву, вву! Слова – трава, а слова – мелка денга, а золотой монета слова-та!

Однажды он посадил Вяхиря на ладонь себе, поднял его высоко и сказал:

– Вот где живи, небеснай!

В ненастные дни мы собирались у Язя, на кладбище, в сторожке его отца. Это был человек кривых костей, длиннорукый, измызганный, на его маленькой голове, на тёмном лице кустились грязноватые волосы; голова его напоминала засохший репей, длинная, тонкая шея – стебель. Он сладко жмурил какие-то жёлтые глаза и скороговоркой бормотал:

– Не дай господь бессонницу! Ух!

Мы покупали три золотника чая, осьмушку сахара, хлеба, обязательно шкалик водки отцу Язя, Чурка строго приказывал ему:

– Дрянной Мужик, – ставь самовар!

Мужик, усмехаясь, ставил жестяной самовар, мы, в ожидании чая, рассуждали о своих делах, он давал нам добрые советы:

– Глядите – после завтрая сороковины у Трусовых, большой стол будет, вот они где, кости вам!

– У Трусовых кости кухарка собирает, – замечал всезнающий Чурка.

Вяхирь мечтал, глядя в окно на кладбище:

– Скоро в лес ходить будем, ох ты!

Язь всегда молчал, внимательно разглядывая всех печальными глазами, молча же он показывал нам свои игрушки – деревянных солдат, добытых из мусорной ямы, безногих лошадей, обломки меди, пуговицы.

Отец его ставил на стол разнообразные чашки, кружки, подавал самовар, Кострома садился разливать чай, а он, выпив свой шкалик, залезал на печь и, вытянув оттуда длинную шею, разглядывал нас совиными глазами, ворчал:

– Ух, чтоб вам сдохнуть, – будто и не мальчишки ведь, а? Ах, воры, не дай господь бессонницу!

Вяхирь говорил ему:

– Мы вовсе не воры!

– Ну, ин воришки...

Если Язёв отец надоедал нам, – Чурка сердито окрикивал его:

– Отстань, Дрянной Мужик!

Мне, Вяхирю и Чурке очень не нравилось, когда этот человек начинал перечислять, в каком доме есть хворые, кто из слобожан скоро умрёт, – он говорил об этом смачно и безжалостно, а видя, что нам неприятны его речи, нарочно драз-

нил и подзуживал нас:

– Ага-а, боитесь, шишиги? То-то! А вот скоро один толстый помрёт, – эх, и долго ему гнить!

Его останавливали, – он не унимался:

– А ведь и вам надо умирать, не помойных-то ямах недолго проживёте!

– Ну, так и умрём, – говорил Вяхирь, – нас в ангелы возьмут...

– Ва-вас? – задыхался от изумления Язёв отец. – Это – вас? В ангели?

Хохотал и снова дразнил, рассказывая о покойниках разные пакости.

Но иногда этот человек вдруг начинал говорить журчащим, пониженным голосом что-то странное:

– Слушайте-ка, ребяташки, погодите! Вот третьево дни захоронили одну бабу, узнал я, ребятёнки, про неё историю – что же это за баба?

Он очень часто говорил про женщин и всегда – грязно, но было в его рассказах что-то спрашивающее, жалобное, он как бы приглашал нас думать с ним, и мы слушали его внимательно. Говорил он неумело, бестолково, часто перебивая свою речь вопросами, но от его рассказов оставались в памяти какие-то беспокоящие осколки и обломки:

– Спрашивают её: «Кто поджжёт?» – «Я подожгла!» – «Как так, дура? Тебя дома не было в ту ночь, ты в больнице лежала!» – «Я подожгла!» Это она зачем же? Ух, не дай бог

бессонницу...

Он знал историю жизни почти каждого слобожанина, зарытого им в песок унылого, голого кладбища, он как бы отворял пред нами двери домов, мы входили в них, видели, как живут люди, чувствовали что-то серьёзное, важное. Он, кажется, мог бы говорить всю ночь до утра, но как только окно сторожки мутнело, прикрываясь сумраком, Чурка вставал из-за стола:

– Я – домой, а то мамка бояться будет. Кто со мной?

Уходили все; Язь провожал нас до ограды, запирали ворота и, прижав к решётке тёмное, костлявое лицо, глухо говорил:

– Прощайте!

Мы тоже кричали ему – прощай! Всегда неловко было оставлять его на кладбище. Кострома сказал однажды, оглянувшись назад:

– Вот, проснёмся завтра, а он – помер.

– Язю хуже всех жить, – часто говорил Чурка, а Вяхирь всегда возражал:

– Нам вовсе не плохо...

И на мой взгляд нам жилось не плохо, – мне эта уличная, независимая жизнь очень нравилась и нравились товарищи, они возбуждали у меня какое-то большое чувство, всегда беспокойно хотелось сделать что-нибудь хорошее для них.

В школе мне снова стало трудно, ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищобродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой

и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после неё. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпьё.

Но вот наконец я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие, басни Крылова в переплёте и ещё книжку без переплёта. с непонятным титулом – «Фата-Моргана», дали мне также похвальный лист. Когда я принёс эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что всё это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у неё не было денег, дед охал и взвизгивал:

– Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх вы-и...

Я отнёс книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув её и не заметив моего озорства.

Разделавшись со школой, я снова зажил на улице, теперь стало ещё лучше, – весна была в разгаре, заработок стал обильней, по воскресеньям мы всей компанией с утра уходили в поле, в сосновую рощу, возвращались в слободу поздно вечером, приятно усталые и ещё более близкие друг к другу.

Но эта жизнь продолжалась недолго – вотчиму отказали от должности, он снова куда-то исчез, мать, с маленьким братом Николаем, переселилась к деду, и на меня была возло-

жена обязанность няньки, – бабушка ушла в город и жила там в доме богатого купца, вышивая покров на плащаницу.

Немая, высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на всё страшными глазами, брат был золотушный, с язвами на щиколотках, и такой слабенький, что даже плакать громко не мог, а только стонал потрясающе, если был голоден, сытый же дремал и сквозь дрему как-то странно вздыхал, мурлыкал тихонько, точно котёнок.

Внимательно ощупав его, дед сказал:

– Кормить бы надобно его хорошенько, да не хватает у меня кормов-то на всех вас...

Мать, сидя в углу на постели, хрипло вздохнула:

– Ему немного надо...

– Тому – немного, этому – немного, и выходит много...

Он махнул рукой и обратился ко мне:

– Держать Николая надо на воле, на солнышке, в песке...

Я натаскал мешком чистого сухого песку, сложил его кучей на припёке под окном и зарывал брата по шею, как было указано дедушкой. Мальчику нравилось сидеть в песке, он сладко жмурился и светил мне необыкновенными глазами – без белков, только одни голубые зрачки, окружённые светлым колечком.

Я сразу и крепко привязался к брату, мне казалось, что он понимает всё, о чём думаю я, лёжа рядом с ним на песке под окном, откуда ползёт к нам скрипучий голос деда:

– Умереть – не велика мудрость, ты бы вот жить умела!

Мать затажно кашляет...

Высвободив ручки, мальчик тянется ко мне, покачивая белой головёнкой; волосы у него редкие, отливают сединой, а личико старенькое, мудрое.

Если близко к нам подходит курица, кошка – Коля долго присматривается к ним, потом смотрит на меня и чуть заметно улыбается, – меня смущает эта улыбка – не чувствует ли брат, что мне скучно с ним и хочется убежать на улицу, оставив его?

Двор – маленький, тесный и сорный, от ворот идут построенные из горбушин сарайчики, дровяники и погреба, потом они загибаются, заканчиваясь баней. Крыши сплошь завалены обломками лодок, поленьями дров, досками, сырою щепой – всё это мещане выловили из Оки во время ледохода и половодья. И весь двор неприглядно завален грудями разного дерева; насыщенное водою, оно преет на солнце, распространяя запах гнили.

Рядом – бойня мелкого скота, почти каждое утро там мычали телята, блеяли бараны, кровью пахнет так густо, что иногда мне казалось – этот запах колеблется в пыльном воздухе прозрачно – багровой сеткой...

Когда мычали животные, оглушаемые ударом топора – обухом между рогов, Коля прищуривал глаза и, надувая губы, должно быть, хотел повторить звук, но только выдувал воздух:

– Ффу...

В полдень дед, высунув голову из окна, кричал:

– Обедать!

Он сам кормил ребёнка, держа его на коленях у себя, – пожуёт картофеля, хлеба и кривым пальцем сунет в ротик Коли, пачкая тонкие его губы и остренький подбородок. Покармливав немного, дед приподнимал рубашонку мальчика, тыкал пальцем в его вздутый животик и вслух соображал:

– Будет, что ли? Али ещё дать?

Из тёмного угла около двери раздавался голос матери:

– Видите же вы – он тянется за хлебом!

– Ребёнок глуп! Он не может знать, сколько надо ему съесть...

И снова совал в рот Коли жвачку. Смотреть на это кормление мне было стыдно до боли, внизу горла меня душило и тошнило.

– Ну, ладно! – говорил наконец дед. – На-ко, отнеси его матери.

– Я брал Колю – он стонал и тянулся к столу. Встречу мне, хрипя, поднималась мать, протягивая сухие руки без мяса на них, длинная, тонкая, точно ель с обломанными ветвями.

Она совсем онемела, редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу и умирает. Что она умирала – это я, конечно, чувствовал, знал, да и дед слишком часто, назойливо говорил о смерти, особенно по вечерам, когда на дворе темнело и в окна влезал тёплый, как овчина, жирный запах гнили.

Дедова кровать стояла в переднем углу, почти под образами, он ложился головою к ним и окошку, – ложился и долго ворчал в темноте:

– Вот – пришло время умирать. С какой рожей пред богом встанем? Что скажем? А ведь весь век суетились, чего-то делали... До чего дошли?..

Я спал между печью и окном, на полу, мне было коротко, ноги я засовывал в подпечек, их щекотали тараканы. Этот угол доставил мне немало злых удовольствий, – дед, стряпая, постоянно выбивал стёкла в окне концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что он, такой умный, не догадается обрезать ухваты.

Однажды, когда у него что-то перекипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы, оба стекла, опрокинул горшок на шестке и разбил его. Это так огорчило старика, что он сел на пол и заплакал.

– Господи, господи...

Днём, когда он ушёл, я взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три, но дед, увидав мою работу, начал ругаться:

– Бес проклятый, – пилой надо было отпилить, пило-ой! Из концов-то скалки вышли бы, продать бы их можно, дяволowo семя!

Махая руками, он выбежал в сени, а мать сказала:

– Не совался бы ты...

Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня. Вот-

чим только что воротился из своей поездки и снова где-то служил, бабушка с Колей уже перебралась к нему, на чистенькую квартирку около вокзала, туда же на днях должны были перевезти и мать.

Утром, в день смерти, она сказала мне тихо, но более ясным и лёгким голосом, чем всегда:

– Сходи к Евгению Васильевичу, скажи – прошу его прийти!

Приподнялась на постели, упираясь рукою в стену, и села, добавив:

– Скорей беги!

Мне показалось, что она улыбается и что-то новое светилось в её глазах. Вотчим был у обедни, бабушка послала меня за табаком к еврейке-будочнице, готового табаку не оказалось, пришлось ждать, пока будочница натёрла табаку, потом отнести его бабушке.

Когда я воротился к деду, мать сидела за столом, одетая в чистое сиреневое платье, красиво причёсанная, важная по-прежнему.

– Тебе стало лучше? – спросил я, оробев почему-то.

Жутко глядя на меня, она сказала:

– Поди сюда! Ты где шлялся, а?

Я не успел ответить, как она, схватив меня за волосы, взяла в другую руку длинный гибкий нож, сделанный из пилы, и с размаха несколько раз ударила меня плашмя, – нож вырвался из руки у неё.

– Подними! Дай...

Я поднял нож, бросил его на стол, мать оттолкнула меня; я сел на приступок печи, испуганно следя за нею.

Встав со стула, она медленно передвинулась в свой угол, легла на постель и стала вытирать платком вспотевшее лицо. Рука её двигалась неверно, дважды упала мимо лица на подушку и провела платком по ней.

– Дай воды...

Я зачерпнул из ведра чашкой, она, с трудом приподняв голову, отхлебнула немножко и отвела руку мою холодной рукою, сильно вздохнув. Потом взглянула в угол на иконы, перевела глаза на меня, пошевелила губами, словно усмехнувшись, и медленно опустила на глаза длинные ресницы. Локти её плотно прижались к бокам, а руки, слабо шевеля пальцами, ползли на грудь, подвигаясь к горлу. По лицу её плыла тень, уходя в глубь лица, натягивая жёлтую кожу, заострив нос. Удивлённо открывался рот, но дыхания не было слышно.

Неизмеримо долго стоял я с чашкой в руке у постели матери, глядя, как застывает, сереет её лицо.

Вошёл дед, я сказал ему:

– Умерла мать...

Он заглянул на постель.

– Что врёшь?

Ушёл к печи и стал вынимать пирог, оглушительно гремя заслоном и противнем. Я смотрел на него, зная, что мать

умерла, ожидая, когда он поймёт это.

Пришёл вотчим в парусиновом пиджаке, в белой фуражке. Бесшумно взял стул, понёс его к постели матери и вдруг, ударив стулом о пол, крикнул громко, как медная труба:

– Да она умерла, смотрите...

Дед, вытаращив глаза, тихонько двигался от печи с заслоном в руке, спотыкаясь, как слепой.

Когда гроб матери засыпали сухим песком и бабушка, как слепая, пошла куда-то среди могил, она наткнулась на крест и разбила себе лицо. Язёв отец отвёл её в сторожку, и, пока она умывалась, он тихонько говорил мне утешительные слова:

– Ах ты, – не дай бог бессонницу, чего ты, а? Уж это – такое дело... Верно я говорю, бабушка? И богату и простоу – всем дорога к погосту, – так ли, бабушка?

Взглянув в окно, он вдруг выскочил из сторожки. но тотчас же вернулся вместе с Вяхирем, сияющий, весёлый.

– Ты гляди-ко, – сказал он, протягивая мне сломанную шпору, – гляди, какая вещь! Это мы с Вяхирем тебе дарим. Гляди – колёсико, а? Не иначе казак носил да потерял... Я хотел купить у Вяхиря штучку эту, семишник давал...

– Что ты врёшь! – тихо, но сердито сказал Вяхирь, а Язёв отец, прыгая предо мною, подмигивал на него и говорил:

– Вяхирь-то, а? Строгий! Ну – не я, он дарит это тебе, он...

Бабушка умылась, закутала платком вспухшее, синее лицо и позвала меня домой, – я отказался, зная, что там, на

поминках, будут пить водку и, наверное, поссорятся. Дядя Михаил ещё в церкви вздыхал, говоря Якову:

– Выпьем сегодня, а?

Вяхирь старался рассмешить меня: нацепил шпору на подбородок и доставал репеёк языком, а Язёв отец нарочито громко хохотал, вскрикивая:

– Гляди, ты гляди, чего он делает! – Но видя, что всё это не веселит меня, он сказал серьёзно: – Ну – буде, очнись-ка! Все умрём, даже птица умирает. Вот что: я те материну могилу дёрном обложу – хошь? Вот сейчас пойдём в поле, – ты, Вяхирь, я; Санька мой с нами; нарежем дёрна и так устроим могилу – лучше нельзя!

Мне понравилось это, и мы пошли в поле.

Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:

– Ну, Лексей, ты – не медаль, на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди...

И пошёл я в люди.

Дед Архип и Лёнька

Ожидая паром, они оба легли в тень от берегового обрыва и долго молча смотрели на быстрые и мутные волны Кубани у их ног. Лёнька задремал, а дед Архип, чувствуя тупую, давящую боль в груди, не мог уснуть. На тёмно-коричневом фоне земли их отрёпанные и скорченные фигуры едва выделялись двумя жалкими комками, один – побольше, другой – поменьше, утомлённые, загорелые и пыльные физиономии были совсем под цвет бурым лохмотьям.

Костлявая и длинная фигура дедушки Архипа вытянулась поперёк узкой полоски песка – он жёлтой лентой тянулся вдоль берега, между обрывом и рекой; задремавший Лёнька лежал калачиком сбоку деда. Лёнька был маленький, хрупкий, в лохмотьях он казался корявым сучком, отломленным от деда – старого иссохшего дерева, принесённого и выброшенного сюда, на песок, волнами реки.

Дед, приподняв на локте голову, смотрел на противоположный берег, залитый солнцем и бедно окаймлённый редкими кустами ивняка; из кустов высовывался чёрный борт парома. Там было скучно и пусто. Серая полоса дороги уходила от реки в глубь степи; она была как-то беспощадно пряма, суха и наводила уныние.

Его тусклые и воспалённые глаза старика, с красными, опухшими веками, беспокойно моргали, а испещрённое

морщинами лицо замерло в выражении томительной тоски. Он то и дело сдержанно кашлял и, поглядывая на внука, прикрывал рот рукой. Кашель был хрипл, удушлив, заставлял деда приподниматься с земли и выжимал на его глазах крупные капли слёз.

Кроме его кашля да тихого шороха волн о песок, в степи не было никаких звуков... Она лежала по обе стороны реки, громадная, бурая, сожжённая солнцем, и только там, далеко на горизонте, еле видимое старческим глазом, пышно волновалось золотое море пшеницы и прямо в него падало ослепительно яркое небо. На нём вырисовывались три стройные фигуры далёких тополей; казалось, что они то уменьшаются, то становятся выше, а небо и пшеница, накрытая им, колеблются, поднимаясь и опускаясь. И вдруг всё скрывалось за блестящей, серебряной пеленой степного марева...

Эта пелена, струистая, яркая и обманчивая, иногда притекала из дали почти к самому берегу реки, и тогда сама она была как бы рекой, вдруг излившейся с неба, такой же чистой и спокойной, как оно.

Тогда дед Архип, незнакомый с этим явлением, потирал свои глаза и тоскливо думал про себя, что эта жара да степь отнимают у него и зрение, как отняли остатки силы в ногах.

Сегодня ему было более плохо, чем всегда за последнее время. Он чувствовал, что скоро умрёт, и хотя относился к этому совершенно равнодушно, без дум, как к необходимой повинности, но ему бы хотелось умереть далеко, не здесь, а

на родине, и ещё его сильно смущала мысль о внуке... Куда денется Лёнька?..

Он ставил перед собой этот вопрос по нескольку раз в день, и всегда при этом в нём что-то сжималось, холодело и становилось так тошно, что ему хотелось сейчас же воротиться домой, в Россию...

Но – далеко идти в Россию... Всё равно не дойдёшь, умрёшь где-нибудь в дороге. Здесь по Кубани подают милостыню щедро; народ всё зажиточный, хотя тяжёлый и насмешливый. Не любят нищих, потому что богаты...

Остановив на внуке увлажнённый слезой взгляд, дед осторожно погладил шершавой рукой его голову.

Тот зашевелился и поднял на него голубые глаза, большие, глубокие, не по-детски вдумчивые и казавшиеся ещё больше на его худом, изрытом оспой личике, с тонкими, бескровными губами и острым носом.

– Идёт? – спросил он и, приложив щитком руку к глазам, посмотрел на реку, отражавшую лучи солнца.

– Нет ещё, не идёт. Стоит. Чего ему здесь? Не зовёт никто, ну и стоит он... – медленно заговорил Архип, продолжая гладить внука по голове. – Дремал ты?

Лёнька неопределённо покрутил головой и вытянулся на песке. Они помолчали.

– Кабы я плавать умел, купаться бы стал, – пристально глядя на реку, заявил Лёнька. – Быстра больно река-то! Нет у нас таких рек. Чего треплет? Бежит, точно опоздать боит-

ся...

И Лёнька недовольно отвернулся от воды.

– А вот что, – заговорил дед, подумав, – давай распояшемся, пояски-то свяжем, я тебя за ногу прикручу, ты и лезь, ку-пайся...

– Ну-у!.. – резонно протянул Лёнька. – Чего выдумал! Али ты думаешь, не стащит она тебя? И утонем оба.

– А ведь верно! Стащит. Ишь как прёт... Чай, весной-то разольётся – ух ты!.. И покосу тут – беда! Без краю покосу!

Лёньке не хотелось говорить, и он оставил слова деда без ответа, взяв в руки ком сухой глины и разминая его пальцами в пыль с серьёзным и сосредоточенным выражением на лице.

Дед смотрел на него и о чём-то думал, щуря глаза.

– Ведь вот... – тихо и монотонно заговорил Лёнька, стряхивая с рук пыль. – Земля эта теперь... взял я её в руки, растёр, и стала пыль... крохотные кусочки одни только, чуть глазом видно...

– Ну, так что ж? – спросил Архип и закашлялся, поглядывая сквозь выступившие на глазах слёзы в большие сухо блестящие глаза внука. – Ты к чему это? – добавил он, когда прокашлялся.

– Так... – качнул головой Лёнька... – К тому, что, мол, вся-то она эвона какая!.. – Он махнул рукой за реку. – И всего на ней понастроено... Сколько мы с тобой городов прошли! Страсть! А людей везде сколько!

И, не умея уловить свою мысль, Лёнька снова молча заду-

мался, поглядывая вокруг себя.

Дед тоже помолчал немного и потом, плотно подвинувшись к внуку, ласково заговорил:

– Умница ты моя! Правильно сказал ты – пыль всё... и города, и люди, и мы с тобой – пыль одна. Эх ты, Лёнька, Лёнька!.. Кабы грамоту тебе!.. далеко бы ты пошёл. И что с тобой будет?..

Дед прижал голову внука к себе и поцеловал её.

– погоди... – высвобождая свои льняные волосы из корявых, дрожащих пальцев деда, немного оживляясь, крикнул Лёнька. – Как ты говоришь? Пыль? Города и всё?

– А так уж устроено богом, голубь. Всё – земля, а сама земля – пыль. И всё умирает на ней... Вот как! И должен потому человек жить в труде и смирении. Вот и я тоже умру скоро... – перескочил дед и тоскливо добавил: – Куда ты тогда пойдёшь без меня-то?

Лёнька часто слышал от деда этот вопрос, ему уже надоело рассуждать о смерти, он молча отвернулся в сторону, сорвал былинку, положил её в рот и стал медленно жевать.

Но у деда это было больное место.

– Что ж ты молчишь? Как, мол, ты без меня-то будешь? – тихо спросил он, наклоняясь к внуку и снова кашляя.

– Говорил уж... – рассеянно и недовольно произнёс Лёнька, искоса взглядывая на деда.

Ему не нравились эти разговоры ещё и потому, что зачастую они кончались ссорой. Дед долго говорил о близости

своей смерти. Лёнька сначала слушал его сосредоточенно, пугался представлявшейся ему новизны положения, плакал, но постепенно утомлялся – и не слушал деда, отдаваясь своим мыслям, а дед, замечая это, сердился и жаловался, что Лёнька не любит деда, не ценит его забот, и наконец упрёк Лёньку в желании скорейшего наступления его, дедовой, смерти.

– Что – говорил? Глупенький ты ещё, не можешь ты понимать своей жизни. Сколько тебе от роду? Одиннадцатый год только. И хил ты, негодный к работе. Куда ж ты пойдёшь? Добрые люди, думаешь, помогут? Кабы у тебя вот деньги были, так они бы помогли тебе прожить их – это так. А милостыню-то собирать – не сладко и мне, старику. Каждому поклонись, каждого попроси. И ругают тебя, и колотят часом, и гонят... Рази ты думаешь, человеком считают нищего-то? Никто! Десять лет по миру хожу – знаю. Кусок-то хлеба в тыщу рублей ценят. Подаст да и думает, что уж ему сейчас же райские двери отворят! Ты думаешь, подают зачем больше? Чтобы совесть свою успокоить; вот зачем, друг, а не из жалости! Ткнёт тебе кусок, ну, ему и не стыдно самому-то есть. Сытый человек – зверь. И никогда он не жалеет голодного. Враги друг другу – сытый и голодный, веки вечные они сучком в глаз друг у друга будут. Потому и невозможно им жалеть и понимать друг друга...

Дедушка воодушевился злобой и тоской. От этого у него тряслись губы, старческие, тусклые глаза быстро шмыгали в

красных рамках ресниц и век, а морщины на тёмном лице выступили резче.

Лёнька не любил его таким и немного боялся чего-то.

– Вот я тебя и спрашиваю, что ты станешь делать с миром? Ты – хилый ребёночек, а мир-то – зверь. И проглотит он тебя сразу. А я не хочу этого... Люблю ведь я тебя, дитятко!.. Один ты у меня, и я у тебя один... Как же я буду умирать-то? Невозможно мне умереть, а ты чтоб остался... На кого?.. Господи!.. за что ты не возлюбил раба твоего?! Жить мне невмочь и умирать мне нельзя, потому – дитё, – оберечь должен. Пестовал семь годов... на руках моих... старых... Господи, помоги мне!..

Дедушка сел и заплакал, уткнув голову в колени дрожащих ног.

Река торопливо катилась вдаль, звучно плескалась о берег, точно желая заглушить этим плеском рыдания старика. Ярко улыбалось безоблачное небо, изливая жгучий зной, спокойно слушая мятежный шум мутных волн.

– Будет, не плачь, дедушка, – глядя в сторону, суровым тоном проговорил Лёнька и, повернув к деду лицо, добавил: – Говорили обо всём уж ведь. Не пропаду. Поступлю в трактир куда ни то...

– Забьют... – сквозь слёзы простонал дед.

– Может, и не забьют. А вот как не забьют! – с некоторым задором вскричал Лёнька, – тогда что? Не дамся каждому!..

Но тут Лёнька вдруг почему-то осёкся и, помолчав, ти-

хонько сказал.

– А то в монастырь уйду...

– Кабы в монастырь! – вздохнул дед, оживляясь, и снова начал корчиться в припадке удушливого кашля.

Над их головами раздался крик и скрип колес...

– Паро-о-м!.. Паро-о – гей! – сотрясала воздух чья-то могучая глотка.

Они вскочили на ноги, подбирая котомки и палки.

Пронзительно скрипя, на песок въехала арба. В ней стоял казак и, закинув голову в мохнатой, надвинутой на одно ухо шапке, приготовлялся гикнуть, вбирая в себя открытым ртом воздух, отчего его широкая, выпяченная вперёд грудь выпячивалась ещё более. Белые зубы ярко сверкали в шёлковой раме чёрной бороды, начинавшейся от глаз, налитых кровью. Из-под расстёгнутой рубахи и чохи, небрежно накинутой на плечи, виднелось волосатое, загорелое на солнце тело. И от всей его фигуры, прочной и большой, как и от лошади, мясистой, пегой и тоже уродливо большой, от колёс арбы, высоких, стянутых толстыми шинами, – разило сытостью, силой, здоровьем.

– Гей!.. Гей!..

Дед и внук стащили с своих голов шапки и низко поклонились.

– Здравствуйте! – гулко отрубил приехавший и, посмотрев на тот берег, где из кустов выползал медленно и неуклюже чёрный паром, стал пристально оглядывать нищих. – Из

России?

– Из неё, милостивец! – с поклоном ответил Архип.

– Голодно там у вас, а?

Он спрыгнул с арбы на землю и стал что-то подтягивать в упряжке.

– И тараканы с голода мрут.

– Хо, хо! И тараканы мрут? Значит, аж крошек не осталось, всё поели? Ловко едите. А вот работаете, должно, погано. Потому, как хорошо работать станешь, не будет голоду.

– Тут, кормилец, главная причина – земля. Не родит. Высосали землю-то мы.

– Земля? – тряхнул казак головой. – Земля всегда должна родить, на то она и дана человеку. Говори: не земля, а руки. Руки плохи. От хороших рук камень не отобьётся, родит.

Подъехал паром.

Двое здоровых, краснорожих казаков, упираясь толстыми ногами в пол парома, с треском ткнули его о берег, покачнулись, бросили из рук канат и, взглянув друг на друга, стали отдуваться.

– Жарко? – оскалил зубы приехавший, вводя на паром свою лошадь и дотрагиваясь рукой до шапки.

– Эге! – ответил один из паромщиков, глубоко засунув руки в карманы шаровар, и, подойдя к арбе, заглянул в неё и повёл носом, сильно втянув в себя воздух.

Другой сел на пол и, кряхтя, стал снимать сапог.

Дед и Лёнька вошли на паром и прислонились к борту,

посматривая на казаков.

– Ну, едем! – скомандовал хозяин арбы.

– А ты не везёшь ничего с собой попить? – спросил у него тот, что осматривал арбу. Его товарищ снял сапог и, прищурив глаз, смотрел в голенище.

– Ничего. А что? разве в Кубани воды мало?

– Воды!.. я не о воде.

– А о горилке? Не везу горилки.

– Как же это ты не везёшь? – задумался спрашивавший, уставив глаза в пол парома.

– Ну-ну, едем!

Казак поплевал на руки и взялся за канат. Переезжавший стал помогать ему.

– А ты, дед, что же не поможешь? – обратился паромщик, возившийся с сапогом, к Архипу.

– Где мне, родной! – жалобным тоном и качая головой, пропел тот.

– И не надо им помогать. Они и одни управятся!

И, как бы желая убедить деда в истине своих слов, он грузно опустился на колени и лёг на палубе парома.

Его товарищ лениво ругнул его и, не получив ответа, громко затопал ногами, упираясь в палубу.

Отбиваемый течением, с глухим шумом плескавшим о его бока, паром вздрагивал и качался, медленно подвигаясь вперёд.

Глядя на воду, Лёнька чувствовал, что у него сладко кру-

жится голова и глаза, утомлённые быстрым бегом волн, дремотно слипаются. Глухой шёпот деда, скрип каната и сочный плеск волн убаюкивали его; он хотел опуститься на палубу в дремотной истоме, но вдруг что-то качнуло его так, что он упал.

Широко раскрыв глаза, он смотрел кругом. Над ним смеялись казаки, причаливая паром за обгорелый пень на берегу.

– Что, заснул? Хилый ты. Садись в арбу, довезу до станицы. И ты, дед, садись.

Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед, кряхтя, влез в арбу. Лёнька тоже прыгнул туда, и они поехали в клубах мелкой чёрной пыли, заставлявшей деда задыхаться от кашля.

Казак затянул песню. Пел он странными звуками, отрывая ноты в середине и доканчивая их свистом. Казалось, он развивает звуки с клубка, как нитки, и, когда ему встречается узел, обрывает их.

Колёса жалобно скрипели, вилась пыль, дед, трясая головой, не переставая кашлял, а Лёнька думал о том, что вот сейчас приедут они в станицу и нужно будет гнусавым голосом петь под окнами: «Господи, Иисусе Христе»... Снова станичные мальчишки будут задирать его, а бабы надоедать расспросами о России. Нехорошо в эту пору смотреть и на деда, который кашляет чаще, горбится ниже, отчего ему самому неловко и больно, и говорит таким жалобным голосом, то и дело всхлипывая и рассказывая о том, чего нигде и ни-

когда не было... Говорит, что в России на улицах мрёт народ, да так и валяется, и убрать некому, потому что все люди обалдели от голода... Ничего этого они с дедом не видали нигде. А нужно всё это для того, чтобы больше подавали. Но куда её, милостыню, здесь денешь? Дома – там можно всегда продать по сорок копеек и даже по полтине за пуд, а здесь никто не покупает. Потом приходится эти куски, иногда очень вкусные, выбрасывать из котомок в степи.

– Сбирать пойдёте? – спросил казак, оглядывая через плечо две скорченные фигуры.

– Уж конечно, почтенный! – со вздохом ответил ему дед Архип.

– Встань на ноги, дед, покажу, где живу, – ночевать ко мне придёте.

Дед попробовал встать, но упал, ударившись боком о край арбы, и глухо застонал.

– Эх ты, старый!.. – буркнул казак, соболезнуя. – Ну, всё равно, не гляди; придёт пора на ночлег идти, спроси Чёрного, Андрея Чёрного, это я и есть. А теперь слезай. Прощайте!

Дед и внук очутились перед кучкой тополей и осокорей. Из-за их стволов виднелись крыши, заборы, повсюду – направо и налево – к небу вздымались такие же кучки. Их зелёная листва была одета серой пылью, а кора толстых прямых стволов потрескалась от жары.

Прямо перед нищими между двух плетней тянулся узкий проулок, они направились в этот проулок развалистой по-

ходкой много ходивших пешком людей.

– Ну, как мы, Лёня, пойдём – вместе или порознь? – спросил дед и, не дожидаясь ответа, прибавил: – Вместе бы лучше – мало больно тебе подадут. Не умеешь ты просить-то...

– А куда много-то надо? Всё равно ведь не поедаем... – хмуро ответил Лёнька, оглядываясь вокруг.

– Куда? Чудашка ты!.. А вдруг подвернётся человек да и купит? Вот те и куда!.. Деньги даст. А деньги дело большое; ты с ними небось не пропадёшь, как умру-то я.

И, ласково усмехаясь, дед погладил внука рукой по голове.

– Ты знаешь ли, сколько я за путину-то скопил? А?

– А сколько? – равнодушно спросил Лёнька.

– Одиннадцать с полтиной!.. Видишь?!

Но на Лёньку не произвели впечатления эта сумма и ликующий тон деда.

– Эх ты, малыш, малыш! – вздохнул дед. – Так порознь, что ли, идём?

– Порознь...

– Ну... К церкви приходи, буде.

– Ладно.

Дед свернул в проулок налево, а Лёнька пошёл дальше. Сделав шагов десять, он услышал дребезжащий возглас: «Благодетели и кормильцы!..» Этот возглас был похож на то, как бы по расстроенным гусям провели ладонью с самой густой до тонкой струны. Лёнька вздрогнул и прибавил ша-

гу. Всегда, когда слышал он просьбы деда, ему становилось неприятно и как-то тоскливо, а когда деду отказывали, он даже робел, ожидая, что вот сейчас разревётся дедушка.

До слуха его ещё долетали дрожащие, жалкие ноты дедова голоса, плутовавшие в сонном и знойном воздухе над станцией. Кругом было всё так тихо, точно ночью. Лёнька подошёл к плетню и сел в тени от свесившихся через него на улицу ветвей вишни. Где-то гулко жужжала пчела...

Сбросив котомку с плеч, Лёнька положил на неё голову и, немного посмотрев в небо сквозь листву над его лицом, крепко заснул, укрытый от взглядов прохожих густым бурьяном и решётчатой тенью плетня...

Проснулся он, разбуженный странными звуками, колебавшимися в воздухе, уже посвежевшем от близости вечера. Кто-то плакал неподалёку от него. Плакали по-детски – задорно и неугомонно. Звуки рыданий замирали в тонкой минорной ноте и вдруг снова и с новой силой вспыхивали и лились, всё приближаясь к нему. Он поднял голову и через бурьян поглядел на дорогу.

По ней шла девочка лет семи, чисто одетая, с красным и вспухшим от слёз лицом, которое она то и дело вытирала подолом белой юбки. Шла она медленно, шаркая босыми ногами по дороге, вздымая густую пыль, и, очевидно, не знала, куда и зачем идёт. У неё были большие чёрные глаза, теперь – обиженные, грустные и влажные, маленькие, тонкие, розовые ушки шаловливо выглядывали из прядей каштановых

волос, растрёпанных и падавших ей на лоб, щёки и плечи.

Она показалась Лёньке очень смешной, несмотря на свои слёзы, – смешной и весёлой... И озорница, должно быть!..

– Ты чего плачешь? – спросил он, вставая на ноги, когда она поравнялась с ним.

Она вздрогнула и остановилась, сразу перестав плакать, но всё ещё потихоньку всхлипывая. Потом, когда она несколько секунд посмотрела на него, у неё снова дрогнули губы, сморщилось лицо, грудь колыхнулась, и, снова громко зарыдав, она пошла.

Лёнька почувствовал, как у него что-то сжалось внутри, и вдруг тоже пошёл за ней.

– А ты не плачь. Большая уж – стыдно! – заговорил он, ещё не поравнявшись с ней, и потом, когда догнал её, заглянул ей в лицо и переспросил снова: – Ну, чего ты разревелась?

– Да-а!.. – протянула она. – Кабы тебе... – и вдруг опустилась в пыль на дорогу, закрыв лицо руками, и отчаянно заныла.

– Ну! – пренебрежительно махнул рукой Лёнька. – Баба!.. Как есть – баба. Фу ты!..

Но это не помогло ни ей, ни ему. Лёньке, глядя, как между её тонкими розовыми пальцами струились одна за другой слезинки, стало тоже грустно и захотелось плакать. Он наклонился над нею и, осторожно подняв руку, чуть дотронулся до её волос, но тотчас же, испугавшись своей смелости, отдернул руку прочь. Она всё плакала и ничего не говорила.

– Слышь!.. – помолчав, начал Лёнька, чувствуя настоятельную потребность помочь ей. – Чего ты это? Поколотили, что ли?.. Так ведь пройдёт!.. А то, может, другое что? Ты скажи! Девочка – а?

Девочка, не отнимая рук от лица, печально качнула головой и наконец сквозь рыдания медленно ответила ему, поводя плечиками.

– Платок... потеряла!.. Батька с базара привёз... голубой, с цветками, а я надела – и потеряла. – И заплакала снова, сильнее и громче, всхлипывая и стонущим голосом выкликая странное: о-о-о!

Лёнька почувствовал себя бессильным помочь ей и, робко отодвинувшись от неё, задумчиво и грустно посмотрел на потемневшее небо. Ему было тяжело и очень жаль девочку.

– Не плачь!.. может, найдётся... – тихонько прошептал он, но, заметив, что она не слышит его утешения, отодвинулся ещё дальше от неё, думая, что, наверное, от отца достанется ей за эту потерю. И тотчас же ему представилось, что отец, большой и чёрный казак, колотит её, а она, захлёбываясь слезами и вся дрожа от страха и боли, валяется у него в ногах...

Он встал и пошёл прочь, но, отойдя шагов пять, снова круто повернулся, остановился против неё, прижавшись к плетню, и старался вспомнить что-нибудь такое ласковое и доброе...

– Ушла бы ты с дороги, девочка! Да уж перестань плакать-то! Пойди домой да и скажи всё, как было. Потеряла,

мол... Что уж больно?..

Он начал говорить это тихим, соболезнующим голосом и, кончив возмущённым восклицанием, обрадовался, видя, что она поднимается с земли.

– Вот и ладно!.. – улыбаясь и оживлённо продолжал он. – Иди-ка вот. Хочешь, я с тобой пойду и расскажу всё? Заступлюсь за тебя, не бойся!

И Лёнька гордо повёл плечами, оглянувшись вокруг себя.

– Не надо... – прошептала она, медленно отряхивая пыль с платья и всё всхлипывая.

– А то – пойду? – с полнейшей готовностью громко заявил Лёнька и сдвинул себе на ухо картуз.

Теперь он стоял перед ней, широко расставив ноги, отчего надетые на нём лохмотья как-то храбро заершились. Он твёрдо постукивал палкой о землю и смотрел на неё упорно, а его большие и грустные глаза светились гордым и смелым чувством.

Девочка искоса посмотрела на него, размазывая по своему личику слёзы, и, снова вздохнув, сказала:

– Не надо, не ходи... Мамка не любит нищих-то.

И пошла от него прочь, два раза оглянувшись назад.

Лёньке сделалось скучно. Он незаметно, медленными движениями изменил свою решительную, вызывающую позу, снова сгорбился, присмирел и, закинув за спину свою котомку, висевшую до этого на руке, крикнул вслед девочке, когда она уже скрывалась за поворотом проулка:

– Прощай!

Она обернулась к нему на ходу и исчезла.

Приближался вечер, и в воздухе стояла та особенная, тяжёлая духота, которая предвещает грозу. Солнце уже было низко, и вершины тополей зарделись лёгким румянцем. Но от вечерних теней, окутавших их ветви, они, высокие и неподвижные, стали гуще, выше... Небо над ними тоже темнело, делалось бархатным и точно опускалось ниже к земле. Где-то далеко говорили люди и где-то ещё дальше, но в другой стороне – пели. Эти звуки, тихие, но густые, казалось, тоже были пропитаны духотой.

Лёньке стало ещё скучнее и даже боязно чего-то. Он захотел пойти к деду, оглянулся вокруг себя и быстро пошёл вперёд по переулку. Просить милостыню ему не хотелось. Он шёл и чувствовал, что у него в груди сердце бьётся так часто, часто и что ему как-то особенно лень идти и думать... Но девочка не выходила из его памяти, и думалось: «Что с ней теперь? Коли она из богатого дома, будут её бить: все богачи – скряги; а коли бедная, то, может, и не будут... В бедных домах ребят-то больше любят, потому что от них работы ждут». Одна за другой думы назойливо шевелились в его голове, и с каждой минутой томительное и щемящее чувство тоски, как тень сопровождавшее его думы, становилось тяжелее, овладевало им всё более.

И тени вечера становились удушливее, гуще. Навстречу Лёньке попадались казаки и казачки и проходили мимо, не

обращая на него внимания, уже успев привыкнуть к наплыву голодающих из России. Он тоже лениво скользил потускневшим взглядом по их сытым крупным фигурам и быстро шёл к церкви, – крест её сиял за деревьями впереди его.

Навстречу ему нёсся шум возвращавшегося стада. Вот и церковь, низенькая и широкая, с пятью главами, выкрашенными голубой краской, обсаженная кругом тополями, вершины которых переросли её кресты, облитые лучами заката и сиявшие сквозь зелень розоватым золотом.

Вот и дед идёт к паперти, согнувшись под тяжестью котомки, и озирается по сторонам, приставив ладонь ко лбу.

За дедом тяжёлой, развалистой походкой шагает станичник в шапке, низко надвинутой на лоб, и с палкой в руке.

– Что, пуста котомка-то? – спросил дед, подходя ко внуку, остановившемуся, ожидая его, у церковной ограды. – А я вон сколько!.. – И, кряхтя, он свалил с плеч на землю свой холщовый, туго набитый мешок. – Ух!.. хорошо здесь подают! Ахти, хорошо!.. Ну, а ты чего такой надутый?

– Голова болит... – тихо молвил Лёнька, опускаясь на землю рядом с дедом.

– Ну?.. Устал... Сморился!.. Вот ночевать пойдём сейчас. Как казака-то того звать? А?

– Андрей Чёрный.

– Так мы и спросим: а где, мол, тут Чёрный Андрей? Вот к нам человек идёт... Да... Хороший народ, сытый! И всё пшеничный хлеб едят. Здравствуйте, добрый человек!

Казак подошёл к ним вплоть и медленно проговорил, в ответ на приветствие деда:

– И вы здравствуйте.

Затем, широко расставив ноги и остановив на нищих большие, ничего не выражавшие глаза, молча почесался.

Лёнька смотрел на него пытливо, дед моргал своими старческими глазами опросительно, казак всё молчал и наконец, высунув до половины язык, стал ловить им конец своего уса. Удачно кончив эту операцию, он втащил ус в рот, пожевал его, снова вытолкнул изо рта языком и наконец прервал молчание, уже ставшее томительным, лениво проговорив:

– Ну – пойдёмте в сборную!

– Зачем? – встрепенулся дед. У Лёньки дрогнуло что-то внутри.

– А надо... Велено. Ну!

Он повернулся к ним спиной и пошёл было, но, оглянувшись назад и видя, что оба они не трогаются с места, снова и уже сердито крикнул:

– Чего ж ещё!

Тогда дед и Лёнька быстро пошли за ним.

Лёнька упорно смотрел на деда и, видя, что у него трясутся губы и голова и что он, боязливо озираясь вокруг себя, быстро шарит у себя за пазухой, чувствовал, что дед опять нашалил чего-то, как и тогда в Тамани. Ему стало боязно, когда он представил себе таманскую историю. Там дед стянул со двора бельё и его поймали с ним. Смеялись, ругали, били

даже и, наконец, ночью выгнали вон из станицы. Они ночевали с дедом где-то на берегу пролива в песке, и море всю ночь грозно урчало... Песок скрипел, передвигаемый набегавшими на него волнами... А дед всю ночь стонал и шёпотом молился богу, называя себя вором и прося прощения.

– Лёнька...

Лёнька вздрогнул от толчка в бок и посмотрел на деда. У того лицо вытянулось, стало суше, серее и всё дрожало.

Казак шёл впереди шагов на пять, курил трубку, обивал палкой головки репейника и не оборачивался на них.

– На вот, возьми!.. брось... в бурьян... да заметь, где бросишь!.. чтобы взять после... – чуть слышно прошептал дед и, плотно прижавшись на ходу ко внуку, сунул ему в руку какую-то тряпицу, свёрнутую в комок.

Лёнька отстранился, дрогнув от страха, сразу наполнившего холодом всё его существо, и подошёл ближе к забору, около которого густо разросся бурьян. Напряжённо глядя на широкую спину казака-конвоира, он протянул в сторону руки и, посмотрев на неё, бросил тряпку в бурьян...

Падая, тряпка развернулась, и в глазах Лёньки промелькнул голубой с цветами платок, тотчас заслонённый образом маленькой плачущей девочки. Она встала перед ним, как живая, закрыв собой казака, деда и всё окружающее... Звук её рыданий снова ясно раздался в ушах Лёньки, и ему показалось, что перед ним на землю падают светлые капельки слёз.

В этом почти неменяемом состоянии он пришёл позади деда в сборную, слышал глухое гудение, разобрать которое не мог и не хотел, точно сквозь туман видел, как из котомки деда высыпали куски на большой стол, и эти куски, падая глухо и мягко, стучали о стол... Затем над ними склонилось много голов в высоких шапках; головы и шапки были хмуры и мрачны и сквозь туман, облакавший их, качаясь, грозили чем-то страшным... Потом вдруг дед, хрипло бормоча что-то, как волчок завертелся в руках двух дюжих молодцов...

– Напрасно, православные!.. Неповинен, видит господь!.. – пронзительно звизгнул дед.

Лёнька, заплакав, опустился на пол.

Тогда подошли и к нему. Подняли, посадили на лавку и обшарили все лохмотья, покрывавшие его маленькое тельце.

– Брешет Даниловна, чёртова баба! – громыхнул кто-то, точно ударив по ушам Лёньки своим густым и раздражённым голосом.

– А может, они спрятали где? – крикнули в ответ ещё громче.

Лёнька чувствовал, что все эти звуки точно бьют его по голове, и ему стало так страшно, что он потерял сознание, вдруг точно нырнув в какую-то чёрную яму, раскрывшую перед ним бездонный зев.

Когда он очнулся, его голова лежала на коленях деда, над лицом его наклонилось дедово лицо, жалкое и сморщенное более, чем всегда, и из дедовых глаз, испуганно моргавших,

капают на его, Лёнькин, лоб маленькие мутные слёзы и очень щекотят, скатываясь по щекам на шею...

– Оклемался ли, родной?! Пойдём-ка отсюда. Пойдём, – отпустили, проклятые!

Лёнька поднялся, чувствуя, что в его голове налито что-то тяжёлое и что она вот-вот упадёт с плеч... Он взял её руками и закачался из стороны в сторону, тихо стоная.

– Болит головонька-то? Родненький ты мой!.. Измучили они нас с тобой... Звери! Кинжал пропал, вишь ты, да платок девчонка потеряла, ну, они и навалились на нас!.. Ох, господи! за что наказуешь?!

Скрипучий голос деда как-то царапал Лёньку, и он чувствовал, что внутри его разгорается острая искорка, заставляя его отодвинуться от деда дальше.

Отодвинулся и посмотрел вокруг...

Они сидели у выхода из станицы, под густой тенью ветвей корявого осокоря. Уже настала ночь, взошла луна, и её молочно-серебристый свет, обливая ровное степное пространство, сделал его как бы уже, чем оно было днём, уже и ещё пустынней, грустнее. Издалека, со степи, слитой с небом, вздымались тучи и тихо плыли над ней, закрывая луну и бросая на землю густые тени. Тени плотно ложились на землю, медленно; задумчиво ползли по ней и вдруг пропадали, точно уходя в землю через трещины от жгучих ударов солнечных лучей... Из станицы доносились голоса, и кое-где в ней вспыхивали огоньки, перемигиваясь с ярко-золотыми звёз-

дами.

– Пойдём, милый!.. идти надо, – сказал дед.

– Посидим ещё!.. – тихо сказал Лёнька.

Ему нравилась степь. Днём, идя по ней, он любил смотреть вперёд, туда, где свод неба опирается на её широкую грудь... Там он представлял себе большие чудные города, населённые невиданными им добрыми людьми, у которых не нужно будет просить хлеба – сами дадут, без просьб... А когда степь, всё шире развёртываясь перед его глазами, вдруг выдвигала из себя станицу, уже знакомую ему, похожую строениями и людьми на все те, которые он видел прежде, ему делалось грустно и обидно за этот обман.

И теперь он задумчиво смотрел вдаль, откуда выползали медленно тучи. Они казались ему дымом тысяч труб того города, который так ему хотелось видеть... Его созерцание прервал сухой кашель деда.

Лёнька пристально взглянул в смоченное слезами лицо деда, жадно глотавшего воздух.

Освещённое луной и перекрытое странными тенями, падавшими на него от лохмотьев шапки, от бровей и бороды, это лицо, с судорожно двигавшимся ртом и широко раскрытыми глазами, светившимися каким-то затаённым восторгом, – было страшно, жалко и, возбуждая в Лёньке то, новое для него, чувство, заставляло его отодвигаться от деда подальше...

– Ну, посидим, посидим!.. – бормотал он и, глупо ухмы-

ляясь, шарил за пазухой.

Лёнька отвернулся и снова стал смотреть вдаль.

– Лёнька!.. Погляди-ка!.. – вдруг всхлипнул дед восторженно и, весь корчась от удушливого кашля, протянул внучку что-то длинное и блестящее. – В серебре! серебро ведь!.. полсотни стоит!..

Руки и губы у него дрожали от жадности и боли, и всё лицо передёргивалось.

Лёнька вздрогнул и оттолкнул его руку.

– Спрячь скорей!.. ах, дедушка, спрячь!.. – умоляюще прошептал он, быстро оглядываясь кругом.

– Ну, чего ты, дурашка? боишься, милый?.. Заглянул я в окно, а он висит... я его цап, да и под полу... а потом спрятал в кустах. Шли из станицы, я будто шапку уронил, наклонился и взял его... Дураки они!.. И платок взял – вот он где!..

Он выхватил дрожащими руками платок из своих лохмотьев и потряс им перед лицом Лёньки.

Перед глазами Лёньки разорвалась туманная завеса и встала такая картина: он и дед быстро, насколько могут, идут по улице станицы, избегая взглядов встречных людей, идут пугливо, и Лёньке кажется, что каждый, кто хочет, вправе бить их обоих, плевать на них, ругаться... Всё окружающее – заборы, дома, деревья – в каком-то странном тумане колеблется, точно от ветра... и гудят чьи-то суровые, сердитые голоса... Этот тяжёлый путь бесконечно долог, и выход из станицы в поле не виден за плотной массой шатающихся домов,

которые то придвигаются к ним, точно желая раздавить их, то уходят куда-то, смеясь им в лицо тёмными пятнами своих окон... И вдруг из одного окна звонко раздаётся: «Воришки! Воришки! Воришка, ворёнок!..» Лёнька украдкой бросает взгляд в сторону и видит в окне ту девочку, которую давеча он видел плачущей и хотел защищать... Она поймала его взгляд и высунула ему язык, а её синие глазки сверкали зло и остро и кололи Лёньку, как иглы.

Эта картина воскресла в памяти мальчика и моментально исчезла, оставив по себе злую улыбку, которую он бросил в лицо деду.

Дед всё говорил что-то, прерывая себя кашлем, махал руками, тряс головой и отирал пот, крупными каплями выступавший в морщинах его лица.

Тяжёлая, изорванная и лохматая туча закрыла луну, и Лёньке почти не видно было лица деда... Но он поставил рядом с ним плачущую девочку, вызвав её образ перед собой, и мысленно как бы измерял их обоих. Немощный, скрипучий, жадный и рваный дед рядом с ней, обиженной им, плачущей, но здоровой, свежей, красивой, показался ему ненужным и почти таким же злым и дрянным, как Кощей в сказке. Как это можно? За что он обидел её? Он не родной ей...

А дед скрипел:

– Кабы сто рублей скопить!.. Умер бы я тогда покойно...

– Ну!.. – вдруг вспыхнуло что-то в Лёньке. – Молчи уж ты! Умер бы, умер бы... А не умираешь вот... Воруеть!.. –

взвизгнул Лёнька и вдруг, весь дрожа, вскочил на ноги. – Вор ты старый!.. У-у! – И, сжав маленький, сухой кулачок, он потряс им перед носом внезапно замолкшего деда и снова грузно опустился на землю, продолжая сквозь зубы: – У дити украл... Ах, хорошо!.. Старый, а туда же... Не будет тебе на том свете прощенья за это!..

Вдруг вся степь всколыхнулась и, охваченная ослепительно голубым светом, расширилась... Одевавшая её мгла дрогнула и исчезла на момент... Грянул удар грома и, рокоча, покатился над степью, сотрясая и её и небо, по которому теперь быстро летела густая толпа чёрных туч, утопившая в себе луну.

Стало темно. Далеко где-то ещё, молча, но грозно, сверкнула молния, и спустя секунду снова слабо рыкнул гром... Потом наступила тишина, которой, казалось, не будет конца.

Лёнька крестился. Дед сидел неподвижно и молча, точно он сросся с стволом дерева, к которому прислонился спиной.

– Дедушка!.. – прошептал Лёнька, в мучительном страхе ожидая нового удара грома. – Идём в станицу!

Небо снова дрогнуло и, снова вспыхнув голубым пламенем, бросило на землю могучий металлический удар. Как будто тысячи листов железа сыпались на землю, ударяясь друг о друга...

– Дедушка!.. – крикнул Лёнька.

Крик его, заглушаемый отзвуком грома, прозвучал, как удар в маленький разбитый колокол.

– Что ты... Боишься... – хрипло проговорил дед, не шевелясь.

Стали падать крупные капли дождя, и их шорох звучал так таинственно, точно предупреждал о чём-то... Вдали он уже вырос в сплошной, широкий звук, похожий на трение громадной щёткой по сухой земле, – а тут, около деда и внука, каждая капля, падая на землю, звучала коротко и отрывисто и умирала без эха. Удары грома всё приближались, и небо вспыхивала чаще.

– Не пойду я в станицу! Пусть меня, старого пса, вора... здесь дождь потопит... и гром убьёт!.. – задыхаясь, говорил дед. – Не пойду!.. Иди один... Вот она, станица... Иди!.. Не хочу я, чтобы ты сидел тут... пошёл! Иди, иди!.. Иди!..

Дед уже кричал глухо и сипло.

– Дедушка!.. прости!.. – придвигаясь к нему, взмолился Лёнька.

– Не пойду... Не прощу... Семь лет я тебя нянчил!.. Всё для тебя... и жил... для тебя. Рази мне надо что?.. Умираю ведь я... Умираю... а ты говоришь – вор... Для чего вор? Для тебя... для тебя это всё... Вот возьми... возьми... бери... На жизнь твою... на всю... копил... ну и воровал... Бог видит всё... Он знает... что воровал... знает... Он меня накажет. О-он не помилует меня, старого пса... за воровство. И наказал уж... Господи! наказал ты меня!.. а? наказал?.. Рукой ребёнка убил ты меня!.. Верно, господи!. Правильно!.. Справедлив ты, господи!.. Пошли по душу мою... Ох!..

Голос деда поднялся до пронзительного визга, вселившего в грудь Лёньки ужас.

Удары грома, сотрясая степь и небо, рокотали теперь так гулко и торопливо, точно каждый из них хотел сказать земле что-то необходимо нужное для неё, и все они, перегоняя один другого, ревели почти без пауз. Раздираемое молниями небо дрожало, дрожала и степь, то вся вспыхивая синим огнём, то погружаясь в холодный, тяжёлый и тесный мрак, странно суживавший её. Иногда молния освещала даль. Эта даль, казалось, торопливо убегает от шума и рёва...

Полил дождь, и его капли, блестя, как сталь, при блеске молнии, скрыли собой приветно мигавшие огоньки станицы.

Лёнька замирал от ужаса, холода и какого-то тоскливого чувства вины, рождённого криком деда. Он уставил перед собою широко раскрытые глаза и, боясь моргнуть ими даже и тогда, когда капли воды, стекая с его вымоченной дождём головы, попадали в них, прислушивался к голосу деда, тонувшему в море могучих звуков.

Лёнька чувствовал, что дед сидит неподвижно, но ему казалось, что он должен пропасть, уйти куда-то и оставить его тут одного. Он, незаметно для себя, понемногу придвигался к деду и, когда коснулся его локтем, вздрогнул, ожидая чего-то страшного...

Разорвав небо, молния осветила их обоих, рядом друг с другом, скорченных, маленьких, обливаемых потоками воды с ветвей дерева...

Дед махал рукой в воздухе и всё бормотал что-то, уже уставая и задыхаясь.

Взглянув ему в лицо, Лёнька крикнул от страха. При синем блеске молнии оно казалось мёртвым, а вращавшиеся на нём тусклые глаза были безумны.

– Дедушка!.. Пойдём!.. – взвизгнул он, ткнув свою голову в колени деда.

Дед склонился над ним, обняв его своими руками, тонкими и костлявыми, крепко прижал к себе и, тиская его, вдруг взвыл сильно и пронзительно, как волк, схваченный капканом.

Доведённый этим воем чуть не до сумасшествия, Лёнька вырвался от него, вскочил на ноги и стрелой помчался куда-то вперёд, широко раскрыв глаза, ослепляемый молниями, падая, вставая и уходя всё глубже в тьму, которая то исчезала от синего блеска молнии, то снова плотно охватывала обезумевшего от страха мальчика.

А дождь, падая, шумел так холодно, монотонно, тоскливо. И казалось, что в степи ничего и никогда не было, кроме шума дождя, блеска молнии и раздражённого грохота грома.

Поутру другого дня, выбежав за околицу, станичные мальчишки тотчас же воротились назад и сделали в станице тревогу, объявив, что видели под осокорью вчерашнего нищего и что он, должно быть, зарезан, так как около него брошен кинжал.

Но когда старшие казаки пришли смотреть, так ли это, то

оказалось, что не так. Старик был жив ещё. Когда к нему подошли, он попытался подняться с земли, но не мог. У него отнялся язык, и он спрашивал всех о чём-то слезящимися глазами и всё искал ими в толпе, но ничего не находил и не получал никакого ответа.

К вечеру он умер, и зарыли его там же, где взяли, под осокорью, находя, что на погосте его хоронить не следует: во-первых – он чужой, во-вторых – вор, а в-третьих – умер без покаяния. Около него в грязи нашли кинжал и платок.

А через два или три дня нашёлся Лёнька.

Над одной степной балкой, недалеко от станицы, стали кружиться стаи ворон, и когда пошли посмотреть туда, нашли мальчика, который лежал, раскинув руки и лицом вниз, в жидкой грязи, оставшейся после дождя на дне балки.

Сначала решили похоронить его на погосте, потому что он ещё ребёнок, но, подумав, положили рядом с дедом, под той же осокорью. Насыпали холм земли и на нём поставили грубый каменный крест.

Мещане

Действующие лица

БЕССЕМЕНОВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВ, 58 лет, зажиточный мещанин, старшина малярного цеха.

АКУЛИНА ИВАНОВНА, жена его, 52 года.

ПЕТР, бывший студент, 26 лет.

ТАТЬЯНА, школьная учительница, 28 лет.

НИЛ, воспитанник Бессеменовы, машинист, 27 лет.

ПЕРЧИХИН, дальний родственник Бессеменовы, торговец певчими птицами, 50 лет.

ПОЛЯ, его дочь, швейка, работает в семьях поденно, 21 год.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА КРИВЦОВА, вдова смотрителя тюрьмы, живет на квартире у Бессеменовых, 24 года.

ТЕТЕРЕВ, певчий.

ШИШКИН, студент.

ЦВЕТАЕВА, учительница, подруга Татьяны, 25 лет.

СТЕПАНИДА, кухарка.

БАБА с улицы.

МАЛЬЧИШКА, маляр.

ДОКТОР.

Место действия – маленький провинциальный город.

Обстановка

Комната в зажиточном мещанском доме. Ее правый угол отрезан двумя глухими переборками; они выступают в комнату прямым углом и, стесняя задний план ее, образуют на переднем еще маленькую комнату, отделенную от большой деревянной аркой. В арке протянута проволока, на ней висит пестрый занавес. В задней стене большой комнаты – дверь в сени и другую половину дома, где помещается кухня и комнаты на хлебников. Слева от двери – огромный, тяжелый шкаф для посуды, в углу сундук, справа – старинные часы в футляре. Большой, как луна, маятник медленно качается за стеклом, и, когда в комнате тихо, слышится его бездушное – да, так! да, так! В левой стене – две двери: одна в комнату стариков, другая – к Петру. Между дверями печь, облицованная белыми изразцами. У печи – старый диван, обитый клеенкой, перед ним – большой стол, на котором обедают, пьют чай. Дешевые венские стулья с тошнотворной правильностью стоят у стен. Слева же у самого края сцены – стеклянная горка, в ней – разноцветные коробочки, пасхальные яйца, пара бронзовых подсвечников, ложки чайные и столовые, несколько штук серебряных стаканчиков, стопок. В комнате за аркой, у стены против зрителя – пианино, этажерка с нотами, в углу кадка с филодендромом. В правой стене – два окна, на подоконниках – цветы, у окон

– кушетка, около нее – у передней стены – маленький стол.

Действие первое

Вечер, около пяти часов. В окна смотрит осенний сумрак. В большой комнате – почти темно. ТАТЬЯНА, полулежа на кушетке, читает книгу, ПОЛЯ у стола – шьет.

ТАТЬЯНА (*читает*). «Взошла луна. И было странно видеть, что от нее, такой маленькой и грустной, на землю так много льется серебристо-голубого, ласкового света»... (*Бросает книгу на колени себе.*) Темно.

ПОЛЯ. Зажечь лампу?

ТАТЬЯНА. Не надо! Я устала читать...

ПОЛЯ. Как это хорошо написано! Просто так... и грустно... за душу берет...

Пауза.

Ужасно хочется знать – какой конец? поженятся они – или нет?

ТАТЬЯНА (*с досадой*). Не в этом дело...

ПОЛЯ. А я бы такого не полюбила... нет!

ТАТЬЯНА. Почему?

ПОЛЯ. Скучный он... И всё жалуется... Неуверенный потому что... Мужчина должен знать, что ему нужно делать в жизни...

ТАТЬЯНА (*негромко*). А... Нил – знает?

ПОЛЯ (*уверенно*). Он знает!

ТАТЬЯНА. Что же?

ПОЛЯ. Я... не могу вам это рассказать... так просто, как он говорит... Но только – дурным людям... злым и жадным – плохо будет от него! Не любит он их...

ТАТЬЯНА. Кто – дурен? И кто – хорош?

ПОЛЯ. Он рнает!..

Татьяна молчит, не глядя на Полю. Поля, улыбаясь, берет книгу с ее колен.

Хорошо это написано! Она очень уж привлекательная... такая прямая, простая, душевная! Вот как видишь женщину-то, в милом образе описанную, так и сама себе лучше кажешься...

ТАТЬЯНА. Какая наивная... смешная ты, Поля! А меня – раздражает вся эта история! Не было такой девушки! И усадьбы, и реки, и луны – ничего такого не было! Всё это выдуманно. И всегда в книгах описывают жизнь не такой, какая она на самом деле... у нас, у тебя, например...

ПОЛЯ. Пишут про интересное. А в нашей жизни – какой интерес?

ТАТЬЯНА (*не слушая, с раздраженьем*). Мне часто кажется, что книги пишут люди... которые не любят меня и... всегда спорят со мной. Как будто они говорят мне: это луч-

ше, чем ты думаешь, а вот это – хуже...

ПОЛЯ. А я думаю, что все писатели непременно хорошие... Посмотрела бы я на писателя!..

ТАТЬЯНА (*как бы сама с собою*). Дурное и тяжелое они изображают не так, как я его вижу... а как-то особенно... более крупно... в трагическом тоне. А хорошее – они выдумывают. Никто не объясняется в любви так, как об этом пишут! И жизнь совсем не трагична... она течет тихо, однообразно... как большая мутная река. А когда смотришь, как течет река, то глаза устают, делается скучно... голова тупеет, и даже не хочется подумать – зачем река течет?

ПОЛЯ (*задумчиво глядя перед собой*). Нет, Я бы посмотрела на писателя! Вы читали, а я нет-нет да в подумаю – какой он? Молодой? старый? брюнет?..

ТАТЬЯНА. Кто?

ПОЛЯ. Вот этот писатель...

ТАТЬЯНА. Он умер...

ПОЛЯ. Ах... жалко как! Давно? Молодой?

ТАТЬЯНА. Средних лет. Он пил водку...

ПОЛЯ. Беденький...

Пауза.

И почему это – умные люди пьянствуют? Вот этот, нахлебник ваш, певчий... он ведь умный, а – пьет... почему это?

ТАТЬЯНА. Жить скучно...

ПЕТР (*заспанный, выходит из своей комнаты*). Экая тьма! Кто это сидит?

ПОЛЯ. Я... и Татьяна Васильевна...

ПЕТР. Что ж вы огонь не зажжете?

ПОЛЯ. Мы сумерничаем...

ПЕТР. В мою комнату от стариков запах деревянного масла проходит... Должно быть, от этого во сне видел, будто плыву по какой-то реке, а вода в ней густая, как деготь... Плыть тяжело... и я не знаю – куда надо плыть... и не вижу берега. Попадаются мне какие-то обломки, но когда я хватаюсь за них – они рассыпаются в прах... гнилые, трухлявые. Ерунда... (*Насвистывая, шагает по комнате.*) Пора бы чай пить:

ПОЛЯ (*зажигая лампу*). Пойду, похлопочу... (*Уходит.*)

ПЕТР. По вечерам у нас в доме как-то особенно... тесно и угрюмо. Все эти допотопные вещи как бы вырастают, становятся еще крупнее, тяжелее... и, вытесняя воздух, – мешают дышать. (*Стучит рукой в шкаф.*) Вот этот чулан восемнадцать лет стоит на одном месте... восемнадцать лет... Говорят – жизнь быстро двигается вперед, а вот шкафа этого она никуда не подвинула ни на вершок... Маленький я не раз разбивал себе лоб о его твердыню... и теперь он почему-то мешает мне. Дурацкая штука... Не шкаф, а какой-то символ... чёрт бы его взял!

ТАТЬЯНА. Какой ты скучный, Петр... Тебе вредно жить так...

ПЕТР. Как это?

ТАТЬЯНА. Ты нигде не бываешь... только наверху у Лены... каждый вечер. И это очень беспокоит стариков...

Петр, не отвечая, ходит и свищет.

Знаешь – я стала сильно уставать... В школе меня утомляет шум и беспорядок... здесь – тишина и порядок. Хотя у нас стало веселее с той поры, как переехала Лена. Да-а, я очень устаю! А до праздников еще далеко... Ноябрь... Декабрь.

Часы бьют, шесть раз.

БЕССЕМЁНОВ (*высовывая голову из двери, своей комнаты*). Засвистали козаченьки! Прощение-то, поди-ка, опять не написал?

ПЕТР. Написал, написал...

БЕССЕМЁНОВ. Насилу-то удосужился... эхе-хе! (*Скрывается.*)

ТАТЬЯНА. Какое это прошение?

ПЕТР. О взыскании с купца Сизова 17 р. 50 к. за окраску крыши на сарае...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*выходит с лампой*). А на дворе-то опять дождик пошел. (*Подходит к шкафу, достает из него посуду и накрывает на стол.*). Холодно у нас чего-то. Топили, а холодно. Старый дом-то... продувает... охо-хо! А

отец-то, ребяташки, опять сердитый... поясницу, говорит, ломит у него. Тоже старый... а всё неудачи да непорядки... расходы большие... забота.

ТАТЬЯНА (*брату*). Ты вчера у Лены сидел?..

ПЕТР. Да...

ТАТЬЯНА. Весело было?

ПЕТР. Как всегда... пили чай, пели... спорили...

ТАТЬЯНА. Кто с кем?

ПЕТР. Я с Нилом и Шишкиным.

ТАТЬЯНА. По обыкновению...

ПЕТР. Да. Нил восторгался процессом жизни... ужасно он раздражает меня... проповедью бодрости, любви к жизни... Смешно! Слушая его, начинаешь представлять себе эту никому не известную жизнь... чем-то вроде американской тетушки, которая вот-вот явится и осыплет тебя разными благами... А Шишкин проповедовал пользу молока и вред табака... да уличал меня в буржуазном образе мыслей.

ТАТЬЯНА. Всё одно и то же...

ПЕТР. Да, по обыкновению...

ТАТЬЯНА. Тебе... очень нравится Лена?

ПЕТР. Н-ничего... она славная... веселая...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Вертушка она! Зряшная ее жизнь! Каждый божий день гости у нее, чаи да сахара... пляс да песня... а вот умывальника купить себе не может! Из таза умывается да на пол воду хлещет... дом-то гноит...

ТАТЬЯНА. А я вчера была в клубе... на семейном вече-

ре. Член городской управы Сомов, попечитель моей школы, едва кивнул мне головой... да. А когда в зал вошла содержанка судьи Романова, он бросился к ней, поклонился, как губернаторше, и поцеловал руку...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Экой бесстыдник, а? Где бы взять честную девушку под ручку да уважить ее, поводить ее по зале-то вальсяжненько, на людях-то...

ТАТЬЯНА (*брату*). Нет, ты подумай! Учительница, в глазах этих людей, заслуживает меньше внимания, чем распутная, раскрашенная женщина...

ПЕТР. Не стоит замечать таких... пошлостей... Нужно ставить себя выше... А она хоть и распутная, но не красится...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Ты почему знаешь? Лизал ей щеки-то? Сестру обидели, а он за обидчицу заступается...

ПЕТР. Мамаша! Будет вам...

ТАТЬЯНА. Нет, при матери совершенно нельзя говорить...

За дверью в сени слышны тяжелые шаги.

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Ну-ну! Окрысились... Ты бы, Петр, чем шаги-то вышагивать, самовар втащил... а то Степанида жалуется – тяжело, дескать...

СТЕПАНИДА (*вносит самовар, ставит его на пол около стола и, выпрямившись, задыхаясь, говорит хозяйке*). Ну, и

как вам будет угодно, а только опять говорю – сил моих нет лешего этакого таскать, – ноженьки подламываются...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Что же – особого человека нанять прикажешь?

СТЕПАНИДА. Как хотите! Пускай певчий носит – что ему? Петр Васильич, поставь на стол самовар, ей-ей, мочи нет!

ПЕТР. Ну, давай... эх!

СТЕПАНИДА. Спасибо. (*Уходит.*)

АКУЛИНА ИВАНОВНА. В самом деле, Петя, скажи-ка ты певчему-то, пусть бы он самовар-от подавал? Право...

ТАТЬЯНА (*тоскливо вздыхает*). О боже мой...

ПЕТР. А не сказать ли ему, чтоб он воду носил, полы мыл, трубы чистил и, кстати уж, белье стирал?

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*с досадой отмахивается от него рукой*). Что зря говоришь? Всё это своим порядком и без него делают... А самовар внести...

ПЕТР. Мамаша! Каждый вечер вы поднимаете сей роковой вопрос – вопрос о том, кому носить самовар. И поверьте, что вопрос этот пребудет неразрешенным до поры, пока вы не наймете дворника...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. На кой шут он нужен, дворник? Отец сам двор убирает...

ПЕТР. И это называется – скряжничеством. А скряжничать нехорошо, имея в банке...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Ш-ш! Нишкни! Отец услышит – он те задаст банк! Ты в банк-то деньги вложил?

ПЕТР. Послушайте!

ТАТЬЯНА (*вскакивая*). Петр, да оставь хоть ты... ведь терпения не хватает...

ПЕТР (*подхода к ней*). Ну, не кричи! Незаметно для себя втягиваешься в эти споры...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Застонали! Слова сказать матери-то нельзя...

ПЕТР. Изо дня в день – одно и то же... На душу от этих прений садится какая-то копоть, ржавчина...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*кричит в дверь своей комнаты*). Отец! Иди чай пить...

ПЕТР. Когда истечет срок моего отлучения от университета, я уеду в Москву и, как прежде, буду приезжать сюда на неделю, не больше. За три года университетской жизни я отвык от дома... от всего этого крохоборства и мещанской суеты... Хорошо жить одному, вне прелестей родного крова!..

ТАТЬЯНА. А мне вот некуда ехать...

ПЕТР. Я говорю тебе – поезжай на курсы...

ТАТЬЯНА. Ах, зачем мне курсы? Я жить, жить я хочу, а не учиться... пойми!

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*снимая чайник с самовара, обожгла руку и вскрикивает*). Ах, пострели те горой!

ТАТЬЯНА (*брату*). И я не знаю, не представляю – что значит жить? Как я могла бы жить?

ПЕТР (*задумчиво*). Н-да, жить надо умеючи... осторожно...

БЕССЕМЁНОВ (*выходит из своей комнаты, и, оглядев детей, садится ее стол*). Нахлебников звали?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Петя! Позови-ко...

Петр уходит. Татьяна идет к столу.

БЕССЕМЁНОВ. Опять пиленого сахару купили? Сколько раз я говорил...

ТАТЬЯНА. Ну, не всё ли равно, папаша?

БЕССЕМЁНОВ. Я говорю не тебе, а матери. Тебе, я знаю, всё равно...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Всего фунт купила я, отец. Целая голова есть, только не успели...

БЕССЕМЁНОВ. Я не сержусь... Я говорю пиленый сахар тяжел и не сладок, стало быть, невыгоден. Сахар всегда нужно покупать головой... и колоть самим. От этого будут крошки, а крошки в кушанье идут. И сахар самый (*заметая*) он легкий, сладкий... (*Дочери.*) Ты чего морщишься да вздыхаешь?

ТАТЬЯНА. Ничего, ничего... так...

БЕССЕМЁНОВ. А коли ничего, так незачем и вздыхать. Неужто отцовы слова так тяжело слушать? Не для себя ради, а для вас же, молодых, говорим. Мы свое прожили, вам – жить. А когда глядишь на вас, то не понимаешь, как, соб-

ственно, вы жить думаете? К чему у вас намерения? Наш порядок вам не нравится, это мы видим, чувствуем... а какой свой порядок вы придумали? Вот он, вопрос? Н-да...

ТАТЬЯНА. Папаша! Подумайте, который раз говорите вы мне это?

БЕССЕМЁНОВ. И еще, и без конца, до гроба говорить буду! Ибо – обеспокоен я в моей жизни. Вами обеспокоен... Зря, не подумавши хорошо, пустил я вас в образование... Вот – Петра выгнали, ты – в девках сидишь...

ТАТЬЯНА. Я работаю... я...

БЕССЕМЁНОВ. Слыхал. А кому польза от этой работы? Двадцать пять рублей твои – никому не надобны и тебе самой. Выходи замуж, живи законным порядком, – я сам тебе пятьдесят в месяц платить буду...

АКУЛИНА ИВАНОВНА *(все время разговора отца с дочерью беспокойно вертится на стуле, несколько раз пытается что-то сказать и, наконец, ласково спрашивает)*. Отец! Ватрушечки... не хочешь ли? От обеда остались... а?

БЕССЕМЁНОВ *(оборачиваясь к ней, смотрит на нее сначала сердито и потом, улыбаясь в бороду, говорит)*. Ну, тащи ватрушки... тащи... Эхе-хе!

Акулина Ивановна бросается к шкафу, а Бессемёнов говорит дочери.

Видишь, мать-то, как утка от собаки птенцов своих, вас

от меня защищает... Все дрожит, все боится, как бы я словом-то не ушиб вас... Ба, птичник! Явился, пропащий!

ПЕРЧИХИН (*является в дверях, за ним молча входит Поля*). Мир сему дому, хозяину седому, хозяйке-красотке, чадам их любезным – во веки веков!

БЕССЕМЁНОВ. У тебя опять разрешение вина?

ПЕРЧИХИН. С горя!

БЕССЕМЁНОВ. С какого это?

ПЕРЧИХИН (*рассказывает, здороваясь*). Зяблика продал сегодня... Три года держал птицу, тирольской трелью пела, – продал! Почувствовал себя за этот поступок низким человеком и – растрогался. Жаль птицу, привык... любил...

Поля, улыбаясь, кивает отцу головой.

БЕССЕМЁНОВ. А зачем продавал, коли так.

ПЕРЧИХИН (*придерживаясь за спинки стульев, ходит вокруг стола*). Цену хорошую дали...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. А что тебе деньги? Все равно зря промотаешь...

ПЕРЧИХИН (*усаживаясь*). Верно, мать! Деньги мне не к рукам... верно!

БЕССЕМЁНОВ. Значит, опять-таки не было резона продавать...

ПЕРЧИХИН. Был резон. Слепнуть стала птица... стало быть, скоро помрет...

БЕССЕМЁНОВ (*усмехаясь*). Ты однако не совсем дурак...

ПЕРЧИХИН. Рази я это от ума поступил? Это от низости
натуры моей...

ПЕТР и ТЕТЕРЕВ входят.

ТАТЬЯНА. А Нил где?

ПЕТР. Ушел с Шишкиным на репетицию.

БЕССЕМЁНОВ. Где это они играть хотят?

ПЕТР. В манеже. Спектакль для солдат.

ПЕРЧИХИН (*Тетереву*). Божьей дудке – почтение! Си-
ниц ловить идем, дядя?

ТЕТЕРЕВ. Можно. А когда?

ПЕРЧИХИН. Хоть завтра.

ТЕТЕРЕВ. Не могу. Покойник есть...

ПЕРЧИХИН. До обедни?

ТЕТЕРЕВ. Могу. Заходи. Акулина Ивановна! А не оста-
лось ли чего-нибудь от обеда? Каши или в этом роде чего-ли-
бо?..

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Изволь, батюшка, есть. Поля,
принеси-ка там...

Поля уходит.

ТЕТЕРЕВ. Премного благодарен. Ибо сегодня, как вам
это известно, не обедал я по случаю похорон и свадьбы...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Знаю, знаю...

Петр, взяв налитый стакан, уходит в комнату за аркой, сопровождаемый испытующим взглядом отца и недружелюбным Тетерева. Несколько секунд все пьют и едят молча.

БЕССЕМЁНОВ. А хорошо ты, Терентий Хрисанфович, заработаешь в этом месяце. Почти каждый день покойник.

ТЕТЕРЕВ. Везет... ничего.

БЕССЕМЁНОВ. И свадьбы часто...

ТЕТЕРЕВ. И женятся усердно...

БЕССЕМЁНОВ. Вот накопи денег, да и сам женись.

ТЕТЕРЕВ. Не хочется...

Татьяна уходит к брату, и между ними начинается тихая беседа.

ПЕРЧИХИН. Не женись, не надо! Нашему брату, чудаку, женитьба ни к чему. Лучше пойдем снегирей ловить...

ТЕТЕРЕВ. Согласен...

ПЕРЧИХИН. Расчудесное это занятие – снегирей ловить! Только что снег выпал, земля словно в пасхальную ризу одета... чистота, сияние и кроткая тишина вокруг. Особенно ежели день солнечный – душа поет от радости! На деревьях еще осенний лист золотом отливает, а уж ветки серебрецом снежка пухлого присыпаны... И вот на такую умильную красоту – гурлы! гурлы! – вдруг с небес чистых стай-

ка красных птичек опустится, цви! цви! цви! И словно маки расцветут. Толстенькие эдакие пичужки, степенные, вроде генералов. Ходят и ворчат и скрипят – умиление души! Сам бы в снегиря обратился, чтобы с ними порыться в снегу... эх!..

БЕССЕМЁНОВ. Глупая птица, снегирь.

ПЕРЧИХИН. Я сам глупый...

ТЕТЕРЕВ. Рассказано хорошо...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*Перчихину*). Младенец ты...

ПЕРЧИХИН. Люблю птичек ловить! Что есть на свете лучше певчей птицы?

БЕССЕМЁНОВ. А ловить ее, птицу-то, грех. Знаешь?

ПЕРЧИХИН. Знаю. Но ежели люблю? И ничего кроме делать не умею. Я так полагаю, что всякое дело любовью освящается...

БЕССЕМЁНОВ. Всякое?

ПЕРЧИХИН. Всякое!

БЕССЕМЁНОВ. А ежели кто любит чужую собственность прикарманивать?

ПЕРЧИХИН. Это уж будет не дело, а воровство.

БЕССЕМЁНОВ. Мм... Оно пожалуй...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*зевая*). Охо-хо! Скушно что-то... И как это по вечерам скушно всегда... Хоть бы ты, Терентий Хрисанфович, гитару свою принес да поиграл бы...

ТЕТЕРЕВ (*спокойно*). При найме мною квартиры, почтенная Акулина Ивановна, я не брал на себя обязанности

увеселять вас...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*не разобрав*). Как ты сказал?

ТЕТЕРЕВ. Громко и внятно.

БЕССЕМЁНОВ (*с удивлением и досадой*). Смотрю я на тебя, Терентий Хрисанфович, и дивуюсь. Человек ты... извини за выражение, совсем... никудышный – никчёмный, но гордость в тебе – чисто барская. Откуда бы?

ТЕТЕРЕВ (*спокойно*). Врожденная...

БЕССЕМЁНОВ. Чем же ты гордишься-то, скажи на милость?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Так это он – чудачит все. Какая в нем гордость может быть?

ТАТЬЯНА. Мама!

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*встрепенувшись*). А? Ты что?

Татьяна укоризненно качает головой.

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Али я опять что не так сказала? Ну, ин буду молчать... Бог с вами!

БЕССЕМЁНОВ (*обиженный*). Ты, мать, осторожнее выражай свои мысли. Мы живем среди лиц образованных. Они на все могут навести критику с точки науки и высших свойств ума. А мы с тобой люди старые, глупые...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*миролюбиво*). Что уж там! Конечно уж... они ведь знают.

ПЕРЧИХИН. А это ты, брат, верно сказал. Хоть и в шут-

ку, а верно...

БЕССЕМЁНОВ. Я не в шутку...

ПЕРЧИХИН. погоди! старики – действительно глупый народ...

БЕССЕМЁНОВ. Особенно как на тебя посмотришь.

ПЕРЧИХИН. Я – не в счет. Я даже так полагаю: не было бы стариков – не было бы и глупости... Старый человек думает, как сырое дерево горит, – больше чаду, чем огня...

ТЕТЕРЕВ (*улыбаясь*). одобряю...

Поля ласково смотрит на отца и гладит его плечо рукой.

БЕССЕМЁНОВ (*угрюмо*). Так, так! Ну, ври дальше...

Петр и Татьяна, прерывая свою беседу, с улыбкой смотрят на Перчихина.

ПЕРЧИХИН (воодушевленно болтает). старики, главное дело, упрямые! Он, старик, и видит, что ошибся, и чувствует, что ничего не понимает, но сознаться в том – не может. Гордость! Жил, дескать, жил, одних штанов, может, сорок штук износил и вдруг – понимать перестал! Как так? Обидно! Ну, он свое и долбит – я стар, я прав. А куда уж? Ум стал тяжелый у него... А у молодых – ум быстрый, легкий...

БЕССЕМЁНОВ (*грубо*). Ну, ты заврался однако... Ты вот что мне скажи: коли мы глупы, стало быть – надо нас учить

уму-разуму?

ПЕРЧИХИН. Где там? В камни стрелять – стрелы те-
рять...

БЕССЕМЁНОВ. Погоди, не перебивай! Я постарше тебя. Я говорю: чего же быстрые-то умы по углам от нас, стариков, разбегаются, да оттуда смешные рожи показывают, а говорить с нами не хотят? Вот ты и подумай... И я пойду подумаю... один, коли глуп я для вашей компании. *(с шумом отодвигает свой стул и в дверях своей комнаты говорит)*... образованные мои дети...

Пауза.

ПЕРЧИХИН *(Петру и Татьяне)*. Ребятишки! Вы чего старика обижаете?

ПОЛЯ *(улыбаясь)*. Да это ты его обидел...

ПЕРЧИХИН. Я? в жизнь ни разу никого не обижал...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Эх, братцы! Нехорошо у нас... За что старика обидели? Все надутые, все недовольные... а он – стар, ему покой нужен... его уважать надо бы... Ведь отец... Пойду к нему. Палагея, ты вымой посуду-то...

ТАТЬЯНА *(подходя к столу)*. И за что на нас рассердился отец?

АКУЛИНА ИВАНОВНА *(в дверях)*. А ты больше бегай от него... умная!

Поля моет посуду, а Тетерев, облокотясь о стол, тяжёлым взглядом смотрит ей в лицо. Перчихин идет к Петру и присаживается у стола. Татьяна медленно уходит в свою комнату.

ПОЛЯ (*Тетереву*). Вы что смотрите на меня... так?

ТЕТЕРЕВ. Так...

ПЕРЧИХИН. О чем думаешь, Петя?

ПЕТР. Куда бы уйти...

ПЕРЧИХИН. Давно я хочу тебя спросить, скажи ты мне, пожалуйста: что такое канализация?

ПЕТР. Ну, зачем тебе? Рассказывать это так, чтоб ты ясно понял, – долго... и скучно...

ПЕРЧИХИН. А ты сам-то знаешь все-таки?

ПЕТР. Знаю...

ПЕРЧИХИН (*недоверчиво глядя в лицо Петра*). Мм...

ПОЛЯ. Как долго не идет Нил Васильевич...

ТЕТЕРЕВ. Какие у вас хорошие глаза...

ПОЛЯ. Вы это и вчера говорили.

ТЕТЕРЕВ. Скажу и завтра...

ПОЛЯ. Зачем?

ТЕТЕРЕВ. А не знаю... Вы, может быть, думаете, что я влюблен в вас?

ПОЛЯ. Господи! Ничего я не думаю.

ТЕТЕРЕВ. Ничего? Жаль? Вы подумайте...

ПОЛЯ. Да... о чем?

ТЕТЕРЕВ. Ну, хоть бы о том, чего ради я пристаю к вам? Подумайте и скажите мне...

ПОЛЯ. Какой вы чудак!

ТЕТЕРЕВ. Знаю... Вы говорили мне это. Я тоже повторяю вам – уходите отсюда! Вам вредно бывать в этом доме... уходите!

ПЕТР. Вы объясняетесь в любви? Может быть, мне уйти?

ТЕТЕРЕВ. Нет, не беспокойтесь! Я не считаю вас предметом одушевленным...

ПЕТР. Неостроумно...

ПОЛЯ (*Тетереву*). Какой вы задира!

Тетерев отходит в сторону и внимательно прислушивается к разговору Петра и Перчихина.

ТАТЬЯНА (*выходит из своей комнаты, кутаясь в шаль, садится за пианино и спрашивает, разбирая ноты*). Нил еще не пришел?

ПОЛЯ. Нет...

ПЕРЧИХИН. Скушновато... Да, вот что, Петя: прочитал я прошлый раз в листке, будто в Англии летающие корабли выстроены. Корабль будто как следует быть, но ежели сел ты на него, надавил эдакую кнопку – фию! Сейчас это поднимается он птицей под самые под облаки и уносит человека неизвестно куда... Будто очень многие англичаны без вести пропали. Верно это? Петя?

ПЕТР. Ерунда!

ПЕРЧИХИН. А печатают...

ПЕТР. Мало ли ерунды печатают.

ПЕРЧИХИН. Много разве?

Татьяна тихо наигрывает что-то грустное.

ПЕТР (*с досадой*). Конечно, много!

ПЕРЧИХИН. Ты не сердись. И что это, в самом деле, все вы, молодые, на нас, подержанных людей, свысока глядите? И даже никак говорить не желаете? Нехорошо!

ПЕТР. Дальше!..

ПЕРЧИХИН. Дальше вижу я, что надо мне уходить. Надоел. Поля, ты скоро домой пойдешь?

ПОЛЯ. Вот уберусь только... (*Выходит из комнаты, сопровождаемая взглядом Тетерева.*)

ПЕРЧИХИН. Н-да... Забыл ты, Петя, как мы с тобой, бывало, чижииков ловили. В ту пору любил ты меня...

ПЁТР. Я и теперь...

ПЕРЧИХИН. Вижу, чувствую... как ты теперь!

ПЁТР. Я в то время леденцы и пряники любил, а теперь в рот не беру...

ПЕРЧИХИН. Понимаю... Дядя Терентий! Идем пиво пить?

ТЕТЕРЕВ. Не расположен...

ПЕРЧИХИН. Ну, я один. В кабачке – весело. В кабачке

– просто. А у вас – с тоски помрешь, не в комплимент вам
будь сказано. Ничего вы не делаете... никаких склонностей
не имеете... А то давайте в карты играть? В свои козыри?
Как раз четверо...

Тетерев смотрит на Перчихина и улыбается.

Не желаете? Ну, воля ваша... Стало быть, прощайте!
(Подходя к Тетереву, щелкает себя по горлу.) Идем?

ТЕТЕРЕВ. Нет...

Перчихин уходит, безнадежно махая рукой. Несколько секунд тишины. Отчетливо слышны тихие ноты пьесы, которую медленно разбирает Татьяна. Петр, лежа на кушетке, вслушивается и насвистывает мелодию. Тетерев встает со стула и ходит по комнате. В сенях, за дверью, с громом падает что-то железное – ведро или самоварная труба. Слышен голос Степаниды: «Куда те чёрт понес»...

ТАТЬЯНА (не прерывая игры). Как долго Нил не приходит...

ПЕТР. Никто не идет...

ТАТЬЯНА. Ты ждешь Елену?..

ПЕТР. Кого-нибудь...

ТЕТЕРЕВ. Никто к вам не придет...

ТАТЬЯНА. Какой вы всегда мрачный...

ТЕТЕРЕВ. Никто не придет к вам, ибо у вас нечего
взять...

ПЕТР. Так говорит Терентий Богословский...

ТЕТЕРЕВ (*настойчиво*). Замечаете ли вы, что у пьяненького, подержанного птичника – жив дух и жива душа его, тогда как вы оба, стоя на пороге жизни, – полумертвы?

ПЕТР. А вы? Вы о себе какого мнения?

ТАТЬЯНА (*вставая со стула*). Господа, оставьте! Ведь уж это было, было! Вы спорили об этом...

ПЕТР. Мне нравится ваш стиль, Терентий Хрисанфович... И нравится ваша роль – роль судьи всех нас... Но я желал бы понять – почему именно эту роль вы играете... Вы говорите всегда так, точно читаете нам акафист за упокой...

ТЕТЕРЕВ. Таковых акафистов не бывает...

ПЕТР. Ну, все равно. Я хочу сказать – вот вы не любите нас...

ТЕТЕРЕВ. Очень...

ПЕТР. Спасибо за откровенность.

Входит Поля.

ТЕТЕРЕВ. Кушайте на здоровье.

ПОЛЯ. Чем вы угощаете?

ТАТЬЯНА. Дерзостями...

ТЕТЕРЕВ. Правдой...

ПОЛЯ. А я хочу идти в театр... Не пойдет ли кто со мной?

ТЕТЕРЕВ. Я...

ПЕТР. Что сегодня?

ПОЛЯ. «Вторая молодость»... Идемте, Татьяна Васильевна?

ТАТЬЯНА. Нет... Я в этот сезон едва ли буду ходить в театр. Надоело. Меня злят, раздражают все эти драмы с выстрелами, воплями, рыданиями.

Тетерев ударяет пальцем по клавише пианино, и по комнате разливается густой, печальный звук.

Все это неправда. Жизнь ломает людей без шума, без криков... без слез... незаметно...

ПЕТР (*угрюмо*). Разыгрывают драмы на тему о страданиях любви, и никто не видит тех драм, которые терзают, душу человека, стоящего между «хочу» и «должен»...

Тетерев, улыбаясь, продолжает бить по клавишам басов.

ПОЛЯ (*смущенно улыбаясь*). А мне нравится в театре... ужасно. Вот, например, Дон Сезар де Базан, испанский дворянин... удивительно хорошо! Настоящий герой...

ТЕТЕРЕВ. Я похож на него?

ПОЛЯ. Ой, что вы! Совсем ни капли!..

ТЕТЕРЕВ (*усмехаясь*). Эх... жаль!

ТАТЬЯНА. Когда актер на сцене объясняется в любви, – я слушаю и злюсь... Ведь этого не бывает, не бывает!..

ПОЛЯ. Ну, я иду... Терентий Хрисанфович, – идете?

ТЕТЕРЕВ (*перестает трогать клавиши*). Нет. Я не пойду с вами, если вы не находите во мне ничего общего с испанским дворянином...

Поля, смеясь, уходит.

ПЕТР (*глядя вслед ей*). Что ей испанский дворянин?

ТЕТЕРЕВ. Она чувствует в нем здорового человека...

ТАТЬЯНА. Он красиво одет...

ТЕТЕРЕВ. И весел... Веселый человек – всегда славный человек... Подлецы редко бывают веселыми людьми.

ПЕТР. Ну, с этой точки зрения вы должны быть величайшим злодеем на земле...

ТЕТЕРЕВ (*снова начиная извлекать из пианино густые, тихие звуки*). Я просто – пьяница, не больше. Вы знаете, почему в России много пьяниц? Потому что быть пьяницей удобно. Пьяниц у нас любят. Новатора, смелого человека – ненавидят, а пьяниц – любят. Ибо всегда удобнее любить какую-нибудь мелочь, дрянь, чем что-либо крупное, хорошее...

ПЕТР (*расхаживая по комнате*). У нас в России... у нас в России... Как это странно звучит! Разве Россия – наша? Моя? Ваша? Что такое – мы? Кто – мы?

ТЕТЕРЕВ (*напевает*). Мы во-ольные птицы...

ТАТЬЯНА. Терентий Хрисанфович! Перестаньте, пожалуйста, звонить... уж очень погробально!

ТЕТЕРЕВ (*продолжая*). Я аккомпанирую настроению...

Татьяна с досадой выходит из комнаты в сени.

ПЕТР (*задумчиво*). Н-да... Вы... в самом деле перестаньте, это расстраивает нервы... Я думаю, что, когда француз или англичанин говорит: Франция! Англия!.. он непременно представляет себе за этим словом нечто реальное, осязаемое... понятное ему... А я говорю – Россия и – чувствую, что для меня это – звук пустой. И у меня нет возможности вложить в это слово какое-либо ясное содержание.

Пауза. Тетерев звонит.

Есть много слов, которые произносишь по привычке, не думая о том, что скрыто за ними... Жизнь... Моя жизнь... Чем наполняются эти два слова?.. (*Молчит, расхаживая.*)

Тетерев, тихо ударяя по клавишам, наполняет комнату стонущими звуками струн и с улыбкой, застывшей на его лице, следит за Петром.

Чёрт дернул меня принять участие в этих дурацких вол-

нениях! Я пришел в университет учиться и учился... перестаньте звонить, пожалуйста! Никакого режима, мешавшего мне изучать римское право, я не чувствовал... нет! По совести... нет, не чувствовал! Я чувствовал режим товарищества... и уступил ему. Вот два года моей жизни вычеркнуто... да! Это насилие! Насилие надо мной – не правда ли? Я думал: кончу учиться, буду юристом, буду работать... читать, наблюдать... буду жить!

ТЕТЕРЕВ (*иронически подсказывает*). Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу, в роли покорного слуги общества...

ПЕТР. Общество? Вот что я ненавижу! Оно всё повышает требования к личности, но не дает ей возможности развиваться правильно, без препятствий... Человек должен быть гражданином прежде всего! – кричало мне общество в лице моих товарищей. Я был гражданином... чёрт их возьми... Я... не хочу... не обязан подчиняться требованиям общества! Я – личность! Личность свободна... послушайте! Бросьте это... этот чёртов звон...

ТЕТЕРЕВ. Я же аккомпанирую вам... мещанин, бывший гражданином – полчаса?

Шум за дверями в сенях.

ПЕТР (*раздраженно*). Вы... не издевайтесь!

Тетерев, вызываяще глядя на Петра, продолжает звонить. Входят НИЛ, ЕЛЕНА, ШИШКИН, ЦВЕТАЕВА и вслед за ними ТАТЬЯНА.

ЕЛЕНА. Что значит этот звон погребальный? Здравствуйте, страшный бужан! Здравствуйте, почти прокурор! Что вы тут делали?

ПЕТР (*хмуро*). Глупости...

ТЕТЕРЕВ. Это я вызывал отходную человеку, безвременно угасшему...

НИЛ (*Тетереву*). Слушай! У меня к тебе просьба! (*Что-то шепчет на ухо ему. Тетерев кивает головой.*)

ЦВЕТАЕВА. Ах, господа! Как интересно было на репетиции!

ЕЛЕНА. О прокурор! Как свирепо ухаживал за мной поручик Быков!

ШИШКИН. Теленок ваш Быков...

ПЕТР. Почему вы полагаете, что мне интересно знать, кто и как ухаживал за вами?

ЕЛЕНА. Ой, вы не в духе?

ЦВЕТАЕВА. Петр Васильевич всегда не в духе.

ШИШКИН. Это обычное состояние его духа...

ЕЛЕНА. Танечка! И ты, по обыкновению, грустна, как ночь сентябрьская?

ТАТЬЯНА. Да, по обыкновению...

ЕЛЕНА. А мне – ужасно весело! Господа, скажите – по-

чему мне всегда весело?

НИЛ. Отказываюсь отвечать на вопрос – мне самому тоже всегда весело!

ЦВЕТАЕВА. И мне!..

ШИШКИН. Мне – не всегда, но...

ТАТЬЯНА. Постоянно...

ЕЛЕНА. Танечка! Ты остришь? Вот хорошо! Букан! Отвечайте – почему мне весело?

ТЕТЕРЕВ. О воплощенное легкомыслие!

ЕЛЕНА. Ка-ак! Хорошо! Я вспомню вам эти слова, когда вы будете объясняться мне в любви!

НИЛ. Однако я бы поел чего-нибудь... Мне скоро на дежурство идти...

ЦВЕТАЕВА. На всю ночь? Бедный!

НИЛ. На целые сутки... Пойду однако в кухню, поклонюсь Степаниде...

ТАТЬЯНА. Я скажу ей... *(Уходит с Нилом.)*

ТЕТЕРЕВ *(Елене)*. Э... позвольте! Да разве я должен влюбиться в вас?

ЕЛЕНА. Да, дерзкий человек! Да, мрачное чудовище! Да! Да!

ТЕТЕРЕВ *(отступая перед ней)*. Повинуюсь... Мне это не трудно... Я однажды был влюблен сразу в двух девиц и в одну замужнюю женщину...

ЕЛЕНА *(продолжая наступать на него)*. Ну и что же?

ТЕТЕРЕВ. Бесплезно...

ЕЛЕНА (*вполголоса, указывая глазами на Петра*). Что у вас с ним вышло?

Тетерев смеется. Они тихо беседуют.

ШИШКИН (*Петру*). Слушай, брат, – нет ли целкового дня на три? Понимаешь – башмаки лопнули...

ПЕТР. На... Семь за тобой...

ШИШКИН. Помню...

ЦВЕТАЕВА. Петр Васильевич! Почему вы не принимаете участия в наших спектаклях?

ПЁТР. Я же не умею играть...

ШИШКИН. А мы-то разве умеем?

ЦВЕТАЕВА. Ходили бы хоть на репетиции. Солдатики ужасно интересные! Один, Ширков, такой уморительный! Наивный, славный, улыбается так ласково, конфузливо... и ничего не понимает...

ПЕТР (*искоса наблюдая за Еленой*). Ну, знаете, я плохо разумею, как могут быть интересны люди, которые ничего не понимают?

ШИШКИН. Да ведь там не один Ширков...

ПЕТР. Допускаю, что их целая рота...

ЦВЕТАЕВА. Как можно говорить такие вещи? Вот уж не понимаю – что это у вас? Аристократизм, что ли?

ТЕТЕРЕВ (*вдруг громко*). Жалеть я не умею...

ЕЛЕНА. Ш-ш-ш!..

ПЕТР. Как вам известно, я мещанин...

ШИШКИН. Тем менее понятно твое отношение к простым людям...

ТЕТЕРЕВ. Меня никто никогда не жалел...

ЕЛЕНА (*вполголоса*). А вы разве не знаете, что нужно платить добром за зло?

ТЕТЕРЕВ. Не имею ни крупной, ни мелкой монеты...

ЕЛЕНА. Ах, тише!..

ПЕТР (*вслушиваясь в разговор Елены с Тетеревом*). А мне непонятно... чего ради вы играете в симпатии к этим простым людям...

ЦВЕТАЕВА. Мы – не играем... мы делимся, чем можем, с ними...

ШИШКИН. И даже не это... Просто нам приятно бывать в их среде... Они безыскусственны... среди их дышишь чем-то здоровым... как в лесу. Нашему брату, буквоеду, никогда не мешает освежаться...

ПЕТР (*настойчиво, со скрытым раздраженьем*) Просто вы любите жить иллюзиями... И подходите вы к вашим солдатам с некоторым тайным намерением... смешным, простите за правду! Освежаться среди солдат, это, извините...

ЦВЕТАЕВА. Да не только солдат! Ведь вы же знаете, что мы устраиваем спектакли и в депо...

ПЕТР. Все равно. Я говорю о том, что, называя всю эту вашу... беготню и суету живым делом, вы обманываетесь. Вы ведь убеждены, что способствуете развитию личности...

и прочее... И это – самообман. Придет завтра офицер или мастер, даст личности в рожу и вышибет из ее головы все, что вы успели заронить в нее, – если еще успели...

ЦВЕТАЕВА. Как досадно слушать такие речи!

ШИШКИН (*мрачно*). Н-да... Речи неладные... Не первый раз я слышу их, и все более они не нравятся мне... Когда-нибудь мы с тобой, Петр, разговоримся... навсегда!

ПЕТР (*холодно и лениво*). Страшусь! Но жажду этой встречи...

ЕЛЕНА (*горячо вскрикивает*). Зачем вы напускаете на себя все это? Господа! Зачем он хочет, чтоб его считали злым?

ПЕТР. Ради оригинальности, я думаю.

ЦВЕТАЕВА. Конечно! Интересничает! Все мужчины интересничают... при женщинах. Один изображает пессимиста, другой Мефистофеля... А сами – просто лентяи...

ТЕТЕРЕВ. Кратко, ясно... и здорово!

ЦВЕТАЕВА. А что же – комплименты я вам буду говорить? Ждите! Знаю я вас!

ТЕТЕРЕВ. В этом случае вы знаете больше, чем я. А не знаете ли вы, кстати, вот чего: следует платить добром за зло или не следует? То есть, проще говоря, – считаете вы добро и зло равноценными или же нет?

ЦВЕТАЕВА. Поехали парадоксы на намазанных колесах!

ШИШКИН. Погодите, не мешайте ему! Это интересно. Я, господа, люблю Тетерева слушать! Все-таки он – нет-нет да и загонит в мозг какую-нибудь занозу... А ведь у нас у всех,

правду говоря, мыслишки-то всё ходовые, стертые, как старые пятаки....

ПЕТР. Ты слишком великодушен... распространяя свои личные достоинства на всех...

ШИШКИН. Ну-ну! Надо говорить правду, брат! Даже в пустяках надо быть правдивым! Я прямо сознаюсь – никогда еще я ни одного оригинального слова не сказал! А хочется, господа!

ТЕТЕРЕВ. А вот и сказал!

ШИШКИН (*живо*). Н-ну? Врешь? Что такое?

ТЕТЕРЕВ. Сказал, брат! Верно... А что – сам догадайся.

ШИШКИН. Ну, это нечаянно вышло...

ТЕТЕРЕВ. Нарочно оригинальным не будешь. Я попробовал...

ЕЛЕНА. Да говорите же вы, мучитель, о добре и зле!

ШИШКИН. Ну-ка, заводи философскую волынку!

ТЕТЕРЕВ (*становясь в позу*). Достопочтенные двуногие! Когда вы говорите, что зло следует оплачивать добром, – вы ошибаетесь. Зло есть качество прирожденное вам и потому – малоценное. Добро – вы сами придумали, вы страшно дорого платили за него и потому – оно суть драгоценность, редкая вещь, прекраснее которой нет на земле ничего. Отсюда вывод – уравнивать добро со злом невыгодно для вас и бесполезно. Я говорю вам – добром платите только за добро. И никогда не платите больше того, сколько получено вами, дабы не поощрять в человеке чувство ростовщика. Ибо человек

– жаден. Получив однажды больше того, сколько следовало ему, в другой раз захочет получить еще больше. А также не платите ему меньше, чем должны. Ибо если вы его раз об- считаете – человек злопамятен! – он скажет про вас «банк- роты!», перестанет уважать и в другой раз не добро уже сде- лает вам, а только подаст милостину. Братие! будьте строго точны в уплате за добро, содеянное вам! Ибо нет на земле ничего печальнее и противней человека, подающего мило- стину ближнему своему! Но за зло – всегда платите сторицею зла! Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближнего за зло его вам! Если он, когда вы просили хлеба, дал камень вам, – опрокиньте гору на голову его! (*Тетерев начинает шутливо, постепенно переходит в серьезный тон и кончает свою речь сильно, убежденно. Кончив, он, тяжело ступая, отходит в сторону.*)

Минута общего молчания. Все смущены, почувствовав в словах его что-то тяжелое, искреннее.

ЕЛЕНА (*тихо*). Однако вы... должно быть, много потер- пели от людей...

ТЕТЕРЕВ (*оскалив зубы*). Но это дало мне веселую на- дежду, что и они, со временем, потерпят от меня... или, вер- нее, – за меня...

НИЛ (*входит с миской в руках и куском хлеба. Говоря, он внимательно следит, как бы не разлить содержимое миски.*)

За ним идет ТАТЬЯНА.

Все это философия! Плохая у тебя, Таня, привычка делать из пустяков философию! Дождь идет – философия, палец болит – другая философия, угаром пахнет – третья. И когда я слышу такие философии из пустяков, так мне невольно думается, что не всякому человеку грамота полезна...

ТАТЬЯНА. Какой ты... грубый, Нил!

НИЛ (*садится за стол и ест*). Чего там – грубый?.. Скучно тебе жить, – займись чем-нибудь. Кто работает, тот не скучает. Дома тяжело – поезжай в деревню, там живи и учи... а то – в Москву, сама поучись...

ЕЛЕНА. Так её! И еще проберите вот этого (*указывает на Тетерева*), – этого вот!

НИЛ (*искоса посмотрев*). Тоже, чадушко! В Гераклиты метит...

ТЕТЕРЕВ. Назови меня Свифтом, если тебе не трудно!..

НИЛ. Много чести!

ПЕТР. Да, многонько!..

ТЕТЕРЕВ. А мне это было бы приятно...

ЦВЕТАЕВА. Какой лакомый!..

НИЛ (*глядя в миску*). Не погневайся... А что... того... Поля была? То есть куда она ушла?

ТАТЬЯНА. В театр. А что?

НИЛ. Ничего... так... вообще – спрашиваю...

ТАТЬЯНА. Тебе ее нужно?

НИЛ. Нет, не нужно... то есть сейчас не нужно... а вообще, всегда... нужно. О, чёрт... запутался!

Все улыбаются, кроме Татьяны.

ТАТЬЯНА (*настойчиво*). Зачем? Зачем она тебе?..

НИЛ, не отвечая, ест.

ЕЛЕНА (*Татьяне быстро*). За что он тебя пробирал? Скажи?

ЦВЕТАЕВА. Да, это интересно!

ШИШКИН. Мне тоже нравится, как Нил Васильев нотации читает...

ПЕТР. А мне – как он ест...

НИЛ. Я все недурно делаю...

ЕЛЕНА. Ну же, Таня, говори!

ТАТЬЯНА. Не хочется...

ЦВЕТАЕВА. Ей никогда ничего не хочется!

ТАТЬЯНА. Почему ты знаешь? А может быть, я очень хочу... умереть?

ЦВЕТАЕВА. Фи, гадость!

ЕЛЕНА. Брр! Не люблю говорить о смерти!

НИЛ. Что можно сказать о смерти до поры, пока не умрешь?

ТЕТЕРЕВ. Вот истинный философ!

ЕЛЕНА. Идемте, господа, ко мне! Пора, самовар, наверное, давно готов...

ШИШКИН. А хорошо теперь чайку хлебнуть! Да и подзакусить бы... можно надеяться?

ЕЛЕНА. Конечно!

ШИШКИН (*указывая на Нила*). А то я смотрю на него и – завидую, грешный человек!

НИЛ. Не завидуй – я уже все съел! Я тоже пойду с вами, у меня еще более часа свободного времени...

ТАТЬЯНА. Ты лучше отдохнул бы до дежурства...

НИЛ. Сойдет и так...

ЕЛЕНА. Петр Васильевич! Идете?

ПЕТР. Если позволите...

ЕЛЕНА. Благосклонно разрешаю! Вашу руку...

ЦВЕТАЕВА. Становитесь все в пары. Нил Васильевич, ко мне...

ШИШКИН (Татьяне). Значит, вы – со мной...

ТЕТЕРЕВ. Вот – говорят, что женщин на земле больше, чем мужчин. Однако я жывал во многих городах, и всегда, везде мне не хватало дамы...

ЕЛЕНА (*смеясь, идет к двери и напевает*). Allons, enfants de la patri...i...i..e!³

ШИШКИН (*толкая Петра в спину*). Двигайся живее, сын отечества!..

³ Вперед, сыны отечества! (*фр.*)

Уходят с шумом, пением и смехом. Комната несколько секунд остается пустой. Потом дверь из комнаты стариков отворяется, выходит Акулина Ивановна и, позевывая, гасит лампы. Слышен голос старика, монотонно читающего псалтирь у себя в комнате. Во тьме, натыкаясь на стулья, старуха проходит обратно к себе.

З а н а в е с

Действие второе

Та же комната.

Осенний полдень. За столом сидит старик Бессемёнов. Татьяна неслышно и медленно ходит взад и вперед. Петр, стоя у переборки, смотрит в окно.

БЕССЕМЁНОВ. Битый час говорю я вам... детки мои милые, а, видно, нет у меня таких слов, чтобы сердца вашего коснулись... Один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору.

ТАТЬЯНА. Я сяду... *(Садится.)*

ПЕТР *(оборачиваясь лицом к отцу)*. Ты скажи прямо – чего ты хочешь от нас?

БЕССЕМЁНОВ. Хочу понять, что вы за люди... Желая знать – какой ты человек?

ПЕТР. Подожди! Я отвечу тебе... ты поймешь, увидишь. Дай прежде кончу учиться...

БЕССЕМЁНОВ. Н-да... Учиться... Учись! Но ты не учишься... а фордыбачишь. Ты вот научился презрению ко всему живущему, а размера в действиях не приобрел. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь – неправильно?

Ошибаешься. Студент есть ученик, а не... распорядитель в жизни. Ежели всякий парень в двадцать лет уставщиком порядков захочет быть... тогда все должно придти в замеша-

тельство... и деловому человеку на земле места не будет. Ты научись, будь мастером в твоём деле и тогда – рассуждай... А до той поры всякий на твои рассуждения имеет полное право сказать – цыц! Я говорю это тебе не со зла, а по душе... как ты есть мой сын, кровь моя, и все такое. Нилу я ничего не говорю... хоть много положил труда на него, хоть он и приемыш мой... но все же он – чужая кровь. И чем дальше – тем больше он мне чужой. Я вижу – будет он прохвостом... актером будет или еще чем-нибудь в этаким духе... Может, даже социалистом будет... Ну – туда ему и дорога!

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*выглядывая из двери, жалобным и робким голосом*). Отец! не пора ли обедать?

БЕССЕМЁНОВ (*строго*). Пошла ты! Не суйся, когда не надо...

Акулина Ивановна скрывается за дверь. Татьяна укоризненно смотрит на отца, встает со стула и снова бродит по комнате.

Видели? Мать ваша ни минуты покоя не знает, оберегая вас... все боится, как бы я не обидел... Я не хочу никого обижать... Я сам обижен вами, горько обижен!.. В доме моем я хожу осторожно, ровно на полу везде битое стекло насыпано... Ко мне и гости, старые приятели, перестали ходить: у тебя, говорят, дети образованные, а мы – народ простой, еще насмеются они над нами! И вы не однажды смеялись над

ними, а я со стыда горел за вас. Все приятели бросили меня, точно образованные дети – чума. А вы никакого внимания на отца своего не обращаете... никогда не поговорите с ним ласково, никогда не скажете, какими думами заняты, что делать будете? Я вам – как чужой... А ведь я – люблю вас!.. Люблю! Понимаете вы, что значит – любовь? Тебя вот выгнали – мне это больно. Татьяна зря в девках сохнет, мне это обидно... и даже конфузно пред людьми. Чем Татьяна хуже многих прочих, которые выходят замуж и... все такое? Мне хочется видеть тебя, Петр, человеком, а не студентом... Вон Филиппа Назарова сын – кончил учиться, женился, взял с приданым, две тыщи в год получает... в члены управы попадет...

ПЕТР. Подождите... и я женюсь...

БЕССЕМЁНОВ. Да, я вижу! Ты – хоть завтра готов... Ну, только – на ком? На вертушке, на беспутной бабенке... да еще и вдове! Э-эх!

ПЕТР (*вскипая*). Вы не имеете права называть ее... так!

БЕССЕМЁНОВ. Как – так? Вдовой или беспутной?

ТАТЬЯНА. Папаша! Пожалуйста... пожалуйста, оставьте это! Петр... Уйди!.. или – молчи! Я ведь вот – молчу! Слушайте... Я – не понимаю ничего... Отец!.. Когда вы говорите – я чувствую – вы правы! Да, вы правы, знаю! Поверьте, я... очень это чувствую! Но ваша правда – чужая нам... мне и ему... понимаете? У нас уже своя... вы не сердитесь, стойте! Две правды, папаша...

БЕССЕМЁНОВ (*вскакивая*). Врешь! Одна правда! Моя правда! Какая ваша правда? Где она? Покажи!

ПЕТР. Отец, не кричи! Я тоже скажу... ну, да! Ты прав... Но твоя правда узка нам... мы выросли из нее, как вырастают из платья. Нам тесно, нас давит это... То, чем ты жил, твой порядок жизни, он уже не годится для нас...

БЕССЕМЁНОВ. Ну да! Вы... вы! Как же... вы образовались... а я дурак! А, вы...

ТАТЬЯНА. Не то, папаша! Не так...

БЕССЕМЁНОВ. Нет – то! К вам ходят гости... целые дни шум... ночью спать нельзя... Ты на моих глазах шашни с постоянной заводись... ты всегда надута... а я... а мы с матерью жмемся в углу....

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*врываясь в комнату, жалобно кричит*). Голубчики! Да я ведь... родной ты мой! Разве я говорю что? Да я и в углу!.. и в углу, в хлеву! Только не ругайтесь вы! Не грызите друг друга... милые!

БЕССЕМЁНОВ (*одной рукой привлекая ее, а другой отталкивая*). Пошла прочь, старуха! Не нужна ты им. Оба мы не нужны! Они – умные!.. Мы – чужие для них...

ТАТЬЯНА (*стонет*). Какая мука! Какая... мука!..

ПЕТР (*бледный, с отчаянием*). Пойми, отец... ведь глупо это! Глупо! Вдруг, ни с того ни с сего...

БЕССЕМЁНОВ. Вдруг? Врешь! Не вдруг... годами нарывало у меня в сердце!..

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Петя, уступи! Не спорь!.. Та-

ня... пожалейте отца!

БЕССЕМЁНОВ. Глупо? Дурак ты! Страшно... а не глупо! Вдруг... жили отец и дети... вдруг – две правды... звери вы!

ТАТЬЯНА. Петр, уйди! Успокойся, отец... ну, прошу...

БЕССЕМЁНОВ. Безжалостные! Стеснили нас... Чем гордитесь? Что сделали? А мы – жили! Работалистроили дома... для вас... грешили... может быть, много грешили – для вас!

ПЕТР (*кричит*). Просил я тебя, чтоб ты... все это делал?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Петр! Ради...

ТАТЬЯНА. Ступай вон, Петр! Я не могу, я уйду... (*В изнеможении опускается на стул.*)

БЕССЕМЁНОВ. А! бежите... от правды, как черти от ладана... Зазрила совесть!

НИЛ (*широко распахнув дверь из сеней, останавливается на пороге. Он – с работы. Лицо у него черное, закопченное дымом, измазанное сажей, руки тоже грязные. Он в короткой куртке, промасленной до блеска, подпоясан ремнем, в высоких грязных сапогах по колено. Протягивая руку, он говорит*). Дайте поскорее двугривенный, извозчику заплатить!

Его неожиданное появление и вдруг раздавшийся спокойный голос сразу прекращают шум в комнате, и несколько секунд все молчат, неподвижно глядя на него.

(Он замечает впечатление и, сразу сообразив в чем дело, с улыбкой сожаления говорит.) Н-ну-у! Опять баталия!

БЕССЕМЁНОВ (*грубо кричит*). Ты, нехристь! Куда пришел!

НИЛ. А? Куда?

БЕССЕМЁНОВ. В шапке! Шапку...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Что, в самом деле? Грязный лезешь прямо в горницы... ишь ты!

НИЛ. Да вы двугривенный-то дайте!

ПЕТР (*дает ему деньги и вполголоса говорит*). Иди сюда скорее...

НИЛ (*с улыбкой*). На помощь? Трудно приходится! Сейчас!

БЕССЕМЁНОВ. Ишь! Вот он!.. Тоже – всё с рывка, с наскоку... Тоже нахватался где-то... чего-то... Уважения нет ни к чему на свете...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*поддельваясь под тон мужа*). И впрямь... Сорванец какой! Таня, ты поди... поди в кухню... в кухню! скажи Степаниде – обедать...

Татьяна уходит.

БЕССЕМЁНОВ (*угрюмо улыбаясь*). Ну, а Петра куда пошлешь? Э-эх ты! Глупая старуха! Глупая ты... Пойми, я не зверь какой! Я от души... от страха за них... от боли душевной кричу... а не от злости. Чего же ты их разгоняешь от меня?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Да я ведь знаю... голубчик мой!

Я знаю все... да жалко их! Мы старые с тобой... мы – таковские! Куда нас? Господи! На что нас? А им – жить! Они, милые, горя-то от чужих много увидят...

ПЕТР. Отец, ты, право, напрасно... волнуешься... Ты вообразил что-то...

БЕССЕМЁНОВ. Боюсь я! Время такое... страшное время! Все ломается, трещит... волнуется жизнь!.. За тебя боюсь... Вдруг что-нибудь... кто нас поддержит в старости? Ты – опора нам... Вон Нил-то... вишь какой? И этот... птица эта, Тетерев... тоже! Ты сторонись их! Они... не любят нас! Гляди!

ПЕТР. Э, полно! Ничего со мной не будет... Вот, подожду еще немного... потом подам прошение...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Подай-ка ты, Петя, поскорее, успокой отца...

БЕССЕМЁНОВ. Я в тебя, Петр, верю, когда ты вот так говоришь... рассудительно, серьезно... Верю, что ты жизнь проживешь не хуже меня... Ну, а иной раз...

ПЕТР. Ну, давай, оставим это! Будет... Подумай, как часто у нас бывают такие сцены!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Голубчики вы мои!

БЕССЕМЁНОВ. Вот еще Татьяна... эх! Бросить бы ей это училище... Что оно для нее? Одно утомление...

ПЕТР. Да, ей надо отдохнуть...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Ох, надо!

НИЛ (*входит раздетый, в синей блузе, но еще неумытый*).

Обедать скоро будем, а?

Петр, при виде Нила, быстро выходит в сени.

БЕССЕМЁНОВ. Рожу-то умыл бы сначала, а потом об еде спрашивал.

НИЛ. Ну, рожа у меня не велика, вымою живо, а вот есть я хочу, как волк! Дождь, ветер, холодище, паровоз старый, скверный... измаялся я в эту ночь – прямо сил нет! Заставить бы начальника тяги прокатиться в такую погоду, да на таком паровозе...

БЕССЕМЁНОВ. Болтай больше! Что-то, я смотрю, ты про начальников-то легко говорить стал... смотри, худа не было бы!

НИЛ. Начальникам худо не будет...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Отец не про них говорит, а про тебя.

НИЛ. Ага, про меня...

БЕССЕМЁНОВ. Да, про тебя!

НИЛ. Ага!..

БЕССЕМЁНОВ. Ты не гакай, а слушай...

НИЛ. Я слушаю...

БЕССЕМЁНОВ. Зазнаваться ты стал...

НИЛ. Давно?

БЕССЕМЁНОВ. Ты таким языком со мной не смей говорить!

НИЛ. А у меня один язык (*высовывая язык, показывает*), и я со всеми им говорю...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*всплескивая руками*). Ах ты, бесстыдник! Кому ты язык показываешь?

БЕССЕМЁНОВ. погоди, мать, постой!

Акулина Ивановна, укоризненно покачивая головою, уходит.

Ты... умник! Я хочу с тобой говорить...

НИЛ. После обеда?

БЕССЕМЁНОВ. Сейчас!

НИЛ. Лучше бы после обеда! Право, я голоден, устал, продрог... сделайте одолжение, отложите разговор! И потом, – что вы можете мне сказать? Ругаться ведь будете... а мне ругаться с вами неприятно... лучше бы вы... того... сказали бы прямо, что терпеть меня не можете... и чтоб я...

БЕССЕМЁНОВ. Ну, чёрт с тобой! (*Уходит в свою комнату и плотно, крепко прикрывает дверь за собою.*)

НИЛ (*ворчит*). И отлично! Лучше чёрт, чем ты... (*Напевая себе под нос, ходит по комнат.*)

ТАТЬЯНА входит.

Опять лаялись?

ТАТЬЯНА. Ты не можешь себе представить...

НИЛ. Ну! превосходно представляю... Разыгрывали драматическую сцену из бесконечной комедии, под названием «Ни туда, ни сюда»...

ТАТЬЯНА. Тебе хорошо говорить так! Ты умеешь стоять в стороне...

НИЛ. Я умею оттолкнуть от себя в сторону всю эту канитель. И скоро – оттолкну решительно, навсегда... Переведусь в монтеры, в депо... надоело мне ездить по ночам с товарными поездами! Еще если б с пассажирскими! С курьерским, например, – фьить! Режь воздух! Мчись на всех парах! А тут – ползешь с кочегаром... скука! Я люблю быть на людях...

ТАТЬЯНА. От нас ты однако бегаешь...

НИЛ. Да... прости за правду! – убежишь ведь! Я жить люблю, люблю шум, работу, веселых, простых людей! А вы разве живете? Так как-то слоняетесь около жизни и по неизвестной причине стонете да жалуетесь... на кого, почему, для чего? Непонятно.

ТАТЬЯНА. Ты не понимаешь?

НИЛ. То-то нет! Когда человеку лежать на одном боку неудобно – он перевертывается на другой, а когда ему жить неудобно – он только жалуется... А ты сделай усилие, – перевернись!

ТАТЬЯНА. Ты знаешь – один философ сказал, что только глупому жизнь кажется простой!

НИЛ. Философы в глупостях, должно быть, знают толк. Но я ведь умником себя не считаю... Я просто нахожу, что

с вами жить почему-то невыносимо скучно. Думаю, потому что очень уж вы любите на все и вся жаловаться. Зачем жаловаться? Кто вам поможет? Никто не поможет... И некому, и... не стоит...

ТАТЬЯНА. Откуда в тебе эта черствость, Нил?

НИЛ. А это – черствость?

ТАТЬЯНА. Жестокость... Я думаю, что ты заразился ею от Тетерева, который ненавидит за что-то всех людей.

НИЛ. Ну, не всех... (*Усмехаясь.*) Тебе этот Тетерев не кажется похожим на топор?

ТАТЬЯНА. Топор? Какой топор?

НИЛ. Обыкновенный, железный топор на деревянном топорнице...

ТАТЬЯНА. Нет, не шути! Не надо... Знаешь... с тобой приятно говорить... ты такой свежий... Но только вот... невнимателен ты...

НИЛ. К чему?

ТАТЬЯНА. К людям... Ко мне, например...

НИЛ. Мм... наверно, не ко всем.

ТАТЬЯНА. Ко мне...

НИЛ. К тебе? Н-да...

Оба молчат. Нил рассматривает свои сапоги. Татьяна смотрит на него с ожиданием чего-то.

Видишь ли... Я к тебе... то есть я тебя...

Татьяна делает движение к нему, Нил, ничего не замечая.

Очень уважаю... и люблю. Только мне не нравится – зачем ты учительница? Дело это тебе не по душе, утомляет, раздражает тебя. А дело – огромное! Ребятишки – ведь это люди в будущем... Их надо уметь ценить, надо любить. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Знаешь – я ужасно люблю ковать. Пред тобой красная, бесформенная масса, злая, жгучая... Бить по ней молотом – наслаждение! Она плюет в тебя шипящими, огненными плевками, хочет выжечь тебе глаза, ослепить, отшвырнуть от себя. Она живая, упругая... И вот ты сильными ударами с плеча делаешь из нее все, что тебе нужно...

ТАТЬЯНА. Для этого нужно быть сильным...

НИЛ. И ловким...

ТАТЬЯНА. Послушай, Нил... Тебе иногда не жалко...

НИЛ. Кого?

ЕЛЕНА (*входит*). У вас обедали? Нет? Идемте ко мне, пожалуйста! Какой пирог я испекла! Где прокурор? Прекрасный пирог!

НИЛ (*подходя к Елене*). Я иду! О, я съем весь прекрасный пирог! Я умираю с голода, меня нарочно не кормят! На меня рассердились здесь за что-то...

ЕЛЕНА. За язык, наверное... Таня, идем!

ТАТЬЯНА. Я только скажу маме... (*Уходит.*)

НИЛ. Откуда вы знаете, что я показал отцу язык?

ЕЛЕНА. Что-о? Я ничего не знаю! Что такое?

НИЛ. Ну, я и не скажу... Лучше вы расскажите мне о прекрасном пироге.

ЕЛЕНА. Я узнаю! А о пироге... знаете, меня научил печь пироги один арестант, осужденный за убийство. Муж позволял ему помогать на кухне. Он был такой жалкенький, худенький...

НИЛ. Муж?

ЕЛЕНА. Милостивый государь! Мой муж был двенадцати вершков роста...

НИЛ. Он был так низок?

ЕЛЕНА. Молчать! И имел вот такие усы (*показывает пальцами, какие усы*) длиною по три вершка...

НИЛ. Первый раз слышу о человеке, достоинства которого измеряются вершками!

ЕЛЕНА. Увы! У него не было никаких достоинств, кроме усов!

НИЛ. Это грустно! Продолжайте о пироге...

ЕЛЕНА. Он, этот арестант, был повар... и убил свою жену... Но мне он очень нравился. Он ведь убил ее как-то так...

НИЛ. Между прочим... понимаю!

ЕЛЕНА. Убирайтесь! Не хочу с вами говорить.

Татьяна, появляясь в двери, смотрит на них. Из другой двери выходит Петр.

Прокурор! Ко мне... есть пирог!..

ПЕТР. С удовольствием!

НИЛ. Его сегодня папенька пробрал за непочтение...

ПЕТР. Ну, перестань...

НИЛ. И я удивляюсь – как решается он идти к вам без спроса?

ПЕТР (*глядя на дверь в комнату стариков, беспокойно*).

Идти, так идемте!

ТАТЬЯНА. Идите, я сейчас приду...

Нил, Петр и Елена уходят. Татьяна идет в свою комнату, но в это время из комнаты стариков раздается голос Акулины Ивановны.

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Таня!

ТАТЬЯНА (*останавливается, нетерпеливо поводя плечами*). Что?

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*в двери*). Подь-ка сюда! (*Почти шепотом.*) Что, Петруша-то опять к той пошел?

ТАТЬЯНА. Да... и я иду...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Ах ты горе наше горькое, а? Завертит она, егоза, Петю! Уж я чувствую!.. Ты бы хоть поговорила ему. Поговорила бы: братец, мол, отстанись! Не пара, мол, она тебе... сказала бы ты ему! Ведь у ней и денег-то всего-навсего три тыщи, да мужнина пенсия... я знаю!

ТАТЬЯНА. Мамаша, оставьте это! Елена совсем не обращает внимания на Петра...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Нарочно это! Нарочно! Она, шельма, разжигает его... Показывает только видимость такую, что-де ты мне не интересен... а сама следит за ним, как кошка за чижом...

ТАТЬЯНА. Ах!.. да что мне! Мне-то что? Говорите сами... оставьте меня! Поймите, – я устала!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Да ты не сейчас поговори с ним... Ты поди, ляг, отдохни...

ТАТЬЯНА (*почти кричит*) Мне негде отдохнуть! Я навсегда устала... навсегда! Понимаете? На всю жизнь... от вас устала... от всего! (*Быстро уходит в сени.*)

Акулина Ивановна делает движение к дочери, как бы желая остановить ее, но, всплеснув руками, остается на месте, недоумело раскрыв рот.

БЕССЕМЁНОВ (*выглядывая из двери*). Опять схватка?

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*встрепенувшись*). Нет, ничего... это так...

БЕССЕМЁНОВ. Что так? Надерзила она тебе?

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*торопливо*). Нет, ничего, что ты это? Я ей говорю... обедать, мол, пора! А она говорит – не хочу! Я говорю – как не хочешь? А она...

БЕССЕМЁНОВ. Завралась ты, мать!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Правое слово!

БЕССЕМЁНОВ. И сколько ты, ради их, врешь предо мной! Взгляни-ка мне в глаза-то... Не можешь... эх ты!

Акулина Ивановна стоит пред мужем, понуря голову, молча. Он тоже молчит, задумчиво поглаживая бороду. Потом, вздохнув, говорит.

Нет, зря все-таки разгородились мы от них образовани-ем-то...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*тихо*). Полно, отец! Теперь и простые-то люди тоже не лучше...

БЕССЕМЁНОВ. Никогда не надо детям давать больше того, сколько сам имеешь... И всего мне тяжелее, что не вижу я в них... никакого характера... ничего эдакого... крепкого... Ведь в каждом человеке должно быть что-нибудь свое... а они какие-то... ровно бы без лиц! Вот Нил... он дерзок... он – разбойник. Но – человек с лицом! Опасный... но его можно понять... Э-эхе-хе!.. Я вот, в молодости, церковное пение любил... грибы собирать любил... А что Петр любит?

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*робко, со вздохом*). К постоялке ушел...

БЕССЕМЁНОВ. Ну вот!.. погоди же! – Я ее... ущемлю!

Входит Тетерев, заспанный и мрачный более, чем всегда. В руке – бутылка водки и рюмка.

Терентий Хрисанфович! Опять разрешил?

ТЕТЕРЕВ. Вчера, после всенощной...

БЕССЕМЁНОВ. С чего это?..

ТЕТЕРЕВ. Без причины. Обедать скоро?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Сейчас накрою... *(Начинает хлопотать.)*

БЕССЕМЁНОВ. Эхма, Терентий Хрисанфович, умный ты человек... а вот губит тебя водочка!..

ТЕТЕРЕВ. Почтенный мещанин, – ты врешь! Меня губит не водка, а сила моя... Избыток силы – вот моя гибель...

БЕССЕМЁНОВ. Ну, сила лишней не бывает...

ТЕТЕРЕВ. Опять врешь! Теперь сила – не нужна. Нужна ловкость, хитрость... нужна змеиная гибкость. *(Засучивая рукав, показывает кулак.)* Гляди, – если я этой штукой ударю по столу, – разобью его вдребезги. С такими руками – нечего делать в жизни. Я могу колоть дрова, но мне трудно и смешно писать, например... Мне некуда девать силы. Я могу найти себе место по способностям только в балагане, на ярмарке, где мог бы рвать железные цепи, поднимать гири... и прочее. Но я учился... И хорошо учился... за что и был изгнан из семинарии. Я учился и не хочу жить напоказ, не хочу, чтоб ты, придя в балаган, любовался мною со спокойным удовольствием. Я желаю, чтобы все смотрели на меня с беспокойным неудовольствием...

БЕССЕМЁНОВ. Злой ты...

ТЕТЕРЕВ. Скоты такой величины, как я, не бывают злыми, – ты не знаешь зоологии. Природа – хитра. Ибо, если к силе моей прибавить злобу, – куда бежишь ты от меня?

БЕССЕМЁНОВ. Мне бежать некуда... я в своем доме.

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Ты бы молчал, отец.

ТЕТЕРЕВ. Верно! Ты в своем доме. Вся жизнь – твой дом, твоё строение. И оттого – мне негде жить, мещанин!

БЕССЕМЁНОВ. Живешь ты зря... ни к чему. Но ежели бы захотел...

ТЕТЕРЕВ. Не хочу захотеть, ибо – противно мне. Мне благороднее пьянствовать и погибать, чем жить и работать на тебя и подобных тебе. Можешь ли ты, мещанин, представить себе меня трезвым, прилично одетым и говорящим с тобою рабым языком слуги твоего? Нет, не можешь...

Поля входит и при виде Тетерева пятится назад. Он, заметив ее, широко улыбается и, кивая головой, говорит, протягивая ей руку.

Здравствуйте и не бойтесь... Я ничего не скажу вам больше... ибо все знаю!

ПОЛЯ (*смущенно*). Что?.. ничего вы не можете знать...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. А, пришла! Ну-ка, иди-ка, скажи Степаниде, чтобы щи несла...

БЕССЕМЁНОВ. Пора... (*К Тетереву.*) Люблю я слушать, как ты рассуждаешь... Особенно про себя самого хорошо

выходит у тебя. Так вот – глядишь на тебя, страшен ты! А начнешь ты мысли-то свои высказывать, я и чувствую твою слабость... *(Довольно и тихо смеется.)*

ТЕТЕРЕВ. И ты нравишься мне. Ибо ты в меру – умен и в меру – глуп; в меру – добр и в меру – зол; в меру честен и подл, труслив и храбр... ты образцовый мещанин! Ты законченно воплотил в себе пошлость... ту силу, которая побеждает даже героев и живет, живет и торжествует... давай, выпьем перед щами, почтенный крот!

БЕССЕМЁНОВ. Принесут – выпьем. Но, между прочим, зачем ты ругаешься?.. Без причины не надо обижать людей... Надо рассуждать кротко, складно, чтобы слушать тебя было занятно... а если ты будешь людей задевать словами – никто не услышит тебя, а кто услышит – дурак будет!

НИЛ *(входя)*. Поля пришла?

ТЕТЕРЕВ *(ухмыляясь)*. Пришла...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. А тебе ее на что?

НИЛ *(не отвечая ей. Тетереву)*. Эге-э! Разрешил? Опять? Часто же начал ты...

ТЕТЕРЕВ. Лучше пить водку, чем кровь людей... тем паще, что кровь теперешних людей – жидка, скверна и безвкусна... Здоровой, вкусной крови осталось мало, – всю высосали...

Поля и Степанида. Степанида несет миску. Поля – тарелку с мясом.

НИЛ (*подходя к ней*). Здравствуй! Готов ответ?

ПОЛЯ (*вполголоса*). Не сейчас же... при всех...

НИЛ. Вот важность! Чего бояться?

БЕССЕМЁНОВ. Кому?

НИЛ. Мне... и вот ей...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Что такое?

БЕССЕМЁНОВ. Не понимаю...

ТЕТЕРЕВ (*усмехаясь*). А я – понимаю... (*Наливает водки и пьет.*)

БЕССЕМЁНОВ. В чем дело? Ты чего, Пелагея?

ПОЛЯ (*смущенная, тихо*). Ничего...

НИЛ (*усаживаясь за стол*). Секрет... Тайна!

БЕССЕМЁНОВ. А коли тайна – говорите где-нибудь в углу, а не при людях. То есть, это, я скажу, насмешка какая-то... хоть беги из дома! Какие-то знаки, недомолвки, разговоры... А ты сиди дураком и хлопай глазами... Я тебя, Нил, спрашиваю, кто я тебе?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Уж что это, Нил, право...

НИЛ (*спокойно*). Вы мне приемный отец... Но сердиться и поднимать истории не следует... Ничего особенного не случилось...

ПОЛЯ (*вставая со стула, на который только что села*).
Нил...

Васильевич сделал... сказал мне... вчера вечером... спросил...

БЕССЕМЁНОВ. Что спросил?.. Ну?

НИЛ (*спокойно*). Вы не пугайте ее... Я спросил ее – не хочет ли она выйти за меня замуж...

Бессемёнов удивленно смотрит на него и Полю, держа в воздухе ложку. Акулина Ивановна тоже замерла на месте. Тетерев смотрит перед собой, тяжело моргая глазами. Кисть его руки, лежащей на колене, вздрагивает. Поля низко наклонила голову.

(*Продолжает*). А она сказала, что ответит мне сегодня... Ну, вот и все...

ТЕТЕРЕВ (*махая рукой*). И очень... просто... и больше ничего...

БЕССЕМЁНОВ. Та-ак... Действительно... очень просто! (*С горечью.*) И модно... по-новому! Впрочем – что уж тут!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Нехристь ты, нехристь! Отчаянная ты голова!.. Чай бы, с нами первоначально поговорить надо...

НИЛ (*с досадой*). Вот дернуло меня за язык!

БЕССЕМЁНОВ. Оставь, мать! Не наше дело! Ешь и молчи. И я буду молчать...

ТЕТЕРЕВ (*хмеля*). А я буду говорить... А впрочем, и я пока молчу...

БЕССЕМЁНОВ. Да... Лучше всем молчать. Но всетаки, Нил... не торовата благодаришь ты меня за мою хлебсоль...

Исподтишка живешь...

НИЛ. За хлеб-соль вашу я платил трудом и впредь платить буду, а воле вашей подчиниться не могу. Вы вон хотели женить меня на дуре Седовой, потому только, что за нею десять тысяч приданого. На что мне ее нужно? А Полю я люблю... Давно люблю и ни от кого это не скрывал. Всегда я жил открыто и всегда буду так жить. Укорять меня не в чем, обижаться на меня не за что.

БЕССЕМЁНОВ (*сдержанно*). Так, так! Очень хорошо... Ну что ж? Женитесь. Мы вам не помеха. Только на какие же капиталы жить-то будете? Коли не секрет – скажите.

НИЛ. Работать будем. Я перевожусь в депо... А она... у нее тоже дело будет. Вы по-прежнему будете получать с меня тридцать рублей в месяц.

БЕССЕМЁНОВ. Поглядим. Посулы легки...

НИЛ. Вексель возьмите с меня...

ТЕТЕРЕВ. Мещанин! Возьми с него вексель! Возьми!

БЕССЕМЁНОВ. Вас в это дело не просят мешаться...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Тоже... советчик какой!

ТЕТЕРЕВ. Нет, ты возьми! Не возьмешь ведь – совесть коротка, не посмеешь... Нил, дай ему подписку: обязуюсь, мол, ежемесячно...

БЕССЕМЁНОВ. Я могу и подписку взять... есть за что, так я думаю. С десяти лет кормил, поил, обувал, одевал – до двадцати семи... Н-да...

НИЛ. Не лучше ли нам после считаться, не сейчас?

БЕССЕМЁНОВ. Можно и после. *(Вдруг вскипая.)* Ну, только помни, Нил, – отныне ты мне... и я тебе – враги! Обиды этой я не прощу, не могу! Знай!

НИЛ. Да какая обида? В чем обида? Ведь не ожидали же вы, что я на вас женюсь?

БЕССЕМЁНОВ *(кричит, не слушая)*. Помни! Издеваться над тем, кто тебя кормил, поил... без спроса... без совета... тайно... Ты! Смирная! Тихая! Что понурилась? А! Молчишь? А знаешь, что я могу тебя...

НИЛ *(вставая со стула)*. Ничего вы не можете! Будет шуметь! В этом доме я тоже хозяин. Я десять лет работал и заработок вам отдавал. Здесь, вот тут *(топает ногой в пол и широким жестом руки указывает кругом себя)* вложено мною не мало! Хозяин тот, кто трудится...

Во время речи Нила Поля встает и уходит. В дверях ей встречаются Петр и Татьяна. Петр, заглянув в комнату, скрывается. Татьяна стоит в дверях, держась за косяк.

БЕССЕМЁНОВ *(ошеломленно таращит глаза на Нила)*. Ка-ак? Хозяин? Ты?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Уйдем, отец! Уйдем... пожалуйста, уйдем! *(Грозя кулаком Нилу.)* Ну, Нилка! Ну, уж... погоди! *(Со слезами.)* Уж погоди... дождешься!

НИЛ *(настойчиво)*. Да, хозяин тот, кто трудится... Запомните-ка это!

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*тащит за собой мужа*). Идем, старик! И-идем! Бог с ними!.. Не говори, не кричи! Кто нас услышит?

БЕССЕМЁНОВ (*уступая усилиям жены*). Ну, хорошо! Оставайся... хозяин! Поглядим... кто хозяин! Увидим! (*Уходит к себе.*)

Нил взволнованно расхаживает по комнате. Где-то на улице, далеко, играет шарманка.

НИЛ. Вот заварил кашу! И чёрт меня дернул спросить ее... Дурак! То есть, положительно не могу я ничего скрыть... лезет все наружу помимо воли! Ах ты...

ТЕТЕРЕВ. Ничего! Сцена очень интересная. Я слушал и смотрел с удовольствием. Очень недурно, очень! Не волнуйся, брат! У тебя есть способности... ты можешь играть героические роли. В данный момент герой нужен... поверь мне! В наше время все люди должны быть делимы на героев, то есть дураков, и на подлецов, то есть людей умных...

НИЛ. Чего ради заставил я Полю пережить такую... гадость?.. Испугалась... нет, она не пуглива! Обиделась, наверно... тьфу!

ТАТЬЯНА, все еще стоя в дверях, при имени Поли делает движение. Звуки шарманки умолкают.

ТЕТЕРЕВ. Людей очень удобно делить на дураков и мерзавцев. Мерзавцев – тьмы! Они живут, брат, умом звериным, они верят только в правду силы... не моей силы, не этой вот, заключенной в груди и руке моей, а в силу хитрости... Хитрость – ум зверя.

НИЛ (*не слушая*). Теперь придется ускорить свадьбу... Ну, и ускорим... Да, она еще не ответила мне. Но я знаю, что она скажет... милая моя девчужка!.. Как ненавижу я этого человека... этот дом... всю жизнь эту... гнилую жизнь! Здесь все... какие-то уроды! Никто не чувствует, что жизнь испорчена ими, низведена к пустякам... что из нее они делают себе темницу, каторгу, несчастье... как они ухитряются делать это? Не понимаю! Но – ненавижу людей, которые портят жизнь...

Татьяна делает шаг вперед, останавливается. Потом неслышно идет к сундуку и садится на него, в углу. Она согнулась, стала маленькой и еще более жалкой.

ТЕТЕРЕВ. Жизнь украшают дураки. Дураков – немного. Они всё ищут чего-то, что не им нужно, не только им одним... Они любят выдумывать проспекты всеобщего счастья и тому подобной ерунды. Хотят найти начала и концы всего сущего. Вообще – делают глупости...

НИЛ (*задумчиво*). Да, глупости! На это я мастер... Ну, она потрезвее меня... Она – тоже любит жизнь... такой внима-

тельной, спокойной любовью... Знаешь, мы с ней великолепно будем жить! Мы оба – смелые... и, если захотим чего, – достанем! Да, мы с ней достанем... Она какая-то... новорожденная... (*Смеется.*) Мы с ней прекрасно будем жить!

ТЕТЕРЕВ. Дурак может всю жизнь думать о том, почему стекло прозрачно, а мерзавец просто делает из стекла бутылку...

Вновь играет шарманка уже близко, почти под окнами.

НИЛ. Ну, ты все о бутылках!

ТЕТЕРЕВ. Нет, я о дураках. Дурак спрашивает себя – где огонь, пока он не зажжен, куда девается, когда угасает? А мерзавец сидит у огня, и ему тепло...

НИЛ (*задумчиво*). Да-а... тепло...

ТЕТЕРЕВ. В сущности – они оба глупы. Но – один глуп красиво, геройски, другой – тупо, нищенски глуп. И оба они, хотя разными дорогами, но приходят в одно место – в могилу, только в могилу, друг мой... (*Хохочет.*)

Татьяна тихо качает головой.

НИЛ (*Тетереву*). Ты чего?

ТЕТЕРЕВ. Смеюсь... Оставшиеся в живых дураки смотрят на умершего собрата и спрашивают себя – где он? А мерзавцы просто наследуют имущество покойного и продол-

жают жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь удобную... (*Хохочет.*)

НИЛ. Однако ты здорово напился... Шел бы к себе, а?

ТЕТЕРЕВ. Укажи – где это?

НИЛ. Ну, не дури! Хочешь, отведу?

ТЕТЕРЕВ. Меня, брат, не отведешь. Я не состою в родстве ни с обвиняемыми... ни с потерпевшими. Я – сам по себе. Я – вещественное доказательство преступления! Жизнь испорчена! Она – скверно сшита... Не по росту порядочных людей сделана жизнь, говорю я. Мещане сузили, окоротили ее, сделали тесной... и вот я есмь вещественное доказательство того, что человеку негде, нечем, незачем жить...

НИЛ. Ну, иди же, иди!

ТЕТЕРЕВ. Оставь меня! Ты думаешь, могу упасть? Я уже упал, чудак ты! Давно-о! Я, впрочем, думал было подняться; но прошел мимо ты и, не заметив, не нарочно, вновь толкнул меня. Ничего; иди себе! Иди, я не жалуясь... Ты – здоров и достоин идти, куда хочешь, так, как хочешь... Я, падший, сопровождаю тебя взглядом одобрения – иди!

НИЛ. Что ты болтаешь? Интересно что-то... но непонятно...

ТЕТЕРЕВ. И не понимай! Не надо! Некоторые вещи лучше не понимать, ибо понимать их бесполезно... Ты иди, иди!

НИЛ. Ну, хорошо, я уйду. (*Уходит в сени, не замечая Татьяну, прижавшуюся в углу.*)

ТЕТЕРЕВ (*кланяясь вслед ему*). Желаю счастья, граби-

тель! Ты незаметно для себя отнял мою последнюю надежду и... чёрт с ней! (*Идет к столу, где оставил бутылку, и замечает в углу комнаты, фигуру Татьяны.*) Это-о кто, собственно говоря?

ТАТЬЯНА (*тихо*). Это я...

Звуки шарманки сразу обрываются.

ТЕТЕРЕВ. Вы? Мм... а я думал, мне почудилось...

ТАТЬЯНА. Нет, это я...

ТЕТЕРЕВ. Понимаю... Но – почему вы? Почему вы тут?

ТАТЬЯНА (*негромко, но ясно, отчетливо*). Потому что мне негде, нечем, незачем жить...

Тетерев молча идет к ней тихими шагами.

Я не знаю, отчего я так устала и так тоскливо мне... но, понимаете, до ужаса тоскливо! Мне только двадцать восемь лет... мне стыдно, уверяю вас, мне очень стыдно чувствовать себя так... такой слабой, ничтожной... Внутри у меня, в сердце моем, – пустота... все высохло, сгорело, я это чувствую, и мне больно от этого... Как-то незаметно случилось это... незаметно для меня в груди выросла пустота... зачем я говорю вам это?..

ТЕТЕРЕВ. Не понимаю... Сильно пьян... Совсем не понимаю...

ТАТЬЯНА. Никто не говорит со мной, как я хочу... как мне хотелось бы... я надеялась, что он... заговорит... Долго ожидала я, молча... А эта жизнь... ссоры, пошлость, мелочи... теснота... все это раздавило меня тою порой... Потихоньку, незаметно раздавило... Нет сил жить... и даже отчаяние мое бессильно... Мне страшно стало... сейчас вот... вдруг... мне страшно...

ТЕТЕРЕВ (*качая головой, отходит от нее к двери и, отворив дверь, говорит, тяжело ворочая языком*). Проклятие дому сему!.. И больше ничего...

Татьяна медленно идет в свою комнату. Минута пустоты и тишины. Быстро, неслышными шагами входит Поля и за нею Нил. Они без слов проходят к окнам, и там, схватив Полю за руку, Нил вполголоса говорит.

НИЛ. Ты прости меня за давешнее... это вышло глупо и скверно... но я не умею молчать, когда хочу говорить!

ПОЛЯ (*почти шепотом*). Все равно... теперь все равно! Что уж мне все они? Все равно...

НИЛ. Я знаю – ты меня любишь... я вижу... я не спрашиваю тебя. Ты – смешная! Вчера сказала? отвечу завтра, мне надо подумать! Вот смешная! О чем думать – ведь любишь?

ПОЛЯ. Ну да, ну да... давно уж!..

Татьяна крадется из двери своей комнаты, встает за за-

навесом и слушает.

НИЛ. Мы славно будем жить, увидишь! Ты – такой милый товарищ... нужды ты не побоишься... горе – одолеешь...

ПОЛЯ (*просто*). С тобой – чего же бояться? Да я и так – одна не робкая... я только смиренная...

НИЛ. И ты упрямая... сильная, не согнешься... Ну, вот... рад я... Ведь знал, что все так будет, а рад... страшно!

ПОЛЯ. Я тоже знала все вперед...

НИЛ. Ну? Знала? Это хорошо... Эх, хорошо жить на свете! Ведь хорошо?

ПОЛЯ. Хорошо... милый ты мой друг... славный ты мой человек...

НИЛ. Как ты это говоришь... вот великолепно сказала!

ПОЛЯ. Ну, не хвали... надо идти... надо идти... придет кто-нибудь...

НИЛ. А пускай их!..

ПОЛЯ. Нет, надо!.. Ну... поцелуй еще!..

Вырвавшись из рук Нила, она пробегает мимо Татьяны, не замечая ее. А Нил, идя за ней с улыбкой на лице, увидел Татьяну и остановился перед ней, пораженный ее присутствием и возмущенный. Она тоже молчит, глядя на него мертвыми глазами, с кривой улыбкой на лице.

НИЛ (*презрительно*). Подслушивала? Подглядывала? Э-эх ты!.. (*Быстро уходит.*)

Татьяна стоит неподвижно, как окаменевшая. Уходя, Нил оставляет дверь в сени открытой, и в комнату доносится суровый окрик старика Бесеменова: «Степанида! Кто угли рассыпал? Не видишь? Подбери!»

З а н а в е с

Действие третье

Та же комната.

Утро. Степанида стирает с мебели пыль.

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*моет чайную посуду и говорит*). Говядина-то сегодня не жирна, так ты сделай вот что: от вчерашнего жаркого сало должно остаться, – ты его запусти во щи... они и покажут себя жирными... Слышишь?

СТЕПАНИДА. Слышу...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. А телятину будешь жарить – масла-то много не вали в плошку... в середу пять фунтов я купила, а вчера, смотрю, уж и фунта не осталось...

СТЕПАНИДА. Стало быть – вышло...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Знаю, что вышло... Вот у тебя его в голове-то сколько... как у мужика дегтя в мазнице...

СТЕПАНИДА. Нешто вы по духу не слышите, что я деревянным из лампадки мажусь?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Ну, ладно уж...

Пауза.

Куда тебя утром Татьяна-то посылала?

СТЕПАНИДА. В аптеку... За спиртом нашатырным... Поди, говорит, купи мне на двадцать копеек нашатырного

спирту...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Видно, голова болит... (*Вздыхая.*) То и дело хворает она у нас...

СТЕПАНИДА. Замуж бы выдали... Оздоровела бы сразу, небойсь...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Не больно-то легко нынче замуж выдать девицу... а образованную-то... еще труднее...

СТЕПАНИДА. Приданое хорошее дадите, и образованную кто-нибудь возьмет...

Петр выглядывает из своей комнаты и скрывается.

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Не увидят мои глазыньки этой радости... Не хочет Таня замуж выходить...

СТЕПАНИДА. Где уж, чай, не хотеть... в ее-то летах.

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Э-эхе-хе... Кто вчера у верхней-то постоялки в гостях был?

СТЕПАНИДА. Учитель этот... рыжий-то.

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Это у которого жена сбежала?..

СТЕПАНИДА. Ну, ну, он! Да акцизный... такой... худущий да желтый с лица-то...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Знаю! На племяннице Пименова купца женат... чахоточный он, слышь...

СТЕПАНИДА. Ишь ты... Оно и видать...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Певчий наш был?

СТЕПАНИДА. И певчий, и Петр Васильич... Песни орал

певчий-то... часов до двух орал... вроде как бык ревел...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Петя-то когда воротился?

СТЕПАНИДА. Да светало уж, как дверь-то я ему отперла...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Охо-хо...

ПЕТР (*входит*). Ну, Степанида, возись скорее и уходи...

СТЕПАНИДА. Сейчас... Я сама рада скорее-то...

ПЕТР. А рада – так больше делай, да меньше разговаривай...

Степанида фыркает и уходит.

Мама! Я вас не однажды просил поменьше разговаривать с ней... Ведь это же нехорошо, – поймите вы, наконец! – вступать в интимные беседы с кухаркой... и выпрашивать у нее... разные разности! Нехорошо!

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*обиженно*). Что же, у тебя прикажешь спрашиваться, с кем говорить мне можно? Ты своей беседой меня с отцом не жалуешь, так позволь хоть со слугой-то слово сказать...

ПЕТР. Да поймите же, что она вам не пара! Ведь, кроме сплетни какой-нибудь, вы от нее ничего не услышите!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. А от тебя что я слышала? Полгода ты живешь дома-то, а ни разу с матерью своей родной часу не просидел вместе... ничего-то не рассказал ей... и что в Москве и как...

ПЕТР. Ну, послушайте...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. А заговоришь когда, – одни огорчения от тебя... То – не так, это – не эдак... мать родную, как девчонку, учить начнешь, да укорять, да насмехаться...

Петр, махнув рукой, быстро уходит в сени. Акулина Ивановна вслед ему.

Ишь, вот сколько наговорил! *(Оттирает глаза концом передника и всхлипывает.)*

ПЕРЧИХИН *(входит. Он в рваной куртке, из дыр ее торчит грязная вата, подпоясан веревкой, в лаптях и меховой шапке.)* Ты чего куксишься? Али Петруха обидел? Чего-то он мимо меня, как стриж, вильнул... даже здравствуй не сказал. Поля – здесь?

АКУЛИНА ИВАНОВНА *(вздыхая)*. В кухне, капусту шинкует...

ПЕРЧИХИН. Вот у птиц – хорош порядок! Оперился птенец – лети на все четыре стороны... никакой ему муштровки от отца с матерью нет... Чайку тут мне не осталось?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Ты, видно, тоже птичьих порядков придержишься в своем-то быту?

ПЕРЧИХИН. Вот именно, это самое! И хорошо ведь! Ничего у меня нет, никому я не мешаю... вроде как не на земле, а на воздухе живу.

АКУЛИНА ИВАНОВНА *(презрительно)*. И никакого

уваженья от людей не имеешь. На, пей... холодный только чай-то... да и жидковат немного...

ПЕРЧИХИН (*поднимая стакан на свет*). Не густо... ну, спасибо, хоть не пусто! В густом-то еще, пожалуй, увязнешь... А что до уважения, так сделайте милость, не уважайте... я сам никого не уважаю...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. А кому оно, уважение твое, нужно? Никому...

ПЕРЧИХИН. И отличное дело!.. Я так замечаю, что люди, которые на земле свой кус хлеба берут, – друг у друга изо рта его дерут. А я получаю пищу из воздуха... от небесных птиц кормлюсь... мое дело чистенькое!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Ну, а свадьба – скоро?

ПЕРЧИХИН. Чья? Моя, что ли? Так еще та кукушка, которая за меня бы замуж пошла, – в здешние леса не прилетала, шельма! Пожалуй, совсем опоздает... не дожdamшись – помру...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Ты не болтай пустяков, а прямо говори – когда венчаешь?

ПЕРЧИХИН. Кого?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Дочь! Будто не знает... ишь!

ПЕРЧИХИН. Дочь? Когда захочет, обвенчаю... коли будет с кем венчать...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Давно ли это у них затеялось?

ПЕРЧИХИН. Что? У кого?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Да не ломай паяца-то! Ведь ска-

зала же она хоть тебе-то...

ПЕРЧИХИН. Про что?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Про свадьбу...

ПЕРЧИХИН. Это про чью?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Тьфу тебе! Старик уж ведь, стыдился бы юродствовать-то!

ПЕРЧИХИН. Ты погоди! Ты не серчай... а скажи просто – в чем суть дела?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Говорить-то с тобой охоты нет...

ПЕРЧИХИН. А ты говоришь... да еще сколько времени говоришь и все без толку...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*сухо, с завистью*). Когда Палагею с Нилом венчать будешь?

ПЕРЧИХИН (*вскакивая, изумленный*). Что-о? С Нилом... ну-у?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Неужто вправду она тебе не говорила? Ну, люди пошли!.. Отцу родному...

ПЕРЧИХИН (*радостно*). Да что ты? Да шутишь? Нил? Ах, раздуй их горой! В сам-деле? Ах, черти! Ай да Полька! Это уж целая кадрель, а не полька... Нет, ты не врешь? Ну-у, ловко! А я так расположил в уме, что Нил на Татьяне женится... Правое слово! Такая видимость была, что как бы на Татьяне...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*обиженно*). Еще кто бы за него выдал Татьяну! Очень нам нужно... такого отбойного...

ПЕРЧИХИН. Нила-то очень нужно? Что ты! Да я бы... да будь у меня десять дочерей, я бы, закрыв глаза, всех ему отдал! Нил? Да он... он сто человек один прокормит! Нил-то? Ха-ха!

АКУЛИНА ИВАНОВНА *(с иронией)*. Смотрю я, – тесть у него хорош будет! Оч-чень приятен!

ПЕРЧИХИН. Тесть? Вона! Не захочет этот тесть никому на шею сесть... их ты! На камаринского меня даже подбивает с радости... Да я теперь – совсем свободный мальчик! Теперь я – так заживу-у! Никто меня и не увидит... Прямо в лес – и пропал Перчихин! Ну, Поля! Я, бывало, думал, дочь... как жить будет? И было мне пред ней даже совестно... родить – родил, а больше ничего и не могу!.. А теперь... теперь я... куда хочу уйду! Жар-птицу ловить уйду, за самые за тридесять земель!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Как же уйдешь ты! От счастья не уходят...

ПЕРЧИХИН. Счастье? Мое счастье в том и состоит, чтобы уходить... А Полька будет счастлива... она будет! С Нилом-то? Здоровый, веселый, простой... У меня даже мозги в голове пляшут... а в сердце – жаворонки поют! Ну, – везет мне! *(Притопывая.)* Поля Нила подцепила, она мило поступила... Их ты! Люли-малина!

БЕССЕМЁНОВ *(входит. Он в пальто, в руке картуз)*. Опять пьян!

ПЕРЧИХИН. С радости! Слышал? Палагея-то?

(Радостно смеется.) За Нила выходит! а? Здорово, а?

БЕССЕМЁНОВ *(холодно и жестко)*. Нас это не касается... Мы свое получим...

ПЕРЧИХИН. А я все думал, что Нил на Татьяне намерен жениться...

БЕССЕМЁНОВ. Что-с?

ПЕРЧИХИН. Правое слово! Потому видимо было, что Татьяна не прочь... и глядела она на него так... эдак, знаешь... ну, как следует, и вообще... и все прочее... а? Вдруг...

БЕССЕМЁНОВ *(спокойно и злобно)*. Вот что я тебе скажу, милый... Ты хоть и дурак, но должен понимать, что про девицу говорить такие подлые слова не позволено. Это – раз!

(Постепенно повышая голос.) Засим: на кого и как глядела твоя дочь и кто как на нее глядел и что она за девица, – я не говорю, а только скажу одно: ежели она выходит за Нила – туда ей и дорога! Потому обоим им – цена грош, и хоть оба они мне обязаны очень многим, но я отныне на них плюю! Это – два! Ну-с, а теперь вот что: хоша мы с тобой и дальние родственники, но однако погляди на себя – что ты такое? Золоторотец. И скажи мне – кто это тебе разрешил придти ко мне в чистую горницу в таком драном виде... в лаптищах и во всем этом уборе?

ПЕРЧИХИН. Что ты? Василий Васильич, – что ты, брат? Да разве я в первый раз эдак-то...

БЕССЕМЁНОВ. Не считал разов и не хочу считать. Но ви-

жу одно – коли ты так являешься, значит, уважения к хозяй-
ну дома у тебя нет. Опять говорю: кто ты? Нищий, шантрапа,
рвань коричневая... слышал? Это – три! И – пошел вон!

ПЕРЧИХИН (*ошеломленный*). Василий Васильевич! За
что? За какое...

БЕССЕМЁНОВ. Вон! Не финти...

ПЕРЧИХИН. Опомнись! Я ни в чем пред тобой...

БЕССЕМЁНОВ. Ну?! Ступай... а то...

ПЕРЧИХИН (*уходя, с укором и сожалением*). Эх, старик!
Ну, и жаль мне тебя! Прощай!

*Бессемёнов, выпрямившись, молча, твердыми, тяжелы-
ми шагами ходит по комнате, суровый, мрачный. Акулина
Ивановна моет посуду, боязливо следя за мужем, руки у нее
трясутся, губы что-то шепчут.*

БЕССЕМЁНОВ. Ты чего шипишь? Колдуешь, что ли...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Я молитву... молитву, отец...

БЕССЕМЁНОВ. Знаешь... не быть мне головой! Вижу, –
не быть... Подлецы!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Ну, что ты? Ай, батюшки... а?
Да почему? Да еще, может быть...

БЕССЕМЁНОВ. Что – может быть? Федька Досекин, сле-
сарного цеха старшина, в головы метит... Мальчишка! Ще-
нок!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Да еще, может, не выберут

его... ты не кручинься...

БЕССЕМЁНОВ. Выберут... видно по всему... Прихожу я, сидит он в управе... Слышу – поет, разливается – жизнь, говорит, трудная, надо, говорит, друг за друга держаться... всё, говорит, сообща делать... артели, говорит... Теперь, дескать, всё фабрика... ремесленникам жить нельзя врозь. Я говорю: жиды всему причина! Жидов надо ограничить! Губернатору, говорю, жалобу на них – ходу русским не дают, и просить его, чтобы выселил жидов.

Татьяна тихо отворяет дверь и бесшумно, пошатываясь, проходит в свою комнату.

А он это с улыбочкой такой и спрашивает: а куда девать тех русских, которые хуже жидов? И начал разными осторожными словами на меня намекать... Я будто не понимаю, но однако чувствую, куда он метит... мерзавец! Послушал, – отошел прочь... Погоди, думаю, я тебе насолю... А тут Михайло Крюков, печник, подошел ко мне... знаешь, говорит, а головой-то, пожалуй, Досекину быть... и глядит вбок, конфузится... Хотел я сказать ему – ах, ты, Иуда косоглазый...

ЕЛЕНА (*входит*). Здравствуйте, Василий Васильевич! Здравствуйте, Акулина Ивановна...

БЕССЕМЁНОВ (*сухо*). А... вы-с? Пожалуйста... что скажете?

ЕЛЕНА. Да вот – деньги за квартиру принесла...

БЕССЕМЁНОВ (*более любезно*). Доброе дело... сколько тут? Четвертная... Причитается мне еще с вас получить за два стекла в коридорном окне сорок копеек, да за петлю у двери в дровянике... кухарка ваша сломала... ну, хоть двадцать копеек...

ЕЛЕНА (*усмехаясь*). Какой вы... аккуратный! Извольте... у меня нет мелких... вот – три рубля...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Углей мешок вы брали... кухарка ваша.

БЕССЕМЁНОВ. Сколько за угли?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. За угли – тридцать пять...

БЕССЕМЁНОВ. И всего – девяносто пять... Два с пятак-ком сдачи... пожалуйста! А насчет аккуратности, милая барыня, вы сказали справедливо. Аккуратностью весь свет держится... Само солнце восходит и заходит аккуратно, так, как положено ему от века... а уж ежели в небесах порядок, то на земле – тем паче быть должно... Да вот и сами вы – как срок настал, так и деньги несете...

ЕЛЕНА. Я не люблю быть в долгу...

БЕССЕМЁНОВ. Распрекрасное дело! Зато всякий вам и доверит...

ЕЛЕНА. Ну, до свиданья! Мне надо идти...

БЕССЕМЁНОВ. Наше почтение. (*Смотрит вслед ей и потом говорит.*) Хороша, шельма! Но все же однако с превеликим удовольствием турнул бы я ее долой с квартиры...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Хорошо бы это, отец...

БЕССЕМЁНОВ. Ну, положим... Пока она тут... мы можем следить. А съедет, – Петрушка к ней шляться начнет тогда, за нашими-то глазами она его скорее может обойти... Надо принять в расчет и то, что деньги она платит аккуратно... и за всякую порчу в квартире бессловесно возмещает... н-да! Петр... конечно, опасно... даже очень...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Может, он жениться и не думает на ней... а просто так...

БЕССЕМЁНОВ. Кабы знать, что так... то и говорить нам не о чем, и беспокоиться не надо. Все равно, чем в публичные дома таскаться, – тут прямо под боком... и даже лучше...

Из комнаты Татьяны раздается хриплый стон.

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*тихо*). А?

БЕССЕМЁНОВ (*так же*). Что это?

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*она говорит тихо, беспокойно озирается, как бы прислушиваясь к чему-то*). В сенях будто...

БЕССЕМЁНОВ (*громко*). Кошка, должно быть...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*нерешительно*). Знаешь, отец... хочу я тебе сказать...

БЕССЕМЁНОВ. Ну, говори...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Не больно ли ты строго с Перчихиным-то поступил? Он ведь безобидный...

БЕССЕМЁНОВ. А безобидный, так и не обидится... если же обидится, – потеря нам не велика... знакомство с ним – честь не дорогая...

Стон повторяется громче.

Кто это? Мать...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*суетясь*). Не знаю я... право... что это...

БЕССЕМЁНОВ (*бросаясь в комнату Петра*). Тут, что ли? Петр!

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*бежит за ним в ужасе*). Петя! Петя... Петя...

ТАТЬЯНА (*хрипло кричит*). Спасите... мама... спасите... спасите!..

Бессемёнов и Акулина Ивановна выбегают из комнаты Петра и бегут на крик молча, у двери в комнату они на секунду останавливаются, как бы не решаясь войти, и затем бросаются в дверь оба вместе. Навстречу им несутся крики Татьяны.

Горит... о-о! Вольно... пить! Дайте пить!.. спасите!..

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*выбегая из комнаты, растворяет дверь в сени и кричит*). Батюшки! Милосердные... Петя...

В комнате Татьяны слышен глухой голос Бессеменова:
«Что ты... доченька... что ты... что с тобой... доченька?..»

ТАТЬЯНА. Воды... Умираю... Горит все... о боже!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Идите... сюда идите, батюшки...
ки...

БЕССЕМЁНОВ (*из комнаты*). Беги, зови... доктора:

ПЕТР (*вбегает*). Что такое? Что вы?

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*схватывает его за руку, задыхается*). Таня... умирает...

ПЕТР (*вырываясь*). Пустите... пустите...

ТЕТЕРЕВ (*надевая по дороге пиджак*). Горит, что ли?

БЕССЕМЁНОВ. Доктора!.. Доктора зови, Петр... двадцать пять рублей давай!..

ПЕТР (*выскакивая из комнаты сестры, – Тетереву*). Доктора! за доктором... скажите – отравилась... женщина... девушка... нашатырный спирт... скорей! скорей!

Тетерев бежит в сени.

СТЕПАНИДА (*вбегает*). Батюшки мои... батюшки мои...

ТАТЬЯНА. Петя... горю! Умираю!.. жить хочу! Жить... воды дайте!

ПЕТР. Сколько ты приняла? Когда ты выпила? Говори...

БЕССЕМЁНОВ. Доченька моя... Танечка...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Погубила себя, голу-бу-ушка!

ПЕТР. Мама, уйдите... Степанида, уведи ее... уйдите, гонят вам...

Елена пробегает в комнату Татьяны.

Уведите мать...

Входит баба, останавливается у дверей, заглядывает в комнату и что-то шепчет.

ЕЛЕНА (*выводит Акулину Ивановну под руку и бормочет*). Это ничего... это не опасно...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Голубушка моя! Доченька... чем я тебя обидела? Чем прогневала?

ЕЛЕНА. Это пройдет... вот доктор... он поможет... о, какое несчастье!

БАБА (*подхватывая Акулину Ивановну под другую руку*). Не кручиньтесь, матушка! То ли бывает? Эх, болезная... Вон у купца Ситанова... лошадь кучера копытом в бок...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Милая ты моя... что я буду делать-то? Единственная моя...

Ее уводят. В комнате Татьяны ее крики смешиваются

с глухим голосом отца и нервными, отрывистыми словами Петра. Гремит какая-то посуда, падает стул, скрипит железо кровати, мягко шлепается о пол подушка. Степанида несколько раз выбегает из комнаты, растрепанная, с открытым ртом и вытаращенными глазами, хватая из шкафа тарелки, чашки, что-то разбивает и снова скрывается. Из сеней заглядывают в дверь какие-то рожки, но никто не решается войти. Вскокивает маляр-мальчишка и, взглянув в дверь к Татьяне, тотчас же возвращается назад, громким шепотом, сообщая: «Помирают!» На дворе раздаются звуки шарманки, но тотчас же обрываются. Среди людей в сенях глухой говор: «Убил? Отец... Он ей говорил: эй, говорит, смотри у меня!.. По голове... Чем – не знаешь? Что врешь, – зарезалась она своей рукой...» Женский голос спрашивает: «Замужняя?» Кто-то громко с сожалением чмокает губами.

БАБА (выходит из комнаты стариков, проходя мимо стола, сует себе под платок булку и, подходя к двери, говорит). Тише! Отходит!..

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Как имя?

БАБА. Лизавета...

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. С чего это она?..

БАБА. А, стало быть, еще в Успеньев день, сказал он ей – Лизавета, говорит...

В толпе движение. Входят доктор и Тетерев. Доктор в шляпе и пальто проходит прямо в комнату Татьяны. Тетерев заглядывает в дверь и отходит прочь, хмурый. Из комнаты Татьяны все продолжает доноситься смешанный говор и стоны. Из комнаты стариков – вой Акулины Ивановны и ее крики: «Пусти меня! Пусти ты меня к ней!» В сенях – глухой гул голосов. Выделяются восклицания: «Серьезный человек... Это – певчий... Н-ну? Ей-ей... от Ивана Предтечи».

ТЕТЕРЕВ (*подходя к двери*). Вы чего тут? Пошли прочь! Ну?

БАБА (*тоже суется в дверь*). Проходите, люди добрые... некасаемо это вас...

ТЕТЕРЕВ. Ты кто такая? Тебе чего надо?..

БАБА. Я, батюшка, овощью торгую... луком зеленым, огурчиками...

ТЕТЕРЕВ. Тебе что нужно?

БАБА. Я, батюшка, к Семягиной шла... кума она мне...

ТЕТЕРЕВ. Ну? Что же тебе тут нужно?

БАБА. А мимо я иду... шум, слышу... думала, пожар...

ТЕТЕРЕВ. Ну?

БАБА. И зашла... На несчастье посмотреть зашла...

ТЕТЕРЕВ. Ступай вон... Вы все! Вон из сеней?..

СТЕПАНИДА (*выбегая, Тетереву*). Тащи ведро воды... тащи живо!

В дверь высовывается седенький старичок с подвязанной щечкой и, подмигивая, говорит Тетереву: «Господин! Она у вас тут со стола булочку стащила...» Тетерев идет в сени, толкая людей вон из них. В сенях – топот, возня, визжит мальчишка: «Ай-ай!» Кто-то смеется, кто-то обиженно восклицает: «Потише-с!»

ТЕТЕРЕВ (невидимый). К черту! Марш!

ПЕТР (выглядывая из двери). Тише... (Обращаясь в комнату.) Иди, отец, иди к маме! Ну, иди же! (Кричит в сени.) Не пускайте никого!..

БЕССЕМЁНОВ выходит, качаясь на ногах. Садится на стул у стола, тупо смотрит перед собой. Потом встает и идет в свою комнату, откуда слышен голос Акулины Ивановны.

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Я ли ее не любила? Я ли не берегла?

ЕЛЕНА. Ну, успокойтесь... милая моя...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Отец! Родной ты...

Дверь за Бессеменовым затворяется, и конца речи не слышно. Комната пуста. С двух сторон в нее несетя шум: звуки голосов из комнаты Бессеменовых, тихий говор, стоны

и возня из комнаты Татьяны. Тетерев вносит ведро воды, ставит у двери и осторожно стучит в нее пальцем. Степанида отворяет дверь, берет ведро и тоже выходит в комнату, отирая пот с лица.

ТЕТЕРЕВ. Что?

СТЕПАНИДА. Ничего, слышь...

ТЕТЕРЕВ. Это доктор сказал?

СТЕПАНИДА. Он. Да где уж... *(Безнадежно махает рукой.)* Отца с матерью пускать не велят туда...

ТЕТЕРЕВ. Ей лучше?

СТЕПАНИДА. А кто знает? Не стонет, перестала... Зеленая вся... глаза огромные... Недвижима лежит... *(Укоризненным шепотом.)* Я говорила им... сколько разов говорила – выдайте ее замуж! Эй, выдайте! Не послушали... ну и – вот оно! Да разве здорово девице до этакой поры без мужа?.. Опять же: в бога не веровала... ни тебе помолится, ни тебе перекрестится... Ну, вот!

ТЕТЕРЕВ. Молчи... ворона!

ЕЛЕНА *(входит)*. Ну что, что она?

ТЕТЕРЕВ. Не знаю... Доктор будто сказал, что не опасна...

ЕЛЕНА. Старики убиты... жалко их!

Тетерев молча пожимает плечами.

СТЕПАНИДА (*бежит вон из комнаты*). Батюшки! А про кухню-то забыла...

ЕЛЕНА. И отчего? Что случилось? Бедная Таня... как, должно быть, больно ей... (*Морщится и вздрагивает.*) Ведь это больно? Очень? Страшно?

ТЕТЕРЕВ. Не знаю. Я никогда не пил нашатырного спирта...

ЕЛЕНА. Как вы можете шутить?

ТЕТЕРЕВ. Я не шучу...

ЕЛЕНА (*подходит к двери в комнату Петра, заглядывает в нее*). А Пе... Петр Васильевич еще все там, у нее?

ТЕТЕРЕВ. Очевидно... ибо он оттуда не выходил...

ЕЛЕНА (*задумчиво*). Воображаю, как на него это подействовало!..

Пауза.

Когда я... когда мне случается видеть... что-нибудь подобное этому... я ощущаю в себе ненависть к несчастью...

ТЕТЕРЕВ (*улыбаясь*). Это похвально...

ЕЛЕНА. Вы понимаете? Так бы вот схватила его, бросила себе под ноги и раздавила... всё, навсегда!

ТЕТЕРЕВ. Несчастье?

ЕЛЕНА. Ну, да! Я его не боюсь, а именно – не-на-ви-жу! Я люблю жить весело, разнообразно, люблю видеть много людей... и я умею делать так, чтобы и мне и тем, кто около ме-

ня, жилось легко, радостно...

ТЕТЕРЕВ. Паки похвально!

ЕЛЕНА. И – знаете что? Я вам покаюсь... я очень черствая... такая жесткая! Я ведь и людей несчастных не люблю... Понимаете – есть такие люди, которые всегда несчастны, что хотите, делайте с ними! Наденьте на голову такому человеку вместо шляпы – солнце, – что может быть великолепно! – он все же будет ныть и жаловаться: «Ах, я так несчастен! я так одинок! Никто не обращает на меня внимания... Жизнь темна и скучна... Ох! Ах! Ой! Увы!..» Когда я вижу такого барина, то чувствую злое желание сделать его еще более несчастным...

ТЕТЕРЕВ. Милая барыня! Я – тоже покаюсь... Терпеть не могу, когда женщины философствуют, но когда вы рассуждаете, – мне хочется целовать вам ручки...

ЕЛЕНА (*лукаво и капризно*). Только? И только тогда, когда рассуждаю?.. (*Спохватясь*.) Ай-ай-ай! Я шучу... дурачусь, тогда как там – страдает человек...

ТЕТЕРЕВ (*указывая на дверь стариков*). И там страдает. И всюду, куда бы вы ни указали пальцем, – везде страдает человек! Такая уж у него привычка...

ЕЛЕНА. А все-таки ему больно....

ТЕТЕРЕВ. Разумеется...

ЕЛЕНА. И нужно его пожалеть.

ТЕТЕРЕВ. Не всегда... И едва ли даже когда-нибудь человека нужно пожалеть... Лучше – помочь ему.

ЕЛЕНА. Всем не поможешь... и, не пожалевши, – не поможешь...

ТЕТЕРЕВ. Барыня! Я рассуждаю так: страдания – от желаний. В человеке есть желания, заслуживающие уважения, и есть желания, не заслуживающие такового. Помогите ему удовлетворить те желания тела, кои необходимы для того, чтоб он был здоров и силен, и те, которые, облагородив его, возвысят над скотом...

ЕЛЕНА (*не слушая его*). Может быть... может быть и так... Но что там делается? Что она – уснула? Так тихо... что-то шепчут... Старики тоже... ушли, забились в свой угол... Как это странно все! Вдруг – стоны, шум, крики, суета... и вдруг – тишина, неподвижность...

ТЕТЕРЕВ. Жизнь! Покричат люди, устанут, замолчат... Отдохнут, – опять кричать будут. Здесь же, в этом доме, – все замирает особенно быстро... и крик боли и смех радости... Всякие потрясения для него – как удар палкой по луже грязи... И последним звуком всегда является крик пошлости, феи здешних мест. Торжествующая или озлобленная, здесь она всегда говорит последней...

ЕЛЕНА (*задумчиво*). Когда я жила в тюрьме... там было интереснее. Муж у меня был картежник... много пил, часто ездил на охоту. Город – уездный... люди в нем – какие-то... заштатные... Я была свободна, никуда не ходила, никого не принимала и жила с арестантами. Они меня любили, право... они ведь чудачки такие, если рассмотреть их поближе.

Удивительно милые и простые люди, уверяю вас! Смотрю я на них, бывало, и мне кажется совершенно невероятным, что вот этот – убийца, этот – ограбил, этот... еще что-нибудь сделал. Спросишь иногда: «Ты убил?» – «Убил, матушка Елена Николавна, убил... что поделаешь?» И мне казалось, что он, этот убийца, взял на себя чужую вину... что он был только камнем, который брошен чужою силой... да. Я накупила им разных книжек, дала в каждую камеру шашки, карты... давала табак... и вино давала, только понемножку... На прогулках они играли в мяч, в городки, – совсем как дети, честное слово! Иногда я читала им смешные книжки, а они слушали и хохотали... как дети. Я купила птичек, клеток, и в каждой камере была своя птичка... они любили ее – как меня! И знаете, – им ужасно нравилось, когда я надевала что-нибудь яркое, – красную кофточку, желтую... уверяю вас, – они очень любят веселые, яркие цвета! И я нарочно одевалась для них как можно пестрее... (*Вздыхнув.*) Славно было с ними! Я не заметила, как прошло три года... и когда мужа убила лошадь, я плакала не столько о нем, кажется, сколько о тюрьме... Было жалко уходить из нее... и арестанты тоже... им тоже было грустно... (*Оглядывая комнату.*) Здесь, в этом городе, мне живется хуже... в этом доме есть что-то... нехорошее. Не люди нехороши, а... что-то другое... Однако, знаете, мне стало грустно... Тяжело как-то... Вот мы с вами сидим, говорим... а там, может быть, умирает человек...

ТЕТЕРЕВ (*спокойно*). И нам его не жалко...

ЕЛЕНА (*быстро*). Вам не жалко?..

ТЕТЕРЕВ. И вам...

ЕЛЕНА (*тихо*). Да, вы правы! Это... нехорошо, я понимаю... но я не чувствую, что это нехорошо! Вы знаете: ведь так бывает, – понимаешь, что дурно, но не чувствуешь этого... Вы знаете: мне больше жалко его... Петра Васильевича, чем ее... Мне вообще жалко его... ему плохо здесь... да?

ТЕТЕРЕВ. Здесь всем плохо...

ПОЛЯ (*входит*). Здравст...

ЕЛЕНА (*вскакивая, идет к ней*). Ш-ш! Тише! Знаете...

Таня – отравилась!

ПОЛЯ. Что-о?

ЕЛЕНА. Ну, да, да.! Вот... там у нее доктор и брат...

ПОЛЯ. Умирает... умрет?

ЕЛЕНА. Никто не знает...

ПОЛЯ. Из-за чего? Сказала? Нет?

ЕЛЕНА. Не знаю! Нет!.

ПЕТР (*высовывая из двери взлохмаченную голову*). Елена Николаевна... на минутку...

Елена быстро уходит.

Поля (*Тетереву*). Что вы смотрите на меня... так?

ТЕТЕРЕВ. Сколько раз вы так спрашивали меня?

ПОЛЯ. Если все одно и то же... всегда какой-то особый взгляд... зачем? (*Подходя вплоть к нему, строго.*) Вы что

же... меня считаете виноватой... в этом?

ТЕТЕРЕВ (*усмехаясь*). А вы разве чувствуете что-то... вроде вины?

ПОЛЯ. Чувствую, что все больше... не люблю вас: вот! Вы скажите лучше, – как все это было?

ТЕТЕРЕВ. Ее вчера тихонько толкнули, и – слабая – она сегодня упала... вот и все!

ПОЛЯ. Неправда!

ТЕТЕРЕВ. Что – неправда?

ПОЛЯ. Я знаю, на что вы намекаете... это неправда! Нил:

ТЕТЕРЕВ. Разве – Нил? При чем тут Нил?

ПОЛЯ. Ни он, ни я... мы оба ни при чем! Вы... нет! Я знаю, вы вините нас... ну, что же? Ну, я его люблю... и он меня... это давно началось!

ТЕТЕРЕВ (*серьезно*). Ни в чем я вас не виню... это вы сами себя в чем-то обвинили и вот – оправдываетесь пред первым встречным. К чему? Я вас... очень уважаю... Кто говорил вам всегда, постоянно, упорно – уйдите скорее из этого дома, не ходите в этот дом, здесь – нездорово, здесь вам расстроят душу? Это я говорил...

ПОЛЯ. Ну, что же?

ТЕТЕРЕВ. Ничего. Я хотел только сказать, что если б вы сюда не ходили... вам не пришлось бы испытывать того, что вы испытываете сейчас... вот и все!

ПОЛЯ. Да... Но – как же это она? Опасно? Чем она?

ТЕТЕРЕВ. Не знаю...

Петр и доктор выходят.

ПЕТР. Поля! Пожалуйста, помогите Елене Николаевне...

ТЕТЕРЕВ (*Петру*). Ну, что?

ДОКТОР. Пустяки, собственно говоря! Вот только субъект нервный, а то – ничего бы... Выпила немного... обожгла пищевод... в желудок проникло спирту, очевидно, тоже мало... да и тот выброшен обратно...

ПЕТР. Вы устали, доктор, присядьте, пожалуйста...

ДОКТОР. Благодарю... С неделю прохворает... Вот у меня на днях был интересный случай... Маляр, в нетрезвом виде, выпил вместо пива чайный стакан лаку...

Бессемёнов входит. Остановившись у двери своей комнаты, он молча, вопросительно и мрачно смотрит на доктора.

ПЕТР. Успокойся, отец, это не опасно!

ДОКТОР. Да, да! Не пугайтесь! Через два, три дня она встанет на ноги...

БЕССЕМЁНОВ. Правда ли?

ДОКТОР. Уверяю вас!

БЕССЕМЁНОВ. Ну!.. Спасибо! Коли правда... коли не опасно – спасибо! Петр, ты того... поди-ка сюда...

Петр подходит к нему. Бессемёнов отступает перед ним

в дверь своей комнаты. Шепот, звон денег.

ТЕТЕРЕВ (*доктору*). Ну, что же маляр?

ДОКТОР. Э... как-с?

ТЕТЕРЕВ. Что же маляр?

ДОКТОР. А! Маляр... ничего, выздоровел... гм... Я, кажется, встречался с вами... где-то?

ТЕТЕРЕВ. Может быть...

ДОКТОР. Вы... э... не лежали в тифозном бараке?

ДОКТОР (*радостно*). Ага! Вот, вот! То-то, я смотрю, – знакомое лицо... Позвольте... это было весной? да? Кажется, я помню даже имя и фамилию вашу...

ТЕТЕРЕВ. И я вас помню...

ДОКТОР. Да?

ТЕТЕРЕВ. Помню. Когда я стал оправляться и попросил вас увеличить мне порцию, вы скорчили прескверную рожу и сказали мне: «Будь доволен тем, что дают. Вашего брата, пьяниц и бродяг, много»...

ДОКТОР (*растерянно*). Позвольте! Это... этого... Извините!.. вы... ваше имя... я – врач Николай Троеруков... а...

ТЕТЕРЕВ (*подходя к нему*). А я – потомственный алкоголик и кавалер Зеленого Змия Терентий Богословский.

Доктор отступает перед ним.

Не бойся, не трону... (*Проходит мимо.*)

Доктор растерянно смотрит вслед ему, обмахиваясь шляпой. Входит Петр.

ДОКТОР (*оглядываясь на дверь в сени*). До свидания однако! Меня ждут... В случае, если она будет жаловаться на боль... повторите... дайте ей еще... капель... Сильной боли не должно быть... До свидания!.. А-а... скажите, тут был сейчас такой... оригинальный господин... он ваш родственник?..

ПЕТР. Нет, это нахлебник...

ДОКТОР. Ага!.. Очень приятно!.. Большой оригинал! До свидания... благодарю вас! (*Уходит.*)

Петр провожает его в сени. Бессемёнов и Акулина Ивановна выходят из своей комнаты и осторожно, ступая на носки, подвигаются к двери в комнату дочери.

БЕССЕМЁНОВ. Погоди, не ходи туда... Ничего не слышать. Может, спит она... не разбудить бы... (*Отводит старуху в угол к сундуку.*) Н-да, мать! Вот и дожили... до праздника! Говору, сплетни будет теперь по городу – без конца...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Отец! Что ты? То ли говоришь? Да хоть во все трубы пускай трубят... только бы жива-то осталась! Во все колокола пусть звонят... Бессемёнов. Ну, да... я знаю... это так!.. Только ты... эхма! Не понимаешь

ты! Ведь – позор это нам с тобой!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. А ну... какой позор?

БЕССЕМЁНОВ. Дочь отравилась, пойми! Что мы ей – какую боль причинили? Чем огорчили? Что мы – звери для нее? А будут говорить разное... Мне – наплевать, я все ради детей стерплю... но только – зачем? Из-за чего? Хоть бы знать... Дети! Живут – молчат... Что в душе у них? Неизвестно! Что в головах? Неведомо! Вот – обида!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Я понимаю... ведь и мне обидно! Все-таки я – мать... Хлопочешь, хлопочешь целый день, и спасибо никто не скажет... я понимаю! Да что уж... хоть бы живы-здоровы были... а то вот на-ко!

ПОЛЯ (*выходит из комнаты Татьяны*). Она засыпает... Вы потише...

БЕССЕМЁНОВ (*вставая*). Ну, как она, что? Посмотреть-то можно?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Я войду тихонечко? Мы вот с отцом...

ПОЛЯ. Доктор не велел пускать никого...

БЕССЕМЁНОВ (*подозрительно*). Ты почему знаешь? Тебя при докторе не было еще...

ПОЛЯ. Мне Елена Николаевна передала.

БЕССЕМЁНОВ. А она – там? Ишь ты... чужому человеку можно, родным – нельзя. Удивительно...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Обедать-то надо в кухне... чтобы не беспокоить ее... Милая моя!.. И взглянуть нельзя...

(Махнув рукой, уходит в сени).

Поля стоит, прислонясь к шкафу и глядя на дверь в комнату Татьяны. Брови у нее нахмурены, губы сжаты, стоит она прямо. Бессемёнов сидит у стола, как бы ожидая чего-то.

ПОЛЯ *(тихо)*. Отец мой не был здесь сегодня?

БЕССЕМЁНОВ. Совсем ты не про отца спрашиваешь. Что тебе отец? Знаю я, кого тебе надо...

Поля удивленно смотрит на него.

Отец твой был... да! Грязный, оборванный, лишенный всякого порядочного подобия... Но все-таки ты его должна уважать...

ПОЛЯ. Я уважаю... Почему вы это... говорите?

БЕССЕМЁНОВ. Чтоб ты понимала... Твой отец бродяга бездомный, а все-таки ты не должна выходить из его воли... Но разве вы понимаете – что такое отец?.. Все вы – бесчувственные... Ты вот... девушка бедная, бесприютная, ты бы должна быть скромной... ласковой со всеми... а ты – туда же! – пускаешься рассуждать, подражаешь образованным людям. Н-да. Вот ты замуж выходишь... а тут человек едва жизни не лишил себя...

ПОЛЯ. Я не понимаю, что вы говорите... и зачем?

БЕССЕМЁНОВ (*видимо, сам утратив связь своих мыслей, раздражается*). Понимай: думай... затем и говорю, чтобы понимала ты! Кто ты? А однако вот... выходишь замуж! Дочь же моя... чего торчишь тут? Иди-ка в кухню... делай что-нибудь... Я покараулю... иди!

Поля, с недоумением глядя на него, хочет идти.

Постой! Давеча я... крикнул на твоего отца...

ПОЛЯ. За что?

БЕССЕМЁНОВ. Не твое дело! Ступай... иди!

Поля уходит удивленная. Бессемёнов тихо идет к двери Татьяны и, приотворив ее, хочет заглянуть. Елена выходит и отстраняет его.

ЕЛЕНА. Не ходите, она спит, кажется! Не беспокойте ее...

БЕССЕМЁНОВ. Мм... Нас беспокоят все... это ничего! А вас – нельзя...

ЕЛЕНА (*удивленно*). Что вы говорите? Да ведь она же больная!..

БЕССЕМЁНОВ. Знаю я... Все знаю... (*Уходит в сени.*)

Елена пожимает плечами вслед ему. Проходит к окнам, садится на кушетку и, закинув руки за шею, о чем-то ду-

мает. На лице у нее является улыбка, она мечтательно закрывает глаза. Петр входит, сумрачный, растрепанный. Он встряхивает головой, как бы желая сбросить с нее что-то. Видит Елену, останавливается.

ЕЛЕНА (*не открывая глаз*). Это кто?

ПЕТР. Чему вы смеетесь? Странно видеть улыбающееся лицо... теперь... после этого...

ЕЛЕНА (*взглянув на него*). Вы – сердитый? Устали? Бедный мальчик... Как мне жалко вас...

ПЕТР (*сидясь на стул рядом с нею*). Мне самому жалко себя.

ЕЛЕНА. Вам надо уехать куда-нибудь...

ПЕТР. Да, надо. В сущности – зачем я здесь? Меня страшно тяготит эта жизнь...

ЕЛЕНА. Как бы вы хотели жить? Скажите!.. Я часто спрашивала вас об этом... но вы не ответили, никогда...

ПЕТР. Трудно быть откровенным...

ЕЛЕНА. Со мной?

ПЕТР. И с вами... Разве я знаю... как вы относитесь ко мне? Как отнесетесь к тому, что я мог бы вам сказать? Иногда мне кажется, что вы...

ЕЛЕНА. Что я? Ну...

ПЕТР. Что вы хорошо...

ЕЛЕНА. Я отношусь к вам очень, очень хорошо! Славный вы мой... мальчик!

ПЕТР (*горячо*). Я не мальчик, нет! Я много думал. Слушайте, скажите... вам нравится – вам интересна вся эта возня, которой занимается Нил, Шишкин, Цветаева – все эти шумные люди?.. Вы можете верить, что совместные чтения умных книг, спектакли для рабочих... разумные развлечения... и вся эта суетность – действительно, важное дело, ради которого и следует жить? Скажите...

ЕЛЕНА. Голубчик! Ведь я необразованный человек... я не могу судить, не понимаю. Я ведь – несерьезная... Они – мне нравятся все, и Нил, и Шишкин... Веселые, всегда что-то делают... Я люблю веселых людей... сама такая же. К чему вы это спросили?

ПЕТР. А... меня раздражает все это! Если они любят жить так... если находят в этом удовольствие – пожалуйста! Я не мешаю... я не хочу никому мешать, но не мешайте и мне жить так, как я хочу! Зачем они влагают в свои действия какой-то особый смысл... Зачем говорят мне, что я трус, эгоист...

ЕЛЕНА (*дотрагиваясь до его головы*). Его замучили: устал он...

ПЕТР. Нет, я не устал... я только раздражен. Я – имею право жить, как мне нравится, мне! Я имею это право?

ЕЛЕНА (*играя его волосами*). Это опять мудреный вопрос для меня... Я одно знаю – сама я живу, как умею, делаю, что хочу... и, если меня будут убеждать идти в монастырь, – не пойду! Заставят, – убегу, утоплюсь...

ПЕТР. Вы больше бываете с ними, чем со мной, вы... вам они больше нравятся, чем я! Я чувствую это... Но я хочу сказать – я могу это сказать! – они – пустые бочки.

ЕЛЕНА (*удивленно*). Что? Какие...

ПЕТР. Пустые бочки... есть басня о бочках...

ЕЛЕНА. Ах, знаю... Однако... ведь и я тоже... значит, и я пустая?

ПЕТР. О, нет! Вы – нет! Вы – живая, вы, как ручей, освежаете человека!

ЕЛЕНА. Ба! Значит, я, по-вашему, холодная?

ПЕТР. Не шутите! Я прошу вас! Этот момент... но вы смеетесь! Зачем? Разве я смешон? Я – жить хочу! Хочу жить... по своему разумению... по своей воле...

ЕЛЕНА. Живите! Кто мешает?

ПЕТР. Кто? Кто-то есть... есть что-то! Когда я думаю, что вот как надо жить – одному, независимо... мне кажется, что кто-то говорит – нельзя!

ЕЛЕНА. Совесть?

ПЕТР. При чем тут совесть? Я... не... разве я хочу сделать преступление? Я хочу только быть свободным... я хочу сказать...

ЕЛЕНА (*наклоняясь к нему*). Это говорится не так! Это гораздо проще нужно говорить! Я помогу вам, бедненький мальчик... чтоб вам не путать таких простых вещей...

ПЕТР. Елена Николаевна! Вы... мучаете меня... шутками! Это жестоко! Я хочу сказать вам... вот я весь пред вами!

ЕЛЕНА. Опять не то!

ПЕТР. Я, очевидно, слабый человек... эта жизнь, – не по силам мне! Я чувствую ее пошлость, но ничего не могу изменить, ничего не в состоянии внести... Я хочу уйти, жить один...

ЕЛЕНА (*взяв его голову в руки*). Говорите за мной, повторите: я вас люблю!

ПЕТР. О, да! да! Но... нет. Вы шутите!..

ЕЛЕНА. Право же, я совершенно серьезно и давно решила выйти за вас замуж! Может быть, это нехорошо... но мне очень хочется этого...

ПЕТР. Но... как я счастлив! Я люблю вас, как...

За стеною – стон Татьяны. Петр вскакивает, растерянно оглядываясь вокруг. Елена встает с места спокойно. Петр тихо.

Это... Таня? А мы... тут...

ЕЛЕНА (*проходя мимо его*). Мы не сделали ничего дурного...

ГОЛОС ТАТЬЯНЫ. Пить... дайте пить...

ЕЛЕНА. Иду... (*Улыбаясь Петру, уходит.*)

Петр стоит, схватив голову руками, и растерянно смотрит.

рит перед собой. Дверь из сеней отворяется, и Акулина Ивановна громко шепчет.

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Петя! Петя – ты где?..

ПЕТР. Здесь...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Иди обедать...

ПЕТР. Не хочу... не пойду...

ЕЛЕНА (*выходит*). Он пойдет ко мне...

Акулина Ивановна недовольно оглядывает ее и скрывается.

ПЕТР (*бросаясь к Елене*). Как это вышло... нехорошо! Там она лежит... а мы... мы...

ЕЛЕНА. Идемте-ка... Что тут нехорошего? Даже в театре после драмы дают что-нибудь веселое... а в жизни это еще более необходимо...

Петр прижимается к ней, и она уводит его под руку.

ТАТЬЯНА (*стонет хрипло*). Лена!.. Лена!..

Вбегает Поля.

З а н а в е с

Действие четвертое

Та же комната.

Вечер. Комната освещена лампой, стоящей на столе. Поля собирает посуду для чая. Татьяна, больная, лежит на кушетке в углу, в полутьме. Цветаева – на стуле около нее.

ТАТЬЯНА (*тихо, укоризненно*). Думаешь, я не хотела бы смотреть на жизнь вот так же весело и бодро, как ты? О, я хочу... но – не могу! Я родилась без веры в сердце... Я научилась рассуждать...

ЦВЕТАЕВА. Голубчик! Ты слишком много рассуждаешь... А ведь – ты согласишься, – не стоит быть умным человеком для того, чтоб только рассуждать... Рассудок – это хорошо, но... видишь ли, чтоб человеку жилось не скучно и не тяжело, он должен быть немножко фантазером... он должен, – хоть не часто, – заглядывать вперед, в будущее...

Поля, внимательно слушая речь Цветаевой, улыбается ласково, задумчиво.

ТАТЬЯНА. Что там, впереди?

ЦВЕТАЕВА. Все, что захочешь видеть!

ТАТЬЯНА. Да-а... нужно выдумать!

ЦВЕТАЕВА. Поверить нужно...

ТАТЬЯНА. Во что?

ЦВЕТАЕВА. В свою мечту. Ты знаешь... когда я смотрю в глаза моих мальчишек, я думаю о них: вот Новиков. Он кончит школу, пойдет в гимназию... потом – университет... он будет доктором, мне кажется! Такой солидный мальчик, внимательный, добрый... лоб у него – огромный. Он очень любящий... он будет очень много работать, бескорыстный, славный... и люди будут его очень любить, уважать... я это знаю! И однажды, вспоминая свое детство, он вспомнит, как учительница Цветаева, играя с ним во время перемены, разбила ему нос... А может, и не вспомнит... ну, все равно!.. Нет, вспомнит, я думаю... он очень любит меня. Есть у меня рассеянный, растрепанный, всегда чумазый Клоков. Он вечный спорщик, задира, озорник. Он – сирота, живет у дяди, ночного сторожа... он – почти нищий... но такой гордый, смелый! Я думаю – он будет журналистом. Ах, сколько у меня интересных мальчишек! И как-то невольно всегда думаешь о том, что будет с ними, какую роль они сыграют в жизни... Ужасно интересно представлять себе, как будут жить мои ученики... Ты видишь, Таня, это ведь немного... но если б ты знала, как приятно!

ТАТЬЯНА. А ты? Где ты сама? Твои ученики будут жить... быть может, очень хорошо... а ты тогда уже...

ЦВЕТАЕВА. Умру? Вот еще! Нет, я намерена жить долго...

ПОЛЯ (*негромко, ласково, как бы вздыхая*). Какая милая

вы, Маша! Какая славная...

ЦВЕТАЕВА (*улыбаясь Поле*). Запела коноплянка... Ты знаешь, Таня, я не сентиментальна... но когда подумаю о будущем... о людях в будущем, о жизни – мне делается как-то сладко-грустно... Как будто в сердце у меня сияет осенний, бодрый день... знаешь – бывают такие дни осенью: в ясном небе – спокойное солнце, воздух – глубокий, прозрачный, вдали все так отчетливо... свежо, но не холодно, тепло, а не жарко...

ТАТЬЯНА. Все это... сказки... Я, впрочем, допускаю... быть может, вы – ты, Нил, Шишкин – и все похожие на вас... быть может, вы, действительно, способны жить мечтами... Я – не могу.

ЦВЕТАЕВА. Нет, подожди... Ведь не одни мечты...

ТАТЬЯНА. Мне ничто, никогда не казалось достоверным... кроме того разве, что вот это – я, это – стена... Когда я говорю – да или – нет... я это говорю не по убеждению... а как-то так... я просто отвечаю, и – только. Право! Иногда скажешь – нет! и тотчас же подумаешь про себя – разве? а может быть, – да?

ЦВЕТАЕВА. Тебе нравится это... Присмотрись-ка к себе, – не находишь ли ты что-то приятное для себя в таком... раздвоении души? А может быть, – ты боишься верить... ведь вера – обязывает...

ТАТЬЯНА. Не знаю... не знаю. Заставь меня поверить. Ведь вот – других вы заставляете верить вам...

(Тихо смеется.) А мне жалко людей, которые верят вам... ведь вы их обманываете! Ведь жизнь всегда была такая, как теперь... мутная, тесная... и всегда будет такая!

ЦВЕТАЕВА *(улыбаясь)*. Разве? А может быть, – нет?

ПОЛЯ *(как бы про себя)*. Нет!

ТАТЬЯНА. Ты что сказала?

ПОЛЯ. Я говорю – не будет!

ЦВЕТАЕВА. Молодец, тихая птичка коноплянка!

ТАТЬЯНА. Вот одна из несчастных... верующих. А спроси ты ее, – почему нет? Почему изменится жизнь? Спроси...

ПОЛЯ *(тихо подходя поближе)*. Ведь, видите, какое дело, – не все еще люди живут! Очень мало людей жизнью пользуются... множеству их жить-то и некогда совсем... они только работают, куска хлеба ради... а вот, когда и они...

ШИШКИН *(входит быстро)*. Добрый вечер! *(Поле.)* Здравствуйте, русоволосая дочь короля Дункана.

ПОЛЯ. Что? Какого короля?

ШИШКИН. Ага-а! Поймал! Вижу теперь, что Гейне-то вы не читали, хотя книжка у вас находится более двух недель. Здравствуйте, Татьяна Васильевна!

ТАТЬЯНА *(протягивая руку)*. Ей теперь не до книг... Она выходит замуж...

ШИШКИН. Но-о? За кого это? а?

ЦВЕТАЕВА. За Нила...

ШИШКИН. А-а! В этом случае – еще могу поздравить... Но, вообще говоря, это не умная штука – жениться, выхо-

дить замуж и прочее в этом духе... Брак при современных условиях...

ТАТЬЯНА. Ой, нет, не надо! Избавьте! Вы уже не однажды высказывались по этому поводу...

ШИШКИН. Когда так, – молчу! Кстати – мне и некогда. (*Цветаевой.*) Вы идете со мной? Прекрасно! Петра – нет?

ПОЛЯ. Он наверху...

ШИШКИН. Мм... Нет, не пойду к нему! Я попрошу вас, Татьяна Васильевна... или вас, Поля... скажите ему, что я... опять того, знаете... то есть, что урок у Прохорова – свободен...

ЦВЕТАЕВА. Опять? Ну, не везет вам!

ТАТЬЯНА. Вы поругались?

ШИШКИН. Собственно говоря... не очень! Я – сдержанно...

ЦВЕТАЕВА. Но – из-за чего? Ведь вы же сами хвалили Прохорова?..

ШИШКИН. Увы! Хвалил... черт побери! И, в сущности, он... порядочнее многих... неглуп... немножко вот – хвастун... болтлив и вообще (*неожиданно и горячо*) – порядочная скотина!

ТАТЬЯНА. Едва ли теперь Петр станет доставать вам уроки...

ШИШКИН. Н-да, пожалуй, рассердится он...

ЦВЕТАЕВА. Да что у вас вышло с Прохоровым?

ШИШКИН. Представьте себе, он – антисемит!

ТАТЬЯНА. А вам какое дело до этого?

ШИШКИН. Ну, знаете... неприлично это! Недостойно интеллигентного человека! И вообще он – буржуй! Хотя бы такая история: его горничная ходила в воскресную школу. Чудесно! Он же сам прескучно доказывал мне пользу воскресных школ... о чем я его совсем не умолял! Он даже хвастался, что я-де один из инициаторов устройства школы. И вот недавно, в воскресенье, приходит он домой и – ужас! Дверь отворяет не горничная, а нянька! Где Саша? В школе. Ага! И – запретил горничной посещать школу! Это как называть, по-вашему?

Татьяна пожимает плечами молча.

ЦВЕТАЕВА. А такой он говорун...

ШИШКИН. Вообще говоря, Петр, точно на смех, достает мне уроки всё у каких-то шарлатанов.

ТАТЬЯНА (*сухо*). Помнится, вы очень хвалили казначея...

ШИШКИН. Да... конечно... старикашка милый Но – нумизмат! Сует мне под нос разные медяшки и говорит о цезарях, диадохах и разных там фараонах с колесницами. Ододел, – сил моих нет! Ну, я ему и говори: «Послушайте, Викентий Васильевич! А по-моему, все это – ерунда! Любой булыжник древнее ваших медяков!» Он – обиделся. «Что же, говорит, я пятнадцать лет жизни на ерунду убил?» Я же –

ответил утвердительно. При расчете он полтину мне не додал... очевидно, оставил ее для пополнения коллекции. Но это – пустяки... а вот с Прохоровым я... н-да... (*Уныло.*) Скверный у меня характер! (*Торопливо.*) Слушайте, Марья Никитишна, идемте, пора!

ЦВЕТАЕВА. Я готова. До свидания, Таня! Завтра воскресенье... я приду к тебе с утра...

ТАТЬЯНА. Спасибо. Мне... право, кажется, что я какое-то ползучее растение у вас под ногами... ни красоты во мне, ни радости... а идти людям я мешаю, цепляясь за них...

ШИШКИН. Какие вредные мысли, фу-у!

ЦВЕТАЕВА. Обидно слышать это, Таня...

ТАТЬЯНА. Нет, погоди... ты знаешь? Я понимаю: поняла жестокую логику жизни: кто не может ни во что верить – тот не может жить... тот должен погибнуть... да!

ЦВЕТАЕВА (*улыбаясь*). Разве? А может быть, нет?

ТАТЬЯНА. Ты передразниваешь меня... ну, стоит ли? Смеяться надо мною... стоит ли?

ЦВЕТАЕВА. Нет, Таня, нет, милая! Все это говорит твоя болезнь, усталость, а не ты... Ну, до свидания! И не считай нас жесткими и злыми...

ТАТЬЯНА. Идите... до свидания!

ШИШКИН (*Поле*). Ну-с, когда же вы будете читать Гейне? Ах да, вы замуж... гм! Против этого можно бы кое-что сказать... но – до свидания! (*Уходит вслед за Цветаевой.*)

Пауза.

ПОЛЯ. Наверно, скоро всеобщая кончится... Сказать, чтоб подавали самовар?

ТАТЬЯНА. Едва ли старики будут пить чай... Как хочешь, впрочем.

Пауза.

Раньше тишина тяготила меня, а теперь мне приятно, что у нас тихо.

ПОЛЯ. Вам не пора ли принять лекарство?

ТАТЬЯНА. Нет еще... Последние дни у нас было так су-етно, крикливо. Какой шумный этот Шишкин...

ПОЛЯ (*подходя к ней*). Хороший он...

ТАТЬЯНА. Добрый... но глупый...

ПОЛЯ. Славный он, смелый. Где что увидит несправедливое – сейчас вступается. Вот – горничную заметил. А кто замечает, как живут горничные и другие люди, служащие богатым? И если заметит кто, – разве вступится?

ТАТЬЯНА (*не глядя на Полю*). Скажи мне, Поля... Ты не боишься... за Нила замуж идти?

ПОЛЯ (*спокойно, с удивлением*). Чего же мне бояться? Нет, ничего, я не боюсь...

ТАТЬЯНА. Чего?.. А я... боялась бы. Я говорю с тобой об этом потому, что... люблю... тебя! Ты не такая, как он.

Ты – простая... он – много читал, он уж образованный. Ему, может быть, скучно с тобой... Ты думала об этом, Поля?

ПОЛЯ. Нет. Я знаю, он меня любит...

ТАТЬЯНА (*с досадой*). Как можно это знать...

Тетерев вносит самовар.

ПОЛЯ. Вот спасибо вам! Пойду за молоком. (*Уходит.*)

ТЕТЕРЕВ (*он с похмелья, опухший*). Иду мимо кухни, а Степанида взмолилась: «Батюшка! Внеси самовар! Я, говорит, тебе, когда понадобится, огурчика дам, рассольцу...»

Соблазнился я, чревоугодник:

ТАТЬЯНА. Вы уже ото всенощной?

ТЕТЕРЕВ. Нет, не ходил сегодня. Башка трещит. Вы – как? Лучше чувствуете себя?

ТАТЬЯНА. Ничего, спасибо. Меня об этом спрашивали раз двадцать в день... Я чувствовала бы себя еще лучше, если б у нас было менее шумно. Меня немножко раздражает эта беготня... все куда-то стремятся, кричат. Отец – злится на Нила, мать – все вздыхает... А я лежу, наблюдаю и... не вижу смысла в том, что они... все эти... называют жизнью.

ТЕТЕРЕВ. Нет, любопытно! Я человек посторонний, не причастный делам земли... живу из любопытства и нахожу, что здесь – довольно интересно.

ТАТЬЯНА. Вы невзыскательны, я знаю. Но – что ж тут интересного?

ТЕТЕРЕВ. А вот – люди настраиваются жить. Я люблю слушать, когда в театре музыканты настраивают скрипки и трубы. Ухо ловит множество отдельных верных нот, порою слышишь красивую фразу... и ужасно хочется скорее услышать, – что именно будут играть музыканты? Кто из них солист? Какова пьеса? Вот и здесь тоже... настраиваются...

ТАТЬЯНА. В театре... да. Там приходит дирижер, взмахивает палочкой, и музыканты скверно, бездушно играют какую-нибудь старую, избитую вещь. А здесь... а эти? Что они способны сыграть? Я не знаю.

ТЕТЕРЕВ. Кажется что-то фортиссимо...

ТАТЬЯНА. Посмотрим.

Пауза.

Тетерев раскуривает трубку.

Зачем вы трубку курите, а не папиросы?

ТЕТЕРЕВ. Удобнее. Ведь я – бродяга, большую часть года провожу в дороге. Вот опять скоро уйду. Установится зима, и я – в путь.

ТАТЬЯНА. Куда?

ТЕТЕРЕВ. Не знаю... Да ведь это все равно...

ТАТЬЯНА. Замерзнете где-нибудь... нетрезвый...

ТЕТЕРЕВ. В дороге – никогда не пью... А и замерзну – что ж в этом? Лучше замерзнуть на ходу, чем сгнить, сидя на одном месте...

ТАТЬЯНА. Это вы на меня намекаете?

ТЕТЕРЕВ (*испуганно вскакивая*). Боже упаси! Что вы? Разве я... я не зверь!

ТАТЬЯНА (*с улыбкой*). Да вы не беспокойтесь. Меня ведь это не обижает. У меня потеря болевой чувствительности. (*С горечью.*) Все знают, что меня нельзя обидеть. Нил, Пелагея, Елена, Маша... Они ведут себя, как богачи, которым нет дела до того, что чувствует нищий... что думает нищий, когда видит, как они кушают редкие яства...

ТЕТЕРЕВ (*сморщив лицо, сквозь зубы*). Зачем унижение? Надо уважать себя...

ТАТЬЯНА. Ну, хорошо... оставим это!

Пауза.

Скажите мне что-нибудь... про себя! Вы никогда не говорите о себе... Почему?

ТЕТЕРЕВ. Предмет большой, но неинтересный.

ТАТЬЯНА. Нет, скажите! Почему вы... так странно живете? Вы кажетесь мне умным, даровитым... Что случилось с вами в жизни?..

ТЕТЕРЕВ (*скалит зубы*). Что случилось? О, это длинная и скучная история... если ее рассказывать своими словами...

Я —

Солнца, счастья шел искать...

Наг и бос вернулся вспять,
И белье и упованья
Истаскал в своем скитанье.

Но это объяснение красиво слишком для меня... хотя оно и кратко. К нему добавить надо, что в России удобнее, спокойнее быть пьяницей, бродягой, чем трезвым, честным, дельным человеком.

Входят Петр и Нил.

Только люди безжалостно прямые и твердые, как мечи, — только они пробьют... А! Нил! Откуда?

НИЛ. Из депо. И после сражения, в котором одержал блестящую победу. Этот дубиноголовый начальник депо...

ПЕТР. Наверное, тебя скоро прогонят со службы...

НИЛ. Другую найду...

ТАТЬЯНА. Знаешь, Петр, Шишкин поругался с Прохоровым и, не решаясь сказать это тебе лично...

ПЕТР (*сердито, раздражаясь*). Черт бы его побрал! Это... возмутительно! В какое идиотское положение он ставит меня перед Прохоровым? И, наконец, лишает возможности быть полезным другому товарищу...

НИЛ. Ты погоди сердиться! Узнал бы прежде — кто виноват?

ПЕТР. Я это знаю!

ТАТЬЯНА. Шишкину не понравилось, что Прохоров антисемит...

НИЛ (*смеясь*). Ах, милый петушок!

ПЕТР. Ну, да! Тебе это нравится. Ты тоже совершенно лишен чувства уважения к чужим взглядам... дикие люди!

НИЛ. Постой! Ты сам-то разве склонен юдофоба уважать?

ПЕТР. Я ни в каком случае не сочту себя вправе хватать человека за глотку!

НИЛ. А я – схвачу...

ТЕТЕРЕВ (*разглядывая спорящих поочередно*). Хватай!

ПЕТР. Кто дал... кто дал вам это право?

НИЛ. Прав – не дают, права – берут... Человек должен сам себе завоевать права, если не хочет быть раздавленным грудой обязанностей...

ПЕТР. Позволь!..

ТАТЬЯНА (*тоскливо*). Ну, закипает спор... бесконечный спор! Как вам не надоедает?..

ПЕТР (*сдерживаясь*). Извини, я не стану больше! Но, право же, – ведь этот Шишкин ставит меня...

ТАТЬЯНА. Я понимаю... он глупый!

НИЛ. Он славный парень! Не только не позволит наступить себе на ногу, – сам первый всякому наступит! Хорошо иметь в себе столько чувства человеческого достоинства...

ТАТЬЯНА. Столько ребячества, хотел ты сказать?

НИЛ. Нет, я не ошибся. Но пусть – это ребячество – и все-таки хорошо!

ПЕТР. Смешно...

НИЛ. Н-ну, когда единственный кусок хлеба отшвыривается прочь только потому, что его дает несимпатичный человек...

ПЕТР. Значит, тот, кто швыряется хлебом, недостаточно голоден... Я знаю, – ты будешь возражать. Ты сам таков... ты тоже... школьник... Вот ты на каждом шагу стараешься показать отцу, что у тебя нет к нему ни капли уважения... зачем это?

НИЛ. А зачем это скрывать?

ТЕТЕРЕВ. Дитя мое! Приличие требует, чтоб люди лгали...

ПЕТР. Но какой смысл в этом? Какой?

НИЛ. Мы, брат, не поймем друг друга... нечего и говорить. Все, что делает и говорит твой отец, – мне противно...

ПЕТР. Мне тоже противно... может быть! Однако я сдерживаюсь. А ты постоянно раздражаешь его... и это раздражение оплачиваем мы – я, сестра...

ТАТЬЯНА. Да будет вам! Ведь скучно же это!

Нил, взглянув на нее, отходит к столу.

ПЕТР. Тебя беспокоит разговор?

ТАТЬЯНА. Мне надоело! Одно и то же... всегда одно и то же!

Входит Поля с кринкой молока в руке. Видя, что Нил мечтательно улыбается, она оглядывает публику и говорит.

ПОЛЯ. Смотрите, какой блаженный!

ТЕТЕРЕВ. Ты что смеешься?

НИЛ. Я? Я вспоминаю, как отчитывал начальника депо...

Интересная штука – жизнь!

ТЕТЕРЕВ *(густо)*. Аминь!

ПЕТР *(пожимая плечами)*. Удивляюсь! Слепыми, что ли, рождаются оптимисты?

НИЛ. Оптимист я или что другое, – это неважно, – но жить – мне нравится! *(Встает и ходит.)* Большое это удовольствие – жить на земле!

ТЕТЕРЕВ. Да, любопытно!

ПЕТР. Вы оба – комики, если вы искренние люди!

НИЛ. А ты... уж я не знаю – как тебя назвать? Я знаю, – и это вообще ни для кого не тайна, – ты влюблен, тебя – любят. Ну, вот хотя бы по этому поводу – неужели тебе не хочется петь, плясать? Неужели и это не дает тебе радости?

Поля гордо смотрит на всех из-за самовара. Татьяна беспокойно ворочается, стараясь видеть лицо Нила. Тетерев, улыбаясь, выколачивает пепел из трубки.

ПЕТР. Ты забываешь кое-что. Во-первых – студентам жениться не позволено; во-вторых – мне придется выдержать

баталию с родителями; в-третьих...

НИЛ. Батюшки! Да ведь это что же? Ну, тебе остается одно – беги! Беги в пустыню!..

Поля улыбается.

ТАТЬЯНА. Ты балаганишь, Нил...

НИЛ. Нет, Петруха, нет! Жить, – даже и не будучи влюбленным, – славное занятие! Ездить на скверных паровозах осенними ночами, под дождем и ветром... или зимою... в метель, когда вокруг тебя – нет пространства, все на земле закрыто тьмой, завалено снегом, – утомительно ездить в такую пору, трудно... опасно, если хочешь! – и все же в этом есть своя прелесть! Все-таки есть! В одном не вижу ничего приятного, – в том, что мною и другими честными людьми командуют свиньи, дураки, воры... Но жизнь – не вся за ними! Они пройдут, исчезнут, как исчезают нарывы на здоровом теле. Нет такого расписания движения, которое бы не изменялось!..

ПЕТР. Не раз я слышал эти речи. Посмотрим, как тебе ответит жизнь на них!

НИЛ. Я заставлю ее ответить так, как захочу. Ты – не страшай меня! Я ближе и лучше тебя знаю, что жизнь – тяжела, что порою она омерзительно жестка, что разнузданная, грубая сила жмет и давит человека, я знаю это, – и это мне не нравится, возмущает меня! Я этого порядка – не хочу!

Я знаю, что жизнь – дело серьезное, но неустроенное... что оно потребует для своего устройства все силы и способности мои. Я знаю и то, что я – не богатырь, а просто – честный, здоровый человек, и я все-таки говорю: ничего! Наша возьмет! И я на все средства души моей удовлетворю мое желание вмешаться в самую гущу жизни... месить ее и так и эдак... тому – помешать, этому – помочь... вот в чем радость жизни!

ТЕТЕРЕВ (*усмехаясь*). Вот смысл глубочайший науки! Вот смысл философии всей! А всякой другой философии – ан-нафема!

ЕЛЕНА (*в двери*). По какому поводу здесь кричат и махают руками?

НИЛ (*бросаясь к ней*). Барыня! Вы меня поймете! Я пел сейчас славу жизни! Ну, говорите: жизнь – удовольствие!

ПОЛЯ (*негромко*). Жить – очень хорошо!

ЕЛЕНА. Кто против этого?

НИЛ (*Поле*). Эх, ты... тихая моя!

ЕЛЕНА. При мне – не любезничать!

ПЕТР. Черт знает что такое! Точно пьяный...

Татьяна, откинув голову на спинку кушетки, медленно поднимает руки и закрывает лицо свое.

ЕЛЕНА. Постойте! Вы собрались пить чай? А я пришла звать вас к себе... Ну, и я останусь с вами, – у вас сегодня ве-

село. (*Тетереву.*) Только вы, мудрый ворон, вы один находились – чего ради?

ТЕТЕРЕВ. Мне тоже весело. Только я люблю веселиться молча, а скучать – громко...

НИЛ. Как все большие, умные, угрюмые псы...

ЕЛЕНА. Я никогда не видела вас ни грустным, ни веселым, а только философствующим. Знаете, господа, – знаешь, Таня, – он обучает меня философии. Вчера прочитал целую лекцию о некотором законе достаточного основания... эх! я забыла, как этот удивительный закон выражается... в каких словах? В каких?

ТЕТЕРЕВ (*улыбаясь*). Нет ничего без основания, почему оно есть...

ЕЛЕНА. Вы слышите? Вот я какие мудрые штуки знаю! Вы вот не знаете, что закон этот являет собой – являет, это самое настоящее философское слово! – являет собой... что-то вроде зуба, потому что у него четыре корня... верно?

ТЕТЕРЕВ. Не смею спорить...

ЕЛЕНА. Ну, конечно! Посмели бы вы! Корень первый – а может, и не первый – закон достаточного основания бывания... бывание – это материя в формах... вот я – материя, принявшая – не без основания – форму женщины... но зато – без всякого уже основания – лишенная бытия. Бытие – вечно, а материя в формах – побывает на земле и – фьюить! Верно?

ТЕТЕРЕВ. Ладно, сойдет...

ЕЛЕНА. Еще я знаю, что существует каузальная связь, априори и апостериори, но кто они такие, – забыла! И если я от всех этих премудростей не стану лысой, так буду умной! А самое интересное и премудрое во всей философии вот что: зачем вы, Терентий Хрисанфович, говорите мне о философии?

ТЕТЕРЕВ. Потому, во-первых, что смотреть мне на вас очень приятно...

ЕЛЕНА. Спасибо! Во-вторых, наверное неинтересно...

ТЕТЕРЕВ. Во-вторых, потому, что, только философствуя, человек не лжет, ибо, философствуя, он просто – выдумывает...

ЕЛЕНА. Ничего не поняла! Да, Таня, как ты себя чувствуешь? *(Не дожидаясь ответа.)* Петр... Васильевич! Вы чем недовольны?

ПЕТР. Собой.

НИЛ. И всем остальным?

ЕЛЕНА. Знаете, – мне ужасно хочется петь! Как жаль, что сегодня суббота и всенощная еще не отошла...

Входят старики.

А! вот идут богомольцы! Здравствуйте!

БЕССЕМЁНОВ *(сухо)*. Наше вам почтение...

АКУЛИНА ИВАНОВНА *(тоже недовольно)*. Здравствуйте, матушка! Только мы вас уж видели сегодня.

ЕЛЕНА. Ах, да! Я позабыла... Ну, что же... в церкви... жарко было?

БЕССЕМЁНОВ. Мы не затем туда ходили, чтобы климат измерять...

ЕЛЕНА (*смущаясь*). О, разумеется... я хотела спросить не о том... я хотела спросить... много было народа?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Не считали мы, матушка...

ПОЛЯ (*Бессеменову*). Чай пить – будете?

БЕССЕМЁНОВ. Сначала поужинаем... Мать, ты поди-ка, приготовь там.

Акулина Ивановна уходит, шмыгая носом. Все молчат. Татьяна встает и переходит к столу, поддерживаемая Еленой. Нил садится на место Татьяны. Петр шагает по комнате. Тетерев, сидя около пианино, следит за всеми, улыбаясь. Поля – у самовара. Бессемёнов сидит в углу, на сундуке.

Какой народ стал – вор, даже удивительно! Давеча, как шел я с матерью в церковь, – дощечку положил у ворот, через грязь, чтобы пройти. Назад идем, а дощечки уж нету... стащил какой-то жулик. Большой разврат пошел в жизни...

Пауза.

В старину жуликов меньше было... всё больше разбойничали люди, потому – крупнее душой были все... стыдились

из-за пустяков совесть тревожить...

На улице, за окном, раздаётся пение и звуки гармоники.

Ишь... поют. Суббота, а они поют...

Пение приближается, поют в два голоса.

Наверное – мастеровые. Чай, пошабашили, сходили в кабак, пропили заработок и дерут глотку...

Пение под окнами. Нил, прислонив лицо к стеклу, смотрит на улицу.

Поживут эдак-то год... много – два, и – готовы! Золоторотцами будут... жуликами...

НИЛ. Кажется, это Перчихин...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*из двери*). Отец, иди ужинать...

БЕССЕМЁНОВ (*вставая*). Перчихин... тоже вот... бесполезной жизни человек... (*Уходит.*)

ЕЛЕНА (*проводив его взглядом*). А у меня... удобнее чай пить...

НИЛ. Вы очень остроумно разговаривали со стариками.

ЕЛЕНА. Я... он меня смущает... Он не любит меня... и мне это как-то... неприятно... даже обидно! За что меня не любить?

ПЕТР. Он, в сущности, добрый старик... но у него большое самолюбие...

НИЛ. И он немножко жаден... немножко зол.

ПОЛЯ. Ш-ш! Зачем говорить так о человеке за глаза? Нехорошо!

НИЛ. Нет, быть жадным нехорошо...

ТАТЬЯНА (*сухо*). Я предлагаю оставить... этот предмет без обсуждения... Отец может каждую минуту войти... Последние три дня он... не ругался... старается со всеми быть ласковым...

ПЕТР. И это ему стоит не дешево...

ТАТЬЯНА. Надо ценить это... Он стар... он не виноват в том, что родился раньше нас... и думает не так, как мы... (*Раздражаясь*.) Сколько жестокости в людях! Как все мы грубы, безжалостны... Нас учат любить друг друга... нам говорят: будьте добрыми... будьте кротки...

НИЛ (*в тон ей*). И садятся верхом на шеи нам и едут на нас...

Елена хохочет. Поля и Тетерев улыбаются. Петр что-то хочет сказать Нилу и идет к нему. Татьяна укоризненно качает головой.

БЕССЕМЁНОВ (*входит, окидывает Елену недружелюбным взглядом*). Пелагея! Там в кухне – твой отец... Поди-ка да скажи ему... чтоб он... в другой раз пришел... когда бу-

дет тверезый... да! Ты-де, папаша, иди домой... и все такое!

Поля и Нил за нею – уходят.

БЕССЕМЁНОВ. Вот... поди и ты... Погляди-ка на будущего... мм... *(Обрывается, садится за стол.)* Вы что... молчите? Я замечаю, что как я в дверь – вы все сожмете губы...

ТАТЬЯНА. Мы... и без вас... не много говорим...

БЕССЕМЁНОВ *(глядя исподлобья на Елену)*. А над чем смеялись?

ПЕТР. Так это... пустяки! Нил...

БЕССЕМЁНОВ. Нил! Все от него идет... я так и знал...

ТАТЬЯНА. Налить вам чаю?

БЕССЕМЁНОВ. Налей...

ЕЛЕНА. Дай, Таня, я налью...

БЕССЕМЁНОВ. Нет, зачем вам беспокоиться? Мне дочь нальет...

ПЕТР. Я думаю, – ведь все равно, кто нальет? Таня нездорова...

БЕССЕМЁНОВ. Я тебя не спрашиваю, как ты думаешь на этот счет. Если тебе чужие люди ближе родных...

ПЕТР. Отец! Ну, как тебе не стыдно?

ТАТЬЯНА. Начинается! Петр, – будь благоразумен.

ЕЛЕНА *(натянута улыбаясь)*. Ну, стоит ли...

Дверь широко растворяется, и входит Перчихин. Он выпивши, но не сильно.

ПЕРЧИХИН. Василь Васильев! Я сюда пришел... ты отсюда ушел... а я – сюда... за тобой...

БЕССЕМЁНОВ (*не глядя на него*). Пришел, так садись... Вот – чаю выпей... ну...

ПЕРЧИХИН. Н-не надо мне чаю! Кушай сам на здоровье... Я – для разговора пришел...

БЕССЕМЁНОВ. Какой там разговор? Всё пустяки.

ПЕРЧИХИН. Пустяки? Н-ну? (*Смеется.*) Чудак ты!

Нил входит и, сурово глядя на Бессеменова, встает у шкафа.

Четыре дня собирался я к тебе придти... ну и пришел...

БЕССЕМЁНОВ. Ну и ладно...

ПЕРЧИХИН. Нет, не ладно! Василь Васильич! Умный ты человек! Богатый человек... ведь я к совести к твоей пришел!

ПЕТР (*подходя к Нилу, негромко.*) Зачем ты егопустил сюда?

НИЛ. Оставь! Это тебя не касается...

ПЕТР. Ты всегда делаешь... черт знает что...

ПЕРЧИХИН (*заглушая Петра*). Старый человек... да-авно я тебя знаю!

БЕССЕМЁНОВ (*сердясь*). Тебе чего надо?

ПЕРЧИХИН. Скажи мне, – за что ты меня намедни вон из дома выгнал? Думал я, думал, – не возьму, в толк! Скажи, брат! Я – без сердца на тебя пришел... я, брат, с любовью к тебе...

БЕССЕМЁНОВ. С дурной головой пришел ты... вот что!

ТАТЬЯНА. Петр! Помоги мне... нет, позови Полю...

Петр уходит.

ПЕРЧИХИН. Вот – Поля! Дочь моя милая... птица моя чистая... Из-за нее ты меня выгнал? – верно? За то, что она у Татьяны жениха отбила?

ТАТЬЯНА. О! глупость какая... какая пошлость!..

БЕССЕМЁНОВ (*медленно поднимаясь с места*). Гляди, Перчихин! Второй раз...

ЕЛЕНА (*Нилу вполголоса*). Уведите его! Они поругаются.

НИЛ. Не хочу...

ПЕРЧИХИН. Второй раз – не прогонишь, Василь Васильич! Не за что... Поля... я ее люблю... она у меня – хорошая! Ну, все же я не одобряю... я, брат, ее не одобряю, нет! Зачем чужой кусок взяла? Нехорошо...

ТАТЬЯНА. Лена! Я... уйду к себе...

Елена помогает ей, поддерживая под руку. Проходя мимо Нила, Татьяна говорит ему негромко.

Как не стыдно! Уведите его...

БЕССЕМЁНОВ (*сдерживаясь*). Перчихин! Ты... молчи!

Сиди – молчи... а то ступай домой...

Входит Поля. За нею Петр.

ПЕТР (*Поле*). Да успокойтесь... я вас прошу!..

ПОЛЯ. Василий Васильевич! За что вы прошлый раз выгнали отца?

Бессемёнов молча и сурово смотрит на нее и на всех поочередно.

ПЕРЧИХИН (*грозя пальцем*). Шш! Дочка! Не говори... Ты – должна понять... Татьяна отравилась – почему? Ага-а? Василь Васильев, – видишь? Я, брат, по чистой правде... я всех вас рассужу... по совести... как надо! Я – очень просто...

ПОЛЯ. Постой, отец...

ПЕТР. Позвольте, Поля...

НИЛ. Ты бы молчал...

БЕССЕМЁНОВ. Ты, Палагея, вот что... ты – дерзкая...

ПЕРЧИХИН. Она? Нет, она... у меня...

БЕССЕМЁНОВ. Молчи ты! я что-то плохо разумею... чей это дом? Кто здесь хозяин? Кто судья?

ПЕРЧИХИН. Я! Я рассужу всё... всех, по порядку... Не тронь чужого – раз! Взяла, – отдай назад – два!

ПЕТР (*Перчихину*). Послушай, – брось болтать! Пойдем ко мне...

ПЕРЧИХИН. Не люблю я тебя, Петр! Гордый ты человек... пустой ты! И ничего ты не знаешь... Что такое канализация? Ага! А мне рассказали, брат...

Петр тянет его за рукав.

Не тронь, постой...

НИЛ (*Петру*). Не трогай его... оставь!

БЕССЕМЁНОВ (*Нилу*). Ты что тут – собак травишь? а?

НИЛ. Нет, я хочу понять – в чем дело? В чем виноват Перчихин? За что его выгнали?.. При чем здесь Поля?

БЕССЕМЁНОВ. Ты меня допрашиваешь?

НИЛ. А если вас – так что ж? Вы – человек, – я тоже...

БЕССЕМЁНОВ (*бешено*). Нет, ты не человек... ты – яд!

Ты – зверь!

ПЕРЧИХИН. Ш-ш! Тихо! Надо тихо, по совести...

БЕССЕМЁНОВ (*Поле*). А ты – ехидна! Ты – нищая!..

НИЛ (сквозь зубы). Вы не кричите!..

БЕССЕМЁНОВ. Что? Вон! Змееныш... я тебя вскормил от пота-крови...

ТАТЬЯНА (из своей комнаты). Папаша! Папа!

ПЕТР (*Нилу*). Ну? Дождался? Эх, ты... стыдился бы!

ПОЛЯ (*негромко*). Не... не смейте на меня кричать! Я не раба вам... не можете вы обижать всех... И – вы скажите – за что отца выгнали?

НИЛ (*спокойно*). Я тоже требую... здесь не сумасшедшие живут... надо отвечать за свои поступки...

БЕССЕМЁНОВ (*тише, сдерживаясь*). Уйди, Нил, от греха... уйди! Смотри... ты – выкормок мой... которого я воспитал...

НИЛ. Не корите меня вашим хлебом! Я отработал все, что съел!

БЕССЕМЁНОВ. Ты... душу мне сожрал... разбойник – ты!..

ПОЛЯ (*берет Нила за руку*). Идем отсюда!

БЕССЕМЁНОВ. Иди... ползи, змея! Ты все... из-за тебя... ты дочь ужалила... его теперь... проклятая... из-за тебя дочь моя...

ПЕРЧИХИН. Василь Васильич! Тихо! По совести!

ТАТЬЯНА (*кричит*). Отец! Неправда! Петр – что же ты? (*Является в дверях своей комнаты и, беспомощно протягивая руки, выходит на середину.*) Петр, не нужно этого! О боже мой! Терентий Хрисанфович! Скажите им... скажите им... Нил! Поля! Ради бога – уйдите! Уходите! Зачем все это...

Все бестолково суетятся. Тетерев, скаля зубы, медленно встает со стула. Бессемёнов отступает перед дочерью. Петр подхватывает сестру под руку и растерянно смот-

рит вокруг.

ПОЛЯ. Идем!

НИЛ. Хорошо! (*Бессеменову.*) Ну, мы уходим... вот! Мне жаль, что все вышло так громко.

БЕССЕМЁНОВ. Ступай, ступай!.. Уводи ее...

НИЛ. Я уж не ворочусь...

ПОЛЯ (*громко, дрожащим голосом*). Винить меня в таком... винить за Таню... разве можно? Тут разве я виновна? Бесстыдник вы...

БЕССЕМЁНОВ (*бешено*). Уйдешь ты?!

НИЛ. Тише!

ПЕРЧИХИН. Ребята, – не сердитесь! Надо – кротко...

ПОЛЯ. Прощайте! Иди, отец!

НИЛ (*Перчихину*). Идем!

ПЕРЧИХИН. Не-ет, я с вами не хочу... мне не рука... я – сам по себе... Терентий! Я сам – один... Мое дело – чистое...

ТЕТЕРЕВ. Идем ко мне...

ПОЛЯ. Иди! Иди же, пока не гонят...

ПЕРЧИХИН. Нет... я не пойду... Терентий, – мне с ними не рука! Я понимаю...

ПЕТР (*Нилу*). Да уходите вы... черт побери!..

НИЛ. Иду... прощай... какой однако ты...

ПОЛЯ. Идем, идем...

Уходят.

БЕССЕМЁНОВ (*кричит им вслед*). Воротитесь! Поклонитесь...

ПЕТР. Оставь, отец! Будет...

ТАТЬЯНА. Папаша! Милый мой... не надо кричать...

БЕССЕМЁНОВ. Пойдите... Погодите...

ПЕРЧИХИН. Ну, вот... теперь ушли... И хорошо! Пускай их!..

БЕССЕМЁНОВ. Сказать бы мне им на прощанье: злодеи! Кормил, поил... (*К Перчихину.*) Ты, старый черт! Дурак! Пришел, забормотал... чего тебе надо? чего?

ПЕТР. Папаша! Будет...

ПЕРЧИХИН. Василь Васильич! Не кричи... я тебя уважаю, чудак ты! Глупый я – верно! Но я понимаю... кто куда...

БЕССЕМЁНОВ (*садится на диван*). Я... потерял мысли. Не понимаю... Что вышло? Вдруг... как летом, в сушь, пожар... Одного – нет... говорит – не ворочусь... Ишь как просто! Ишь ты как... Нет... я этому поверить не могу...

ТЕТЕРЕВ (*Перчихину*). Ну, что ты тут? Зачем ты?

ПЕРЧИХИН. Для порядка... я, брат, рассуждаю просто... Раз-два! Больше никаких! Она мне дочь? Очень хорошо... Значит, – должна она – (*Вдруг замолчал.*) Плохой я отец... и ничего она не должна... пусть ее живет, как хочет! А Таню мне жалко... Таня... мне жалко тебя... Мне, братцы, всех вас жалко! Эхма!.. Ведь ежели по совести сказать – все вы

дураки!..

БЕССЕМЁНОВ. Молчи ты...

ПЕТР. Таня! Елена Николаевна ушла?

ЕЛЕНА (*из комнаты Татьяны*). Я здесь... Лекарство приготавливаю...

БЕССЕМЁНОВ. Мысли у меня спутались... ничего не понимаю! Неужто Нил... так и уйдет?

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*входит, беспокойно*). Что случилось? Нил с Пелагеей в кухне там... а я была в чулане...

БЕССЕМЁНОВ. Ушли они?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Нет... зовут Перчихина... Пелагея говорит, скажите, говорит, отцу... а губы у нее дрожат. Нил, все равно как пес, – рычит... что такое?..

БЕССЕМЁНОВ (*вставая*). А вот сейчас... вот я пойду...

ПЕТР. Отец, – не надо! Не ходите...

ТАТЬЯНА. Папаша! Пожалуйста... не надо...

БЕССЕМЁНОВ. Чего – не надо?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Да что такое?

БЕССЕМЁНОВ. Ты понимаешь... Нил уходит... совсем...

ПЕТР. Ну, что же в том? Уходит и – прекрасно... Зачем он вам? Он женится... он хочет жить своей семьей...

БЕССЕМЁНОВ. А! Так разве... я-то, я – чужой ему?

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Чего ты беспокоишься, отец? Бог с ним! Пускай уходит... У нас свои дети есть... Перчихин – ты чего же? Иди!

ПЕРЧИХИН. Мне с ними – не по дороге...

БЕССЕМЁНОВ. Нет... тут не то совсем... уходишь – уходи! Но – как? Как он ушел... Какими глазами глядел на меня?..

Елена выходит из комнаты Татьяны.

ТЕТЕРЕВ (*берет Перчихина под руку и ведет за собой к двери*).

Пойдем зубровки хватим по рюмке...

ПЕРЧИХИН. Эхма, божья дудка! Сурьезный ты...

Уходят.

БЕССЕМЁНОВ. Я знал, что он от нас уйдет... ну, только – разве так? А эта... эта... кричит! Поденщица, девчонка... пойду, поговорю им...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Э, полно-ка, отец! Они – чужие нам люди! Что их жалеть? Ушли и – ладно!

ЕЛЕНА (*Петру негромко*). Идемте ко мне...

ТАТЬЯНА (*Елене*). И я... возьмите и меня!..

ЕЛЕНА. Идем... идемте...

БЕССЕМЁНОВ (*услышал ее зов*). Куда?

ЕЛЕНА. К себе... ко мне!

БЕССЕМЁНОВ. Кого зовете-с? Петра?

ЕЛЕНА. Да... и Таню...

БЕССЕМЁНОВ. Таня – ни при чем! А Петру ходить к вам... не надо!

ПЕТР. Позволь, отец! Я... не мальчик! Я пойду или не пойду...

БЕССЕМЁНОВ. Не пойдешь!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Петя! Уступи отцу! Эй, уступи...

ЕЛЕНА (*возмущенно*). Позвольте, Василий Васильевич!

БЕССЕМЁНОВ. Нет, уж вы позвольте! Хотя вы люди и образованные... хотя вы потеряли совесть... и никого не уважаете:

ТАТЬЯНА (*истерически кричит*). Папаша! Перестаньте...

БЕССЕМЁНОВ. Молчи! Когда ты не хозяйка своей судьбы – молчи... стой! Куда?

Елена идет к двери.

ПЕТР (*бросаясь за нею, хватая ее за руку*). Позвольте! На минутку... нужно сразу... нужно объясниться...

БЕССЕМЁНОВ. Нужно меня выслушать. – Сделайте мне милость, – выслушайте! Дайте мне понять – что такое?

Входит Перчихин, сияющий и веселый, за ним Тетерев тоже с улыбкой на лице. Они останавливаются у двери, переглядываются. Перчихин подмигивает на Бессемёнова и махает рукой.

Все куда-то уходят... без всякого объяснения намерений... зря... обидно и беспутно! Куда ты можешь идти, Петр? Ты... что ты такое? Как ты хочешь жить? Что делать?

Акулина Ивановна всхлипывает. Петр, Елена и Татьяна стоят все трое плотной группой перед Бессемёновым, при его словах: «Куда ты можешь идти» – Татьяна отходит в сторону к столу, где стоит мать. Перчихин знаками показывает что-то Тетереву, трясет головой, взмахивает руками, как бы шугая птиц.

Я имею право спрашивать... ты – молод, ты еще – глуп! Я – пятьдесят восемь лет растягивал жилы мои в трудах ради детей...

ПЕТР. Я слышал это, отец! Я сотни раз...

БЕССЕМЁНОВ. Стой! Молчи!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Ах, Петя, Петя...

ТАТЬЯНА. Мамаша, вы... ничего не понимаете!

Акулина Ивановна трясет головой.

БЕССЕМЁНОВ. Молчи! Какие ты слова можешь сказать? На что укажешь? Нет ничего...

ПЕТР. Отец! Ты мучаешь меня! Что тебе нужно? Что ты хочешь?

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*вдруг громко*). Нет, стой! И у меня есть сердце... и я имею голос! Сыночек! Что делаешь? Что затеял? Кого спросил?

ТАТЬЯНА. Это ужасно! Это какая-то тупая пила. (*Матери.*) Вы рвете душу... тело...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Это мать – пила? Мать?

БЕССЕМЁНОВ. Старуха, погоди! Вот он... дай ему сказать...

ЕЛЕНА (*Петру*). Ну, будет! Я больше – не могу... я ухажу...

ПЕТР. Постойте... ради бога! Сейчас все будет ясно...

ЕЛЕНА. Нет – это сумасшедший дом! Это...

ТЕТЕРЕВ. Елена Николаевна, – уходите! Пошлите их всех к черту!

БЕССЕМЁНОВ. Вы, господин! Вы...

ТАТЬЯНА. Да кончится ли это? Петр, уйди!

ПЕТР (*почти кричит*). Отец... смотри! Мать... вот – это моя невеста!

Пауза. Все смотрят на Петра. Потом Акулина Ивановна всплескивает руками и в ужасе смотрит на мужа, Бессемёнов – точно его оттолкнули – подается всем телом назад и наклоняет голову. Татьяна, тяжело вздохнув, медленно, с опущенными вдоль тела руками, идет к пианино.

ТЕТЕРЕВ (*вполголоса*). Ловко выбрал время...

ПЕРЧИХИН (*выступая вперед*). Ну, вот и всё! Вот оно... все разлетаются! Айда, ребяташки, лети из клетки, как птицы в благовещенье...

ЕЛЕНА (*вырывая руку из руки Петра*). Пустите! Я не могу...

ПЕТР (*бормочет*). Теперь все ясно... Сразу...

БЕССЕМЁНОВ (*кланяясь сыну*). Н-ну, спасибо, сынок... за радостное известие...

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*с плачем*). Погубил ты себя, Петенька! Да разве она... она пара...

ПЕРЧИХИН. Она? Петру? Да... что ты! Старуха! Да – чего он стоит?

БЕССЕМЁНОВ (*Елене медленно*). Спасибо и вам, барыня! Теперь, стало быть, – пропал он! Ему бы учиться... а теперь... ловко! Хоть я это и чувствовал... (*Злобно.*) Поздравляю вас с добычей! Петька! Нет тебе благословенья! А ты... ты... поймала? Украла? Кошка... парш...

ЕЛЕНА. Вы не смеете!..

ПЕТР. Отец! Ты... безумный!

ЕЛЕНА. Нет, стойте! Да, это верно! Да, я сама взяла его у вас, сама! Я сама... я первая сама сказала ему... предложила жениться на мне! Вы слышите? Вы, филин? Слышите?... Это я вырвала его у вас! Мне – жалко его! Вы его замучили... вы ржавчина какая-то, не люди! Ваша любовь – это гибель для него! Вы думаете – о, я знаю! – вы думаете, – для себя я сделала это? Ну, думайте... ох! как я вас ненавижу!

ТАТЬЯНА. Лена! Лена! Что ты?

ПЕТР. Елена... идемте!

ЕЛЕНА. Знаете, я еще, может быть, – не обвенчаюсь с ним! Вы рады, да? О, это очень может быть! Вы – не пугайтесь прежде время! Я буду так, просто жить с ним... без венца... но вам – не дам его! Не дам! Вы – более его не станете мучить, нет! И он не придет к вам – никогда! Никогда! никогда!

ТЕТЕРЕВ. Виват! Виват, женщина!

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Ах, батюшки! Отец... что это! Отец...

ПЕТР (*толкая Елену к двери*). Иди... Идите... уходите...

Елена, уходя, увлекает Петра за собой.

БЕССЕМЁНОВ (*беспомощно оглядываясь*). Вот как?.. (*Вдруг громко и быстро, одним резким звуком.*) Полицию зови! (*Топая ногами.*) Долой с квартиры! Завтра же... ах ты!..

ТАТЬЯНА. Папаша! Что вы?

ПЕРЧИХИН (*удивленный, ничего не понимая*). Василь Васильич! Голубь! Что ты это? Чего кричишь? Тебе бы радоваться надо...

ТАТЬЯНА (*подходя к отцу*). Послушайте...

БЕССЕМЁНОВ. А, ты! Ты еще... осталась! Чего ты не уходишь? Уходи и ты... Не с кем? Некуда? Прозевала?

Татьяна, отшатнувшись, отходит быстро к пианино. Акулина Ивановна, растерянная и жалкая, бросается к ней.

ПЕРЧИХИН. Василь Васильич, – брось! Подумай! Учить-ся Петр теперь не будет... на что ему?

Бессемёнов тупо смотрит в лицо Перчихина и кивает головой.

Жить – есть на что ему. Ты денег накопил... Жена – ма-лина-баба... а ты – кричишь, шумишь! Чудак, опомнись!

Тетерев хохочет.

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*воет*). Все покинули! Бросили!

БЕССЕМЁНОВ (*оглядываясь*). Молчи, мать! Воротят-ся... не смеют!.. Куда пойдут? (*Тетереву.*) Ты что тут ска-лишь зубы? Ты! Язва! Дьявол! Долой с квартиры! Завтра же – долой! Вас шайка целая...

ПЕРЧИХИН. Василь Васильич!..

БЕССЕМЁНОВ. Прочь, ты! Несчастный... бродяга...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Таня! Танечка! Милая моя! Хворающая ты, несчастная! Что будет?

БЕССЕМЁНОВ. Ты, дочка, все знала... ты знала все... молчала! Заговор против отца? (*Вдруг как бы испугавшись.*) Ты думаешь... не бросит он ее? бабенку эту? Распутницу...

в жены! Мой сын... проклятые вы люди! Несчастные... беспутные!

ТАТЬЯНА. Оставьте меня! Не дайте мне... возненавидеть...

АКУЛИНА ИВАНОВНА. Доченька! Неудачливая ты моя! Замучили! Всех нас замучили... за что?

БЕССЕМЁНОВ. А кто? Все Нил, разбойник... подлец! И сына он смутил... И дочь страдает! (*Увидав Тетерева, стоящего у шкафа.*) Ты, оборванец, что? Ты что тут? Вон с квартиры!

ПЕРЧИХИН. Василь Васильич! Его за что? Ах ты... с ума свихнулся, старик!

ТЕТЕРЕВ (*спокойно*). Не кричи, старик! Всего, что на тебя идет, ты не разгонишь... И – не беспокойся... Твой сын воротится...

БЕССЕМЁНОВ (*быстро*). Ты... ты почему знаешь?

ТЕТЕРЕВ. Он не уйдет далеко от тебя. Он это временно наверх поднялся, его туда втащили... Но он сойдет... умрешь ты, – он немножко перестроит этот хлев, переставит в нем мебель и будет жить, – как ты, – спокойно, разумно и уютно...

ПЕРЧИХИН (*Бессемёнову*). Видишь? Чудак! Горячка! Человек тебе добра желает... ласковые слова говорит для твоего покою... а ты – орешь! Терентий – он, брат, мудрый человек...

ТЕТЕРЕВ. Он переставит мебель и – будет жить в созна-

нии, что долг свой перед жизнью и людьми отлично выполнил. Он ведь такой же, как и ты...

ПЕРЧИХИН. Две капли воды!

ТЕТЕРЕВ. Совсем такой... труслив и глуп...

ПЕРЧИХИН (*Тетереву*). Постой! Ты что?

БЕССЕМЁНОВ. Ты... говори, а не ругайся... как смеешь!

ТЕТЕРЕВ. И жаден будет в свое время и так же, как ты, – самоуверен и жесток.

Перчихин удивленно смотрит в лицо Тетерева, не понимая – утешает он старика или ругает его. На лице Бессемёнова – тоже недоумение, но речь Тетерева интересна ему.

И даже несчастен будет он вот так же, как ты теперь... Жизнь идет, старик, кто не поспевает за ней, тот остается одиноким...

ПЕРЧИХИН. Чу? Слышишь? Стало быть, – все идет, как надо... а ты сердисься!

БЕССЕМЁНОВ. Постой, отвяжись!

ТЕТЕРЕВ. И так же вот несчастного и жалкого сына твоего не пощадят, скажут ему правду в лицо, как я тебе говорю: «Чего ты ради жил? Что сделал доброго?» И сын твой, как ты теперь, не ответит...

БЕССЕМЁНОВ. Да... ты вот говоришь тут... ты всегда складно говоришь! А что в душе? Нет, я тебе не верю! И – все-таки – съезжай с квартиры! Будет... терпел я вас – до-

вольно! И ты тоже... многое тут внушил... вредное мне...

ТЕТЕРЕВ. Эх, кабы я! Но нет, не я... (*Уходит.*)

БЕССЕМЁНОВ (встряхивая головой). Ну... будем терпеть... ладно! Будем ждать... Всю жизнь терпели... еще будем терпеть! (*Идет в свою комнату.*)

АКУЛИНА ИВАНОВНА (*бежит вслед за мужем*). Отец! Милый ты мой! Несчастные мы! За что нас детки-то? За что казнили? (*Уходит в свою комнату.*)

Перчихин стоит посредине и недоумевающе моргает. Татьяна дикими глазами озирается вокруг, сидя на стуле у пианино. Из комнаты стариков доносится глухой говор.)

ПЕРЧИХИН. Таня! Тань...

Татьяна не смотрит на него, не отвечает.

Таня! Из-за чего они – которые разбежались, которые – плачут? А? (*Смотрит на Татьяну, вздыхает.*) Чудаки! (*Смотрит на дверь в комнату стариков, идет по направлению в сени, качая головой.*) Пойду и я к Терентью... Чудаки!

Татьяна, медленно сгибаясь, облакачивается на клавиши. В комнате раздается нестройный, громкий звук многих струн и – замирает.

Занавес

Ма-аленькая!

...«И была она, браток, телом-ту ма-аленькая!..»

Каждый раз, как я вспоминаю эту фразу, из дали прошлого мне улыбаются две пары подслеповатых, старческих глаз, улыбаются такой тихой, ласковой улыбкой любви, сожаления, и в ушах звучат два надтреснутые голоса, одинаково характерно подчёркивавшие то обстоятельство, что «она» была ма-аленькая!..

И мне делается так хорошо и легко от этого воспоминания, лучшего за все десять месяцев моего хождения пешком по кривым дорогам нашей родины, такой большой и такой печальной...

По пути из Задонска в Воронеж я догнал двух богомольцев – старика и старуху. Обоим им с виду было лет полтора-раста; они шли так медленно и неумело, тяжело двигая ступни по горячей пыли дороги, и оба имели в физиономиях и в одежде еле уловимое нечто; это нечто сразу позволяло заметить, что старики идут издалека.

– Из Тобольской губернии шагам... со господней помощью! – подтвердил старик моё предположение.

А старуха на ходу ласково оглянула меня добрыми, когда-то голубыми глазами и, добродушно улыбаясь, добавила, вздыхая:

– Из самого Н-ского заводу, деревеньки Лысой будем мы с отцом-то!

– То-то, чай, изустали?

– Мы-то? Ничего! Пока двигаемся... ползём божьей милостью!..

– По обету, что ли, али так, старости ради?

– По обету, браток... Обещанье, значит, дали киевским и соловецким угодникам божиим...

– Да... – снова подтвердил старик. – Мать! посядем, вздохнём маленько? – обратился он к спутнице.

– Ну, что ж? – согласилась та.

И вот мы сели в тень от старой придорожной ветлы. День был жаркий, небо безоблачно, впереди и сзади нас извивалась дорога и уходила в дали, завешенные знойной мглой. Кругом было пустынно и тихо. По оба бока дороги неподвижно стояла чахлая рожь.

– Высосали землю-то!.. – сказал старик, подавая мне несколько сорванных колосьев.

Мы заговорили о земле и о жестокой зависимости от неё крестьянской судьбы. Старуха слушала нас и вздыхала, порой вставляя в наши речи хорошее, опытное слово.

– Кабы жива была она, сколько бы нанудила сердечко своё на таком-ту поле! – вдруг сказала старуха, оглянувшись вокруг на полосы низенькой, выгоревшей ржи, испещрённые плешинами.

– Да-а! уж порадела бы... – качнул головой старик. И оба

они вдруг замолчали.

– О ком это вы? – спросил я. Старик добродушно улыбнулся.

– Тут... вспоминаем об одной...

– Стоялка наша была... барышня... – вздохнула старуха.

И вдруг оба они, глядя на меня, точно сговорясь между собой, протянули медленно и жалостно, в унисон друг другу:

– Ма-анинькая така была телом-ту!..

Это было странно и очень больно резнуло меня по сердцу. Нечто заупокойное звучало в их старых голосах... А они вдруг, торопясь и перебивая друг друга, стали рассказывать быстро, что мне, сидевшему среди них, оставалось только поворачивать голову от одного рассказчика к другому.

– Привёз её к нам урядник и сдал, значит, старосте. «Определи её на постой», говорит...

– На квартиру, стало быть, кому-нибудь! – пояснила старуха.

– Её к нам и определили...

– Глядим, – красная вся... дрожит с холоду-то...

– А сама така ма-анинькая...

– Аж в слёзы мы...

– Господи, думаем, куда её такую послали?

– На какую её потребу? За каку такую провинность?..

– А она, слышь ты, отколе-то отсудова...

– Из России, стало быть...

– Мы её первым делом на печь...

– Печь-то у нас бо-ольша... да тё-епла... – сокрушённо вздохнула старуха.

– Ну, потом, значит... кормить её!

– Смеётся!

– Глазёнки-те чё-ерные... как у мыша...

– И вся-то она, как мыша... гладка да кругла...

– Отдышалась... плачет... Спасибо, говорит, родимы!

– И учала вертеть!!

– Уж и начала же!.. – с восхищением выкрикнул старик и засмеялся, сощутив глаза.

– Кататся тебе по избе-то, как клубок, и гоношит, и гоношит... И то, и это... и то поставит так, и это эдак... «Лохань с помоем вон, свиньям, говорит, тащите...» Да сама её ихвати ручонками-те, да осклизнулась... да по плечи руки-те в помои-то будух! Ах ты...

И оба они засмеялись, задыхаясь и кашляя до слёз.

– Поросята опять же...

– Целует их прямо в рыла!..

– «Невозможно, говорит, вон поросёв!»

– В неделю умучила вот как!

– В пот, бывало, вгонит...

– Хохоchet, кричит, ножонками топат...

– А то вдруг потемнится вся, заробет...

– Как умрёт!..

– Да в слёзы... Уж ревит, ревит, так это её сподымя бьёт.

Кружишься, кружишься около-то её... Чего ей? Непонят-

но... Хотя сама плачь. И плачешь, бывало... не знай о чём. Обоймёшь её, да и зальёшься вместе...

– Известно... дитё как бы...

– А живём-то мы одни. Сына в солдаты сдали, а другой на золотых промыслах...

– А ей-то осьмнадцатый, кажись, годок...

– Какое! С виду ежели давать, никак не больше двенадцати...

– Ну, уж ты больно!.. двенадцати!.. тоже!..

– А больше – скажешь?.. Как бы!

– Чего? Девица она была сочная... А што малоросла, так это рази что в упрёк ей?

– А я в упрёк говорю? Эко!

– То-то!.. – добродушно уступила старуха. Поспорив, старики оба и сразу замолчали.

– Ну, а что же дальше? – спросил я.

– Дальше?.. ничего, браток!.. – вздохнул старик.

– Умерла она... Огневица её изожгла, – и по морщинистым щекам потекли две слезинки.

– Да-а, брат, умерла... Два годочка только с нами и пожила... Вся её деревня знала. Чего вся деревня!.. Многие знали. Грамотейка была. На сходы хаживала... Кричит себе, бывало...

– Ничего, умница!..

– А главное дело – душа!.. Ах, ка-акая душа андель-ская!.. Всё-то до неё доходило, всё-то её сердечушко ведало!.. Ба-

рышня ведь как есть городская, в бархатной кофточке... ленточки... башмачки... книжки читает и всё это, а крестьянство понимала, ах, как просто! Всё знала! «Откуда толь ты это, милушка?» – «В книжке, говорит, прописано!..» Н-ну уж!.. Чего бы ей это, зачем? Замуж бы вышла, барыней была, а тут вот заслали, и померла...

– И чудно!.. Учит всех... така-то манинькая!.. да всех это так сурьёзно... То не так, друго не так...

– Грамотница... что толковать... Раделица про всё, да про всех... Где кто болен, – бежит, где кто...

– Умирала-то без памяти... бредила только. «Мама, говорит, мама!..» – жалостно таково...

Поехали было за попом, может, мол, придёт в себя... А она, милушка, не подождала... скончалась.

По лицу старухи текли слёзы, и мне было так хорошо, точно это обо мне плакали...

– Вся деревня собралась к нам... Толкутся на улице и на дворе... Как?!. Как?!. Все её любили, души не чаяли в ней...

– Эх, девчурочка была золотая!.. – вздохнул старик.

– Всем миром и похоронили... А потом к масленой сорок дён вышло, и сообразились... айда-ка, мол, помолимся за неё!.. И суседи тоже... «Чего вы, говорит, и в сам-деле? Идите-тко!

Люди вы, значит, свободные, не рабочие... А ей авось зачтётся». Мы и тронулись.

– Так это вы за неё? – спросил я.

– За неё, девочку, родной, за неё! Авось, мол, господь бог батюшка примет нашу грешну молитву, простит ей! И пошли вот на первой поста, как раз во вторник вышли...

– За неё!.. – повторил я.

– За неё, друг! – подтвердил старик.

Мне хотелось ещё много раз слышать, что, именно, желая помолиться за неё, они прошли тысячи вёрст. На мой взгляд, это было так хорошо, что казалось неправдоподобным. Я подсказывал им другие побудительные причины, желая ещё более убедиться, что они пошли именно «за неё», маленькую девочку с чёрными глазами... И к великому моему удовольствию я, наконец, убедился в этом.

– Неужто пешком всё идёте?

– Нет, куда нам!.. когда и присядем... Поедем с денёк, а потом опять... трудимся помалу.

Стары уж больно мы пешком-ту всё идти... Господь видит, стары... Кабы нам её ножки-то... ну, так ино дело!

И оба они опять вперебой принялись говорить о ней, маленькой девочке, заброшенной судьбой далеко от дома и мамы и умершей от огневицы.

.....

Часа через два мы встали и пошли. Я думал о маленькой девочке, но не мог представить её себе... и мне было до боли обидно это бессилие воображения.

Русский человек плохо умеет представлять себе хорошее,

светлое...

Скоро нас догнал хохол на телеге. Он меланхолично оглянул нас и, приподняв шапку на наш поклон, крикнул старикам:

– Садитесь, подвезу до деревни!

Они сели и исчезли в облаке пыли... Я долго шёл в нём и смотрел, как вдали исчезала телега, увозя стариков, прошедших многие тысячи вёрст, чтоб помолиться о маленькой девочке, которая заставила их полюбить себя...

Сказки об Италии

Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь.

Андерсен

I

В Неаполе забастовали служащие трамвая: во всю длину Ривьеры Кияия вытянулась цепь пустых вагонов, а на площади Победы собралась толпа вагоновожатых и кондукторов – всё веселые и шумные, подвижные, как ртуть, неаполитанцы. Над их головами, над решеткой сада сверкает в воздухе тонкая, как шпага, струя фонтана, их враждебно окружает большая толпа людей, которым надо ехать по делам во все концы огромного города, и все эти приказчики, мастеровые, мелкие торговцы, швеи сердито и громко порицают забастовавших. Звучат сердитые слова, колкие насмешки, непрерывно мелькают руки, которыми неаполитанцы говорят так же выразительно и красноречиво, как и неугомонным языком.

С моря тянет легкий бриз, огромные пальмы городского сада тихо качают веерами темно-зеленых ветвей, стволы их странно подобны неуклюжим ногам чудовищных слонов. Мальчишки – полуголые дети неаполитанских улиц – скачут,

точно воробы, наполняя воздух звонкими криками и смехом.

Город, похожий на старую гравюру, щедро облит жарким солнцем и весь поет, как орган; синие волны залива бьют в камень набережной, вторя ропоту и крикам гулками ударами, – точно бубен гудит.

Забастовщики угрюмо жмутся друг ко другу, почти не отвечая на раздраженные возгласы толпы, влезают на решетку сада, беспокойно поглядывая в улицы через головы людей, и напоминают стаю волков, окруженную собаками. Всем ясно, что эти люди, однообразно одетые, крепко связаны друг с другом непоколебимым решением, что они не уступят, и это еще более раздражает толпу, но среди нее есть и философы: спокойно покуривая, они увещевают слишком ретивых противников забастовки:

– Э, синьор! А как быть, если не хватает детям на макароны?

Группами, по два и по три, стоят щеголевато одетые агенты муниципальной полиции, следя за тем, чтобы толпа не затрудняла движения экипажей. Они строго нейтральны, с одинаковым спокойствием смотрят на порицаемых и порицающих и добродушно вышучивают тех и других, когда жесты и крики принимают слишком горячий характер. На случай серьезных столкновений в узкой улице вдоль стен домов стоит отряд карабинеров,⁴ с коротенькими и легкими ружья-

⁴ Карабинер – солдат или офицер военной полиции, выполняющей функции

ми в руках. Это довольно зловещая группа людей в треуголках, коротеньких плащах, с красными, как две струи крови, лампасами на брюках.

Перебранка, насмешки, упреки и увещевания – всё вдруг затихает, над толпой проносится какое-то новое, словно примиряющее людей веяние, – забастовщики смотрят угрюмое и, в то же время, сдвигаются плотнее, в толпе раздаются возгласы:

– Солдаты!

Слышен насмешливый и ликующий свист по адресу забастовщиков, раздаются крики приветствий, а какой-то толстой человек, в легкой серой паре и в панаме, начинает приплясывать, топая ногами по камню мостовой. Кондуктора и вагоновожатые медленно пробираются сквозь толпу, идут к вагонам, некоторые влезают на площадки, – они стали еще угрюмое и в ответ на возгласы толпы – сурово огрызаются, заставляя уступать им дорогу. Становится тише.

Легким танцующим шагом с набережной Санта Лючия идут маленькие серые солдатики, мерно стуча ногами и механически однообразно размахивая левыми руками. Они кажутся сделанными из жести и хрупкими, как заводные игрушки. Их ведет красивый высокий офицер, с нахмуренными бровями и презрительно искривленным ртом, рядом с ним, подпрыгивая, бежит тучный человек в цилиндре и неустанно говорит что-то, рассекая воздух бесчисленными

жестами.

Толпа отхлынула от вагонов – солдаты, точно серые бусы, рассылаются вдоль их, останавливаясь у площадок, а на площадках стоят забастовщики.

Человек в цилиндре и еще какие-то солидные люди, окружившие его, отчаянно размахивая руками, кричат:

– Последний раз... *Ultima volta!*⁵ Слышите?

Офицер скучно крутит усы, наклонив голову; к нему, взмахнув цилиндром, подбегает человек и хрипло кричит что-то. Офицер искоса взглянул на него, выпрямился, выправил грудь, и – раздались громкие слова команды.

Тогда солдаты стали прыгать на площадки вагонов, на каждую по два, и в то же время оттуда посыпались вагоновожатые с кондукторами.

Толпе показалось это смешным – вспыхнул рев, свист, хохот, но тотчас – погас, и люди молча, с вытянутыми, поседевшими лицами, изумленно вытаращив глаза, начали тяжело отступать от вагонов, всей массой подвигаясь к первому.

И стало видно, что в двух шагах от его колес, поперек рельс, лежит, сняв фуражку с седой головы, вагоновожатый, с лицом солдата, он лежит вверх грудью, и усы его грозно торчат в небо. Рядом с ним бросился на землю еще маленький, ловкий, как обезьянка, юноша, вслед за ним, не торопясь, опускаются на землю еще и еще люди...

Толпа глухо гудит, раздаются голоса, пугливо зовущие

⁵ Последний раз! (*Итал.*).

мадонну, некоторые мрачно ругаются, взвизгивают, стонут женщины, и, как резиновые мячи, всюду прыгают пораженные зрелищем мальчишки.

Человек в цилиндре орет что-то рыдающим голосом, офицер смотрит на него и пожимает плечами, – он должен заместить вагоновожатых своими солдатами, но у него нет приказа бороться с забастовавшими.

Тогда цилиндр, окруженный какими-то угодливыми людьми, бросается в сторону карабинеров, – вот они тронулись, подходят, наклоняются к лежащим на рельсах, хотят поднять их.

Началась борьба, возня, но – вдруг вся серая, пыльная толпа зрителей покачнулась, взревела, взвыла, хлынула на рельсы, – человек в панаме сорвал с головы свою шляпу, подбросил ее в воздух и первый лег на землю рядом с забастовщиком, хлопнув его по плечу и крича в лицо его ободряющим голосом.

А за ним на рельсы стали падать точно им ноги подрезали – какие-то веселые шумные люди, люди, которых не было здесь за две минуты до этого момента. Они бросались на землю, смеясь, строили друг другу гримасы и кричали офицеру, который, потрясая перчатками под носом человека в цилиндре, что-то говорил ему, усмехаясь, встряхивая красивой головой.

А на рельсы всё сыпались люди, женщины бросали свои корзины и какие-то узлы, со смехом ложились мальчишки,

свертываясь калачиком, точно озябшие собаки, перекатывались с боку на бок, пачкаясь в пыли, какие-то прилично одетые люди.

Пятеро солдат с площадки первого вагона смотрели вниз на груды тел под колесами и – хохотали, качаясь на ногах, держась за стойки, закидывая головы вверх и выгибаясь, теперь – они не похожи на жестяные заводные игрушки.

...Через полчаса по всему Неаполю с визгом и скрипом мчались вагоны трамвая, на площадках стояли, весело ухмыляясь, победители, и вдоль вагонов ходили они же, вежливо спрашивая:

– Бильетти?!

Люди, протягивая им красные и желтые бумажки, подмигивают, улыбаются, добродушно ворчат.

II

В Генуе, на маленькой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа – преобладают рабочие, но много солидно одетых, хорошо откормленных людей. Во главе толпы – члены муниципалитета, над их головами колышется тяжелое, искусно вышитое шелком знамя города, а рядом с ним реют разноцветные знамена рабочих организаций. Блестит золото кистей, бахромы и шнурков, блестят копыя на древках, шелестит шелк, и гудит, как хор, поющий вполголоса, торжественно настроенная толпа людей.

Над нею, на высоком пьедестале – фигура Колумба, мечтателя, который много пострадал за то, что верил, и – победил, потому что верил. Он и теперь смотрит вниз на людей, как бы говоря мраморными устами:

«Побеждают только верующие».

У ног его, вокруг пьедестала, музыканты разложили медные трубы, медь на солнце сверкает, точно золото.

Вогнутым полукругом стоит тяжелое мраморное здание вокзала, раскинув свои крылья, точно желая обнять людей. Из порта доносится тяжкое дыхание пароходов, глухая работа винта в воде, звон цепей, свистки и крики – на площади тихо, душно в всё облито жарким солнцем. На балконах и в окнах домов – женщины, с цветами в руках, празднично одетые фигурки детей, точно цветы.

Свистит, подбегая к станции, локомотив – толпа дрогнула, точно черные птицы, взлетело над головами несколько измятых шляп, музыканты берут трубы, какие-то серьезные, пожилые люди, охорашиваясь, выступают вперед, обращаются лицом к толпе и говорят что-то, размахивая руками вправо и влево.

Тяжело и не торопясь толпа расступилась, очистив широкий проход в улицу.

– Кого встречают?

– Детей из Пармы!

Там забастовка, в Парме. Хозяева не уступают, рабочим стало трудно, и вот они, собрав своих детей, уже начавших хворать от голода, отправили их товарищам в Геную.

Из-за колонн вокзала идет стройная процессия маленьких людей, они полуодеты и кажутся мохнатыми в своих лохмотьях, мохнатыми, точно какие-то странные зверьки. Идут, держась за руки, по пяти в ряд – очень маленькие, пыльные, видимо, усталые. Их лица серьезные, но глаза блестят живо и ясно, и когда музыка играет встречу им гимн Гарибальди,⁶ – по этим худеньким, острым и голодным личикам пробегает, веселую рябью, улыбка удовольствия.

Толпа приветствует людей будущего оглушительным криком, пред ними склоняются знамена, ревет медь труб, оглушающая и ослепляющая детей, – они несколько ошеломлены этим

⁶ Походный марш волонтеров-краснорубашечников Дж. Гарибальди в период войны за освобождение Италии. Написан в 1860 г.

приемом, на секунду подаются назад и вдруг – как-то сразу вытянулись, выросли, сгрудились в одно тело и сотнями голосов, но звуком одной груди, крикнули:

– Viva Italia!⁷

– Да здравствует молодая Парма! – гремит толпа, опрокидываясь на них.

– Evviva Garibaldi!⁸ – кричат дети, серым клином врезаясь в толпу и исчезая в ней.

В окнах отелей, на крышах домов белыми птицами трепещут платки, оттуда сыплется на головы людей дождь цветов и веселые, громкие крики.

Всё стало праздничным, всё ожило, и серый мрамор расцвел какими-то яркими пятнами.

Качаются знамена, летят шляпы и цветы, над головами взрослых людей выросли маленькие детские головки, мелькают крошечные темные лапы, ловя цветы и приветствуя, и всё гремит в воздухе непрерывный мощный крик!

– Viva il Socialismo!⁹

– Evviva Italia!

Почти все дети расхватаны по рукам, они сидят на плечах взрослых, прижаты к широким грудям каких-то суровых усатых людей; музыка едва слышна в шуме, смехе и криках.

В толпе ныряют женщины, разбирая оставшихся приез-

⁷ Да здравствует Италия! (*Итал.*).

⁸ Да здравствует Гарибальди! (*Итал.*).

⁹ Да здравствует социализм! (*Итал.*)

жих, и кричат друг другу:

– Вы берете двоих, Аннита?

– Да. Вы тоже?

– И для безногой Маргариты одного...

Всюду веселое возбуждение, праздничные лица, влажные добрые глаза, и уже кое-где дети забастовщиков жуют хлеб.

– В наше время об этом не думали! – говорит старик с птичьим носом и черной сигарой в зубах.

– А – так просто...

– Да! Это просто и умно.

Старик вынул сигару изо рта, посмотрел на ее коней и, вздохнув, стряхнул пепел. А потом, увидав около себя двух ребят из Пармы, видимо, братьев, сделал грозное лицо, ошетинился, – они смотрели на него серьезно, – нахлобучил шляпу на глаза, развел руки, дети, прижавшись друг ко другу, нахмурились, отступая, старик вдруг присел на корточки и громко, очень похоже, пропел петухом. Дети захохотали, топая голыми пятками по камням, а он – встал, поправил шляпу и, решив, что сделал всё, что надо, покачиваясь на неверных ногах, отошел прочь..

Горбатая и седая женщина с лицом бабы-яги и жесткими серыми волосами на костлявом подбородке стоит у подножия статуи Колумба и – плачет, отирая красные глаза концом выцветшей шали. Темная и уродливая, она так странно одинока среди возбужденной толпы людей...

Приплясывая, идет черноволосая гемуэзка, ведя за руку

человека лет семи от роду, в деревянных башмаках и серой шляпе до плеч. Он встряхивает головой, чтобы сбросить шляпу на затылок, а она всё падает ему на лицо, женщина срывает ее с маленькой головы и, высоко взмахнув ею, что-то поет и смеется, мальчуган смотрит на нее, закинув голову, – весь улыбка, потом подпрыгивает, желая достать шляпу, и оба они исчезают.

Высокий человек в кожаном переднике, с голыми огромными руками, держит на плече девочку лет шести, серенькую, точно мышь, и говорит женщине, идущей рядом с ним, ведя за руку мальчугана, рыжего, как огонь:

– Понимаешь, – если это привьется... Нас трудно будет одолеть, а?

И густо, громко, торжествующе хохочет и, подбрасывая свою маленькую ношу в синий воздух, кричит:

– Evviva Parma-a!¹⁰

Люди уходят, уводя и унося с собою детей, на площади остаются смятые цветы, бумажки от конфет, веселая группа факино¹¹ и над ними благородная фигура человека, открывшего Новый Свет.

А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые крики людей, идущих встречу новой жизни.

¹⁰ Да здравствует Парма! (*Итал.*)

¹¹ Факино – грузчик, носильщик.

III

Душный полдень, где-то только что бухнула пушка¹² – мягкий, странный звук, точно лопнуло огромное гнилое яйцо. В воздухе, потрясенном взрывом, едкие запахи города стали ощутимее, острее пахнет оливковым маслом, чесноком, вином и нагретою пылью.

Жаркий шум южного дня, покрытый тяжелым вздохом пушки, на секунду прижался к нагретым камням мостовых и, снова вскинувшись над улицами, потек в море широкой мутной рекой.

Город – празднично ярок и пестр, как богато расшитая риза священника; в его страстных криках, трепете и столах богослужебно звучит пение жизни. Каждый город – храм, возведенный трудами людей, всякая работа – молитва Будущему.

Солнце – в зените, раскаленное синее небо ослепляет, как будто из каждой его точки на землю, на море падает огненно-синий луч, глубоко вонзаясь в камень города и воду. Море блестит, словно шелк, густо расшитый серебром, и, чуть касаясь набережной сонными движениями зеленоватых теплых волн, тихо поет мудрую песню об источнике жизни и счастья – солнце.

Пыльные, потные люди, весело и шумно перекликаясь,

¹² В некоторых городах Италии полдень отмечается орудийным выстрелом.

бегут обедать, многие спешат на берег и, быстро сбросив серые одежды, прыгают в море, – смуглые тела, падая в воду, тотчас становятся до смешного маленькими, точно темные крупинки пыли в большой чаше вина.

Шелковые всплески воды, радостные крики освеженного тела, громкий смех и визг ребятишек – всё это и радужные брызги моря, разбитого прыжками людей, – вздымается к солнцу, как веселая жертва ему.

На тротуаре в тени большого дома сидят, готовясь обедать, четверо мостовщиков – серые, сухие и крепкие камни. Седой старик, покрытый пылью, точно пеплом осыпан, прищутив хищный, зоркий глаз, режет ножом длинный хлеб, следя, чтобы каждый кусок был не меньше другого. На голове у него красный вязаный колпак с кистью, она падает ему на лицо, старик встряхивает большой, апостольской головою, и его длинный нос попугая сопит, раздуваются ноздри.

Рядом с ним на теплых камнях лежит, вверх грудью, бронзовый и черный, точно жук, молодец; на лицо ему прыгают крошки хлеба, он лениво щурит глаза и поет что-то вполголоса, – точно сквозь сон. А еще двое сидят, прислонясь спинами к белым стенам дома, и дремлют.

К ним идет мальчик с фьяской¹³ вина в руке и небольшим узлом в другой, идет, вскинув голову, и кричит звонко, точно птица, не видя, что сквозь солому, которой обернута бу-

¹³ Фьяска – оплетенная соломой бутылка для вина.

тылка, падают на землю, кроваво сверкая, точно рубины, тяжелые капли густого вина.

Старик заметил это, положил хлеб и нож на грудь юноши, тревожно махая рукою, зовет мальчика:

– Скорее, слепой! Смотри – вино!

Мальчик приподнял фьяску в уровень с лицом, ахнул и быстро подбежал к мостовщикам – они все зашевелились, взволнованно закричали, ощупывая фьяску, а мальчишка стрелою умчался куда-то во двор и столь же быстро выскочил оттуда с большим желтым блюдом в руках.

Блюдо поставили на землю, и старик внимательно льет в него красную живую струю, – четыре пары глаз любуются игрою вина на солнце, сухие губы людей жадно вздрагивают.

Идет женщина в бледно-голубом платье, на ее черных волосах золотистый кружевной шарф, четко стучат высокие каблуки коричневых ботинок. Она ведет за руку маленькую кудрявую девочку; размахивая правой рукой с двумя цветками алой гвоздики в ней, девочка качается на ходу, распевая:

– О, ма, о, ма, о, миа ма-а...¹⁴

Остановясь за спиною старого мостовщика, замолчала, приподнялась на носки и через плечо старика серьезно смотрит, как течет вино в желтую чашу, течет и звучит, точно продолжая ее песню.

Девочка освободила руку из руки женщины, оборвала лепестки цветов и, высоко подняв ручонку, темную, точно

¹⁴ О, ма, о, ма, о, mia ma-a... – О, ма, о, ма, о моя ма-а... (Итал.).

крыло воробья, бросила алые цветы в чашу вина.

Четверо людей вздрогнули, сердито вскинули пыльные головы – девочка била в ладоши и смеялась, притопывая маленькими ногами, сконфуженная мать ловила ее руку, что-то говоря высоким голосом, мальчишка – хохотал, перегибаясь, а в чаше, по темному вину, точно розовые лодочки, плавали лепестки цветов.

Старик достал откуда-то стакан, зачерпнул вина вместе с цветами, тяжело поднялся на колени и, поднося стакан ко рту, успокоительно, серьезно сказал:

– Ничего, синьора! Дар ребенка – дар бога... Ваше здоровье, красивая синьора, и твое тоже, дитя! Будь красивой, как мать, и вдвое счастлива...

Сунул седые усы в стакан, прищурил глаза и медленными глотками, почмокивая, шевеля кривым носом, высосал темную влагу.

Мать, улыбаясь и кланяясь, пошла прочь, ведя девочку за руку, а та качалась, шаркая ножонками по камню, и кричала, щурясь:

– О, ма-а... о, миа, миа-а...

Мостовщики, устало поворачивая головы, смотрят на вино и вслед девочке, смотрят и, улыбаясь, быстрыми языками южан что-то говорят друг другу.

А в чаше, на поверхности темно-красного вина, качаются алые лепестки цветов.

Поет море, гудит город, ярко сверкает солнце, творя сказ-

КИ.

IV

Синее спокойное озеро в глубокой раме гор, окрыленных вечным снегом, темное кружево садов пышными складками опускается к воде, с берега смотрят в воду белые дома, кажется, что они построены из сахара, и все вокруг похоже на тихий сон ребенка.

Утро. С гор ласково течет запах цветов, только что взошло солнце; на листьях деревьев, на стеблях трав еще блестит роса. Серая лента дороги брошена в тихое ущелье гор, дорога мощена камнем, но кажется мягкой, как бархат, хочется погладить ее рукою.

Около груды щебня сидит черный, как жук, рабочий, на груди у него медаль, лицо смелое и ласковое.

Положив бронзовые кисти рук на колена свои, приподняв голову, он смотрит в лицо прохожего, стоящего под каштаном, говоря ему:

– Это, синьор, медаль за работу в Симплонском туннеле.¹⁵

И, опустив глаза на грудь, ласково усмехается красивому куску металла.

– Э, всякая работа трудна, до времени, пока ее не полюбишь, а потом – она возбуждает и становится легче. Все-таки – да, было трудно!

¹⁵ Симплонский туннель – туннель, соединяющий Швейцарию и Италию; проложен в Альпах в 1898–1906 годах.

Он тихонько покачал головой, улыбаясь солнцу, внезапно оживился, взмахнул рукою, черные глаза заблестели.

– Было даже страшно, иногда. Ведь и земля должна что-нибудь чувствовать – не так ли? Когда мы вошли в нее глубоко, прорезав в горе эту рану, – земля там, внутри, встретила нас сурово. Она дышала на нас жарким дыханием, от него замирало сердце, голова становилась тяжелой и болели кости, – это испытано многими! Потом она сбрасывала на людей камни и обливала нас горячей водой; это было очень страшно! Порою, при огне, вода становилась красной, и отец мой говорил мне: «Ранили мы землю, потопит, сожжет она всех нас своего кровью, завидишь!» Конечно, это фантазия, но когда такие слова слышишь глубоко в земле, среди душевной тьмы, плачевного хлюпанья воды и скрежета железа о камень, – забываешь о фантазиях. Там всё было фантастично, дорогой синьор; мы, люди, – такие маленькие, и она, эта гора, – до небес, гора, которой мы сверлили чрево... это надо видеть, чтоб понять! Надо видеть черный зев, прорезанный нами, маленьких людей, входящих в него утром, на восходе солнца, а солнце смотрит печально вслед уходящим в недра земли, – надо видеть машины, угрюмое лицо горы, слышать темный гул глубоко в ней и эхо взрывов, точно хохот безумного.

Он осмотрел свои руки, поправил на синей куртке жетон, тихонько вздохнул.

– Человек – умеет работать! – продолжал он с гордостью. –

О, синьор, маленький человек, когда он хочет работать, – непобедимая сила! И поверьте: в конце концов этот маленький человек сделает все чего хочет. Мой отец сначала не верил в это.

– «Прорезать гору насквозь из страны в страну, – говорил он, – это против бога, разделившего землю стенами гор, – бы увидите, что мадонна будет не с нами!» Он ошибся, мадонна со всеми, кто любит ее. Позднее отец тоже стал думать почти так же, как вот я говорю вам, потому что почувствовал себя выше, сильнее горы; но было время, когда он по праздникам, сидя за столом перед бутылкой вина, внушал мне и другим:

– «Дети бога», – это любимая его поговорка, потому что он был добрый и религиозный человек, – «дети бога, так нельзя бороться с землей, она отомстит за свои раны и останется непобежденной! Вот вы увидите: просверлим мы гору до сердца, и когда коснемся его, – оно сожжет нас, бросит в нас огонь, потому что сердце земли – огненное, это знают все! Возделывать землю – это так, помогать ее родам – нам заповедано, а мы искажаем ее лицо, ее формы. Смотрите: чем дальше врываемся мы в гору, тем горячее воздух и труднее дышать»...

Человек тихонько засмеялся, подкручивая усы пальцами обеих рук.

– Не один он думал так, и это верно было: чем дальше – тем горячее в туннеле, тем больше хворало и падало в землю людей. И всё сильнее текли горячие ключи, осыпалась поро-

да, а двое наших, из Лугано, сошли с ума. Ночами в казарме у нас многие бредили, стонали и вскакивали с постелей в некоем ужасе...

– «Разве я не прав?» – говорил отец, со страхом в глазах и кашляя всё чаще, глуше... – «Разве я не прав? – говорил он. – Это непобедимо, земля!»

– И наконец – лег, чтобы уже не встать никогда. Он был крепок, мой старик, он больше трех недель спорил со смертью, упорно, без жалоб, как человек, который знает себе цену.

– «Моя работа – кончена, Паоло, – сказал он мне однажды ночью. – Береги себя и возвращайся домой, да сопутствует тебе мадонна!» Потом долго молчал, закрыв глаза, задыхаясь.

Человек встал на ноги, оглядел горы и потянулся с такой силою, что затрещали сухожилия.

– Взял за руку меня, привлек к себе и говорит – святая правда, синьор! – «Знаешь, Паоло, сын мой, я все-таки думаю, что это совершится: мы и те, что идут с другой стороны,¹⁶ найдем друг друга в горе, мы встретимся – ты веришь в это?»

Я – верил.

– «Хорошо, сын мой! Так и надо: всё надо делать с верой в благостный исход и в бога, который помогает, молитвами мадонны, добрым делам. Я прошу тебя, сын, если это слу-

¹⁶ Швейцарцы.

чится, если сойдутся люди – приди ко мне на могилу и скажи: отец – сделано! Чтобы я знал!»

– Это было хорошо, дорогой синьор, и я обещал ему. Он умер через пять дней после этих слов, а за два дня до смерти просил меня и других, чтоб его зарыли там, на месте, где он работал в туннеле, очень просил, но это уже бред, я думаю...

– Мы и те, что шли с другой стороны, встретились в горе через тринадцать недель после смерти отца – это был безумный день, синьор! О, когда мы услышали там, под землю, во тьме, шум другой работы, шум идущих встречу нам под землю – вы поймите, синьор, – под огромною тяжестью земли, которая могла бы раздавить нас, маленьких, всех сразу!

– Много дней слышали мы эти звуки, такие гулкие, с каждым днем они становились всё понятнее, яснее, и нами овладевало радостное бешенство победителей – мы работали, как злые духи, как бесплотные, не ощущая усталости, не требуя указаний, – это было хорошо, как танец в солнечный день, честное слово! И все мы стали так милы и добры, как дети. Ах, если бы вы знали, как сильно, как нестерпимо страстно желание встретить человека во тьме, под землей, куда ты, точно крот, врывается долгие месяцы!

Он весь вспыхнул, подошел вплоть к слушателю и, заглядывая в глаза ему своими глубокими человеческими глазами, тихо и радостно продолжал:

– А когда наконец рушился пласт породы, и в отверстии засверкал красный огонь факела, и чье-то черное, облитое

слезами радости лицо, и еще факелы и лица, и загремели крики победы, крики радости, – о, это лучший день моей жизни, и, вспоминая его, я чувствую – нет, я не даром жил! Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам! И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю грудью, целовали ее, плакали – и это было так хорошо, как сказка! Да, целовали побежденную гору, целовали землю – в тот день особенно близка и понятна стала она мне, синьор, и полюбил я ее, как женщину!

– Конечно, я пошел к отцу, о да! Конечно, – хотя я знаю, что мертвые не могут ничего слышать, но я пошел: надо уважать желания тех, кто трудился для нас и не менее нас страдал, – не так ли?

– Да, да, я пошел к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал, – как он желал этого:

– «Отец – сделано! – сказал я. – Люди – победили, Сделано, отец!»

V

Молодой музыкант, пристально глядя в даль черными глазами, тихонько говорил:

– Музыка, которую я хотел бы написать, такова:

«По дороге к большому городу не спеша идет мальчик.

Город лег на землю тяжелыми грудями зданий, прижался к ней и стонет и глухо ворчит. Издали кажется, как будто он – только что разрушен пожаром, ибо над ним еще не угасло кровавое пламя заката и кресты его церквей, вершины башен, флюгера – раскалены докрасна.

Края черных туч тоже в огне, на красных пятнах злоеще рисуются угловатые куски огромных строений; там и тут, точно раны, сверкают стекла; разрушенный, измученный город – место неутомимого боя за счастье – истекает кровью, и она дымится, горячая, желтоватым удушливым дымом.

Мальчик идет в сумраке поля по широкой серой ленте дороги; прямая, точно шпага, она вонзается в бок города, неуклонно направленная могучей незримой рукою. Деревья по сторонам ее, точно незажженные факелы, их черные большие кисти неподвижны над молчаливою, чего-то ожидающей землей.

Небо покрыто облаками, звезд не видно, теней нет; поздний вечер печален и тих, только медленные и легкие шаги мальчика едва слышны в сумеречном, утомленном молча-

нии засыпающих полей.

А вслед мальчику бесшумно идет ночь, закрывая черною мантией забвения даль, откуда он вышел.

Сгущаясь, сумрак прячет в теплом объятии своем покорно приникшие к земле белые и красные дома, сиротливо разбросанные по холмам. Сады, деревья, трубы – всё вокруг чернеет, исчезает, раздавленное тьмою ночи, – точно пугаясь маленькой фигурки с палкой в руке, прячась от нее или играя с нею.

Он же идет молча и спокойно смотрит на город, не ускоряя шага, одинокий, маленький, словно несущий что-то необходимое, давно ожидаемое всеми там, в городе, где уже тревожно загораются встречу ему голубые, желтые и красные огни.

Закат – погас. Расплавилась, исчезли кресты, флюгера и железные вершины башен, город стал ниже, меньше и плотнее прижался к немой земле.

Над ним вспыхнуло и растет опаловое облако, фосфорический, желтоватый туман неравномерно лег на серую сеть тесно сомкнутых зданий. Теперь город не кажется разрушенным огнем и облитым кровью, – неровные линии крыш и стен напоминают что-то волшебное, но – недостроенное, неоконченное, как будто тот, кто затеял этот великий город для людей, устал и спит, разочаровался и, бросив всё, – ушел или потерял веру и – умер.

А город – живет и охвачен томительным желанием видеть

себя красиво и гордо поднятым к солнцу. Он стонет в бреду многогранных желаний счастья, его волнует страстная воля к жизни, и в темное молчание полей, окруживших его, текут тихие ручьи приглушенных звуков, а черная чаша неба всё полнее и полней наливается мутным, тоскующим светом.

Мальчик остановился, взмахнул головой, высоко подняв брови, спокойно, смелыми глазами смотрит вперед и, покачавшись, пошел быстрее.

И ночь, следуя за ним, тихо, ласковым голосом матери сказала ему:

– Пора, мальчик, иди! Они – ждут...»

– ...Это, конечно, невозможно написать! – задумчиво улыбаясь, сказал молодой музыкант.

Потом, помолчав, сложил руки ладонями и воскликнул, негромко, тревожно и любовно:

– Пречистая дева Мария! Что его встретит?

VI

В синем небе полудня тает солнце, обливая воду и землю жаркими лучами разных красок. Море дремлет и дышит опаловым туманом, синеватая вода блестит сталью, крепкий запах морской соли густо льется на берег.

Звенят волны, лениво оплескивая груду серых камней, перекатываются через их ребра, шуршат мелкою галькой; гребни волн невысоки, прозрачны, как стекло, и пены нет на них.

Гора окутана лиловой дымкой зноя, седые листья олив на солнце – как старое серебро, на террасах садов, одевших гору, в темном бархате зелени сверкает золото лимонов, апельсин, ярко улыбаются алые цветы гранат, и всюду цветы, цветы.

Любит солнце эту землю...

В камнях два рыбака: один – старик, в соломенной шляпе, с толстым лицом в седой щетине на щеках, губах и подбородке, глаза у него заплыли жиром, нос красный, руки бронзовые от загара. Высунув далеко в море гибкое удилище, он сидит на камне, свесив волосатые ноги в зеленую воду, волна, подпрыгнув, касается их, с темных пальцев падают в море тяжелые светлые капли.

За спиной старика стоит, опираясь локтем о камень, черноглазый смугляк, стройный и тонкий, в красном колпаке на голове, в белой фуфайке на выпуклой груди и в синих шта-

нах, засученных по колени. Он щиплет пальцами правой руки усы и задумчиво смотрит в даль моря, где качаются черные полоски рыбацких лодок, а далеко за ними чуть виден белый парус, неподвижно тающий в зное, точно облако.

– Богатая синьора? – сильным голосом спрашивает старик, безуспешно подсекая.

Юноша тихо ответил:

– Мне кажется – да! Такая брошь, с большим синим камнем, серьги, и много колец, и часы... Думаю – американка...

– И красива?

– О да! Очень тонкая – правда, но такие глаза, как цветы, и – знаешь – маленький, немного открытый рот...

– Это – рот честной женщины и такой, что любит однажды в жизни.

– Так и мне кажется...

Старик взмахнул удилищем, посмотрел, прищурив глаз, на пустой крючок и заворчал, усмехаясь:

– Рыба не глупее нас, нет...

– Кто же ловит в полдень? – спросил юноша, опускаясь на корточки.

– Я, – сказал старик, насаживая наживу. И, закинув лесу далеко в море, спросил:

– Катались до утра, ты сказал?

– Уже всходило солнце, когда мы вышли на берег, – охотно ответил молодой, глубоко вздохнув.

– Двадцать лир?

– Да.

– Она могла дать больше.

– Она много могла дать...

– О чем же говорил ты с нею?

Юноша печально и с досадой опустил голову.

– Она знает не более десяти слов, и мы молчали...

– Истинная любовь, – сказал старик, оборотись и обнажая широкой улыбкой белые зубы, – бьет в сердце, как молния, и нема, как молния, – знаешь?

Подняв большой камень, юноша хотел бросить его в море, размахнулся и – бросил назад, через плечо, говоря:

– Иногда совсем не понимаешь – зачем нужны людям разные языки?

– Говорят – этого не будет когда-то! – подумав, заметил старик.

На синей скатерти моря, в молочном тумане дали, скользит бесшумно, точно тень облака, белый пароход.

– В Сицилию! – сказал старик, кивая головой.

Достал откуда-то длинную и неровную черную сигару, разломил ее и, подавая через плечо одну половинку юноше, спросил:

– Что же ты думал, сидя с нею?

– Человек всегда думает о счастье...

– Оттого он и глуп всегда! – спокойно вставил старик.

Закурили. Синие струйки дыма потянулись над камнями в безветренном воздухе, полном сытного запаха плодород-

ной земли и ласковой воды.

– Я ей пел, а она улыбалась...

– И?

– Но ты знаешь – я плохо пою.

– Да.

– Потом я опустил весла и смотрел на нее.

– Эге?

– Смотрел, говоря про себя: «Вот я, молодой и сильный, а тебе – скучно, полюби меня и дай мне жить хорошей жизнью!..»

– Ей – скучно?

– Кто ж поедет в чужую страну, если он не беден и ему весело?

– Браво!

– «Обещаю именем девы Марии, – думал я, – что буду добр с тобою и всем людям будет хорошо около нас...»

– Экко! – воскликнул старик, вскинув большую голову, и засмеялся басовитым смехом.

– «Буду верен тебе всегда...»

– Гм...

– Или – думал: «Поживем немного, я буду тебя любить, сколько ты захочешь, а потом ты дашь мне денег на лодку, снасти и на кусок земли, я ворочусь тогда в свой добрый край и всегда, всю жизнь буду хорошо помнить о тебе...»

– Это – не глупо...

– Потом, к утру – думал уже – что, пожалуй, ничего не

надобно мне, не нужно денег, а только ее, хотя бы на одну эту ночь...

– Так – проще...

– На одну только ночь!..

– Экко! – сказал старик.

– Мне кажется, дядя Пьетро, что маленькое счастье – всегда честнее...

Старик молчал, поджав толстые бритые губы и пристально глядя в зеленую воду, а юноша тихонько и печально запел:

О, солнце мое...

– Да, да, – вдруг сказал старик, покачивая головой, – маленькое счастье – честнее, а большое – лучше... Бедные люди – красивее, а богатые – сильнее... И так всё... всё так!

Шуршат и плещут волны. Синие струйки дыма плавают над головами людей, как нимбы. Юноша встал на ноги и тихо поет, держа сигару в углу рта. Он прислонился плечом к серому боку камня, скрестил руки на груди и смотрит в даль моря большими глазами мечтателя.

А старик – неподвижен, он опустил голову и, кажется, дремлет.

Лиловые тени в горах становятся гуще и ласковее.

– О, солнце мое! – поет юноша...!

Родилось солнце

Еще прекрасней,

Еще прекраснее, чем ты!

О, солнце, солнце!

Свети на грудь мою!..

Звонят веселые зеленые волны.

VII

На маленькой станции между Римом и Генуей кондуктор открыл дверь купе и, при помощи чумазого смазчика, почти внес к нам маленького кривого старика.

– Очень стар! – в голос сказали они, добродушно улыбаясь.

Но старик оказался бодрым; поблагодарив помогавших ему жестом сморщенной руки, он вежливо и весело приподнял с седой головы изломанную шляпу и, оглянув диваны зорким глазом, спросил:

– Позвольте?

Ему дали место, он сел, вздохнул облегченно и, положив руки на острые колени, добродушно улыбнулся беззубым ртом.

– Далеко, дед? – спросил мой товарищ.

– О, только три станции! – охотно ответил кривой. – На свадьбу внука еду...

И через несколько минут словоохотливо рассказывал под шум колес поезда, качаясь, точно надломленная ветвь в ненастный день:

– Я – лигуриец, мы все очень крепкие, лигурийцы. Вот у меня тринадцать сыновей, четыре дочери, я уже сбиваюсь, считая внуков, это второй женится – хорошо, не правда ли?

И, гордо посмотрев на всех выцветшим, но еще веселым

глазом, он тихонько засмеялся, говоря:

– Вот сколько дал я людей стране и королю!

– Как пропал глаз? О, это было давно, еще мальчишкой был я тогда, но уже помогал отцу. Он перебивал землю на винограднике, у нас трудная земля, просит большого ухода. много камня. Камень отскочил из-под кирки отца и ударил меня в глаз; я не помню боли, но за обедом глаз выпал у меня – это было страшно, синьоры!.. Его вставили на место и приложили теплого хлеба, но глаз помер!

Старик крепко потер бурую, дряблую щеку, снова улыбаясь добродушно и весело.

– Тогда не было так много докторов и люди жили глупее, – о да! Может быть, они добрей были? А?

Теперь его одноглазое кожаное лицо, всё в глубоких складках и зеленовато-серых, точно плесень, волосах, стало хитрым и ликующим.

– Когда живешь так много, как я, можно говорить о людях смело, не правда ли?

Он внушительно поднял вверх изогнутый темный палец, точно грозя кому-то.

– Я расскажу вам, синьоры, кое-что о людях...

– Когда умер отец – мне было тринадцать лет, – вы видите, какой я и теперь маленький? Но я был ловок и неутомим в работе – это всё, что оставил мне отец в наследство, а землю нашу и дом продали за долги. Так я и жил, с одним глазом и двумя руками, работая везде, где давали работу... Было

трудно, но молодость не боится труда – так?

– В девятнадцать лет встретила девушка, которую мне суждено было любить, – такая же бедная, как сам я, она была крупная и сильнее меня, жила с матерью, больной старухой, и, как я, – работала где могла. Не очень красивая, но – добрая и умница. И хороший голос – о! Пела она, как артистка, а это уже – богатство! И я тоже не худо пел.

– «Женимся?» – сказал я ей.

– «Это будет смешно, кривой! – ответила она невесело. – Ни у тебя, ни у меня нет ничего – как будем жить?»

– Святая правда: ни у меня, ни у нее – ничего! Но – что нужно для любви в юности? Вы все знаете, как мало нужно для любви; я настаивал и победил.

– «Да, пожалуй, ты прав, – сказала наконец Ида. – Если святая мать помогает тебе и мне теперь, когда мы живем отдельно, ей, конечно, будет легче помогать нам, когда мы будем жить вместе!»

– Мы пошли к священнику.

– «Это – безумие! – говорил священник. – Разве мало в Лигурии нищих? Несчастные люди, вы должны бороться с соблазнами дьявола, иначе – дорого заплатите за вашу слабость!»

– Молодежь коммуны смеялась над нами, старики осуждали нас. Но молодость – упряма и по-своему – умна! Настал день свадьбы, мы не стали к этому дню богаче и даже не знали, где ляжем спать в первую ночь.

– «Мы уйдем в поле! – сказала Ида. – Почему это плохо? Мать божия везде одинаково добра к людям».

– Так мы и решили: земля – постель наша, и пусть оденет нас небо!

– Отсюда начинается другая история, синьоры, прошу внимания, – это лучшая история моей долгой жизни! Рано утром, за день до свадьбы, старик Джиованни, у которого я много работал, сказал мне – так, знаете, сквозь зубы – ведь речь шла о пустяках!

– «Ты бы, Уго, вычистил старый овечий хлев и постлал туда соломы. Хотя там сухо и овцы больше года не были там, всё же нужно хорошо убрать хлев, если ты с Идой хочешь жить в нем!»

– Вот у нас и дом!

– Работаю я, пою – в дверях стоит столяр Констанцио, спрашивая:

– «Это тут будешь ты жить с Идой? А где же у вас кровать? Надо бы тебе, когда кончишь, пойти ко мне и взять у меня ее, есть лишняя».

– А когда я шел к нему, сердитая Мария – лавочница – закричала:

– «Женятся, несчастные, не имея ни простыни, ни подушек, ничего! Ты совсем безумец, кривой! Пришли ко мне твою невесту...»

– А безногий, замученный ревматизмом, избитый лихорадкой Этторе Виано кричит ей с порога своего дома:

– «Спроси его – много ли он припас вина для гостей, э? Ах, люди, что может быть легкомысленнее их?»

На щеке старика в глубокой морщине засверкала веселая слеза, он закинул голову и беззвучно засмеялся, играя острым кадыком, трясая изношенной кожей лица и по-детски размахивая руками.

– О, синьоры, синьоры! – сквозь смех, задыхаясь, говорил он, – на утро дня свадьбы у нас было всё, что нужно для дома, – статуя мадонны, посуда, белье, мебель – всё, клянусь вам! Ида плакала и смеялась, я тоже, и все смеялись – нехорошо плакать в день свадьбы, и все наши смеялись над нами!..

– Синьоры! Это дьявольски хорошо иметь право назвать людей – наши! И еще более хорошо чувствовать их своими, близкими тебе, родными людьми, для которых твоя жизнь – не шутка, твое счастье – не игра!

– И была свадьба – э! Удивительный день! Вся коммуна смотрела на нас, и все пришли в наш хлев, который вдруг стал богатым домом... У нас было всё: вино, и фрукты, и мясо, и хлеб, и все ели, и всем было весело... Потому что, синьоры, нет лучше веселья, как творить добро людям, поверьте мне, ничего нет красивее и веселее, чем это!

– И священник был. «Вот, – говорил он, строго и хорошо, – вот люди, которые работали на всех вас, и вы позаботились о них, чтобы им стало легко в этот день, лучший день их жизни. Так и надо было сделать вам, ибо они работали

для вас, а работа – выше медных и серебряных денег, работа всегда выше платы, которую дают за нее! Деньги – исчезают, работа – остается... Эти люди – и веселы и скромны, они жили трудно и не жаловались, они будут жить еще труднее и не застонут – вы поможете им в трудный час. У них хорошие руки и еще лучше их сердца...»

– Он много лестного сказал мне, Иде и всей коммуне!..

Старик, торжествуя, оглядел всех помолодевшим глазом и спросил:

– Вот, синьоры, кое-что о людях, – это вкусно, не правда ли?

VIII

Весна, ярко блестит солнце, люди веселы, и даже стекла в окнах старых каменных домов улыбаются тепло.

По улице маленького городка пестрым потоком льется празднично одетая толпа – тут весь город, рабочие, солдаты, буржуа, священники, администраторы, рыбаки, – все возбуждены весенним хмелем, говорят громко, много смеются, поют, и все – как одно здоровое тело – насыщены радостью жить.

Разноцветные зонтики, шляпы женщин, красные и голубые шары в руках детей, точно причудливые цветы, и всюду, как самоцветные камни на пышной мантии сказочного короля, сверкают, смеясь и ликуя, дети, веселые владыки земли.

Бледно-зеленая листва деревьев еще не распустилась, свернута в пышные комки и жадно пьет теплые лучи солнца. Вдали играет музыка, манит к себе.

Впечатление такое, точно люди пережили свои несчастья, вчерашний день был последним днем тяжелой, всем надоевшей жизни, а сегодня все проснулись ясными, как дети, с твердой, веселой верою в себя – в непобедимость своей воли, пред которой всё должно склониться, и вот теперь дружно и уверенно идут к будущему.

И было странно, обидно и печально – заметить в этой живой толпе грустное лицо: под руку с молодой женщиной про-

шел высокий, крепкий человек; наверное – не старше тридцати лет, но – седоволосый. Он держал шляпу в руке, его круглая голова была вся серебряная, худое здоровое лицо спокойно и – печально. Большие, темные, прикрытые ресницами глаза смотрели так, как смотрят только глаза человека, который не может забыть тяжелой боли, испытанной им.

– Обрати внимание на эту пару людей, – сказал мне мой товарищ, – особенно на него: он пережил одну из тех драм, которые всё чаще разыгрываются в среде рабочих северной Италии.

И товарищ рассказал мне:

– Этот человек – социалист, редактор местной рабочей газеты, он сам – рабочий, маляр. Одна из тех натур, у которых знание становится верой, а вера еще более разжигает жажду знания. Ярый и умный антиклерикал, – видишь, какими глазами смотрят черные священники в спину ему!

– Лет пять тому назад он, будучи пропагандистом, встретил в одном из своих кружков девушку, которая сразу обратила на себя его внимание. Здесь женщины выучились верить молча и непоколебимо, священники развивали в них эту способность много веков и добились чего хотели, – кто-то верно сказал, что католическая церковь построена на груди женщины. Культ мадонны не только язычески красив, это прежде всего умный культ; мадонна проще Христа, она ближе сердцу, в ней нет противоречий, она не грозит геенной – она только любит, жалеет, прощает, – ей легко взять сердце

женщины в плен на всю жизнь.

– Но вот он видит девушку, которая умеет говорить, может спрашивать, и всегда в ее вопросах он чувствует, рядом с наивным удивлением перед его идеями, нескрываемое недоверие к нему, а часто – страх и даже отвращение. Пропагандисту-итальянцу приходится много говорить о религии, резко о папе и священниках, – каждый раз, когда он говорил об этом, он видел в глазах девушки презрение и ненависть к нему, если же она спрашивала о чем-нибудь – ее слова звучали враждебно и мягкий голос был насыщен ядом. Заметно было, что она знакома с литературой католиков, направленной против социализма, и что в этом кружке ее слово пользуется не меньшим вниманием, чем его.

– Здесь относятся к женщине значительно упрощеннее и грубее, чем в России, и – до последнего времени – итальянки давали много оснований для этого; не интересуясь ничем, кроме церкви, они – в лучшем случае – чужды культурной работе мужчин и не понимают ее значения.

– Мужское самолюбие его было задето, слава искусного пропагандиста страдала в столкновениях с этой девушкой, он раздражался, несколько раз удачно высмеивал ее, но и она ему платила тем же, невольно возбуждая в нем уважение, заставляя его особенно тщательно готовиться к занятиям с кружком, где была она.

– Но рядом со всем этим он замечал, что каждый раз, когда ему приходится говорить о позорной современности, о

том, как она угнетает человека, искажая его тело, его душу, когда он рисовал картины жизни в будущем, где человек станет внешне и внутренне свободен, – он видел ее перед собою другой: она слушала его речи с гневом сильной и умной женщины, знающей тяжесть цепей жизни, с доверчивой жадностью ребенка, который слышит волшебную сказку, и эта сказка в ладу с его, тоже волшебной сложной, душой.

– Это возбуждало в нем предчувствие победы над врагом, который может быть прекрасным товарищем.

– Почти год длилось состязание, не вызывая у них охоты сблизиться и поспорить один на один, но наконец он первый подошел к ней.

– «Синьорина – мой постоянный оппонент, – сказал он, – не находит ли она, что в интересах дела будет лучше, если мы познакомимся ближе?»

– Она охотно согласилась с ним, и почти с первых слов они вступили в бой друг с другом: девушка яростно защищала церковь как место, где замученный человек может отдохнуть душой, где, пред лицом доброй мадонны, – все равны и все равно жалки, несмотря на разность одежды; он возражал, что не отдых нужен людям, а борьба, что невозможно гражданское равенство без равенства материальных благ и что за спиной мадонны прячется человек, которому выгодно, чтобы люди были несчастны и глупы.

– С того времени эти споры наполнили всю их жизнь, каждая встреча была продолжением одной и той же страстной

беседы, и с каждым днем всё более ясно обнаруживалась роковая непримиримость их верований.

– Для него жизнь – борьба за расширение знаний, борьба за подчинение таинственных энергий природы человеческой воле, все люди должны быть равносильно вооружены для этой борьбы, в конце которой нас ожидает свобода и торжество разума – самой могучей из всех сил и единственной силы мира, сознательно действующей. А для нее жизнь была мучительным приношением человека в жертву неведомому, подчинением разума той воле, законы и цели которой знает только священник.

– Пораженный, он спрашивал:

– «Но зачем же вы ходите на мои лекции, чего вы ждете от социализма?»

– «Да, я знаю, что грешу и противоречу себе! – грустно сознавалась она. – Но так хорошо слушать вас и мечтать о возможности счастья для всех людей!»

– Она была не очень красива – тонкая, с умным личиком, большими глазами, взгляд которых мог быть кроток и гневен, ласков и суров; она работала на фабрике шёлка, жила со старухой матерью, безногим отцом и младшей сестрой, которая училась в ремесленной школе. Иногда она бывала веселой, не шумно, но обаятельно; любила музеи и старые церкви, восхищалась картинами, красотой вещей и, глядя на них, говорила:

– «Как странно думать, что эти прекрасные вещи когда-то

были заперты в домах частных людей и кто-то один имел право пользоваться ими! Красивое должны видеть все, только тогда оно живет!»

– Она часто говорила так странно, и ему казалось, что эти слова исходят из какой-то непонятной ему боли в душе ее, они напоминали стон раненого. Он чувствовал, что эта девушка любит жизнь и людей глубокой, полной тревоги и сострадания любовью матери; он терпеливо ждал, когда его вера зажжет ей сердце и тихая любовь преобразится в страсть, ему казалось, что девушка слушает его речи всё внимательнее, что в сердце она уже согласна с ним. И всё пламеннее он говорил ей о необходимости неустанной борьбы за освобождение человека, – народа, человечества – из старых цепей, ржавчина которых въелась в души и отемняет, отравляет их.

– Однажды, провожая ее домой, он сказал ей, что любит ее, хочет, чтобы она была его женой, и – был испуган тем впечатлением, которое вызвали в ней его слова: пошатнувшись, точно он ударил ее, широко раскрыв глаза, бледная, она прислонилась спиной к стене, спрятав руки, и, глядя в лицо его, почти с ужасом сказала:

– «Я догадывалась, что это так, я почти чувствовала это, потому что сама давно люблю вас, но – боже мой, – что же будет теперь?»

– «Начнутся дни счастья твоего и моего, дни нашей общей работы!» – воскликнул он.

– «Нет, – сказала девушка, опустив голову. – Нет! Нам не

надо говорить о любви».

– «Почему?»

– «Ты станешь венчаться в церкви?» – тихо спросила она.

– «Нет!»

– «Тогда – прощай!»

– И она быстро пошла прочь от него.

– Он догнал ее, стал уговаривать, она выслушала его молча, не возражая, потом сказала:

– «Я, моя мать и отец – все верующие и так умрем. Брак в мэрии – не брак для меня: если от такого брака родятся дети, – я знаю, – они будут несчастны. Только церковный брак освящает любовь, только он дает счастье и покой».

– Ему стало ясно, что она не скоро уступит, он же, конечно, не мог уступить. Они разошлись, прощаясь, девушка сказала:

– «Не станем мучить друг друга, не ищи встреч со мною! Ах, если бы ты уехал отсюда! Я – не могу, я так бедна...»

– «Я не дам никаких обещаний», – ответил он.

– И началась борьба сильных людей: они встречались, конечно, и даже более часто, чем прежде, встречались, потому что искали встреч, надеясь, что один из двух не вытерпит мучений неудовлетворенного и всё разгоравшегося чувства. Их встречи были полны отчаяния и тоски, после каждого свидания с нею он чувствовал себя разбитым и бессильным, она – в слезах шла исповедоваться, а он знал это, и ему казалось, что черная стена людей в тонзурах становится всё

выше, несокрушимее с каждым днем, растет и разъединяет их насмерть.

– Однажды в праздник, гуляя с нею в поле за городом, он сказал ей – не угрожая, а просто думая вслух:

– «Знаешь, мне кажется иногда, что я могу убить тебя...»

– Она промолчала.

– «Ты слышала, что я сказал?»

Ласково взглянув в лицо ему, она ответила:

– «Да».

– И он понял, что она умрет, но не уступит ему. До этого «да» он порою обнимал и целовал ее, она боролась с ним, но сопротивление ее слабело, и он мечтал уже, что однажды она уступит, и тогда ее инстинкт женщины поможет ему победить ее. Но теперь он понял, что это была бы не победа, а порабощение, и с той поры перестал будить в ней женщину.

– Так ходил он с нею в темном круге ее представлений о жизни, зажигал пред нею все огни, какие мог зажечь, но – как слепая – она слушала его с мечтательной улыбкой и не верила ему.

Однажды она сказала:

– «Я понимаю иногда, что всё, что ты говоришь, – возможно, но я думаю, это потому, что я люблю тебя! Я понимаю, но – не верю, не могу! И когда ты уходишь, всё твое уходит с тобой».

– Это продолжалось почти два года, и вот девушка заболела; он бросил работу, перестал заниматься делами органи-

зации, наделал долгов и, избегая встреч с товарищами, ходил около ее квартиры или сидел у постели ее, наблюдая, как она стораёт, становясь с каждым днем всё прозрачнее, и как всё ярче пылает в глазах ее огонь болезни.

– «Говори мне о будущем», – просила она его.

– Он говорил о настоящем, мстительно перечисляя всё, что губит нас, против чего он будет всегда бороться, что надо вышвырнуть вон из жизни людей, как темные, грязные, изношенные лохмотья.

– Она слушала и, когда ей было нестерпимо больно, оставливая речь, касаясь его руки и умоляюще глядя в глаза ему.

– «Я – умираю?» – спросила она его однажды, много дней спустя после того, как доктор сказал ему, что у нее скоротечная чахотка и положение ее безнадежно.

– Он не ответил ей, опустив глаза.

– «Я знаю, что скоро умру, – сказала она. – Дай мне руку».

– И, когда он протянул руку ей, она, поцеловав ее горячими губами, сказала:

– «Прости меня, я виновата перед тобою, я ошиблась и измучила тебя. Я вижу теперь, когда убита, что моя вера – только страх пред тем, чего я не могла понять, несмотря на свои желания и твои усилия. Это был страх, но он в крови моей, я с ним рождена. У меня свой – или твой – ум, но чужое сердце, ты прав, я это поняла, но сердце не могло согласиться с тобой...»

– Через несколько дней она умерла, а он поседел за время агонии ее, – поседел в двадцать семь лет.

– Недавно он женился на единственной подруге той девушки, его ученице; это они идут на кладбище, к той, – они каждое воскресенье ходят туда, положить цветы на могилу ее.

– Он не верит в свою победу, убежден, что, говоря ему – «ты прав!» – она лгала, чтобы утешить его. Его жена думает так же, оба они любовно чтят память о ней, и эта тяжелая история гибели хорошего человека, возбуждая их силы желанием отомстить за него, придает их совместной работе неутомимость и особенный, широкий, красивый характер.

...Льетса под солнцем живая, празднично пестрая река людей, веселый шум сопровождает ее течение, дети кричат и смеются; не всем, конечно, легко и радостно, наверное, много сердец туго сжаты темной скорбью, много умов истерзаны противоречиями, но – все мы идем к свободе, к свободе!

И чем дружнее – всё быстрее пойдем!

IX

Прославим женщину – Мать, неиссякаемый источник всё побеждающей жизни!

Здесь пойдет речь о железном Тимур-ленге,¹⁷ хромом барсе, о Сахиб-и-Кирани – счастливом завоевателе, о Тамерлане, как назвали его неверные, о человеке, который хотел разрушить весь мир.

Пятьдесят лет ходил он по земле, железная стопа его давила города и государства, как нога слона муравейники, красные реки крови текли от его путей во все стороны; он строил высокие башни из костей побежденных народов; он разрушал жизнь, споря в силе своей со Смертью, он мстил ей за то, что она взяла сына его Джигангира; страшный человек – он хотел отнять у нее все жертвы – да издохнет она с голода и тоски!

С того дня, как умер сын его Джигангир и народ Самарканда встретил победителя злых джеттов¹⁸ одетый в черное и голубое, посыпав головы свои пылью и пеплом, с того дня и до часа встречи со Смертью в Отраре,¹⁹ где она поборола его, – тридцать лет Тимур ни разу не улыбнулся – так жил

¹⁷ Тимур-ленг (Тамерлан) – прозвище Тимура (1336–1405).

¹⁸ Джетты – жители Моголистана, включавшего в себя Восточный Туркестан, Семиречье и Джунгарию.

¹⁹ Тимур умер во время похода к границам Китая.

он, сомкнув губы, ни пред кем не склоняя головы, и сердце его было закрыто для сострадания тридцать лет!

Прославим в мире женщину – Мать, единую силу, пред которой покорно склоняется Смерть! Здесь будет сказана правда о Матери, о том, как преклонился пред нею слуга и раб Смерти, железный Тамерлан, кровавый бич земли.

Вот как это было: пировал Тимур-бек в прекрасной долине Канигула, покрытой облаками роз и жасмина, в долине, которую поэты Самарканда называли «Любовь цветов» и откуда видны голубые минареты великого города, голубые купола мечетей.

Пятнадцать тысяч круглых палаток раскинуто в долине широким веером, все они – как тюльпаны, и над каждой – сотни шелковых флагов трепещут, как живые цветы.

А в середине их – палатка Гуругана-Тимура²⁰ – как царица среди своих подруг. Она о четырех углах, сто шагов по сторонам, три копыта в высоту, ее середина – на двенадцати золотых колоннах в толщину человека на вершине ее голубой купол, вся она из черных, желтых, голубых полос шелка, пятьсот красных шнуров прикрепили ее к земле, чтобы она не поднялась в небо, четыре серебряных орла по углам ее, а под куполом, в середине палатки, на возвышении, – пятый, сам непобедимый Тимур-Гуруган, царь царей.

На нем широкая одежда из шелка небесного цвета, ее осы-

²⁰ Тимур носил титул Гургана – «зятя», который давался тому, кто женился на женщине из рода Чингисхана, или женился на наследнице двух ханских родов.

пают зерна жемчуга – не больше пяти тысяч крупных зерен, да! На его страшной седой голове белая шапка с рубином на острой верхушке, и качается, качается – сверкает этот кровавый глаз, озирая мир.

Лицо Хромого, как широкий нож, покрытый ржавчиной от крови, в которую он погружался тысячи раз; его глаза узки, но они видят всё, и блеск их подобен холодному блеску царамута, любимого камня арабов, который неверные зовут изумрудом и который убивает падучую болезнь. А в ушах царя – серьги из рубинов Цейлона, из камней цвета губ красивой девушки.

На земле, на коврах, каких больше нет, – триста золотых кувшинов с вином и всё, что надо для пира царей, сзади Тимура сидят музыканты, рядом с ним – никого, у ног его – его кровные, цари и князья, и начальники войск, а ближе всех к нему – пьяный Кермани-поэт,²¹ тот, который однажды, на вопрос разрушителя мира:

– Кермани! Сколько б ты дал за меня, если б меня продавали? – ответил сеятелю смерти и ужаса:

– Двадцать пять аскеров.

– Но это цена только моего пояса! – вскричал удивленный Тимур.

– Я ведь и думаю только о поясе, – ответил Кермани, – только о поясе, потому что сам ты не стоишь ни гроша!

Вот как говорил поэт Кермани с царем царей, человеком

²¹ Кермани – придворный поэт Тимура.

зла и ужаса, и да будет для нас слава поэта, друга правды, навсегда выше славы Тимура.

Прославим поэтов, у которых один бог – красиво сказанное, бесстрашное слово правды, вот кто бог для них – навсегда!

И вот, в час веселья, разгула, гордых воспоминаний о битвах и победах, в шуме музыки и народных игр пред палаткой царя, где прыгали бесчисленные пестрые шуты, боролись силачи, изгибались канатные плясуны, заставляя думать, что в их телах нет костей, состязаясь в ловкости убивать, фехтовали воины и шло представление со слонами, которых окрасили в красный и зеленый цвета, сделав этим одних – ужасными и смешными – других, – в этот час радости людей Тимура, пьяных от страха пред ним, от гордости славой его, от усталости побед, и вина, и кумыса, – в этот безумный час, вдруг, сквозь шум, как молния сквозь тучу, до ушей победителя Баязета-султана²² долетел крик женщины, гордый крик орлицы, звук, знакомый и родственный его оскорбленной душе, – оскорбленной Смертью и потому жестокой к людям и жизни.

Он приказал узнать, кто там кричит голосом без радости, и ему сказали, что явилась какая-то женщина, она вся в пыли и лохмотьях, она кажется безумной, говорит по-арабски и

²² Баязет-султан – Боязид I, по прозвищу Йылдырым – «Молния» (1347–1402). В битве Тимура и Боязида при Анкаре 20 июля 1402 г. османское войско Боязида было разгромлено.

требует – она требует! – видеть его, повелителя трех стран света.

– Приведите ее! – сказал царь.

И вот пред ним женщина – босая, в лоскутках выцветших на солнце одежд, черные волосы ее были распущены, чтобы прикрыть голую грудь, лицо ее, как бронза, а глаза повелительны, и темная рука, протянутая Хромому, не дрожала.

– Это ты победил султана Баязета? – спросила она.

– Да, я. Я победил многих и его и еще не устал от побед. А что ты скажешь о себе, женщина?

– Слушай! – сказала она. – Что бы ты ни сделал, ты – только человек, а я – Мать! Ты служишь смерти, я – жизни. Ты виноват предо мной, и вот я пришла требовать, чтоб ты искупил свою вину, – мне говорили, что девиз твой «Сила – в справедливости»,²³ – я не верю этому, но ты должен быть справедлив ко мне, потому что я – Мать!

Царь был достаточно мудр для того, чтобы почувствовать за дерзостью слов силу их, – он сказал:

– Сядь и говори, я хочу слушать тебя!

Она села – как нашла удобным – в тесный круг царей, на ковер, и вот что рассказала она:

– Я – из-под Салерно, это далеко, в Италии, ты не знаешь где! Мой отец – рыбак, мой муж – тоже, он был красив, как

²³ «Сила – в справедливости»... – В автобиографии Тимура, в числе двенадцати принципов, которым он всегда следовал, называется прежде всего беспристрастие – справедливость. «Я ко всем относился одинаково строго и справедливо, но делая никакого различия...» («Автобиография Тамерлана»).

счастливым человеком, – это я поила его счастьем! И еще был у меня сын – самый прекрасный мальчик на земле...

– Как мой Джигангир, – тихо сказал старый воин.

– Самый красивый и умный мальчик – это мой сын! Ему было шесть лет уже, когда к нам на берег явились сарацины²⁴ – пираты, они убили отца моего, мужа и еще многих, а мальчика похитили, и вот четыре года, как я его ищу на земле. Теперь он у тебя, я это знаю, потому что воины Баязета схватили пиратов, а ты – победил Баязета и отнял у него всё, ты должен знать, где мой сын, должен отдать мне его!

Все засмеялись, и сказали тогда цари – они всегда считают себя мудрыми!

– Она – безумна! – сказали цари и друзья Тимура, князья и военачальники его, и все смеялись.

Только Кермани смотрел на женщину серьезно, и с великим удивлением Тамерлан.

– Она безумна как Мать! – тихо молвил пьяный поэт Кермани; а царь – враг мира – сказал:

– Женщина! Как же ты пришла из этой страны, неведомой мне, через моря, реки и горы, через леса? Почему звери и люди – которые часто злее злейших зверей – не тронули тебя, ведь ты шла, даже не имея оружия, единственного друга беззащитных, который не изменяет им, доколе у них есть сила в руках? Мне надо знать всё это, чтобы поверить тебе и чтобы удивление пред тобою не мешало мне понять тебя!

²⁴ Сарацины – древнее название жителей Аравии.

Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Всё прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока Матери, – вот что насыщает нас любовью к жизни!

Сказала она Тимур-ленгу:

– Море я встретила только одно, на нем было много островов и рыбацких лодок, а ведь если ищешь любимое – дует попутный ветер. Реки легко переплыть тому, кто рожден и вырос на берегу моря. Горы? – я не заметила гор.

Пьяный Кермани весело сказал:

– Гора становится долиной, когда любишь!

– Были леса по дороге, да, это – было! Встречались вепри, медведи, рыси и страшные быки, с головой, опущенной к земле, и дважды смотрели на меня барсы, глазами, как твои. Но ведь каждый зверь имеет сердце, я говорила с ними, как с тобой, они верили, что я – Мать, и уходили, вздыхая, – им было жалко меня! Разве ты не знаешь, что звери тоже любят детей и умеют бороться за жизнь и свободу их не хуже, чем люди?

– Так, женщина! – сказал Тимур. – И часто – я знаю – они любят сильнее, борются упорнее, чем люди!

– Люди, – продолжала она, как дитя, ибо каждая Мать – сто раз дитя в душе своей, – люди – это всегда дети своих матерей, – сказала она, – ведь у каждого есть Мать, каждый чей-то сын, даже и тебя, старик, ты знаешь это, – родила женщина, ты можешь отказаться от бога, но от этого не откажешься

и ты, старик!

– Так, женщина! – воскликнул Кермани, бесстрашный поэт. – Так, – от сборища быков – телят не будет, без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без Матери – нет ни поэта, ни героя!

И сказала женщина:

– Отдай мне моего ребенка, потому что я – Мать и люблю его!

Поклонимся женщине – она родила Моисея, Магомета и великого пророка Иисуса, который был умерщвлен злыми, но – как сказал Шерифэддин²⁵ – он еще воскреснет и придет судить живых и мертвых, в Дамаске это будет, в Дамаске!

Поклонимся Той, которая, неумолимо родит нам великих! Аристотель сын Ее, и Фирдуси, и сладкий, как мед, Саади, и Омар Хайям, подобный вину, смешанному с ядом, Искандер²⁶ и слепой Гомер – это всё Ее дети, все они пили Ее молоко, и каждого Она ввела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана, – вся гордость мира – от Матерей!

И вот задумался седой разрушитель городов, хромой тигр Тимур-Гуруган, и долго молчал, а потом сказал ко всем:

– Мен тангри кули Тимур! Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот – жил я, уже много лет, земля стонет под мною, и тридцать лет, как я уничтожаю жатву смерти вот этою рукой, – для того уничтожаю, чтобы отомстить ей за сы-

²⁵ Шерифэддин – Шериф-Эддин-Али, персидский историк XV века.

²⁶ Искандер – арабское имя Александра Македонского.

на моего Джигангира, за то, что она погасила солнце сердца моего! Боролись со мною за царства и города, но – никто, никогда – за человека, и не имел человек цены в глазах моих, и не знал я – кто он и зачем на пути моем? Это я, Тимур, сказал Баязету, победив его: «О Баязет, как видно – пред богом ничто государства и люди, смотри – он отдает их во власть таких людей, каковы мы: ты – кривой, я – хром!» Так сказал я ему, когда его привели ко мне в цепях и он не мог стоять под тяжестью их, так сказал я, глядя на него в несчастьи, и почувствовал жизнь горькою, как полынь, трава развалин!

– Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот – сидит предо мною женщина, каких тьмы, и она возбудила в душе моей чувства, неведомые мне. Говорит она мне, как равному, и она не просит, а требует. И я вижу, понял я, почему так сильна эта женщина, – она любит, и любовь помогла ей узнать, что ребенок ее – искра жизни, от которой может вспыхнуть пламя на многие века. Разве все пророки не были детьми и герои – слабыми? О, Джигангир, огонь моих очей, может быть, тебе суждено было согреть землю, засеять ее счастьем – я хорошо полил ее кровью, и она стала тучной!

Снова долго думал бич народов и сказал наконец!

– Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Триста всадников отправятся сейчас же во все концы земли моей, и пусть найдут они сына этой женщины, а она будет ждать здесь, и я буду ждать вместе с нею, тот же, кто воротится с ребенком на седле своего коня, он будет счастлив – говорит Тимур! Так,

женщина?

Она откинула с лица черные волосы, улыбнулась ему и ответила, кивнув головой:

– Так, царь!

Тогда встал этот страшный старик и молча поклонился ей, а веселый поэт Кермани говорил, как дитя, с большой радостью:

Что прекрасней песен о цветах и звездах?

Всякий тотчас скажет: песни о любви!

Что прекрасней солнца в ясный полдень мая?

И влюбленный скажет: та, кого люблю!

Ах, прекрасны звезды в небе полуночи – знаю!

И прекрасно солнце в ясный полдень лета – знаю!

Очи моей милой всех цветов прекрасней – знаю!

И ее улыбка ласковее солнца – знаю!

Но еще не спета песня всех прекрасней,

Песня о начале всех начал на свете,

Песнь о сердце мира, о волшебном сердце

Той, кого мы, люди, Матерью зовем!

И сказал Тимур-ленг своему поэту:

– Так, Кермани! Не ошибся бог, избрав твои уста для того, чтоб возвещать его мудрость!

– Э! Бог сам – хороший поэт! – молвил пьяный Кермани.

А женщина улыбалась, и улыбались все цари и князья, во-

еначальники и все другие дети, глядя на нее – Мать!

Всё это – правда; все слова здесь – истина, об этом знают наши матери, спросите их, и они скажут:

– Да, всё это вечная правда, мы – сильнее смерти, мы, которые непрерывно дарим миру мудрецов, поэтов и героев, мы, кто сеет в нем всё, чем он славен!

X

Знойный день, тишина; жизнь застыла в светлом покое, небо ласково смотрит на землю голубым ясным оком, солнце – огненный зрачок его.

Море гладко выковано из синего металла, пестрые лодки рыбаков неподвижны, точно впаяны в полукруг залива, яркий, как небо. Пролетит чайка, лениво махая крыльями, – вода покажет другую птицу, белее и красивее той, что в воздухе.

Мреет даль; там в тумане тихо плывет – или, раскален солнцем, тает – лиловый остров, одинокая скала среди моря,²⁷ ласковый самоцветный камень в кольце Неаполитанского залива.

Изрезанный уступами каменистый берег спускается к морю, весь он кудрявый и пышный в темной листве винограда, апельсиновых деревьев, лимонов и фигов, весь в тусклом серебре листвы олив. Сквозь поток зелени, круто падающий в море, приветливо улыбаются золотые, красные и белые цветы, а желтые и оранжевые плоды напоминают о звездах в безлунную жаркую ночь, когда небо темно, воздух влажен.

В небе, море и душе – тишина, хочется слышать, как всё живое безмолвно поет молитву богу-Солнцу.

²⁷ Остров Капри, площадью в 10,4 кв. км; расположен у южного входа в Неаполитанский залив.

Между садов вьется узкая тропа, и по ней, тихо спускаясь с камня на камень, идет к морю высокая женщина в черном платье, оно выгорело на солнце до бурых пятен, и даже издали видны его заплата. Голова ее не покрыта – блестит серебро седых волос, мелкими кольцами они осыпают ее высокий лоб, виски и темную кожу щек; эти волосы, должно быть, невозможно причесать гладко.

Лицо у нее резкое, суровое, увидев однажды – его запомнишь навсегда, есть что-то глубоко древнее в этом сухом лице, а если встретишь прямой и темный взгляд ее глаз – невольно вспоминаются знойные пустыни востока, Дебора²⁸ и Юдифь.²⁹

Наклонив голову, она вяжет что-то красное; сверкает сталь крючка, клубок шерсти спрятан где-то в одежде, но кажется, что красная нить исходит из груди этой женщины. Тропинка крута и капризна, слышно, как шуршат, осыпаясь, камни, но эта седая спускается так уверенно, как будто ноги ее видят путь.

Вот что рассказывают про этого человека: она вдова, муж ее, рыбак, вскоре после свадьбы уехал ловить рыбу и не вер-

²⁸ Дебора (точнее: Девора) – мифическая героиня; согласно библейской легенде, объединила разрозненные израильские племена в Палестине.

²⁹ Юдифь (или Иудифь) – героиня ветхозаветного апокрифа, вошедшего в «Книгу Иудифи». Чтобы спасти иудейский город Ветлуя, осажденный войском вавилонского царя Навуходоносора, проникла во вражеский лагерь, прельстила своей красотой ассирийского полководца Олоферна и отрубила ему голову его же мечом.

нулся, оставив ее с ребенком под сердцем.

Когда ребенок родился, она стала прятать его от людей, не выходила с ним на улицу, на солнце, чтобы похвастаться сыном, как это делают все матери, держала его в темном углу своей хижины, кутая в тряпки, и долгое время никто из соседей не видел, как сложен новорожденный, – видели только его большую голову и огромные неподвижные глаза на желтом лице. Заметили также, что она, здоровая и ловкая, боролась раньше с нуждой неутомимо, весело, умея внушить бодрость духа и другим, а теперь стала молчаливой, всегда о чем-то думала, хмурясь и глядя на всё сквозь туман печали странным взглядом, который как будто спрашивал о чем-то.

Немного понадобилось времени для того, чтобы все узнали ее горе: ребенок родился уродом, вот почему она прятала его, вот что угнетало ее.

Тогда соседи сказали ей, что, конечно, они понимают, как стыдно женщине быть матерью уроды; никому, кроме мадонны, не известно, справедливо ли наказана она этой жестокой обидой, однако ребенок не виноват ни в чем и она напрасно лишает его солнца.

Она послушала людей и показала им сына – руки и ноги у него были короткие, как плавники рыбы, голова, раздутая в огромный шар, едва держалась на тонкой, дряблой шее, а лицо – точно у старика, всё в морщинах, на нем пара мутных глаз и большой рот, растянутый в мертвую улыбку.

Женщины плакали, глядя на него, мужчины, брезгливо

сморщив лица, угрюмо ушли; мать урода сидела на земле, то пряча голову, то поднимая ее и глядя на всех так, точно без слов спрашивала о чем-то, чего никто не понимал.

Соседи сделали для урода ящик – вроде гроба, набили его оческами шерсти и тряпьем, посадили уродца в это мягкое, жаркое гнездо и поставили ящик в тени на дворе, тайно надеясь, что под солнцем, которое ежедневно делает чудеса, совершится и еще одно чудо.

Но время шло, а он оставался всё таким же: огромная голова, длинное туловище с четырьмя бессильными придатками; только улыбка его принимала всё более определенное выражение ненасытной жадности да рот наполнялся двумя рядами острых кривых зубов. Коротенькие лапы научились хватать куски хлеба и почти безошибочно тащили их в большой, горячий рот.

Он был нем, но когда где-нибудь близко от него ели и урод слышал запах пищи, он глухо мычал, открыв пасть и качая тяжелой головою, а мутные белки его глаз покрывались красной сеткой кровавых жилок.

Ел он много и чем дальше – всё больше, мычание его становилось непрерывным; мать, не опуская рук, работала, но часто заработок ее был ничтожен, а иногда его и вовсе не было. Она не жаловалась и неохотно – всегда молча – принимала помощь соседей, но когда ее не было дома, соседи, раздражаемые мычанием, забегали во двор и совали в ненасытный рот корки хлеба, овощи, фрукты – всё, что можно

было есть.

– Скоро он тебя всю обгложет! – говорили ей. – Почему ты не отдашь его куда-нибудь в приют, в больницу?

Она угрюмо отвечала:

– Я – родила его, я и должна его кормить.

Была она красива, и не один мужчина искал ее любви, все – безуспешно, а одному, который нравился ей больше других, она сказала:

– Я не могу быть твоей женою, боюсь родить еще урода, это было бы стыдно тебе. Нет, уйди!

Человек уговаривал ее, напоминал ей о мадонне, которая справедлива к матерям и считает их сестрами своими, – мать урода ответила ему:

– Я не знаю, в чем виновата, но – вот, наказана жестоко.

Он умолял, плакал и бесился, тогда она сказала:

– Нельзя делать того, во что не веришь. Уйди!

Он ушел куда-то далеко, навсегда.

И так много лет набивала она бездонную, неустанно жевавшую пасть, он пожирал плоды ее трудов, ее кровь и жизнь, голова его росла и становилась всё более страшной, похожая на шар, готовый оторваться от бессильной, тонкой шеи и улететь, задевая за углы домов, лениво покачиваясь с боку на бок.

Всякий, кто заглядывал во двор, невольно останавливался, пораженный, содрогаясь, не умея понять – что он видит? У стены, заросшей виноградом, на камнях, как на жертвен-

нике, стоял ящик, а из него поднималась эта голова, и, четко выступая на фоне зелени, притягивало к себе взгляд прохожего желтое, покрытое морщинами, скуластое лицо, тарасились, вылезая из орбит и надолго вклеиваясь в память всякого, кто их видел, тупые глаза, вздрагивал широкий, приплюснутый нос, двигались непомерно развитые скулы и челюсти, шевелились дряблые губы, открывая два ряда хищных зубов, и, как бы живя своей отдельной жизнью, торчали большие, чуткие, звериные уши – эту страшную маску прикрывала шапка черных волос, завитых в мелкие кольца, точно волосы негра.

Держа в руке, короткой и маленькой, как лапа ящерицы, кусок чего-нибудь съедобного, урод наклонял голову движениями клюющей птицы и, отрывая зубами пищу, громко чавкал, сопел. Сытый, глядя на людей, он всегда оскаливал зубы, а глаза его сдвигались к переносью, сливаясь в мутное бездонное пятно на этом полумертвом лице, движения которого напоминали агонию. Если же он был голоден, то вытягивал шею вперед и, открыв красную пасть, шевеля тонким змеиным языком, требовательно мычал.

Крестясь и творя молитвы, люди отходили прочь, вспоминая всё дурное, что пережито ими, все несчастья, испытанные в жизни.

Старик кузнец, человек мрачного ума, не однажды говорил:

– Когда я вижу этот всё пожирающий рот, я думаю, что

мою силу пожрал кто-то, подобный ему, мне кажется, что все мы живем и умираем для паразитов.

У всех эта немая голова вызывала мысли печальные, чувства, пугающие сердце.

Мать урода молчала, прислушиваясь к словам людей, волосы ее быстро седели, морщины являлись на лице, она давно уже разучилась смеяться. Люди знали, что ночами она неподвижно стоит у двери, смотрит в небо и точно ждет кого-то; они говорили друг другу:

– Чего ей ждать?

– Посади его на площадь у старой церкви! – советовали ей соседи. – Там ходят иностранцы, они не откажутся бросить ему несколько медных монет каждый день.

Мать испуганно вздрогнула, говоря:

– Это будет ужасно, если его увидят люди иных стран, – что они подумают о нас?

Ей ответили:

– Бедность – везде, все знают об этом!

Она отрицательно покачала головою.

Но иностранцы, гонимые скукой, шатались повсюду, заглядывали во все дворы и, конечно, заглянули и к ней: она была дома, она видела гримасы брезгливости и отвращения на сытых лицах этих праздных людей, слышала, как они говорили о ее сыне, кривя губы и прищуриив глаза. Особенно ударили ее в сердце несколько слов, сказанных презрительно, враждебно, с явным торжеством.

Она запомнила эти звуки, много раз повторив про себя чужие слова, в которых ее сердце итальянки и матери чувствовало оскорбительный смысл; в тот же день она пошла к знакомому комиссионеру и спросила его – что значат эти слова?

– Смотря по тому, кто их сказал! – ответил он, нахмурясь. – Они значат: Италия вымирает впереди всех романских рас. Где ты слышала эту ложь?

Она, не ответив, ушла.

А на другой день ее сын объелся чем-то и умер в судорогах.

Она сидела на дворе около ящика, положив ладонь на мертвую голову своего сына, спокойно ожидая чего-то, вопрошительно глядя в глаза каждого, кто приходил к ней, чтобы посмотреть на умершего.

Все молчали, никто ни о чем не спрашивал ее, хотя, быть может, многим хотелось поздравить ее – она освободилась от рабства, – сказать ей утешительное слово – она потеряла сына, но – все молчали. Иногда люди понимают, что не обо всем можно говорить до конца.

После этого она еще долго смотрела в лица людей, словно спрашивая их о чем-то, а потом стала такою же простою, как все.

XI

О Матерях можно рассказывать бесконечно.

Уже несколько недель город был обложен тесным кольцом врагов, закованных в железо; по ночам зажигались костры, и огонь смотрел из черной тьмы на стены города множеством красных глаз – они пылали злорадно, и это подстерегающее горение вызывало в осажденном городе мрачные думы.

Со стен видели, как всё теснее сжималась петля врагов, как мелькают вокруг огней их черные тени; было слышно ржание сытых лошадей, доносился звон оружия, громкий хохот, раздавались веселые песни людей, уверенных в победе, – а что мучительнее слышать, чем смех и песни врага?

Все ручьи, питавшие город водою, враги забросали трупами, они выжгли виноградники вокруг стен, вытоптали поля, вырубил сады – город был открыт со всех сторон, и почти каждый день пушки и мушкеты врагов осыпали его чугуном и свинцом.

По узким улицам города угрюмо шагали отряды солдат, истомленных боями, полуголодных; из окон домов изливались стоны раненых, крики бреда, молитвы женщин и плач детей. Разговаривали подавленно, вполголоса и, останавливая на полуслове речь друг друга, напряженно вслушивались – не идут ли на приступ враги?

Особенно невыносимой становилась жизнь с вечера, ко-

гда в тишине стоны и плач звучали яснее и обильнее, когда из ущелий отдаленных гор выползали сине-черные тени и, скрывая вражий стан, двигались к полуразбитым стенам, а над черными зубцами гор являлась луна, как потерянный щит, избитый ударами мечей.

Не ожидая помощи, изнуренные трудами и голодом, с каждым днем теряя надежды, люди в страхе смотрели на эту луну, острые зубья гор, черные пасти ущелий и на шумный лагерь врагов – всё напоминало им о смерти, и ни одна звезда не блестела утешительно ля них.

В домах боялись зажигать огни, густая тьма заливала улицы, и в этой тьме, точно рыба в глубине реки, безмолвно мелькала женщина, с головой закутанная в черный плащ.

Люди, увидав ее, спрашивали друг друга:

– Это она?

– Она!

И прятались в ниши под воротами или, опустив головы, молча пробегали мимо нее, а начальники патрулей сурово предупреждали ее:

– Вы снова на улице, монна Марианна? Смотрите, вас могут убить, и никто не станет искать виновного этом...

Она выпрямлялась, ждала, но патруль проходил мимо, не решаясь или брезгуя поднять руку на нее; вооруженные люди обходили ее, как труп, а она оставалась во тьме и снова тихо, одиноко шла куда-то, переходя из улицы в улицу, немая и черная, точно воплощение несчастий города, а вокруг, пре-

следуя ее, жалобно ползали печальные звуки: стоны, плач, молитвы и угрюмый говор солдат, потерявших надежду на победу.

Гражданка и мать, она думала о сыне и родине: во главе людей, разрушавших город, стоял ее сын, веселый и безжалостный красавец; еще недавно она смотрела на него с гордостью, как на драгоценный свой подарок родине, как на добрую силу, рожденную ею в помощь людям города – гнезда, где она родилась сама, родила и выкормила его. Сотни неразрывных нитей связывали ее сердце с древними камнями, из которых предки ее построили дома и сложили стены города, с землей, где лежали кости ее кровных, с легендами, песнями и надеждами людей – теряло сердце матери ближайшего ему человека и плакало: было оно подобно весам, но, взвешивая любовь к сыну и городу, не могло понять – что легче, что тяжелей.

Так ходила она ночами по улицам, и многие, не узнавая ее, пугались, принимали черную фигуру за олицетворение смерти, близкой всем, а узнавая, молча отходили прочь от матери изменника.

Но однажды, в глухом углу, около городской стены, она увидела другую женщину: стоя на коленях около трупа, неподвижная, точно кусок земли, она молилась, поднимая скорбное лицо к звездам, а на стене, над головой ее, тихо переговаривались сторожевые и скрежетало оружие, задевая камни зубцов.

Мать изменника спросила:

– Муж?

– Нет.

– Брат?

– Сын. Муж убит тринадцать дней тому назад, а этот – сегодня.

И, поднявшись с колен, мать убитого покорно сказала:

– Мадонна всё видит, всё знает, и я благодарю ее!

– За что? – спросила первая, а та ответила ей:

– Теперь, когда он честно погиб, сражаясь за родину, я могу сказать, что он возбуждал у меня страх: легкомысленный, он слишком любил веселую, жизнь, и было боязно, что ради этого он изменит городу, как это сделал сын Марианны, враг бога и людей, предводитель наших врагов, будь он проклят, и будь проклято чрево, носившее его!..

Закрыв лицо, Марианна отошла прочь, а утром на другой день явилась к защитникам города и сказала:

– Или убейте меня за то, что мой сын стал врагом вашим, или откройте мне ворота, я уйду к нему...

Они ответили:

– Ты – человек, и родина должна быть дорога тебе; твой сын такой же враг для тебя, как и для каждого из нас.

– Я – мать, я его люблю и считаю себя виновной в том, что он таков, каким стал.

Тогда они стали советоваться, что сделать с нею, и решили:

– По чести – мы не можем убить тебя за грех сына, мы знаем, что ты не могла внушить ему этот страшный грех, и догадываемся, как ты должна страдать. Но ты не нужна городу даже как заложница – твой сын не заботится о тебе, мы думаем, что он забыл тебя, дьявол, и – вот тебе наказание, если ты находишь, что заслужила его! Это нам кажется страшнее смерти!

– Да! – сказала она. – Это – страшнее.

Они открыли ворота пред нею, выпустили ее из города и долго смотрели со стены, как она шла по родной земле, густо насыщенной кровью, пролитой ее сыном: шла она медленно, с великим трудом отрывая ноги от этой земли, кланясь трупам защитников города, брезгливо отталкивая ногою поломанное оружие, – матери ненавидят оружие нападения, признавая только то, которым защищается жизнь.

Она как будто несла в руках под плащом чашу, полную влагой, и боялась расплескать ее; удаляясь, она становилась всё меньше, а тем, что смотрели на нее со стены, казалось, будто вместе с нею отходит от них уныние и безнадежность.

Видели, как она на полпути остановилась и, сбросив с головы капюшон плаща, долго смотрела на город, а там, в лагере врагов, заметили ее, одну среди поля, и, не спеша, осторожно, к ней приближались черные, как она, фигуры.

Подошли и спросили – кто она, куда идет?

– Ваш предводитель – мой сын, – сказала она, и ни один из солдат не усумнился в этом. Шли рядом с нею, хвalebно

говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их, гордо подняв голову, и не удивлялась – ее сын таков и должен быть!

И вот она пред человеком, которого знала за девять месяцев до рождения его, пред тем, кого она никогда не чувствовала вне своего сердца, – в шелке и бархате он пред нею, и оружие его в драгоценных камнях. Всё – так, как должно быть; именно таким она видела его много раз во сне – богатым, знаменитым и любимым.

– Мать! – говорил он, целуя ее руки. – Ты пришла ко мне, значит, ты поняла меня, и завтра я возьму этот проклятый город!

– В котором ты родился, – напомнила она.

Опьяненный подвигами своими, обезумевший в жажде еще большей славы, он говорил ей с дерзким жаром молодости:

– Я родился в мире и для мира, чтобы поразить его удивлением! Я щадил этот город ради тебя – он как заноза в ноге моей и мешает мне так быстро идти к славе, как я хочу этого. Но теперь – завтра – я разрушу гнездо упрямцев!

– Где каждый камень знает и помнит тебя ребенком, – сказала она.

– Камни – немые, если человек не заставит их говорить, – пусть горы заговорят обо мне, вот чего я хочу!

– Но – люди? – спросила она.

– О да, я помню о них, мать! И они мне нужны, ибо только в памяти людей бессмертны герои!

Она сказала:

– Герой – это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть...

– Нет! – возразил он. – Разрушающий так же славен, как и тот, кто созидает города. Посмотри – мы не знаем, Эней или Ромул построили Рим, но – точно известно имя Алариха и других героев, разрушавших этот город.

– Который пережил все имена, – напомнила мать. Так говорил он с нею до заката солнца, она всё реже перебивала его безумные речи, и всё ниже опускалась ее гордая голова.

Мать – творит, она – охраняет, и говорить при ней о разрушении значит говорить против нее, а он не знал этого и отрицал смысл ее жизни.

Мать – всегда против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матерям, – ее сын не видел этого, ослепленный холодным блеском славы, убивающим сердце.

И он не знал, что Мать – зверь столь же умный, безжалостный, как и бесстрашный, если дело идет о жизни, которую она, Мать, творит и охраняет.

Сидела она согнувшись, и сквозь открытое полотнище богатой палатки предводителя ей был виден город, где она впервые испытала сладостную дрожь зачатия и мучительные судороги рождения ребенка, который теперь хочет разрушать.

Багряные лучи солнца обливали стены и башни города

кровью, зловеще блестели стекла окон, весь город казался израненным, и через сотни ран лился красный сок жизни; шло время, и вот город стал чернеть, как труп, и, точно погребальные свечи, зажглись над ним звезды.

Она видела там, в темных домах, где боялись зажечь огонь, дабы не привлечь внимания врагов, на улицах, полных тьмы, запаха трупов, подавленного шёпота людей, ожидающих смерти, – она видела всё и всех; знакомое и родное стояло близко пред нею, молча ожидая ее решения, и она чувствовала себя матерью всем людям своего города.

С черных вершин гор в долину спускались тучи и, точно крылатые кони, летели на город, обреченный смерти.

– Может быть, мы обрушимся на него еще ночью, – говорил ее сын, – если ночь будет достаточно темна! Неудобно убивать, когда солнце смотрит в глаза и блеск оружия ослепляет их – всегда при этом много неверных ударов, – говорил он, рассматривая свой меч.

Мать сказала ему:

– Иди сюда, положи голову на грудь мне, отдохни, вспоминая, как весел и добр был ты ребенком и как все любили тебя...

Он послушался, прилег на колени к ней и закрыл глаза, говоря:

– Я люблю только славу и тебя, за то, что ты родила меня таким, каков я есть.

– А женщины? – спросила она, наклонясь над ним.

– Их – много, они быстро надоедают, как всё слишком сладкое.

Она спросила его в последний раз:

– И ты не хочешь иметь детей?

– Зачем? Чтобы их убили? Кто-нибудь, подобный мне, убьет их, а мне это будет больно, и тогда я уже буду стар и слаб, чтобы отомстить за них.

– Ты красив, но бесплоден, как молния, – сказала она, вздохнув.

Он ответил, улыбаясь:

– Да, как молния...

И задремал на груди матери, как ребенок.

Тогда она, накрыв его своим черным плащом, воткнула нож в сердце его, и он, вздрогнув, тотчас умер – ведь она хорошо знала, где бьется сердце сына. И, сбросив труп его с колен своих к ногам изумленной стражи, она сказала в сторону города:

– Человек – я сделала для родины всё, что могла; Мать – я остаюсь со своим сыном! Мне уже поздно родить другого, жизнь моя никому не нужна.

И тот же нож, еще теплый от крови его – ее крови, – она твердой рукою вонзила в свою грудь и тоже верно попала в сердце, – если оно болит, в него легко попасть.

XII

Звенят цикады.

Словно тысячи металлических струн протянуты в густой листве олив, ветер колеблет жесткие листья, они касаются струн, и эти легкие непрерывные прикосновения наполняют воздух жарким, опьяняющим звуком. Это – еще не музыка, но кажется, что невидимые руки настраивают сотни невидимых арф, и всё время напряженно ждешь, что вот наступит момент молчания, а потом мощно грянет струнный гимн солнцу, небу и морю.

Дует ветер, деревья качаются и точно идут с горы к морю, встряхивая вершинами. О прибрежные камни равномерно и глухо бьет волна; море – всё в живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц опустились на его синюю равнину, все они плывут в одном направлении, исчезают, ныряя в глубину, снова являются и звенят чуть слышно. И, словно увлекая их за собою, на горизонте качаются, высоко подняв трехъярусные паруса, два судна, тоже подобные серым птицам; всё это – напоминая давний, полузабытый сон – не похоже на жизнь.

– К ночи разыграется крепкий ветер! – говорит старый рыбак, сидя в тени камней, на маленьком пляже, усеянном звонкой галькой.

Прибой набросал на камни волокна пахучей морской тра-

вы – рыжей, золотистой и зеленой; трава вянет на солнце и горячих камнях, соленый воздух насыщен терпким запахом йода. На пляж одна за другой вбегают кудрявые волны.

Старый рыбак похож на птицу – маленькое стиснутое лицо, горбатый нос и невидимые в темных складках кожи, круглые, должно быть, очень зоркие глаза. Пальцы рук крючковаты, малоподвижны и сухи.

– Полсотни лет тому назад, синьор, – говорит старик, в тон шороху волн и звону цикад, – был однажды вот такой же веселый и звучный день, когда всё смеется и поет. Моему отцу было сорок, мне – шестнадцать, и я был влюблен, это – неизбежно в шестнадцать лет и при хорошем солнце.

– «Поедем, Гвидо, за пеццони», – сказал отец. – Пеццони, синьор, очень тонкая и вкусная рыба с розовыми плавниками, ее называют также коралловой рыбой, потому что она водится там, где есть кораллы, очень глубоко. Ее ловят, стоя на якоре, крючком с тяжелым грузилом. Красивая рыба.

– И мы поехали, ничего не ожидая, кроме хорошей удачи. Мой отец был сильный человек, опытный рыбак, но незадолго перед этим он хворал – болела грудь, и пальцы рук у него были испорчены ревматизмом – болезнь рыбаков.

– Это очень хитрый и злой ветер, вот этот, который так ласково дует на нас с берега, точно тихонько толкая в море, – там он подходит к вам незаметно и вдруг бросается на вас, точно вы оскорбили его. Барка тотчас сорвана и летит по ветру, иногда вверх килем, а вы – в воде. Это случается

в одну минуту, вы не успеете выругаться или помянуть имя божие, как вас уже кружит, гонит в даль. Разбойник честнее этого ветра. Впрочем – люди всегда честнее стихии.

– Да, так вот этот ветер и ударил нас в четырех километрах от берега – совсем близко, как видите, ударил неожиданно, как трус и подлец.

– «Гвидо! – сказал родитель, хватая весла изуродованными руками. – Держись, Гвидо! Живо – якорь!»

– Но пока я выбирал якорь, отец получил удар веслом в грудь – вырвало весла из рук у него – он свалился на дно без памяти. Мне некогда было помочь ему, каждую секунду нас могло опрокинуть. Сначала – всё делается быстро: когда я сел на весла – мы уже неслись куда-то, окруженные водной пылью, ветер срывал верхушки волн и кропил нас, точно священник, только с лучшим усердием и совсем не для того, чтобы смыть наши грехи.

– «Это серьезно, сын мой! – сказал отец, придя в себя и взглянув в сторону берега. – Это – надолго, дорогой мой».

– Если молод – не легко веришь в опасность, я пытался грести, делал всё, что надо делать в воде в опасную минуту, когда этот ветер – дыхание злых дьяволов – любезно роет вам тысячи могил и бесплатно поет реквием.

– «Сиди смирно, Гвидо, – сказал отец, усмехаясь и стряхивая воду с головы. – Какая польза ковырять море спичками? Береги силу, иначе тебя напрасно станут ждать дома».

– Бросают зеленые волны нашу маленькую лодку, как де-

ти мяч, заглядывают к нам через борта, поднимаются над головами, режут, трясут, мы падаем в глубокие ямы, поднимаемся на белые хребты – а берег убегает от нас всё дальше и тоже пляшет, как наша барка. Тогда отец говорит мне:

– «Ты, может быть, вернешься на землю, я – нет! Послушай, что я буду говорить тебе о рыбе и работе...»

– И он стал рассказывать мне всё, что знал о привычках тех и других рыб, – где, когда и как успешнее ловить их.

– «Может быть, нам лучше помолиться, отец?» – предложил я, когда понял, что дела наши плохи: мы были точно пара кроликов в стае белых псов, отовсюду скаливших зубы на нас.

– «Бог видит всё! – сказал он. – Ему известно, что вот люди, созданные для земли, погибают в море и что один из них, не надеясь на спасение, должен передать сыну то, что он знает. Работа нужна земле и людям – бог понимает это...»

– И, рассказав мне всё, что знал о работе, отец стал говорить о том, как надо жить с людьми.

– «Время ли теперь учить меня? – сказал я. – На земле ты не делал этого!»

– «На земле я не чувствовал смерть так близко».

– Ветер выл, как зверь, и плескал волны – отцу приходилось кричать, чтобы я слышал, и он кричал:

– «Всегда держись так, как будто никого нет лучше тебя и нет никого хуже, – это будет верно! Дворянин и рыбак, священник и солдат – одно тело, и ты такой же необходимый

член его, как все другие. Никогда не подходи к человеку, думая, что в нем больше дурного, чем хорошего, – думай, что хорошего больше в нем, – так это и будет! Люди дают то, что спрашивают у них».

– Это, конечно, было сказано не сразу, а так, знаете точно команда: нас бросало с волны на волну, и то снизу, то сверху сквозь брызги воды я слышал эти слова. Многое уносил ветер раньше, чем оно доходило до меня, многого я не мог понять – время ли учиться, синьор, когда каждая минута грозит смертью! Мне было страшно, я первый раз видел море таким бешеным и чувствовал себя столь бессильным в нем. И я не могу сказать – тогда или после, вспоминая об этих часах, я испытал чувство, которое и по сей день живо в памяти моего сердца.

– Как теперь вижу родителя: он сидит на дне барки, раскинув больные руки, вцепившись в борта пальцами, шляпу смыло с него, волны кидаются на голову и на плечи ему то справа, то слева, бьют сзади и спереди, он встряхивает головою, фыркает и время от времени кричит мне. Мокрый он стал маленьким, а глаза у него огромные от страха, а может быть, от боли. Я думаю – от боли.

– «Слушай! – кричал мне. – Эй – слышишь?»

Иногда я отвечал ему:

– «Слышу!»

– «Помни – всё хорошее от человека».

– «Ладно!» – отвечаю я.

– Никогда он не говорил так со мною на земле. Был веселый, добрый, но мне казалось, что он смотрит на меня насмешливо и недоверчиво, что я для него еще ребенок. Иногда это обижало меня – юность самолюбива.

– Его крики укрощали мой страх, должно быть, поэтому я так хорошо помню всё.

Старик рыбак помолчал, поглядел в белое море, улыбнулся и сказал, подмигнув:

– Приглядевшись к людям, я знаю, синьор, помнить – это всё равно, что понимать, а чем больше понимаешь, тем более видишь хорошего, – уж это так, поверьте!

– Да, так вот – помню я его милое мне мокрое лицо и огромные глаза – смотрели они на меня серьезно, с любовью, и так, что я знал тогда – мне суждено погибнуть не в этот день. Боялся, но знал, что не погибну.

– Нас, конечно, опрокинуло. Вот – мы оба в кипящей воде, в пене, которая ослепляет нас, волны бросают наши тела, бьют их о киль барки. Мы еще раньше привязали к банкам всё, что можно было привязать, у нас в руках веревки, мы не оторвемся от нашей барки, пока есть сила, но – держаться на воде трудно. Несколько раз он или я были взброшены на киль и тотчас смыты с него. Самое главное тут в том, что кружится голова, гложнешь и слепнешь – глаза и уши залиты водой, и очень много глотаешь ее.

– Это тянулось долго – часов семь, потом ветер сразу переменился, густо хлынул к берегу, и нас понесло к земле. Тут

я обрадовался, закричал:

– «Держись!»

– Отец тоже кричал что-то, я понял одно слово:

– «Разобьет...»

– Он думал о камнях, они были еще далеко, я не поверил ему. Но он лучше меня знал дело, – мы неслись среди гор воды, присосавшись, точно улитки, к нашей кормилице, порядочно избитые об нее, уже обессиленные и онемевшие. Это длилось долго, но когда стали видны темные горы берега – всё пошло с невыразимой быстротой. Качаясь, они подвигались к нам, наклонялись над водой, готовые опрокинуться на головы наши, – раз, раз – подкидывают белые волны наши тела, хрустит наша барка, точно орех под каблуком сапога, я оторван от нее, вижу изломанные черные ребра скал, острые, как ножи, вижу голову отца высоко надо мною, потом – над этими когтями дьяволов. Его поймали часа через два, с переломанной спиной и разбитым, до мозга, черепом. Рана на голове была огромная, часть мозга вымыло из нее, но я помню серые, с красными жилками, кусочки в ране, точно мрамор или пена с кровью. Изуродован был он ужасно, весь изломан, но лицо – чисто, спокойно, и глаза хорошо, плотно закрыты.

– Я? Да, я тоже был порядочно измят, на берег меня втащили без памяти. Нас принесло к материку, за Амальфи³⁰ – чуждое место, но, конечно, свои люди – тоже рыбаки, такие

³⁰ Амальфи – город на побережье Салернского залива.

случаи их не удивляют, но делают добрыми: люди, которые ведут опасную жизнь, всегда добры!

– Я думаю, что не сумел рассказать про отца так, как чувствую, и то, что пятьдесят один год держу в сердце, – это требует особенных слов, даже, может быть, песни, но – мы люди простые, как рыбы, и не умеем говорить так красиво, как хотелось бы! Чувствуешь и знаешь всегда больше, чем можешь сказать.

– Тут всё дело в том, что он, мой отец, в час смерти, зная, что ему не избежать ее, не испугался, не забыл обо мне, своем сыне, и нашел силу и время передать мне всё, что он считал важным. Шестьдесят семь лет прожил я и могу сказать, что всё, что он внушил мне, – верно!

Старик снял свой вязаный колпак, когда-то красный, теперь бурый, достал из него трубку и, наклонив голый, бронзовый череп, сильно сказал:

– Всё верно, дорогой синьор! Люди таковы, какими вы хотите видеть их, смотрите на них добрыми глазами, и вам будет хорошо, им – тоже, от этого они станут еще лучше, вы – тоже! Это – просто!

Ветер становился всё крепче, волны выше, острее и белей; выросли птицы на море, они всё торопливее плывут в даль, а два корабля с трехъярусными парусами уже исчезли за синей полосой горизонта.

Крутые берега острова в пене волн, буяня, плещет синяя вода, и неутомимо, страстно звенят цикады.

XIII

В день, когда это случилось, дул сирокко, влажный ветер из Африки – скверный ветер! – он раздражает нервы, приносит дурные настроения, вот почему два извозчика – Джузеппе Чиротта и Луиджи Мэта – поссорились. Ссора возникла незаметно, нельзя было понять, кто первый вызвал ее, люди видели только, как Луиджи бросился на грудь Джузеппе, пытаясь схватить его за горло, а тот, убрав голову в плечи, спрятал свою толстую красную шею и выставил черные крепкие кулаки.

Их тотчас розняли и спросили:

– В чем дело?

Синий от гнева, Луиджи крикнул:

– Пусть этот бык повторит при всех, что он сказал о моей жене!

Чиротта хотел уйти, он спрятал свои маленькие глаза в складках пренебрежительной гримасы и, качая круглой черной головой, отказывался повторить обиду, тогда Мэта громко сказал:

– Он говорит, что узнал сладость ласк моей жены!

– Эге! – сказали люди. – Это – не шутка, это требует серьезного внимания. Спокойствие, Луиджи! Ты здесь – чужой, твоя жена – наш человек, мы все тут знали ее ребенком, и если обижен ты – ее вина падает на всех нас, – будем

правдивы!

Приступили к Чиротта.

– Ты сказал это?

– Ну да, – сознался он.

– И это – правда?

– Кто когда-нибудь уличал меня во лжи?

Чиротта – порядочный человек, хороший семьянин, – дело принимало очень мрачный оборот – люди были смущены и задумались, а Луиджи пошел домой и сказал Кончетте:

– Я – уезжаю! Я не хочу знать тебя, если ты не докажешь, что слова этого негодяя – клевета.

Она, конечно, плакала, но – ведь слезы не оправдывают; Луиджи оттолкнул ее, и вот она осталась одна, с ребенком на руках, без денег и хлеба.

Вступились женщины – прежде всех Катарина, торговка овощами, умная лисица, эдакий, знаете, старый мешок, туго набитый мясом и костями и кое-где сильно сморщенный.

– Синьоры, – сказала она, – вы уже слышали, что это касается чести всех вас. Это – не шалость, внушенная лунной ночью, задета судьба двух матерей – так? Я беру Кончетту к себе, и она будет жить у меня, до дня, когда мы откроем правду.

Так и сделали, а потом Катарина и эта сухая ведьма Лючия, крикунья, чей голос слышно на три мили, – принялись за бедного Джузеппе: призвали и давай щипать его душу, как старую тряпку:

– Ну, добряк, скажи – ты брал ее много раз, Кончетту?

Толстый Джузеппе надул щеки, подумал и сказал:

– Однажды.

– Это можно было сказать и не думая, – заметила Лючия вслух, но как бы сама себе.

– Случилось это вечером, ночью, утром? – спрашивала Катарина, совсем как судья.

Джузеппе, не подумав, выбрал вечер.

– Было еще светло?

– Да, – сказал дурачина.

– Так! Значит, ты видел ее тело?

– Ну, конечно!

– Так скажи нам, каково оно!

Тут он понял, к чему эти вопросы, и раскрыл рот, как воробей, подавившийся зерном ячменя, понял и забормотал, сердясь так, что его большие уши налились кровью и стали лиловыми.

– Что же, – говорит, – я могу сказать? Ведь я не рассматривал ее, как доктор!

– Ты ешь плоды, не любуясь ими? – спросила Лючия. – Но, может быть, ты все-таки заметил одну особенность Кончеттины? – спрашивает она дальше и подмигивает ему, змея.

– Всё это случилось так быстро, – говорит Джузеппе, – право, я ничего не заметил.

– Значит – ты ее не имел! – сказала Катарина, – она добрая старуха, но, когда нужно, умеет быть строгой. Словом –

они так запутали его в противоречиях, что малый, наконец, опустил дурную свою голову и сознался:

– Ничего не было, я сказал это со зла.

Старух не удивило это.

– Так мы и думали, – сказали они и, отпустив его с миром, передали дело на суд мужчин.

Через день собралось наше общество рабочих. Чиротта встал пред ними, обвиняемый в клевете на женщину, и старик Джакомо Фаска, кузнец, сказал весьма недурно:

– Граждане, товарищи, хорошие люди! Мы требуем справедливости к нам – мы должны быть справедливы друг ко другу, пусть все знают, что мы понимаем высокую цену того, что нам нужно, и что справедливость для нас не пустое слово, как для наших хозяев. Вот человек, который оклеветал женщину, оскорбил товарища, разрушил одну семью и внес горе в другую, заставив свою жену страдать от ревности и стыда. Мы должны отнестись к нему строго. Что вы предлагаете?

Шестьдесят семь языков сказали единодушно:

– Вон его из коммуны!

А пятнадцать нашли, что это слишком сурово, и завязался спор. Отчаянно кричали – дело шло о судьбе человека, и не одного: ведь он женат, имеет троих детей, – в чем виноваты жена и дети? У него – дом, виноградник, пара лошадей, четыре осла для иностранцев, – всё это поднято его горбом и стоит немало труда. Бедняга Джузеппе торчал в углу один,

мрачный, как чёрт среди детей; сидел на стуле согнувшись, опустив голову, и мял в руках свою шляпу, уже содрал с нее ленту и понемногу отрывал поля, а пальцы на руках у него танцевали, как у скрипача. И когда спросили у него – что он скажет? – он сказал, с трудом распрямив тело и встав на ноги.

– Я прошу снисхождения! Никто ведь не безгрешен. Прогнать меня с земли, на которой я жил больше тридцати лет, где работали мои предки, – это не будет справедливо!

Женщины тоже были против изгнания, и наконец Фаска предложил поступить так:

– Я думаю, друзья, он будет хорошо наказан, если мы возложим на него обязанность содержать жену Луиджи и его ребенка, – пусть он платит ей половину того, что зарабатывал Луиджино!

Еще много спорили, но в конце концов остановились на этом, и Джузеппе Чиротта был очень доволен, что отделался так дешево, да и всех удовлетворило это: дело не дошло ни до суда, ни до ножа, а решилось в своем кругу. Мы не любим, синьор, когда о наших делах пишут в газетах языком, в котором понятные слова торчат редко, как зубы во рту старика, или когда судьи, эти чужие нам люди, очень плохо понимающие жизнь, толкуют про нас таким тоном, точно мы дикари, а они – божьи ангелы, которым незнаком вкус вина и рыбы и которые не прикасаются к женщине! Мы – простые люди и смотрим на жизнь просто.

Так и решили: Джузеппе Чиротта кормит жену Луиджи

Мэта и ребенка их, но дело не кончилось этим: когда Луиджино узнал, что слова Чиротта лживы, а его синьора невинна, и узнал наш приговор, он вызвал ее к себе, написав кратко:

«Иди ко мне и будем жить снова хорошо. Не бери ни чентезима³¹ у этого человека, а если уже взяла – брось взятое в глаза ему! Я пред тобою тоже не виноват, разве я мог подумать, что человек лжет в таком деле, как любовь!»

А Чиротта он написал другое письмо:

«У меня три брата, и все четверо мы поклялись друг другу, что зарежем тебя, как барана, если ты сойдешь когда-нибудь с острова на землю в Сорренто, Каstellа-маре, Торре или где бы то ни было. Как только узнаем, то и зарежем, помни! Это такая же правда, как то, что люди твоей коммуны – хорошие, честные люди. Помощь твоя не нужна синьоре моей, даже и свинья моя отказалась бы от твоего хлеба. Живи, не сходя с острова, пока я не скажу тебе – можно!»

Говорят, будто бы Чиротта носил это письмо к судье нашему и спрашивал – нельзя ли осудить Луиджи за угрозу его? И будто судья сказал:

– Можно, конечно, но ведь тогда братья его уж наверное зарежут вас; приедут сюда и зарежут. Я советую – подождите! Это – лучше. Гнев – не любовь, он недолговечен...

Судья мог сказать эдак: он у нас очень добрый, очень умный человек и сочиняет хорошие стихи, но – я не верю, что-

³¹ Чентезимо – мелкая монета.

бы Чиротта ходил к нему и показывал это письмо. Нет, Чиротта порядочный парень все-таки, он не сделал бы еще одну бестактность, ведь его за это осмеяли бы.

Мы – простые, рабочие люди, синьор, у нас – своя жизнь, свои понятия и мнения, мы имеем право строить жизнь, как хотим и как лучше для нас.

Социалисты? О, друг мой, рабочий человек рождается социалистом, как я думаю, и хотя мы не читаем книг, но правду слышим по запаху, – ведь правда крепко пахнет и всегда одинаково – трудовым потом!

XIV

У двери белой кантины,³² спрятанной среди толстых лоз старого виноградника, под тенью навеса из этих же лоз, переплетенных выюнком и мелкой китайской розой, сидят у стола, за графином вина, Винченцо, маляр, и Джиованни, слесарь. Маляр – маленький, костлявый, черный; в его темных глазах светится задумчивая мягкая улыбка мечтателя; хотя его верхняя губа и щеки выбриты досиня – лицо, от этой улыбки, кажется детским и наивным. У него маленький красивый рот, точно у девушки, кисти рук – длинные, он вертит в живых пальцах золотой цветок розы и, прижимая его к пухлым губам, закрывает глаза.

– Может быть – я не знаю – может быть! – тихо говорит он, покачивая сжатой с висков головою, рыжеватые локоны осыпаются на его высокий лоб.

– Да, да! Чем дальше на север, тем настойчивее люди! – утверждает Джиованни, большеголовый, широкоплечий парень, в черных кудрях; лицо у него медно-красное, нос обожжен солнцем и покрыт белой чешуей омертвевшей кожи; глаза – большие, добрые, как у вола, и на левой руке нет большого пальца. Его речь так же медленна, как движения рук, пропитанных маслом и железной пылью. Сжимая стакан вина в темных пальцах, с обломанными ногтями, он продолжа-

³² Кантина – погребок-закусочная.

ет басом:

– Милан, Турин – вот превосходные мастерские, где формируются новые люди, растет новый мозг! Подожди немного – земля станет честной и умной!

– Да! – сказал маленький маляр, подняв стакан, и, ловя вином солнечный луч, напевает:

О, как тепла земля на утре наших дней!

Но – возмужали мы, – и холодно на ней!

– Чем дальше на север, говорю я, тем лучше работа. Уже французы живут не так лениво, как мы, дальше – немцы и наконец русские – вот люди!

– Да!

– Бесправные, под страхом лишиться свободы и жизни, они сделали грандиозное дело – ведь это благодаря им вспыхнул к жизни весь восток!³³

– Страна героев! – склоняя голову, сказал маляр. – Я бы хотел жить с ними...

– Ты? – воскликнул слесарь, ударив по своему колену ребром ладони. – Кусочком льда был бы ты там через неделю!

Оба добродушно засмеялись.

Синие и золотые цветы вокруг них, ленты солнечных лучей дрожат в воздухе, в прозрачном стекле графина и стака-

³³ Имеется в виду революция 1905–1907 годов в России и ее влияние на развитие освободительного движения восточных народов.

нов горит альмандиновое вино, издали доплывает шелковый шорох моря.

– Вот, добрый мой Винченцо, – говорит слесарь, широко улыбаясь, – расскажи стихами, как я стал социалистом, – ты знаешь это?

– Нет, – сказал маляр, наливая в стаканы вино и улыбаясь красной струе, – ты никогда не говорил об этом. Эта кожа так хорошо сидит на твоих костях, что я думал – ты родился в ней!

– Я родился голым и глупым, как ты и все люди; в юности я мечтал о богатой жене, в солдатах – учился, чтобы сдать экзамен на офицерский чин, мне было двадцать три года, когда я почувствовал, что не всё на свете хорошо и жить дураком – стыдно!

Маляр облокотился на стол, а голову вскинул вверх и стал смотреть на гору, где на самом обрыве стоят, качая ветвями, огромные сосны.

– Нас – мою роту – послали в Болонью;³⁴ там волновались крестьяне, одни – требуя понижения арендной платы, другие – кричали о необходимости повысить заработную плату, те и другие казались мне неправыми: понизить аренду за землю, поднять рабочую плату – что за глупости! – думал я, – ведь это разорит землевладельцев... Мне, жителю города, это ка-

³⁴ Болонья – центр области Эмилия-Романья, которая считается традиционно «красной зоной» Италии. В описываемый период здесь, как и на севере страны, Итальянская социалистическая партия пользовалась наибольшим влиянием.

залось вздором и бессмыслицей. И я очень сердился, чему помогала жара, постоянные передвижения с места на место, караульная служба по ночам, – эти молодцы, видишь ли, ломали машины помещиков, а также им нравилось жечь хлеб и портить всё, принадлежавшее не им.

Он выпил вино маленькими глотками и, оживляясь все более, продолжал:

– Они ходили по полям густыми толпами, точно овцы, но – молча, грозно, деловито, мы разгоняли их, показывая штыки, иногда – толкая прикладами, они, не пугаясь и не торопясь, разбегались, собирались снова. Это было скучно, как обедня, и тянулось изо дня в день, точно лихорадка. Луото, наш унтер, славный парень, абруцезец,³⁵ тоже крестьянин, мучился: пожелтел, похудел и не однажды говорил нам:

– «Очень скверно, дети мои! Вероятно, придется стрелять, будь я проклят!»

– Его карканье еще больше расстраивало нас, а тут, знаешь, из-за каждого угла, холма и дерева торчат упрямые головы крестьян, щупают тебя их сердитые глаза, – люди эти относились к нам, конечно, не очень приветливо.

– Пей! – сказал маленький Винченцо, ласково подвигая приятелю полный стакан.

– Благодарю и – да здравствуют стойкие люди! – воскликнул слесарь, выпил, вытер ладонью усы и продолжал:

³⁵ Абруцезец – житель Абруцци, горной области Италии, расположенной к Востоку от столичной области Лацио.

– Однажды я стоял на небольшом холме, у рощи олив, охраняя деревья, потому что крестьяне портили их, а под холмом работали двое – старик и юноша, рыли какую-то канаву. Жарко, солнце печет, как огнем, хочется быть рыбой, скучно, и, помню, я смотрел на этих людей очень сердито. В полдень они, бросив работу, достали хлеб, сыр, кувшин вина, – чёрт бы вас побрал, думаю я. Вдруг старик, ни разу не взглянувший на меня до этой поры, что-то сказал юноше, тот отрицательно тряхнул головою, а старик крикнул:

– «Иди!» – Очень строго крикнул.

– Юноша идет ко мне с кувшином в руке, подошел и говорит так, знаешь, не очень охотно:

– «Отец мой думает, что вы хотите пить, и предлагает вам вина!»

– Было неловко, но – приятно, я отказался, кивнув старику головой и благодаря его, а он отвечает мне, поглядывая в небо:

– «Выпейте, синьор, выпейте! Мы предлагаем это человеку, а не солдату, мы не надеемся, что солдат будет добрее от нашего вина».

– «Не кусайся, чёрт тебя побери!» – подумал я и, выпив глотка три, поблагодарил, а они, там, внизу, начали есть; потом скоро я сменился – на мое место встал Уго, салертинец,³⁶ и я сказал ему тихонько, что эти двое крестьян – хорошие люди. В тот же день вечером, когда я стоял у дверей сарая, где

³⁶ Салертинец – житель города Салерно или провинции того же названия.

хранились машины, с крыши, на голову мне, упала черепица – по голове ударило не сильно, но другая очень крепко – ребром по плечу, так, что левая рука у меня повисла.

Слесарь захохотал, широко открыв рот и прищулив глаза.

– Черепицы, камни, палки, – говорил он сквозь смех, – в те дни и в том месте действовали самостоятельно, и эта самостоятельность неодушевленных предметов сажала нам довольно крупные шишки на головы. Идет или стоит солдат – вдруг с земли прыгает на него палка, с небес падает камень. Мы сердились, конечно!

Глаза маленького маляра стали грустны, лицо побледнело, и он сказал тихонько:

– Всегда стыдно слушать о таких вещах...

– Что поделаешь! Люди медленно умнеют. Далее: я позвал на помощь, меня отвели в дом, где уже лежал один, раненный камнем в лицо, и, когда я спросил его – как это случилось с ним, он сказал, невесело посмеиваясь:

– «Старуха, товарищ, старая седая ведьма ударила и предлагает – убить ее!»

– «Арестовали?»

– «Я сказал, что это сам я – упал и ударился. Командир не поверил, это было видно по его глазам. Но, согласись, неловко сознаться, что ранен старухой! Дьявол! Им туго приходится, и понятно, что они не любят нас».

– «Так!» – думаю я. Приходит доктор и две дамы – одна очень красивая, блондинка, очевидно – венецианка, другая

– не помню ее. Осматривают мой ушиб, конечно – пустяки, положили мне компресс и ушли.

Слесарь нахмурился, замолчал и крепко потер руки; его товарищ снова налил вина в стаканы, наливая, он высоко поднимал графин, и вино трепетало в воздухе красной живой струей.

– Мы оба сели у окна, – угрюмо продолжал слесарь, – сели так, чтобы нас не видело солнце, и вот слышим нежный голосок блондинки этой – она с подружкой и доктором идет по саду, за окном, и говорит на французском языке, который я хорошо понимаю.

– «Вы заметили, какие у него глаза? – говорит она. – Он, разумеется, тоже крестьянин и, может быть, сняв мундир, тоже будет социалистом, как все у нас. И вот, люди с такими глазами хотят завоевать весь мир, перестроить всю жизнь, изгнать нас, уничтожить, всё для того, чтобы торжествовала какая-то слепая, скучная справедливость!»

– «Глупые ребята, – сказал доктор, – полудети, полужвери!»

– «Звери – да! Но – что в них детского?»

– «А эти мечты о всеобщем равенстве...»

– «Вы подумайте, – я равна этому парню, с глазами вола, и другому, с птичьим лицом, мы все – вы, я и она – мы равны им, этим людям дурной крови! Людям, которых можно приглашать для того, чтобы они били подобных им, таких же зверей, как они...».

– Она говорила очень много и горячо, а я слушал и думал: «Так, синьора!» Я видел ее не в первый раз, и ты, конечно, знаешь, что никто не мечтает о женщине горячее, чем солдат. Разумеется, я представлял ее себе доброй, умной, с хорошим сердцем, и в то время мне казалось, что дворяне – особенно умны.

– Спрашиваю товарища: «Ты понимаешь этот язык?» Нет, он не понимал. Тогда я передал ему речь блондинки – пареньк рассердился, как чёрт, и запрыгал по комнате, сверкая глазами, – один глаз у него был завязан.

– «Вот как! – бормочет он. – Вот как! Она пользуется мной и – не считает меня человеком! Я ради нее позволяю оскорблять мое достоинство, и она же отрицает его! Ради сохранности ее имущества я рискую погубить душу...»

– Он был неглупый малый и почувствовал себя глубоко оскорбленным, я – тоже. И на другой же день мы с ним уже говорили об этой даме громко, не стесняясь. Луото только мычал и советовал нам:

– «Осторожнее, дети мои! Не забывайте, что вы – солдаты и существует дисциплина!»

– Нет, мы это не забыли. Но очень многие – почти все, говоря правду, – стали глухи и слепы, а эти молодцы крестьяне весьма умело пользовались нашей глухотой и слепотой. Они – выиграла. Они очень хорошо относились к нам; блондинке можно бы многому поучиться у них, например – они прекрасно научили бы ее, как надо ценить честных людей. Ко-

гда мы уходили оттуда, куда пришли с намерением пролить кровь, многие из нас получили цветы. Когда мы шли по улицам деревни – в нас бросали уже не камнями и черепицей, а цветами, друг мой! Я думаю, что мы заслужили это. О дурной встрече можно забыть, получив хорошие проводы!

Он засмеялся, потом сказал:

– Вот это ты должен превратить в стихи, Винченцо...

Маляр, задумчиво улыбаясь, ответил:

– Да, это очень годится для поэмы! Я думаю, что сумею сделать ее. Когда человеку минет двадцать пять лет – он становится плохим лириком.

Он отбросил цветок, уже измятый, сорвал другой и оглянулся, тихо продолжая:

– Пройдя путь от груди матери на грудь возлюбленной, человек должен идти дальше, к другому счастью...

Слесарь молчал, колыхая вино в стакане. Мягко шумит море, там, внизу, за виноградниками, запах цветов плывет в жарком воздухе.

– Это солнце делает нас слишком ленивыми, слишком мягкими, – бормотал слесарь.

– Мне уже плохо удаются лирические стихи, я очень недоволен собою, – тихо говорит Винченцо, сдвигая тонкие брови.

– Ты сделал что-нибудь?

Маляр не сразу говорит:

– Да, вчера, на крыше отеля «Комо».

И читает вполголоса, задумчиво, певуче:

На берег пустынный, на старые серые камни
Осеннее солнце прощально и нежно упало.
На темные камни бросаются жадные волны
И солнце смывают в холодное синее море.
И медные листья деревьев, оборваны ветром осенним,
Мелькают сквозь пену прибоя, как пестрые мертвые
птицы,
А бледное небо – печально, и гневное море – угрюмо.
Одно только солнце смеется, склоняясь покорно к закату.

Оба долго молчат; маляр, опустив голову, смотрит в землю, большой, тяжелый слесарь улыбается и наконец говорит:
– Обо всем можно сказать красиво, но лучше всего – слово о хорошем человеке, песня о хороших людях!

XV

На террасу отеля, сквозь темно-зеленый полог виноградных лоз, золотым дождем льется солнечный свет – золотые нити, протянутые в воздухе. На серых кафлях пола и белых скатертях столов лежат странные узоры теней, и кажется, что, если долго смотреть на них, – научишься читать их, как стихи, поймешь, о чем они говорят. Гроздья винограда играют на солнце, точно жемчуг или странный мутный камень оливин, а в графине воды на столе – голубые бриллианты.

В проходе между столами лежит маленький кружевной платок. Конечно, его потеряла дама, и она божественно красива – иначе не может быть, иначе нельзя думать в этот тихий день, полный знойного лиризма, день, когда всё будничное и скучное становится невидимым, точно исчезает от солнца, стыдясь само себя.

Тишина; только птицы щебечут в саду, гудят пчелы над цветами, да где-то на горе, среди виноградников, жарко вздыхает песня: поют двое – мужчина и женщина, каждый куплет отделен от другого минутою молчания – это дает песне особую выразительность, что-то молитвенное.

Вот и дама медленно всходит из сада по широким ступеням мраморной лестницы; это старуха, очень высокого роста, темное строгое лицо, сурово нахмуренные брови, тонкие губы упрямо сжаты, как будто она только что сказала: «Нет!»

На ее сухих плечах широкая и длинная – точно плащ – накидка золотистого шелка, обшитая кружевами, седые волосы маленькой, не по росту, головы прикрыты черным кружевом, в одной руке – красный зонт, с длинной ручкой, в другой – черная бархатная сумка, шитая серебром. Она идет сквозь паутину лучей прямо, твердо, как солдат, и стучит концом зонта по звонким кафлям пола. В профиль ее лицо еще строже: нос загнут, подбородок остр, и на нем большая серая бородавка, выпуклый лоб тяжело навис над темными ямами, где в сетях морщин скрыты глаза. Они спрятаны так глубоко, что старуха кажется слепой.

За нею, переваливаясь с боку на бок, точно селезень, на ступенях лестницы бесшумно является квадратное тело горбуна, с большой, тяжело опущенной головой в серой мягкой шляпе. Он держит руки в карманах жилета, это делает его еще более широким и угловатым. На нем белый костюм и белые же ботинки с мягкими подошвами. Рот его болезненно приоткрыт, видны желтые неровные зубы, на верхней губе неприятно топорщатся темные усы, редкие и жесткие, он дышит часто и напряженно, нос его вздрагивает, но усы не шевелятся. Идет он, уродливо выворачивая короткие ноги, его огромные глаза скучно смотрят в землю. На этом маленьком теле – много больших вещей: велик золотой перстень с камеей на безымянном пальце левой руки, велик золотой, с двумя рубинами, жетон на конце черной ленты, заменяющей цепочку часов, а в синем галстуке слишком крупен опал,

несчастливый камень.

И еще третья фигура, не спеша, входит на террасу, тоже старуха, маленькая и круглая, с добрым красным лицом, с бойкими глазами, должно быть – веселая и болтливая.

Они проходят по террасе в дверь отеля, точно люди с картин Гогарта:³⁷ некрасивые, печальные, смешные и чужие все-му под этим солнцем, – кажется, что всё меркнет и тускнеет при виде их.

Это – голландцы, брат и сестра, дети торговца бриллиантами и банкира, люди очень странной судьбы, если верить тому, что насмешливо рассказано о них.

Ребенком горбун был тих, незаметен, задумчив и не любил игрушек. Это ни в ком, кроме сестры, не возбуждало особенного внимания к нему – отец и мать нашли, что таков и должен быть неудавшийся человек, но у девочки, которая была старше брата на четыре года, его характер возбуждал тревожное чувство.

Почти все дни она проводила с ним, стараясь всячески возбудить в нем оживление, вызвать смех, подсовывала ему игрушки, – он складывал их, одну на другую, строя какие-то пирамиды, и лишь очень редко улыбался насильственной улыбкой, обычно же смотрел на сестру, как на всё, – невеселым взглядом больших глаз, как бы ослепленных чем-то; этот взгляд раздражал ее.

³⁷ Гогарт Вильям (1697–1764) – английский художник, в картинах которого проявились тонкое понимание природы и склонность к сатире.

– Не смей так смотреть, ты вырастешь идиотом! – кричала она, топая ногами, щипала его, била, он хныкал, защищал голову, взбрасывая длинные руки вверх, но никогда не убежал от нее и не жаловался на побои.

Позднее, когда ей показалось, что он может понимать то, что для нее было уже ясно, она убеждала его:

– Если ты урод – ты должен быть умным, иначе всем будет стыдно за тебя, папе, маме и всем! Даже люди станут стыдиться, что в таком богатом доме есть маленький уродец. В богатом доме всё должно быть красиво или умно – понимаешь?

– Да, – серьезно говорил он, склоняя свою большую голову набок и глядя в лицо ей темным взглядом неживых глаз.

Отец и мать любовались отношением девочки к брату, хвалили при нем ее доброе сердце, и незаметно она стала признанной наперсницей горбуна – учила его пользоваться игрушками, помогала готовить уроки, читала ему истории о принцах и феях.

Но, как и раньше, он складывал игрушки высокими кучами, точно стараясь достичь чего-то, а учился невнимательно и плохо, только чудеса сказок заставляли его нерешительно улыбаться, и однажды он спросил сестру:

– Принцы бывают горбаты?

– Нет.

– А рыцари?

– Конечно – нет!

Мальчик устало вздохнул, а она, положив руку на его жесткие волосы, сказала:

– Но мудрые волшебники всегда горбаты.

– Значит – я буду волшебником, – покорно заметил горбун, а потом, подумав, прибавил:

– А феи – всегда красивы?

– Всегда.

– Как ты?

– Может быть! Я думаю – даже более красивые, – честно сказала она.

Ему минуло восемь лет, и сестра заметила, что каждый раз во время прогулок, когда они проходили или проезжали мимо строящихся домов, на лице мальчика является выражение удивления, он долго, пристально смотрит, как люди работают, а потом вопросительно обращает свои немые глаза на нее.

– Это интересно тебе? – спросила она.

Малоречивый, он ответил:

– Да.

– Почему?

– Я не знаю.

Но однажды объяснил!

– Такие маленькие люди и кирпичики – а потом огромные дома. Так сделан весь город?

– Да, разумеется.

– И наш дом?

– Конечно!

Взглянув на него, она решительно сказала:

– Ты будешь знаменитым архитектором, вот что!

Ему купили множество деревянных кубиков, и с этой поры в нем жарко вспыхнула страсть к строительству: целыми днями он, сидя на полу своей комнаты, молча возводил высокие башни, которые с грохотом падали. Он строил их снова, и это стало так необходимо для него, что даже за столом, во время обеда, он пытался построить что-то из ножей, вилок и салфеточных колец. Его глаза стали сосредоточеннее и глубже, а руки ожили и непрерывно двигались, ощупывая пальцами каждый предмет, который могли взять.

Теперь, во время прогулок по городу, он готов был целые часы стоять против строящегося дома, наблюдая, как из малого растет к небу огромное; ноздри его дрожали, внюхиваясь в пыль кирпича и запах кипящей извести, глаза становились сонными, покрывались пленкой напряженной вдумчивости, и, когда ему говорили, что неприлично стоять на улице, он не слышал.

– Идем! – будила его сестра, дергая за руку.

Он склонял голову и шел, всё оглядываясь назад.

– Ты будешь архитектором, да? – внушала и спрашивала она.

– Да.

Однажды, после обеда, в гостиной, ожидая кофе, отец заговорил о том, что пора бросить игрушки и начать учиться

серьезно, но сестра, тоном человека, чей ум признан и с кем нельзя не считаться, – спросила:

– Я надеюсь, папа, что вы не думаете отдать его в учебное заведение?

Большой, бритый, без усов, украшенный множеством сверкающих камней, отец проговорил, закуривая сигару:

– А почему бы и нет?

– Вы знаете – почему!

Так как речь шла о нем, горбун тихонько удалился; он шел медленно и слышал, как сестра говорила:

– Но ведь все будут смеяться над ним!

– Ах, да, конечно! – сказала мать густым голосом, сырым, точно осенний ветер.

– Таких, как он, надо прятать! – горячо говорила сестра.

– Ах, да, тут нечем гордиться! – сказала мать. – Сколько ума в этой головке, о!

– Пожалуй – вы правы, – согласился отец.

– Нет, сколько ума...

Горбун воротился, встал в двери и сказал:

– Я ведь тоже не глуп...

– Увидим, – молвил отец, а мать заметила:

– Никто не думает ничего подобного...

– Ты будешь учиться дома, – объявила сестра, усаживая его рядом с собою. – Ты будешь учиться всему, что надо знать архитектору, – это тебе нравится?

– Да. Ты увидишь.

– Что я увижу?

– Что мне нравится.

Она была немного выше его – на полголовы, – но заслоняла собою всё – и мать и отца. В ту пору ей было пятнадцать лет. Он был похож на краба, а она – тонкая, стройная и сильная – казалась ему феей, под властью которой жил весь дом и он, маленький горбун.

И вот к нему ходят вежливые, холодные люди, они что-то изъясняют, спрашивают, а он равнодушно сознается им, что не понимает наук, и холодно смотрит куда-то через учителей, думая о своем. Всем ясно, что его мысли направлены мимо обычного, он мало говорит, но иногда ставит странные вопросы:

– Что делается с теми, кто не хочет ничего делать?

Благовоспитанный учитель, в черном, наглухо застегнутом сюртуке, одновременно похожий на священника и воина, ответил:

– С такими людьми совершается всё дурное, что только можно представить себе! Так, например, многие из них становятся социалистами.

– Благодарю вас! – говорит горбун, – он держится с учителями корректно и сухо, как взрослый. – А что такое – социалист?

– В лучшем случае – фантазер и лентяй, вообще же – нравственный урод, лишенный представления о боге, собственности и нации.

Учителя всегда отвечали кратко, их ответы ложились в память плотно, точно камни мостовой.

– Нравственным уродом может быть и старуха?

– О, конечно, среди них...

– И – девочка?

– Да. Это – врожденное свойство...

Учителя говорили о нем:

– У него слабые способности к математике, но большой интерес к вопросам морали...

– Ты много говоришь, – сказала ему сестра, узнав о его беседах с учителями.

– Они говорят больше.

– И ты мало молишься богу...

– Он не исправит мне горба...

– Ах, вот как ты начал думать! – с изумлением воскликнула она и заявила:

– Я прощаю тебе это, но – забудь всё подобное, – слышишь?

– Да.

Она уже носила длинные платья, а ему исполнилось тринадцать лет.

С этого времени на нее обильно посыпались неприятности: почти каждый раз, когда она входила в рабочую комнату брата, к ногам ее падали какие-то брусья, доски, инструменты, задевая то плечо, то голову ее, отбивая ей пальцы, – горбун всегда предупреждал ее криком:

– Берегись!

Но – всегда опаздывал, и она испытывала боль.

Однажды, прихрамывая, она подскочила к нему, бледная, злая, крикнула в лицо ему;

– Ты нарочно делаешь это, урод! – и ударила его по щеке.

Ноги у него были слабые, он упал и, сидя на полу, тихо, без слез и без обиды сказал ей;

– Как ты можешь думать это? Ведь ты любишь меня – не правда ли? Ты меня любишь?

Она убежала, охая, потом пришла объясняться.

– Видишь ли – раньше этого не было...

– И этого тоже, – спокойно заметил он, сделав длинной рукою широкий круг: в углах комнаты были нагромождены доски, ящики, всё имело очень хаотичный вид, столярный и токарный станки у стен были завалены деревом.

– Зачем ты натаскал столько этой дряни? – спросила она, брезгливо и недоверчиво оглядываясь.

– Ты увидишь!

Он уже начал строить: сделал домик для кроликов и конуру для собаки, придумывал крысоловку, – сестра ревниво следила за его работами и за столом с гордостью рассказывала о них матери и отцу, – отец, одобрительно кивая головою, говорил;

– Всё началось с мелочей, и всегда всё так начинается!

А мать, обнимая ее, спрашивала сына:

– Ты понимаешь, как надо ценить ее заботы о тебе?

– Да, – отзывался горбун.

Когда он сделал крысоловку, то позвал сестру к себе и, показывая ей неуклюжее сооружение, сказал:

– Это уже не игрушка, и можно взять патент! Смотри – как просто и сильно, дотронься здесь.

Девушка дотронулась, что-то хлопнуло, и она дико закричала, а горбун, прыгая вокруг нее, бормотал:

– О, не та, не та...

Прибежала мать, явились слуги. Разломали аппарат для ловли крыс, освободили прищемленный, посиневший палец девушки и унесли ее в обмороке.

Вечером его позвали к сестре, и она спросила:

– Ты сделал это нарочно, ты ненавидишь меня, – за что?

Встряхивая горбом, он отвечал, тихо и спокойно:

– Просто ты дотронулась не тою рукой.

– Ты – лжешь!

– Но – зачем я стану портить тебе руки? Ведь это даже не та рука, которой ты ударила меня...

– Смотри, урод, ты не умнее меня!..

Он согласился:

– Я знаю.

Угловатое лицо его было, как всегда, спокойно, глаза смотрели сосредоточенно – не верилось, что он зол и может лгать.

После этого она стала не так часто заходить к нему. Ее посещали подруги – шумные девочки в разноцветных платьях,

они славно бегали по большим, немножко холодным и угрюмым комнатам, – картины, статуи, цветы и позолота – всё становилось теплее при них. Иногда сестра приходила с ними в его комнату, – они чопорно протягивали ему маленькие пальчики с розовыми ногтями, дотрогиваясь до его руки так осторожно, точно боялись сломать ее. Разговаривали они с ним особенно кротко и ласково, с удивлением, но без интереса осматривая горбуна среди его инструментов, чертежей, кусков дерева и стружек. Он знал, что все девочки зовут его «изобретателем», – это сестра внушила им, – и что от него ждут в будущем чего-то, что должно прославить имя его отца, – сестра говорила об этом уверенно.

– Он, конечно, некрасив, но – очень умный, – часто напоминала она.

Ей было девятнадцать лет, и она уже имела жениха, когда отец и мать погибли в море, во время прогулки на увеселительной яхте, разбитой и потопленной пьяным штурманом американского грузовика; она тоже должна была ехать на эту прогулку, но у нее неожиданно заболели зубы.

Когда пришло известие о смерти отца и матери, она, забыв свою зубную боль, бегала по комнате и кричала, воздевая руки:

– Нет, нет, этого не может быть!

Горбун стоял у двери, кутаясь портьерой, внимательно смотрел на нее и говорил, встряхивая горб:

– Отец был такой круглый и пустой – я не понимаю, как

ОН МОГ УТОНУТЬ...

– Молчи, ты никого не любишь! – кричала сестра.

– Я просто не умею говорить ласковых слов, – сказал он.

Труп отца не нашли, а мать была убита раньше, чем упала в воду, – ее вытащили, и она лежала в гробу такая же сухая и ломкая, как мертвая ветвь старого дерева, какую была и при жизни.

– Вот мы остались с тобою одни, – строго и печально сказала сестра брату после похорон матери, отодвигая его от себя острым взглядом серых глаз. – Нам будет трудно, мы ничего не знаем и можем много потерять. Так жаль, что я не могу сейчас же выйти замуж!

– О! – воскликнул горбун.

– Что такое – о?

Он, подумав, сказал:

– Мы – одни.

– Ты так говоришь это, точно тебя что-то радует!

– Я ничему не радуюсь.

– Это тоже очень жаль! Ты ужасно мало похож на живого человека.

Вечерами приходил ее жених – маленький, бойкий человек, белобрый, с пушистыми усами на загорелом круглом лице; он, не уставая, смеялся целый вечер и, вероятно, мог бы смеяться целый день. Они уже были обручены, и для них строился новый дом в одной из лучших улиц города – самой чистой и тихой. Горбун никогда не был на этой строй-

ке и не любил слушать, когда говорили о ней. Жених хлопал его по плечам маленькой, пухлой рукой, с кольцами на ней, и говорил, оскаливая множество мелких зубов;

– Тебе надо пойти посмотреть это, а? Как ты думаешь?

Он долго отказывался под разными предлогами, наконец уступил и пошел с ним и сестрой, а когда они двое взошли на верхний ярус лесов, то упали оттуда – жених прямо на землю, в творило с известью, а брат зацепился платьем за леса, повис в воздухе и был снят каменщиками. Он только вывихнул ногу и руку, разбил лицо, а жених переломил позвоночник и распорол бок.

Сестра билась в судорогах, руки ее царапали землю, поднимая белую пыль; она плакала долго, больше месяца, а потом стала похожа на мать – похудела, вытянулась и начала говорить сырым, холодным голосом:

– Ты – мое несчастье!

Он отмалчивался, опуская свои большие глаза в землю. Сестра оделась в черное, свела брови в одну линию и, встречая брата, стискивала зубы так, что скулы ее выдвигались острыми углами, а он старался не попадаться на глаза ей и всё составлял какие-то чертежи, одинокий, молчаливый. Так он жил вплоть до совершеннолетия, а с этого дня между ними началась открытая борьба, которой они отдали всю жизнь – борьба, связавшая их крепкими звеньями взаимных оскорблений и обид.

В день совершеннолетия он сказал ей тоном старшего:

– Нет ни мудрых волшебников, ни добрых фей, есть только люди, одни – злые, другие – глупые, а всё, что говорят о добре, – это сказка! Но я хочу, чтобы сказка была действительностью. Помнишь, ты сказала: «В богатом доме всё должно быть красиво или умно»? В богатом городе тоже должно быть всё красиво. Я покупаю землю за городом и буду строить там дом для себя и уродов, подобных мне, я выведу их из этого города, где им слишком тяжело жить, а таким, как ты, неприятно смотреть на них...

– Нет, – сказала она, – ты, конечно, не сделаешь этого! Это – безумная идея!

– Это – твоя идея.

Они поспорили, сдержанно и холодно, как спорят люди большой ненависти друг ко другу, когда им нет надобности скрывать эту ненависть.

– Это решено! – сказал он.

– Не мною, – ответила сестра.

Он приподнял горб и ушел, а через некоторое время сестра узнала, что земля куплена и, более того, землекопы уже роют рвы под фундамент, десятки телег свозят кирпич, камень, железо и дерево.

– Ты всё еще чувствуешь себя мальчишкой? – спросила она. – Ты думаешь, это игра?

Он молчал.

Раз в неделю его сестра – сухая, стройная и гордая – отправлялась за город в маленькой коляске, сама правя белой

лошадью, и, медленно проезжая мимо работ, холодно смотрела, как красное мясо кирпичей связывается сухожилиями железных балок, а желтое дерево ложится в тяжелую массу нервными нитями. Она видела издали фигуру брата, похожего на краба, он ползал по лесам, с тростью в руке, в измятой шляпе, пыльный, серый, точно паук; потом, дома, она пристально смотрела в его возбужденное лицо, в темные глаза – они стали мягче и яснее.

– Нет, – тихо говорил он, – я хорошо придумал, одинаково хорошо для вас и для нас! Это чудесное дело – строить, и мне кажется, что я скоро буду считать себя счастливым человеком...

Она спросила, загадочно измеряя глазами его уродливое тело:

– Счастливым?

– Да! Знаешь – люди, которые работают, совершенно не похожи на нас, они возбуждают особенные мысли. Как хорошо, должно быть, чувствует себя каменщик, проходя по улицам города, где он строил десятки домов! Среди рабочих – много социалистов, они, прежде всего, трезвые люди, и, право, у них есть свое чувство достоинства. Иногда мне кажется, что мы плохо знаем свой народ...

– Странно ты говоришь, – заметила она.

Горбун оживал, становясь с каждым днем всё разговорчивее:

– В сущности, всё идет так, как хотелось тебе: вот я ста-

новлюсь мудрым волшебником, освобождая город от уродов, ты же могла бы, если б хотела, быть доброй феей! Почему ты не отвечаешь?

– Мы поговорим об этом после, – сказала она, играя золотой цепью часов.

Однажды он заговорил языком, совершенно незнакомым ей:

– Может быть, я виноват перед тобою больше, чем ты предо мною...

Она удивилась:

– Я – виновата? Пред тобою?

– Подожди! Честное слово – я не так виноват, как ты думаешь! Ведь я хожу плохо, быть может, я толкнул его тогда, – но тут не было злого намерения, нет, поверь! Я гораздо более виновен в том, что хотел испортить руку, которою ты ударила меня...

– Оставим это! – сказала она.

– Мне кажется – нужно быть добрее! – бормотал горбун. – Я думаю, что добро – не сказка, оно возможно...

Огромное здание за городом росло с великою быстротой, ширилось по жирной земле и поднималось в небо, всегда серое, всегда грозившее дождем.

Однажды на работы явилась кучка официальных людей, они осмотрели построенное и, тихо поговорив между собою, запретили строить далее.

– Это сделала ты! – закричал горбун, бросаясь на сестру

и схватив ее за горло длинными, сильными руками, но откуда-то явились чужие люди, оторвали его от нее, и сестра сказала им:

– Вы видите, господа, что он действительно ненормален и опека необходима! Это началось с ним тотчас после смерти отца, которого он страстно любил, спросите слуг – они все знают о его болезни. Они молчали до последнего времени – это добрые люди, им дорога честь дома, где многие из них живут с детства. Я тоже скрывала несчастье – ведь нельзя гордиться тем, что брат безумен...

У него посинело лицо и глаза выкатились из орбит, когда он слушал эту речь, он онемел и молча царапал ногтями руки людей, державших его, а она продолжала:

– Разорительная затея с этим домом, который я намерена отдать городу под психиатрическую лечебницу имени моего отца...

Он завизжал, лишился сознания, и его увезли.

Сестра продолжала и закончила постройку с тою же быстротою, с которой он вел ее, а когда дом был совершенно отстроен, первым пациентом вошел в него ее брат. Семь лет провел он там – время, вполне достаточное для того, чтобы превратиться в идиота; у него развилась меланхолия, а сестра его за это время постарела, лишилась надежд быть матерью, и когда, наконец, увидала, что враг ее убит и не воскреснет, – взяла его на свое попечение.

И вот они кружатся по земному шару туда и сюда, точно

ослепленные птицы, бессмысленно и безрадостно смотрят на всё и нигде ничего не видят, кроме самих себя.

XVI

Синяя вода кажется густою, как масло, винт парохода работает в ней мягко и почти бесшумно. Не вздрагивает палуба под ногами, только напряженно трясется мачта, устремленная в ясное небо; тихонько поют тросы, натянутые, точно струны, но – к этому трепету уже привык, не замечаешь его, и кажется, что пароход, белый и стройный, точно лебедь, – неподвижен на скользкой воде. Чтобы заметить движение, нужно взглянуть за борт: там от белых бортов отталкивается зеленоватая волна, морщится и широкими мягкими складками бежит прочь, изгибаясь, сверкая ртутью и сонно журча.

Утро, еще не совсем проснулось море, в небе не отцвели розовые краски восхода, но уже прошли остров Горгону – поросший лесом, суровый одинокий камень, с круглой серой башней на вершине и толпою белых домиков у заснувшей воды. Несколько маленьких лодок стремительно проскользнули мимо бортов парохода, – это люди с острова идут за сардинами. В памяти остается мерный плеск длинных весел и тонкие фигуры рыбаков, – они гребут стоя и качаются, точно кланяясь солнцу.

За кормой парохода – широкая полоса зеленоватой пены, над нею лениво носятся чайки; иногда неизвестно откуда является питон, вытянувшись, как сигара, летит бесшумно над самой водой и вдруг вонзается в нее, точно стрела.

Вдали облачно встают из моря берега Лигурии – лиловые горы; еще два-три часа, и пароход войдет в тесную гавань мраморной Генуи.

Всё выше поднимается солнце, обещая жаркий день.

На палубу выбежали двое лакеев; один молодой, тоненький и юркий, неаполитанец, с неуловимым выражением подвижного лица, другой – человек среднего возраста, седоусый, чернобровый, в серебряной щетине на круглом черепе; у него горбатый нос и серьезные умные глаза. Шутя и смеясь, они быстро накрыли стол для кофе и убежали, а на смену, гуськом, один за другим из кают медленно вылезли пассажиры: толстяк, с маленькой головой и оплывшим лицом, краснощекий, но грустный и устало распутивший пухлые малиновые губы; человек в серых бакенбардах, высокий, весь какой-то выглаженный, с незаметными глазами и маленьким носом-пуговкой на желтом плоском лице; за ними, споткнувшись о медь порога, выпрыгнул рыжий круглый мужчина с брюшком, воинственно закрученными усами, в костюме альпиниста и в шляпе с зеленым пером. Все трое встали к борту, толстый печально прищурил глаза и сказал; – Вот как тихо, а?

Человек с бакенбардами сунул руки в карманы, расставил ноги и стал похож на открытые ножницы. Рыжий вынул золотые часы, большие, как маятник стенных часов, поглядел на них, в небо и вдоль палубы, потом начал свистать, раскачивая часы и притопывая ногою.

Явились две дамы – одна молодая, полная, с фарфоровым лицом и ласковыми молочно-синими глазами, темные брови ее словно нарисованы и одна выше другой; другая – старше, остроносая, в пышной прическе выцветших волос, с большой черной родинкой на левой щеке, с двумя золотыми цепями на шее, лорнетом и множеством брелоков у пояса серого платья.

Подали кофе. Молодая молча села к столу и начала разливать черную влагу, как-то особенно округляя обнаженные до локтей руки. Мужчины подошли к столу, молча сели, толстый взял чашку и вздохнул, сказав:

– День будет жаркий...

– Ты капаешь себе на колени, – заметила старшая дама.

Он наклонил голову – подбородок и щеки его расплылись, упираясь в грудь, – поставил чашку на стол, смахнул платком капли кофе с серых брюк и вытер потное лицо.

– Да! – неожиданно громко заговорил рыжий, шаркая короткими ногами, – Да, да! Если даже левые стали жаловаться на хулиганство, значит...

– Подожди трещать, Иван! – перебила старшая дама. – Лиза не выйдет?

– Ей нехорошо, – звучно ответила молодая.

– Но ведь море спокойно...

– Ах, когда женщина в таком положении...

Толстый улыбнулся и сладостно закрыл глаза.

За бортом, разрывая спокойную гладь моря, кувыркались

дельфины, – человек с бакенбардами внимательно посмотрел на них и сказал:

– Дельфины похожи на свиней.

Рыжий отозвался:

– Здесь вообще много свинства.

Бесцветная дама поднесла к носу чашку, понюхала кофе, брезгливо сморщилась.

– Отвратительно!

– А молоко, а? – поддержал толстый, испуганно мигая.

Дама с фарфоровым лицом пропела:

– И всё – грязно, грязно! И все ужасно похожи на жидов...

Рыжий, захлебываясь словами, всё время говорил о чем-то на ухо человеку с бакенбардами, точно отвечал учителю, хорошо зная урок и гордясь этим. Его слушателю было щекотно и любопытно, он легонько качал головою из стороны в сторону, и на его плоском лице рот зиял, точно щель на разошедшей доске. Иногда ему хотелось сказать что-то, он начинал странным, мохнатым голосом:

– У меня в губернии...

И, не продолжая, снова внимательно склонял голову к усам рыжего.

Толстый тяжело вздохнул, сказав:

– Как ты жужжишь, Иван...

– Ну – дайте мне кофе!

Он подвинулся к столу, со скрипом и треском, а собеседник его значительно проговорил:

– Иван имеет идеи.

– Ты не выспался, – сказала старшая дама, посмотрев в лорнет на бакенбардиста, – тот провел рукою по лицу, взглянул на ладонь.

– Мне кажется, что я напудрен, а тебе не кажется этого?

– Ах, дядя! – воскликнула молодая. – Это же особенность Италии! Здесь ужасно сохнет кожа!

Старшая дама спросила:

– Ты замечаешь, Лиди, какой у них скверный сахар?

На палубу вышел крупный человек, в шапке седых кудрявых волос, с большим носом, веселыми глазами и с сигарой в зубах, – лакеи, стоявшие у борта, почтительно поклонились ему.

– Добрый день, ребята, добрый день! – благосклонно кивая головою, сказал он громко, хриплым голосом.

Русские замолчали, искоса посматривая на него, усатый Иван вполголоса сообщил:

– Отставной военный, сразу видно...

Заметив, что на него смотрят, седой вынул сигару изо рта и вежливо поклонился русским, – старшая дама вздернула голову вверх и, приставив к носу лорнет, вызывающе оглядела его, усач почему-то сконфузился, быстро отвернувшись, выхватил из кармана часы и снова стал раскачивать их в воздухе. На поклон ответил только толстяк, прижав подбородок ко груди, – это смутило итальянца, он нервно сунул сигару в угол рта и вполголоса спросил пожилого лакея:

– Русские?

– Да, сударь! Русский губернатор с его фамилией...

– Какие у них всегда добрые лица...

– Очень хороший народ...

– Лучшие из славян, конечно...

– Немножко небрежны, сказал бы я...

– Небрежны? Разве?

– Мне так кажется – небрежны к людям.

Толстый русский покраснел и, широко улыбаясь, сказал негромко!

– Про нас говорит...

– Что? – брезгливо сморщив лицо, спросила старшая.

– Лучшие, говорит, славяне, – ответил толстяк, хихикнув.

– Они – льстивы, – заявила дама, а рыжий Иван спрятал часы и, закручивая усы обеими руками, пренебрежительно проговорил:

– Все они изумительно невежественны в отношении к нам...

– Тебя – хвалят, – сказал толстый, – а ты находишь, что это по невежеству...

– Глупости! Я не о том, а вообще... Я сам знаю, что мы – лучшие.

Человек с бакенбардами, всё время внимательно следивший, как играют дельфины, вздохнул и, покачивая головою, заметил:

– Какая глупая рыба!

К седому итальянцу подошли еще двое: старик, в черном сюртуке, в очках, и длинноволосый юноша, бледный, с высоким лбом, густыми бровями; они все трое встали к борту, шагах в пяти от русских, седой тихонько говорил:

– Когда я вижу русских – я вспоминаю Мессину...

– Помните, как мы встречали матросов в Неаполе? – спросил юноша.

– Да! Они не забудут этот день в своих лесах!

– Видели вы медаль в честь их?

– Мне не нравится работа.

– О Мессине говорят, – сообщил толстый своим.

– И – смеются! – воскликнула молодая дама. – Удивительно!

Чайки нагнали пароход, одна из них, сильно взмахивая кривыми крыльями, повисла над бортом, и молодая дама стала бросать ей бисквиты. Птицы, ловя куски, падали за борт и снова, жадно вскрикивая, поднимались в голубую пустоту над морем. Итальянцам принесли кофе, они тоже начали кормить птиц, бросая бисквиты вверх, – дама строго сдвинула брови и сказала:

– Вот обезьяны!

Толстый вслушался в живую беседу итальянцев и снова сообщил:

– Он не военный, а купец, говорит о торговле с нами хлебом и что они могли бы покупать у нас также керосин, лес и уголь.

– Я сразу видела, что не военный, – призналась старшая дама.

Рыжий опять начал говорить о чем-то в ухо бакенбардисту, тот слушал его и скептически растягивал рот, а юноша итальянец говорил, искоса поглядывая в сторону русских:

– Как жаль, что мы мало знаем эту страну больших людей с голубыми глазами!

Солнце уже высоко и сильно жжет, ослепительно блестит море, вдали, с правого борта, из воды растут горы или облака.

– Annette, – говорит бакенбардист, улыбаясь до ушей, – послушай, что выдумал этот забавный Жан, – какой способ уничтожить бунтовщиков в деревнях, это очень остроумно!

И, покачиваясь на стуле, медленно и скучно он рассказывал, как будто переводя с чужого языка:

– Нужно, говорит он, чтобы во дни ярмарок, а также сельских праздников, чтоб местный земский начальник заготовил, за счет казны, колья и камни, а потом он ставил бы мужикам – тоже за счет казны – десять, двадцать, пятьдесят – смотря по количеству людей – ведер водки, – больше ничего не нужно!

– Я не понимаю! – заявила старшая дама. – Это – шутка? Рыжий быстро ответил:

– Нет, серьезно! Вы подумайте, ma tante...³⁸

Молодая дама, широко открыв глаза, пожала плечами.

³⁸ тетья (Франц.)

– Какой вздор! Поить водкой от казны, когда они и так...

– Нет, подожди, Лидия! – вскричал рыжий, подскакивая на стуле. Бакенбардист беззвучно смеялся, широко открыв рот и качаясь из стороны в сторону.

– Ты подумай – те хулиганы, которые не успеют опиться, перебьют друг друга кольями и камнями, – ясно?

– Почему – друг друга? – спросил толстяк.

– Это – шутка? – снова осведомилась старшая дама.

Рыжий, плавно разводя короткими руками, горячо доказывал:

– Когда их укрощают власти – левые кричат о жестокостях и зверстве, значит – нужно найти способ, чтобы они сами себя укротили, – так?

Пароход качнуло, полная дама испуганно схватилась за стол, задребезжала посуда, дама постарше, положив руку на плечо толстяка, строго спросила:

– Это что такое?

– Мы поворачиваем...

Всё выше и отчетливее поднимаются из воды берега – холмы и горы, окутанные мглой, покрытые садами. Сизые камни смотрят из виноградников, в густых облаках зелени прячутся белые дома, сверкают на солнце стекла окон, и уже заметны глазу яркие пятна; на самом берегу приютился среди скал маленький дом, фасад его обращен к морю и весь завешен тяжелою массою ярко-лиловых цветов, а выше, с каменной террасы, густыми ручьями льется красная герань. Крас-

ки веселы, берег кажется ласковым и гостеприимным, мягкие очертания гор зовут к себе, в тень садов.

– Как тут тесно всё, – вздохнув, сказал толстый; старшая дама непримиримо посмотрела на него, потом – в лорнет – на берег и плотно поджала тонкие губы, вздернув голову вверх.

На палубе уже много смуглых людей в легких костюмах, они шумно беседуют, русские дамы смотрят на них пренебрежительно, точно королевы на подданных.

– Как они машут руками, – говорит молодая; толстяк, отдуваясь, поясняет:

– Это уж свойство языка, он – беден и требует жестов...

– Боже мой! Боже мой! – глубоко вздыхает старшая, потом, подумав, спрашивает:

– Что, в Генуе тоже много музеев?

– Кажется, только три, – ответил ей толстый.

– И это кладбище? – спросила молодая.

– Кампо Санто. И церкви, конечно.

– А извозчики – скверные, как в Неаполе?

Рыжий и бакенбардист встали, отошли к борту и там озабоченно беседуют, перебивая друг друга.

– Что говорит итальянец? – спрашивает дама, оправляя пышную прическу. Локти у нее острые, уши большие и желтые, точно увядшие листья. Толстый внимательно и покорно вслушивается в бойкий рассказ кудрявого итальянца.

– У них, синьоры, существует, должно быть, очень древ-

ний закон,³⁹ воспрещающий евреям посещать Москву, – это, очевидно, пережиток деспотизма, знаете – Иван Грозный! Даже в Англии есть много архаических законов, не отмененных и по сегодня. А может быть, этот еврей мистифицировал меня, одним словом, он почему-то не имел права посетить Москву – древний город царей, святынь...

– А у нас, в Риме – мэ́р иудей, – в Риме, который древнее и священнее Москвы, – сказал юноша, усмехаясь.

– И ловко бьет папу-портного!⁴⁰ – вставил старик в очках, громко хлопнув в ладоши.

– О чем кричит старик? – спросила дама, опуская руки.

– Ерунда какая-то. Они говорят на неаполитанском диалекте...

– Он приехал в Москву, нужно иметь кров, и вот этот еврей идет к проститутке, синьоры, больше некуда, – так говорил он...

– Басня! – решительно сказал старик и отмахнулся рукой от рассказчика.

– Говоря правду, я тоже думаю так.

³⁹ Закон, изданный Екатериной II в 1796 г., устанавливал так называемую черту еврейской оседлости, в которую входили Белоруссия, Екатеринославское наместничество и Таврическая губерния. За пределами черты оседлости разрешалось проживать евреям, имеющим высшее образование, специалистам в области медицины, ремесленникам высокой квалификации и купцам 1 и 2-й гильдий.

⁴⁰ Фамилия папы – Сарто = портной. Имеется в виду выступление мэра Рима Эрнеста Натана с резкой антиклерикальной речью 20 сентября 1910 г. – в сороковую годовщину со дня присоединения Рима и области Лацио к Итальянскому королевству и лишения папы светской власти.

– А что было далее? – спросил юноша.

– Она выдала его полиции, но сначала взяла с него деньги, как будто он пользовался ею...

– Гадость! – сказал старик. – Он человек грязного воображения, и только. Я знаю русских по университету – это добрые ребята...

Толстый русский, отирая платком потное лицо, сказал дамам, лениво и равнодушно:

– Он рассказывает еврейский анекдот.

– С таким жаром! – усмехнулась молодая Дама, а другая заметила:

– В этих людях, с их жестами и шумом, есть все-таки что-то скучное...

На берегу растет город; поднимаются из-за холмов дома и, становясь всё теснее друг ко другу, образуют сплошную стену зданий, точно вырезанных из слоновой кости и отражающих солнце.

– Похоже на Ялту, – определяет молодая дама, вставая. – Я пойду к Лизе.

Покачиваясь, она медленно понесла по палубе свое большое тело, окутанное голубоватой материей, а когда поравнялась с группой итальянцев, седой прервал свою речь и сказал тихонько:

– Какие прекрасные глаза!

– Да, – качнул головою старик в очках. – Вот такова, ве-

роятно, была Базилида!⁴¹

– Базилида – византнянка?

– Я вижу ее славянкой...

– Говорят о Лидии, – сказал толстый.

– Что? – спросила дама. – Конечно, пошлости?

– О ее глазах. Хвалят...

Дама сделала гримасу.

Сверкая медью, пароход ласково и быстро прижимался всё ближе к берегу, стало видно черные стены мола, из-за них в небо поднимались сотни мачт, кое-где неподвижно висели яркие лоскутья флагов, черный дым таял в воздухе, доносился запах масла, угольной пыли, шум работ в гавани и сложный гул большого города.

Толстяк вдруг рассмеялся.

– Ты – что? – спросила дама, прищурив серые, полинявшие глаза.

– Разгромят их немцы, ей-богу, вот увидите!

– Чему же ты радуешься?

– Так...

Бакенбардист, глядя под ноги себе, спросил рыжего, громко и строго грамматически:

– Был ли бы ты доволен этим сюрпризом или нет?

Рыжий, свирепо закручивая усы, не ответил.

⁴¹ Базилида – по-видимому, Базилика – вторая жена Юлия Констанция и мать римского императора Юлиана (Отступника). Умерла в 331 году в Константинополе.

Пароход пошел тише. О белые борта плескалась и всхлипывала, точно жалуясь, мутно-зеленая вода; мраморные дома, высокие башни, ажурные террасы не отражались в ней. Раскрылась черная пасть порта, тесно набитая множеством судов.

XVII

...За железный столик у двери ресторана сел человек в светлом костюме, сухой и бритый, точно американец, – сел и лениво поет:

– Га-агсон-н...

Всё вокруг густо усеяно цветами акации – белыми и точно золото: всюду блестят лучи солнца, на земле и в небе – тихое веселье весны. Посредине улицы, щелкая копытами, бегут маленькие ослики, с мохнатыми ушами, медленно шагают тяжелые лошади, не торопясь, идут люди, – ясно видишь, что всему живому хочется как можно дольше побыть на солнце, на воздухе, полном медового запаха цветов.

Мелькают дети – герольды весны, солнце раскрашивает их одежды в яркие цвета; покачиваясь, плывут пестро одетые женщины, – они так же необходимы в солнечный день, как звезды ночью.

Человек в светлом костюме имеет странный вид: кажется, что он был сильно грязен и только сегодня его вымыли, но так усердно, что уж навсегда стерли с него всё яркое. Он смотрит вокруг полинявшими глазами, словно считая пятна солнца на стенах домов и на всем, что движется по темной дороге, по широким плитам бульвара. Его вялые губы сложены цветком, он тихо и тщательно высвистывает странный и печальный мотив, длинные пальцы белой руки барабанят

по гулкому краю стола – тускло поблескивают ногти, – а в другой руке желтая перчатка, он отбивает ею на колене такт. У него лицо человека умного и решительного – так жаль, что оно стерто чем-то грубым, тяжелым.

Почтительно поклонясь, гарсон ставит перед ним чашку кофе, маленькую бутылочку зеленого ликера и бисквиты, а за столик рядом – садится широкогрудый человек с агатовыми глазами, – щеки, шея, руки его закопчены дымом, весь он – угловат, металлически крепок, точно часть какой-то большой машины.

Когда глаза чистого человека устало останавливаются на нем, он, чуть приподнявшись, дотронулся рукою до шляпы и сказал, сквозь густые усы:

– Добрый день, господин инженер.

– Ба, снова вы, Трама!

– Да, это я, господин инженер...

– Нужно ждать событий, а?

– Как идет ваша работа?

Инженер сказал, с маленькой усмешкой на тонких губах:

– Мне кажется – нельзя беседовать одними вопросами, мой друг...

А его собеседник, сдвинув шляпу на ухо, открыто и громко смеется и сквозь смех говорит:

– О да! Но, честное слово, так хочется знать...

Пегий, шершавый ослик, запряженный в тележку с углем, остановился, вытянул шею и – прискорбно закричал, но,

должно быть, ему не понравился свой голос в этот день, – сконфуженно оборвав крик на высокой ноте, он встряхнул мохнатыми ушами и, опустив голову, побежал дальше, цокая копытами.

– Я жду вашу машину с таким же нетерпением, как ждал бы новую книгу, которая обещает сделать меня умней...

Инженер сказал, прихлебывая кофе:

– Не совсем понимаю сравнение...

– Разве вы не думаете, что машина так же освобождает физическую энергию человека, как хорошая книга его дух?

– А! – сказал инженер, дернув головою вверх. – Так!

И спросил, ставя на стол пустую чашку:

– Вы, конечно, начнете агитацию?

– Я уже начал...

– Снова – стачки, беспорядки, да?

Тот пожал плечами, мягко улыбаясь.

– Если б можно было без этого...

Старуха в черном платье, суровая, точно монахиня, молча предложила инженеру букетик фиалок, он взял два и один протянул собеседнику, задумчиво говоря:

– У вас, Трама, такой хороший мозг, и, право, жаль, что вы – идеалист...

– Благодарю за цветы и комплимент. Вы сказали – жаль?

– Да! Вы, в сущности, поэт, и вам надо учиться, чтобы стать дельным инженером...

Трама, тихонько смеясь, обнажая белые зубы, говорил:

– О, это верно! Инженер – поэт, я убедился в этом, работая с вами...

– Вы – любезный человек...

– И я думал – отчего бы господину инженеру не сделаться социалистом? Социалисту тоже надо быть поэтом...

Они засмеялись, оба одинаково умно глядя друг на друга, удивительно разные, один – сухой, нервный, стертый, с выцветшими глазами, другой – точно вчера выкован и еще не отшлифован.

– Нет, Трама, я предпочел бы иметь свою мастерскую и десятка три вот таких молодцов, как вы. Ого, тут мы сделали бы кое-что...

Он тихонько ударил пальцами по столу и вздохнул, вдевая в петлицу цветы.

– Чёрт возьми, – возбуждаясь, вскричал Трама, – какие пустяки мешают жить и работать...

– Это вы историю человечества называете пустяками, мастер Трама? – тонко улыбаясь, спросил инженер; рабочий сдернул шляпу, взмахнул ею и заговорил, горячо и живо:

– Э, что такое история моих предков?

– Ваших предков? – переспросил инженер, подчеркнув первое слово еще более острой улыбкой.

– Да, моих! Это – дерзость? Пусть будет дерзость! Но – почему Джордано Бруно, Вико и Мадзини не предки мои – разве я живу не в их мире, разве я не пользуюсь тем, что посеяли вокруг меня их великие умы?

– А, в этом смысле!

– Всё, что дано миру отошедшими из него, – дано мне!

– Конечно, – сказал инженер, серьезно сдвинув брови.

– И всё, что сделано до меня – до нас, – руда, которую мы должны сделать сталью, – не правда ли?

– Почему – нет? Это – ясно!

– Ведь и вы, ученые, как мы, рабочие, – вы живете за счет работы умов прошлого.

– Я не спорю, – сказал инженер, склоняя голову; около него стоял мальчик в серых лохмотьях, маленький, точно мяч, разбитый игрою; держа в грязных лапах букетик крокусов, он настойчиво говорил:

– Возьмите у меня цветов, синьор...

– Я уже имею...

– Цветов никогда не бывает достаточно...

– Bravo, малыш! – сказал Трама. – Bravo, и мне дай два...

А когда мальчишка дал ему цвета, он, приподняв шляпу, предложил инженеру:

– Угодно?

– Благодарю.

– Чудесный день, не правда ли?

– Это чувствуешь даже в мои пятьдесят лет...

Он задумчиво оглянулся, прищурился, потом – вздохнул.

– Вы, я думаю, должны особенно сильно чувствовать игру весеннего солнца в жилах, это не потому только, что вы

молоды, но – как я вижу – весь мир для вас – иной, чем для меня, да?

– Не знаю, – сказал тот, усмехаясь, – но жизнь – прекрасна!

– Своими обещаниями? – скептически спросил инженер, и этот вопрос как бы задел его собеседника, – надев шляпу, он быстро сказал:

– Жизнь прекрасна всем, что мне нравится в ней! Чёрт побери, дорогой мой инженер, для меня слова не только звуки и буквы, – когда я читаю книгу, вижу картину, любуюсь прекрасным, – я чувствую себя так, как будто сам сделал всё это!

Оба засмеялись, один – громко и открыто, точно хвастаясь своим умением хохотать, откинув голову назад, выпятив широкую грудь, другой – почти беззвучно, всхлипывающим смехом, обнажая зубы, в которых завязло золото, словно он недавно жевал его и забыл почистить зеленоватые кости зубов.

– Вы – бравый парень, Трама, вас всегда приятно видеть, – сказал инженер и, подмигнув, добавил: – Если только вы не бунтуете...

– О, я всегда бунтую...

И, скорчив серьезную мину, прищуriv бездонные черные глаза, он спросил:

– Надеюсь – мы тогда вели себя вполне корректно?

Пожав плечами, инженер встал.

– О да. Да! Эта история – вы знаете? – стоила предпринятию тридцать семь тысяч лир...

– Было бы благоразумнее включить их в заработную плату...

– Гм! Вы – плохо считаете. Благоразумие? Оно свое у каждого зверя.

Он протянул сухую желтую руку и, когда рабочий пожимал ее, сказал:

– Я все-таки повторяю, что вам следует учиться и учиться...

– Каждую минуту я учусь...

– Из вас выработался бы инженер с доброй фантазией.

– Э, фантазия не мешает мне жить и теперь...

– До свиданья, упрямец...

Инженер пошел под акациями, сквозь сеть солнечных лучей, шагая медленно длинными, сухими ногами, тщательно натягивая перчатку на тонкие пальцы правой руки, – маленький, досиня черный гарсон отошел от двери ресторана, где он слушал эту беседу, и сказал рабочему, который рылся в кошельке, доставая медные монеты:

– Сильно стареет наш знаменитый...

– Он еще постоит за себя! – уверенно воскликнул рабочий. – У него много огня под черепом...

– Где будете вы говорить в следующий раз?

– Там же, на бирже труда. Вы слышали меня?

– Трижды, товарищ...

Крепко пожав друг другу руки, они с улыбкой расстались; один пошел в сторону, противоположную той, куда скрылся инженер, другой – задумчиво напевая, стал убирать посуду со столов.

Группа школьников в белых передниках – мальчики и девочки маршируют посредине дороги, от них искрами разлетается шум и смех, передние двое громко трубят в трубы, свернутые из бумаги, акации тихо осыпают их снегом белых лепестков. Всегда – а весною особенно жадно – смотришь на детей и хочется кричать вслед им, весело и громко:

– Эй, вы, люди! Да здравствует ваше будущее!

XVIII

Если жизнь стала такова, что человек уже не находит куска хлеба на земле, удобренной костями его предков, – не находит и, гонимый нуждою, уезжает скрепя сердце на юг Америки, за тридцать дней пути от родины своей, – если жизнь такова, что вы хотите от человека?

Кто бы он ни был – всё равно! Он – как дитя, оторванное от груди матери, вино чужбины горько ему и не радует сердца, но отравляет его тоскою, делает рыхлым, как губка, и, точно губка воду, это сердце, вырванное из груди родины, – жадно поглощает всякое зло, родит темные чувства.

У нас, в Калабрии, молодые люди перед тем, как уехать за океан, женятся, – может быть, для того, чтоб любовью к женщине еще более углубить любовь к родине, – ведь женщина так же влечет к себе, как родина, и ничто не охраняет человека на чужбине лучше, чем любовь, зовущая его назад, на лоно своей земли, на грудь возлюбленной.

Но эти свадьбы обреченных нуждою на изгнание почти всегда бывают прологами к страшным драмам рока, мести и крови, и – вот что случилось недавно в Сенеркии, коммуне, лежащей у отрогов Апеннин.

Эту историю, простую и страшную, точно она взята со страниц Библии, надобно начать издали, за пять лет до наших дней и до ее конца: пять лет тому назад в горах, в ма-

ленькой деревне Сарачена жила красавица Эмилия Бракко, муж ее уехал в Америку, и она находилась в доме свекра. Здоровая, ловкая работница, она обладала прекрасным голосом и веселым характером – любила смеяться, шутить и, немножко кокетничая своей красотой, сильно возбуждала горячие желания деревенских парней и лесников с гор.

Играя словами, она умела беречь свою честь замужней женщины, ее смех будил много сладких мечтаний, но никто не мог похвалиться победою над ней.

Вы знаете, что больше всех в мире страдают завистью дьявол и старуха: около Эмилии была свекровь, а дьявол всегда там, где можно сделать зло.

– Ты слишком весела без мужа, моя милая, – говорила старуха, – я, пожалуй, напишу ему об этом. Смотри, я слежу за каждым шагом твоим, помни, – твоя честь – наша честь.

Сначала Эмилия миролюбиво убеждала свекровь, что она любит ее сына, ей не в чем упрекнуть себя. А та всё чаще и сильней оскорбляла ее подозрениями и, возбуждаемая дьяволом, принялась болтать направо и налево о том, что невестка потеряла стыд.

Услышав это, Эмилия испугалась и стала умолять ведьму, чтоб она не губила ее своими рассказами, клялась, что она ни в чем не виновна пред мужем, даже в мечтах не испытывает искушения изменить ему, а старуха – не верила ей.

– Знаю я, – говорила она, – ведь я тоже была молода, знаю я цену этим клятвам! Нет, я уж написала сыну, чтоб он воз-

вращался скорее отомстить за свою честь!

– Ты написала? – тихо спросила Эмилия.

– Да.

– Хорошо...

Наши мужчины ревнивы, как арабы, – Эмилия понимала, чем грозит ей возвращение мужа.

На другой день свекровь пошла в лес собирать сухие сучья, а Эмилия – за нею, спрятав под юбкой топор. Красавица сама пришла к карабинерам сказать, что свекровь убита ею.

– Лучше быть убийцей, чем слыть за бесстыдную, когда честна, – сказала она.

Суд над нею был триумфом ее: почти всё население Сеперкии пошло в свидетели за нее, и многие со слезами говорили судьям:

– Она невинна, она погублена напрасно!

Только один преподобный архиепископ Коцци решился поднять голос против несчастной: он не хотел верить в ее чистоту, говорил о необходимости поддерживать в народе старинные традиции, предупреждал людей, чтобы они не впадали в ошибку, допущенную греками, которые оправдали Фрину,⁴² увлеченные красотой женщины дурного поведения, говорил всё, что обязан был сказать, и, может быть, благодаря ему Эмилию присудили к четырем годам простого заключе-

⁴² Фрина – греческая гетера, натурщица скульптора Праксителя (IV в. до н. э.). Ее идеальная красота запечатлена Праксителем в статуе Афродиты Книдской, а также Апеллесом в статуе Афродиты, выходящей из моря.

ния в тюрьме.

Так же, как и муж Эмилии, ее односельчанин Донато Гварначья жил за океаном, оставив на родине молодую жену заниматься невеселую работой Пенелопы – плести мечты о жизни и не жить.

И вот, три года тому назад, Донато получил письмо от своей матери; мать извещала, что его жена, Тереза, отдалась его отцу – ее мужу – и живет с ним. Вы видите: опять старуха и дьявол – вместе!

Гварначья-сын взял билет на первый же пароход в Неаполь и – точно с облака упал – явился домой.

Жена и отец притворились удивленными, а он, суровый и недоверчивый молодец, первое время держал себя спокойно, желая убедиться в справедливости доноса, – он слышал историю Эмилии Бракко; он хорошо приласкал жену, и некоторое время оба они как бы снова переживали медовый месяц любви, жаркий пир молодости.

Мать попыталась налить ему в уши яду, но он остановил ее:

– Довольно! Я хочу сам убедиться в правде твоих слов, не мешай мне.

Он знал, что оскорбленному нельзя верить, пусть это даже родная мать.

Почти половина лета прошла тихо и мирно, может быть, так прошла бы и вся жизнь, но во время кратких отлучек сы-

на из дому его отец снова начал приставать к снохе; она противилась назойливости распущенного старика, и это разозлило его – слишком внезапно было прервано его наслаждение молодым телом, и вот он решил отомстить женщине.

– Ты погибнешь, – пригрозил он ей.

– Ты – тоже, – ответила она.

У нас говорят мало.

Через день отец сказал сыну:

– А знаешь ли ты, что твоя жена была неверна тебе?

Тот, бледный, глядя прямо в глаза ему, спросил:

– Есть у вас доказательства?

– Да. Те, кто пользовался ее ласками, говорили мне, что у нее внизу живота большая родинка, – ведь это верно?

– Хорошо, – сказал Донато. – Так как вы, мой отец, говорите мне, что она виновна, – она умрет!

Отец бесстыдно кивнул головою.

– Ну да! Распутных женщин надо убивать.

– И мужчин, – сказал Донато, уходя.

Он пошел к жене, положил свои тяжелые руки на плечи ей...

– Слушай, я знаю, ты изменяла мне. Ради любви, которая жила с нами и в нас до и после измены твоей, скажи – с кем?

– Ага! – вскричала она, – ты мог узнать это только от твоего проклятого отца, только он один...

– Он? – спросил крестьянин, и глаза его налились кровью.

– Он взял меня силой, угрозами, но – пусть будет сказана

вся правда до конца...

Она задохнулась – муж встряхнул ее.

– Говори!

– Ах, да, да, да, – прошептала женщина в отчаянии, – мы жили, я и он, как муж с женою, раз тридцать, сорок...

Донатто бросился в дом, схватил ружье и побежал в поле, куда ушел отец, там он сказал ему всё, что может сказать мужчина мужчине в такую минуту, и двумя выстрелами покончил с ним, а потом плюнул на труп и разбил прикладом череп его. Говорили, что он долго издевался над мертвым – будто бы вспрыгнул на спину ему и танцевал на ней свой танец мести.

Потом он пошел к жене и сказал ей, заряжая ружье:

– Отойди на четыре шага и читай молитву...

Она заплакала, прося его оставить ей жизнь.

– Нет, – сказал он, – я поступаю так, как требует справедливость и как ты должна бы поступить со мною, если б виновен был я...

Он застрелил ее, точно птицу, а потом пошел отдать себя в руки властей, и когда он проходил улицею деревни, народ расступался пред ним, и многие говорили:

– Ты поступил как честный мужчина, Донато...

На суде он защищался с мрачной энергией, с грубым красноречием примитивной души.

– Я беру женщину, чтоб иметь от ее и моей любви ребенка, в котором должны жить мы оба, она и я! Когда любишь

– нет отца, нет матери, есть только любовь, – да живет она вечно! А те, кто грязнит ее, женщины и мужчины, да будут прокляты проклятием бесплодия, болезней страшных и мучительной смерти...

Защита требовала от присяжных, чтобы они признали убийство в запальчивости и раздражении, но присяжные оправдали Донато, под бурные рукоплескания публики, – и Донато воротился в Сенеркию в ореоле героя, его приветствовали как человека, строго следовавшего старым народным традициям кровавой мести за оскорбленную честь.

Немного позднее оправдания Донато была освобождена из тюрьмы и его землячка Эмилия Бракко; в ту пору стояло грустное зимнее время, приближался праздник Рождества Младенца, в эти дни у людей особенно сильно желание быть среди своих, под теплым кровом родного дома, а Эмилия и Донато одиноки – ведь их слава не была той славою, которая вызывает уважение людей, – убийца все-таки убийца, он может удивить, но и только, его можно оправдать, но – как полюбить? У обоих руки в крови и разбиты сердца, оба пережили тяжелую драму суда над ними – никому в Сенеркии не показалось странным, что эти люди, отмеченные роком, подружились и решили украсить друг другу изломанную жизнь; оба они были молоды, им хотелось ласки.

– Что нам делать здесь, среди печальных воспоминаний о прошлом? – говорил Донато Эмилиии после первых поцелуев.

– Если вернется мой муж, он убьет меня, ибо теперь ведь я действительно в мыслях изменила ему, – говорила Эмилия.

Они решили уехать за океан, как только накопят достаточно денег на дорогу, и, может быть, им удалось бы найти в мире немножко счастья и тихий угол для себя, но вокруг них нашлись люди, которые думали так:

«Мы можем простить убийство по страсти, мы рукоплескали преступлению в защиту чести, но – разве теперь эти люди не идут против тех традиций, в защиту которых они пролили столько крови?»

Эти строгие и мрачные суждения, отголоски суровой древности, раздавались всё громче и наконец дошли до ушей матери Эмилии – Серафины Амато, женщины гордой, сильной и, несмотря на свои пятьдесят лет, до сего дня сохранившей красоту уроженки гор.

Сначала она не поверила слухам, оскорбившим ее.

– Это – клевета, – сказала она людям, – вы забыли, как моя дочь страдала за охрану своей чести!

– Нет, не мы, а она забыла это, – ответили люди.

Тогда Серафина, жившая в другой деревне, пришла к дочери и сказала ей:

– Я не хочу, чтобы про тебя говорили так, как начали говорить. То, что ты сделала в прошлом, – чистое и честное дело, несмотря на кровь, таким оно и должно остаться в поучение людям!

Дочь заплакала, говоря:

– Весь мир для людей, но для чего же люди, если они не сами для себя?...

– Спроси об этом священника, если так глупа, что не знаешь этого, – ответила ей мать.

Потом пришла к Донато и тоже, со всей энергией, предупредила его:

– Оставь мою дочь в покое, а то худо будет тебе!

– Послушай, – стал умолять ее молодой человек, – ведь я навсегда полюбил эту женщину, несчастную столько же, как я сам! Позволь мне увезти ее под другое небо, и всё будет хорошо!

Он только подлил масла в огонь этими словами.

– Вы хотите бежать? – с яростью и отчаянием вскричала Серафина. – Нет, этого не будет!

Они расстались, рыча, как звери, и глядя друг на друга огненными глазами непримиримых врагов.

С этого дня Серафина стала следить за влюбленными, как умная собака за дичью, что, однако, не мешало им видеться украдкой, ночами – ведь любовь хитра и ловка тоже, как зверь.

Но однажды Серафине удалось подслушать, как ее дочь и Гварначья обсуждали план своего бегства, – в эту злую минуту она решилась на страшное дело.

В воскресенье народ собрался в церковь слушать мессу; впереди стояли женщины в ярких праздничных юбках и платках, сзади них, на коленях, мужчины; пришли и влюб-

ленные помолиться мадонне о своей судьбе.

Серафина Амато явилась в церковь позднее всех, тоже одетая по-праздничному, в широком, вышитом цветными шерстями переднике поверх юбки, а под передником – топор.

Медленно, с молитвою на устах, она подошла к изображению архангела Михаила, патрона Сенеркии, преклонила колена пред ним, коснулась рукою его руки, а потом своих губ и, незаметно пробравшись к соблазнителю дочери, стоявшему на коленях, дважды ударила его по голове, вырубив на ней римское пять или букву V, что значит – вендетта, месть.

Вихрь ужаса охватил людей, с криком и воплями все бросились к выходу, многие упали без чувств на кафли пола, многие плакали, как дети, а Серафина стояла с топором в руке над беднягой Донато и бесчувственной дочерью своей, как Немезида деревни, богиня правосудия людей с прямою душой.

Так стояла она много минут, а когда люди, придя в себя, схватили ее, она стала громко молиться, подняв к небу глаза, пылающие дикой радостью:

– Святой Михаил – благодарю тебя! Это ты дал мне нужную силу, чтоб отомстить за поруганную честь женщины, моей дочери!

Когда же она узнала, что Гварначья жив и его отнесли на стуле в аптеку, чтобы перевязать страшные раны, ее охватил трепет, и, вращая безумными, полными страха глазами, она

сказала:

– Нет, нет, я верю в бога, он умрет, этот человек! Ведь я нанесла очень тяжкие раны, это чувствовали руки мои, и – бог справедлив – этот человек должен умереть!..

Скоро эту женщину будут судить и, конечно, осудят тяжело, но – чему может научить удар того человека, который сам себя считает вправе наносить удары и раны? Ведь железо не становится мягче, когда его куют.

Суд людей говорит человеку:

– Ты – виновен!

Человек отвечает «да» или «нет», и всё остается так, как было раньше.

А в конце концов, дорогие синьоры, надо сказать, что человек должен расти, плодиться там, где его посеял господь, где его любит земля и женщина...

XIX

Старик Джиованни Туба еще в ранней молодости изменил земле ради моря – эта синяя гладь, то ласковая и тихая, точно взгляд девушки, то бурная, как сердце женщины, охваченное страстью, эта пустыня, поглощающая солнце, ненужное рыбам, ничего не родя от совокупления с живым золотом лучей, кроме красоты и ослепительного блеска, – коварное море, вечно поющее о чем-то, возбуждая необоримое желание плыть в его даль, – многих оно отнимает у каменистой и немой земли, которая требует так много влаги у небес, так жадно хочет плодотворного труда людей и мало дает радости – мало!

Еще мальчишкой Туба, работая на винограднике, брошенном уступами по склону горы, укрепленном стенками серого камня, среди лапчатых фиг и олив, с их выкованными листьями, в темной зелени апельсинов и запутанных ветвях гранат, на ярком солнце, на горячей земле, в запахе цветов, – еще тогда он смотрел, раздувая ноздри, в синее око моря взглядом человека, под ногами которого земля не тверда – качается, тает и плывет, – смотрел, вдыхая соленый воздух, и пьянел, становясь рассеянным, ленивым, непослушным, как всегда бывает с тем, кого море очаровало и зовет, с тем, кто влюбился душою в море...

А по праздникам, рано, когда солнце едва поднималось

из-за гор над Сорренто, а небо было розовое, точно соткано из цветов абрикоса, – Туба, лохматый, как овчарка, катился под гору, с удочками на плече, прыгая с камня на камень, точно ком упругих мускулов совсем без костей, – бежал к морю, улыбаясь ему широким, рыжим от веснушек лицом, а встречу, в свежем воздухе утра, заглушая сладкое дыхание проснувшихся цветов, плыл острый аромат, тихий говор волн, – они цеплялись о камни там, внизу, и манили к себе, точно девушки, – волны...

Вот он висит на краю розовато-серой скалы, спустив бронзовые ноги; черные, большие, как сливы, глаза его утонули в прозрачной зеленоватой воде; сквозь ее жидкое стекло они видят удивительный мир, лучший, чем все сказки: видят золотисто-рыжие водоросли на дне морском, среди камней, покрытых коврами; из леса водорослей выплывают разноцветные «виолы» – живые цветы моря, – точно пьяный, выходит «перкия», с тупыми глазами, разрисованным носом и голубым пятном на животе, мелькает золотая «сарпа», полосатые дерзкие «каньи»; снуют, как веселые черти, черные «гваррачины»; как серебряные блюда, блестят «спаральони», «окьяты» и другие красавицы-рыбы – им нет числа! – все они хитрые и, прежде чем схватить червяка на крючке глубоко в круглый рот, ловко ошипывают его маленькими зубами, – умные рыбы!..

Точно птицы в воздухе, плавают в этой светлой ласковой воде усатые креветки, ползают по камню раки-отшельники,

таская за собой свой узорный дом-раковину; тихо двигаются алые, точно кровь, звезды, безмолвно качаются колокола лиловых медуз, иногда из-под камня высунется злая голова мурены с острыми зубами, изовьется пестрое змеиное тело, всё в красивых пятнах, – она точно ведьма в сказке, но еще страшней и безобразнее ее; вдруг распластается в воде, точно грязная тряпка, серый осьминог и стремительно бросится куда-то хищной птицей; а вот, не торопясь, двигается лангуст, шевеля длиннейшими, как бамбуковые удилица, усамми, и еще множество разных чудес живет в прозрачной воде, под небом, таким же ясным, но более пустынным, чем море.

А море – дышит, мерно поднимается голубая его грудь; на скалу, к ногам Туба, всплескивают волны, зеленые в белом, играют, бьются о камень, звенят, им хочется подпрыгнуть до ног парня, – иногда это удается, вот он, вздрогнув, улыбнулся – волны рады, смеются, бегут назад от камней, будто бы испугались, и снова бросаются на скалу; солнечный луч уходит глубоко в воду, образуя воронку яркого света, ласково пронзая груди волн, – спит сладким сном душа, не думая ни о чем, ничего не желая понять, молча и радостно насыщаясь тем, что видит, в ней тоже ходят неслышно светлые волны, и, всеобъемлющая, она безгранично свободна, как море.

Так проводил он праздники, потом это стало звать его и в будни – ведь когда человека схватит за сердце море, он сам становится частью его, как сердце – только часть живого человека, и вот, бросив землю на руки брата, Туба ушел с

компанией таких же, как сам он, влюбленных в простор, – к берегам Сицилии ловить кораллы: трудная, а славная работа, можно утонуть десять раз в день, но зато – сколько видишь удивительного, когда из синих вод тяжело поднимается сеть – полукруг с железными зубцами на краю, и в ней – точно мысли в черепе – движется живое, разнообразных форм и цветов, а среди него – розовые ветви драгоценных кораллов – подарок моря.

Так и заснул навсегда для земли человек, плененный морем; он и женщин любил, точно сквозь сон, недолго и молча, умея говорить с ними лишь о том, что знал, – о рыбе и кораллах, об игре волн, капризах ветра и больших кораблях, которые уходят в неведомые моря; был он кроток на земле, ходил по ней осторожно, недоверчиво и молчал с людьми, как рыба, поглядывая во все глаза зорким взглядом человека, привыкшего смотреть в изменчивые глубины и не верить им, а в море он становился тихо весел, внимателен к товарищам и ловок, точно дельфин.

Но как бы хорошо человек ни выбрал жизнь для себя – ее хватает лишь на несколько десятков лет, – когда просоленному морской водою Туба минуло восемьдесят – его руки, изувеченные ревматизмом, отказались работать – достаточно! – искривленные ноги едва держали согнутый стан, и, овеянный всеми ветрами старик, он с грустью вышел на остров, поднялся на гору, в хижину брата, к детям его и внукам, – это были люди слишком бедные для того, чтоб быть

добрými, и теперь старый Туба не мог – как делал раньше – приносить им много вкусных рыб.

Старику стало тяжело среди этих людей, они слишком внимательно смотрели за кусками хлеба, которые он совал кривою, темной лапой в свой беззубый рот; вскоре он понял, что лишний среди них; потемнела у него душа, сердце сжалось печалью, еще глубже легли морщины на коже, высушенной солнцем, и заныли кости незнакомую болью; целые дни, с утра до вечера, он сидел на камнях у двери хижины, старыми глазами глядя на светлое море, где растаяла его жизнь, на это синее, в блеске солнца, море, прекрасное, как сон.

Далеко оно было от него, и трудно старику достичь берега, но он решился, и однажды, тихим вечером, пополз с горы, как раздавленная ящерица по острым камням, и когда достиг волн – они встретили его знакомым говором, более ласковым, чем голоса людей, звонким плеском о мертвые камни земли; тогда – как после догадывались люди – встал на колени старик, посмотрел в небо и в даль, помолился немного и молча за всех людей, одинаково чужих ему, снял с костей своих лохмотья, положил на камни эту старую шкуру свою – и все-таки чужую, – вошел в воду, встряхивая седой головой, лег на спину и, глядя в небо, – поплыл в даль, где темно-синяя завеса небес касается краем своим черного бархата морских волн, а звезды так близки морю, что, кажется, их можно достать рукой.

Тихими ночами лета море спокойно, как душа ребен-

ка, утомленного играми дня, дремлет оно, чуть вздыхая, и, должно быть, видит какие-то яркие сны, – если плыть ночью по его густой и теплой воде, синие искры горят под руками, синее пламя разливается вокруг, и душа человека тихо тает в этом огне, ласковом, точно сказка матери.

XX

В священной тишине восходит солнце, и от камней острова поднимается в небо сизый туман, насыщенный сладким запахом золотых цветов дрока.

Остров, среди темной равнины сонных вод, под бледным куполом неба, подобен жертвеннику пред лицом бога-солнца.

Только что погасли звезды, но еще блестит белая Венера, одиноко утопая в холодной высоте мутного неба, над прозрачною грядю перистых облаков; облака чуть окрашены в розоватые краски и тихо сгорают в огне первого луча, а на спокойном лоне моря их отражения, точно перламутр, всплывший из синей глубины вод.

Выпрямляются встречу солнцу стебли трав и лепестки цветов, отягченные серебром росы, ее светлые капли висят на концах стеблей, полнеют и, срываясь, падают на землю, вспотевшую в жарком сне. Хочется слышать тихий звон их падения, – грустно, что не слышишь его.

Проснулись птицы, перепархивают в листве олив, поют, а снизу вздымаются в гору густые вздохи моря, пробужденного солнцем.

А все-таки – тихо, люди еще спят. В свежести утра запах цветов и трав яснее, чем звуки.

Из двери белого домика, захлестнутого виноградниками, точно лодка зелеными волнами моря, выходит навстречу солнцу древний старец Этторе Чекко, одинокий человек, нелюдим, с длинными руками обезьяны, с голым черепом мудреца, с лицом, так измятым временем, что в его дряблых морщинах почти не видно глаз.

Медленно приподняв ко лбу черную, волосатую руку, он долго смотрит в розовеющее небо, потом – вокруг себя, – пред ним, по серовато-лиловому камню острова, переливается широкая гамма изумрудного и золотого, горят розовые, желтые и красные цветы; темное лицо старика дрожит в добродушной усмешке, он утвердительно кивает круглой тяжелой головой.

Он стоит, точно поддерживая тяжесть, чуть согнув спину, широко расставив ноги, а вокруг него всё веселей играет юный день, ярче блестит зелень виноградников, громче щебечут вьюрки и чижи, в зарослях ежевики, ломоноса, в кустах молочая бьют перепела, где-то свистит черный дрозд, щеголеватый и беззаботный, как неаполитанец.

Старый Чекко поднимает длинные усталые руки над головою, потягивается, точно собираясь лететь вниз, к морю, спокойному, как вино в чаше.

А расправив старые кости, он опустил на камень у двери, вынул из кармана куртки открытое письмо, отвел руку с ним подальше от глаз, прищурился и смотрит, беззвучно шевеля губами. На большом, давно не бритом и точно посе-

ребренном лице его – новая улыбка: в ней странно соединены любовь, печаль и гордость.

Пред ним на куске картона изображены синей краской двое широкоплечих парней, они сидят плечо с плечом и весело улыбаются, кудрявые, большеголовые, как сам старик Чекко, а над головами их крупно и четко напечатано:

«Артуро и Энрико Чекко

два благородных борца за интересы своего класса. Они организовали 25 000 текстильных рабочих, заработок которых составлял 6 долларов в неделю, и за это они посажены в тюрьму.

Да здравствуют
борцы за социальную справедливость!»

Старик Чекко неграмотен, и надпись сделана на чужом языке, но он знает, что написано именно так, каждое слово знакомо ему и кричит, поет, как медная труба.

Эта синяя открытка принесла старику много тревоги и хлопот: он получил ее месяца два тому назад и тотчас же, инстинктом отца, почувствовал, что дело неладно: ведь портреты бедных людей печатаются лишь тогда, когда эти люди нарушают законы.

Чекко спрятал в карман этот кусок бумаги, но он лег ему на сердце камнем и с каждым днем всё становился тяжелей.

Не однажды он хотел показать письмо священнику, но долгий опыт жизни убедил его, что люди справедливо говорят: «Может быть, поп и говорит богу правду про людей, но людям правду – никогда».

Первый, у кого он спросил о таинственном значении открытки, был рыжий художник, иностранец – длинный и худой парень, который очень часто приходил к дому Чекко и, удобно поставив мольберт, ложился спать около него, пряча голову в квадратную тень начатой картины.

– Синьор, – спросил он художника, – что сделали эти люди?

Художник посмотрел на веселые рожи детей старика и сказал:

– Должно быть, что-то смешное...

– А что напечатано про них?

– Это – по-английски. Кроме англичан, их язык понимает только бог да еще моя жена, если она говорит правду в этом случае. Во всех других случаях она не говорит правды...

Художник был болтлив, как чиж, он, видимо, ни о чем не мог говорить серьезно. Старик угрюмо отошел прочь от него, а на другой день явился к жене художника, толстой синьоре, – он застал ее в саду, где она, одетая в широкое и прозрачное белое платье, таяла от жары, лежа в гамаке и сердито глядя синими глазами в синее небо.

– Эти люди посажены в тюрьму, – сказала она ломаным языком.

У него дрогнули ноги, как будто весь остров пошатнулся от удара, но он все-таки нашел силы спросить:

– Украла или убили?

– О нет. Просто они – социалисты.

– Что такое – социалисты?

– Это – политика, – сказала синьора голосом умирающей и закрыла глаза.

Чекко знал, что иностранцы – самые бестолковые люди, они глупее калабрийцев, но ему хотелось знать правду о детях, и он долго стоял около синьоры, ожидая, когда она откроет свои большие ленивые глаза. А когда наконец это случилось, он – спросил, ткнув пальцем в карточку:

– Это – честно?

– Я не знаю, – ответила она с досадой. – Я сказала – это политика, понимаешь?

Нет, он не понимал: политику делают в Риме министры и богатые люди для того, чтобы увеличить налоги на бедных людей. А его дети – рабочие, они живут в Америке и были славными парнями – зачем им делать политику?

Всю ночь он просидел с портретом детей в руках, – при луне он казался черным и возбуждал еще более мрачные мысли. Утром решил спросить священника, – черный человек в сутане кратко и строго сказал:

– Социалисты – это люди, которые отрицают волю бога, – достаточно, если ты будешь знать это.

И добавил еще строже вслед старику:

– Стыдно в твои годы интересоваться такими вещами!..

«Хорошо, что я не показал ему портрета», – подумал Чекко.

ко.

Прошло еще дня три, он пошел к парикмахеру, щеголю и вертопраху. Про этого парня, здорового, как молодой осел, говорили, что он за деньги любит старых американок, которые приезжают будто бы наслаждаться красотой моря, а на самом деле ищут приключений с бедными парнями.

– Боже! – воскликнул этот дурной человек, прочитав надпись, и щеки его радостно вспыхнули. – Это Артуро и Энрико, мои товарищи! О, я от души поздравляю вас, отец Этторе, вас и себя! Вот у меня и еще двое знаменитых земляков – можно ли не гордиться этим?

– Не болтай лишнего, – предупредил его старик.

Но тот кричал, размахивая руками:

– Это хорошо!

– Что напечатано про них?

– Я не могу прочитать, но я уверен, что напечатали правду. Бедняки должны быть великими героями для того, чтобы о них сказали правду наконец!

– Молчи, прошу тебя. – сказал Чекко и ушел, яростно стуча деревянными башмаками по камням.

Он пошел к русскому синьору, о котором говорили, что это добрый и честный человек. Пришел, сел у койки, на которой тот медленно умирал, и спросил его:

– Что сказано об этих людях?

Прищурив глаза, обесцвеченные болезнью и печальные, русский слабым голосом прочитал надпись на открытке и хорошо улыбнулся старику, а тот сказал ему:

– Синьор, вы видите – я очень стар и уже скоро пойду к моему богу. Когда мадонна спросит меня – что я сделал с моими детьми, я должен буду рассказать ей это правдиво и подробно. Это мои дети здесь на карточке, но я не понимаю, что они сделали и почему в тюрьме?

Тогда русский очень серьезно и просто посоветовал ему:

– Скажите мадонне, что ваши дети хорошо поняли главную заповедь ее сына: они любят ближних живой любовью...

Ложь нельзя сказать просто: она требует громких слов и многих украшений, – старик поверил русскому и крепко пожал его маленькую и не знавшую труда руку.

– Значит, это не позорно для них – тюрьма?

– Нет, – сказал русский. – Ведь вы знаете, что богатых сажают в тюрьму лишь тогда, если они сделают слишком много зла и не сумеют скрыть это, бедные же попадают в тюрьмы, чуть только они захотят немножко добра. Вы – счастливый отец, вот что я вам скажу!

И слабеньким своим голосом он долго говорил Чекко о том, что затеяно в жизни ее честными людьми, о том, как они хотят победить нищету, глупость и всё то, страшное и злое, что рождается глупостью и нищетой...

Солнце горит в небе, как огненный цветок, и сеет золотую пыль своих лучей на серые груди скал, а из каждой морщины

камня, встрече солнца, жадно тянется живое – изумрудные травы, голубые, как небо, цветы. Золотые искры солнечно-го света вспыхивают и гаснут в полных каплях хрустальной росы.

Старик следит, как всё вокруг него дышит светом, поглощая его живую силу, как хлопочут птицы и, строя гнезда, поют; он думает о своих детях: парни за океаном, в тюрьме большого города, – это плохо для их здоровья, плоховато, да...

Но – они в тюрьме за то, что выросли честными ребятами, каким был всю жизнь их отец, – это хорошо для них и для его души.

И бронзовое лицо старика точно тает в гордой улыбке.

– Земля – богата, люди – бедны, солнце – доброе, человек – зол. Всю жизнь я думал об этом, и хотя не говорил им, а они поняли думы отца. Шесть долларов в неделю – это сорок лир, ого! Но они нашли, что этого мало, и двадцать пять тысяч таких же, как они, согласились с ними – этого мало для человека, который хочет хорошо жить...

Он уверен, что в его детях развились и выросли скрытые мысли его сердца, он очень гордится этим, но, зная, как мало люди верят сказкам, которые создают сами же они каждый день, он молчит.

Лишь иногда старое емкое сердце переполняется думами о будущем детей, и тогда старый Чекко, выпрямив натруженную спину, выгибает грудь и, собрав последние силы, хрип-

ло кричит в море, в даль, туда, к детям:

– Вальо-о!..⁴³

И солнце смеется, восходя всё выше над густой и мягкой водою моря, а люди с виноградников отвечают старику:

– Ой-и!..

⁴³ Vaglio-o!.. – Смелее!.. (*Итал.*).

XXI

Скоро полночь.

В синем небе над маленькой площадью Капри низко плывут облака, мелькают светлые узоры звезд, вспыхивает и гаснет голубой Сириус, а из дверей церкви густо льется важное пение органа, и всё это: бег облаков, трепет звезд, движение теней по стенам зданий и камню площади – тоже как тихая музыка.

Под ее торжественный ритм вся площадь, похожая на оперную декорацию, колеблется, становясь то тесной и темной, то – просторной и призрачно светлой.

Над Монте-Соляро⁴⁴ раскинулось великолепное созвездие Ориона, вершина горы пышно увенчана белым облаком, а обрыв ее, отвесный, как стена, изрезанный трещинами, – точно чье-то темное, древнее лицо, измученное великими думами о мире и людях.

Там, на высоте шестисот метров, накрыт облаком заброшенный маленький монастырь⁴⁵ и – кладбище, тоже маленькое, могилы на нем подобны цветочным грядам, их немного, и в них, под цветами, – все монахи этого монастыря. Иногда его серые стены выглядывают из облака, точно прислушива-

⁴⁴ Монте-Соляро – высшая горная точка острова Капри, 585 м. над уровнем моря.

⁴⁵ Санта Мария ди Четрелла.

ьясь к тому, что творится внизу.

По площади шумно бегают дети, разбрасывая шутихи; по камням, с треском рассыпая красные искры, прыгают огненные змеи, иногда смелая рука бросает зажженную шутиху высоко вверх, она шипит и мечется в воздухе, как испуганная летучая мышь, ловкие темные фигурки бегут во все стороны со смехом и криками – раздается гулкий взрыв, на секунду освещая ребятишек, прижавшихся в углах, – десятки бойких глаз весело вспыхивают во тьме.

Взрывы раздаются почти непрерывно, заглушая хохот, возгласы испуга и четкий стук деревянных башмаков по гулкой лаве; вздрагивают тени, взмывая вверх, на облаках пылают красные отражения, а старые стены домов точно улыбаются – они помнят стариков детьми и не одну сотню раз видели это шумное и немножко опасное веселье детей в ночь на Рождество Христа.

Но чуть только выделится секунда тишины – снова слышен серьезный, молитвенный гул органа, а снизу ему отвечает море глухими ударами волн о прибрежные камни и шёлковым шорохом гальки.

Залив – точно чаша, полная темным пенным вином, а по краям ее сверкает живая нить самоцветных камней, это огни городов – золотое ожерелье залива.

Над Неаполем – опаловое зарево, оно колышется, точно северное сияние, десятки ракет и фугасов врываются в него, расцветают букетами ярких огней и, на миг остановись в тре-

петном облаке света, гаснут, – доносится тяжкий гул.

По всему полукругу залива идет неустанно красивая беседа огня: холодно горит белый маяк неаполитанского порта и сверкает красное око Капо ди Мизена,⁴⁶ а огни на Прочиде и у подножия Искии – как ряды крупных бриллиантов, нашитые на мягкий бархат тьмы.

По заливу ходят стада белых волн, сквозь их певучий плеск издали доносятся смягченные вздохи взрывов ракет; всё еще гудит орган и смеются дети, но – вот неожиданно и торжественно колокол башенных часов бьет четыре и двенадцать раз.

Кончилась месса, из дверей церкви на широкие ступени лестницы пестрой лавою течет толпа – встречу ей, извиваясь, прыгают красные змеи. Пугливо вскрикивают женщины, радостно хохочут мальчишки – это их праздник, и никто не смеет запретить им играть красивым огнем.

Немного испугать солидного, празднично одетого взрослого человека, заставить его, деспота, попрыгать по площади от шутихи, которая гонится за ним, шипя и обрызгивая искрами сапоги его, – это такое высокое удовольствие! И его испытываешь только один раз в год...

Чувствуя себя в ночь рождения Младенца, любившего их, королями и хозяевами жизни, – дети не скупятся воздать взрослым за год их скучной власти минутами своего веселого могущества: взрослые дяденьки тяжело подпрыгивают,

⁴⁶ ...красное око Капо-ди-Мизена... – маяк Мизенского мыса.

увертываясь от огня, и добродушно просят о пощаде:

– Баста! Эй, разбойники, – баста!

Спешно идут дзампоньяры – пастухи из Абруццы, горцы, в синих коротких плащах и широких шляпах. Их стройные ноги, в чулках из белой шерсти, опутаны крест-накрест темными ремнями, у двоих под плащами волынки, четверо держат в руках деревянные, высокого тона рожки.

Эти люди явятся на остров ежегодно и целый месяц живут здесь, каждый день славословя Христа и богоматерь своей странной красивой музыкой.

Трогательно видеть их на рассвете, когда они, бросив шляпы к ногам своим, стоят пред статуей мадонны, вдохновенно глядя в доброе лицо Матери и играя в честь ее невыразимо волнующую мелодию, которая однажды метко названа была «физическим ощущением бога».

Теперь пастухи идут к яслям Младенца, он лежит в доме старика столяра Паолино, и его надобно перенести в церковь св. Терезы.

Дети бросаются вслед за ними, узкая улица проглатывает их темные фигурки, и несколько минут – площадь почти пуста, только около храма на лестнице тесно стоит толпа людей, ожидая процессию, да тени облаков тепло и безмолвно скользят по стенам зданий и по головам людей, словно лаская их.

Вздыхает море. Во тьме, над перешейком острова, рисуется пиния, как огромная ваза на тонкой ножке. Ослепительно

сверкает Сириус, туча с Монте-Соляро сползла, ясно виден сиротливый маленький монастырь над обрывом горы и одинокое дерево перед ним, как на страже.

Из арки улицы, как из трубы, светлыми ручьями радостно льются песни пастухов; без шляп, горбоносые и в своих плащах похожие на огромных птиц, они идут играя, окруженные толпою детей с фонарями на высоких древках, десятки огней качаются в воздухе, освещая маленькую круглую фигурку старика Паолино, ого серебряную голову, ясли в его руках и в яслях, полных цветами, – розовое тело Младенца, с улыбкою поднявшего вверх благословляющие ручки.

Старик смотрит на эту куколку из терракоты с таким умилением, как будто она для него – живая, дышит и обещает с восходом солнца утвердить «на земле мир и в человецех благоволение».

Со всех сторон к яслям наклоняются седые обнаженные головы, суровые лица, всюду блестят ласковые глаза. Вспыхнули бенгальские огни, всё темное исчезло с площади – как будто неожиданно наступил рассвет. Дети поют, кричат, смеются, на лицах взрослых – милые улыбки, можно думать, что они тоже хотели бы прыгать и шуметь, но – боятся потерять в глазах детей свое значение людей серьезных.

Над толпою золотыми мотыльками трепещут желтые огни свеч, выше, в темно-синем небе разноцветно горят звезды; из другой улицы выливается еще процессия – это девочки со статуей мадонны, и – еще музыка, огни, веселые крики, дет-

ский смех, – всей душою чувствуешь рождение праздника.

Младенца несут в старую церковку, в ней – по ветхости ее – давно не служат, и целый год она стоит пустая, но сегодня ее древние стены украшены цветами, листьями пальм, золотом лимонов, мандарин, и вся она занята искусно сделанной картиной Рождества Христова.

Из больших кусков пробки построены горы, пещеры, Вифлеем и причудливые замки на вершинах гор; змеею вьется дорога по склонам; на полянах – стада овец и коз; сверкают водопады из стекла; группы пастухов смотрят в небо, где пылает золотая звезда, летят ангелы, указывая одною рукой на путеводную звезду, а другой – в пещеру, где приютились богоматерь, Иосиф и лежит Младенец, подняв руки в небеса. Идет пестрый, нарядный караван волхвов и царей, над ним, на серебряных нитях, качаются ангелы с ветвями пальм и розами в руках. Длиннобородые маги на верблюдах, одетые в яркие шелка, белокурые короли, верхом на лошадях, в роскошных локонах и в парче, кудрявые черные нумидийцы, арабы и евреи и еще какие-то яркие, фантастически одетые фигурки из терракоты – их сотни в этой картине.

А вокруг яслей – арабы в белых бурнусах уже успели открыть лавочки и продают оружие, шёлк, сласти, сделанные из воска, тут же какие-то неизвестной нации люди торгуют вином, женщины, с кувшинами на плечах, идут к источнику за водою, крестьянин ведет осла, нагруженного хворостом, вокруг Младенца – толпа коленопреклоненных людей,

и всюду играют дети.

Всё это сделано, одето, раскрашено и размещено умело и искусно, и кажется, что всё живет и шумит.

Дети стоят перед картиной, уже виденной ими в прошлом году, внимательно осматривают ее, и зоркие, памятливые глазенки тотчас же ловят то новое, что добавлено на этот раз. Делятся открытиями, спорят, смеются, кричат, а в углу стоят те, кто сделал эту красивую вещь, и – без удовольствия прислушиваются к похвалам юных ценителей.

Конечно, они – взрослые, отцы семейств и слишком серьезные для того, чтобы увлекаться игрушками, они держатся так, как будто всё это нимало не касается их, но дети очень часто умнее взрослых и всегда искреннее, они знают, что похвала и старику приятна, и – не скупятся на похвалы мастерам, заставляя их поглаживать усы и бороды, чтобы скрыть улыбки удовлетворения и удовольствия.

Кое-где ребяташки собираются группами, озабоченно совещаюсь, – составляют «банды»; под Новый год они будут ходить по острову с елкой и звездой большими компаниями, вооружась какими-то старинными инструментами, которые оглушительно гремят, стучат и гукают. Под эти смешные звуки хоры детских голосов запоют веселые языческие песенки – их ежегодно к этому дню создают местные поэты:

Доброго начала Нового года
Синьору и синьоре!

Выслушайте весело
Эти пожелания ваших маленьких друзей!

Откройте уши и сердца
И кладовую вашу:
Ныне – день радости,
Веселый, божий день!

Родился наш мессия
И голеньким и бедным —
Быки его согрели
Дыханием своим.

От всех-то наших горестей
Хотел освободить он нас,
Всю жизнь свою для этого
Он отдал беднякам.

И вот, чтоб помянуть Христа
Достойно его имени,
Давайте проведем сей день
Как можно веселей!..

И в то время как одна «банда» детей поет, приплясывая, этот языческий гимн, другая – заглушает ее пение еще более веселой песенкой:

Вспомните, как пастухи
И цари с волхвами вместе

Опустились на колени
Перед яслями Младенца!

– Бум, бум, – глухо отбивает такт барабан, а какая-то тонкая дудочка не может поспеть за голосами детей и смешно свистит как-то сбоку их, точно обиженная...

А король-разбойник Ирод
Жалко струсил пред Младенцем
И велел, злодей, мальчишек
В своем царстве перерезать!

Но давно прошло то время,
Ирод – помер, мы все – живы.
Ныне режут в честь Иисуса
Только кур да каплунов!

Бойкий темп песни возбуждает и взрослых, вот к толпе детей тяжело подвалился плотный извозчик Карло Бамбола и, надувшись докрасна, орет, заглушая голоса детей:

Пусть исчезнут все заботы,
Пропадет навеки горе,
Чтоб весь год не знать болезней,
Не открыть нам рта для жалоб!

Видишь, как горит на небе
Лучезарное светило?

Пусть вот так же разгорится
Наша жизнь тепло и ярко!..

Мечтательно лучатся темные глаза женщин, следя за детьми; всё ярче веселье и веселее взгляды; празднично одетые девушки лукаво улыбаются парням; а в небе тают звезды. И откуда-то сверху – с крыши или из окна – звонко льется невидимый тенор:

Будьте веселы, здоровы,
Остальное всё – придет!

В старом храме всё живее звенит детский смех – лучшая музыка земли. Небо над островом уже бледнеет, близится рассвет, звезды уходят всё выше в голубую глубину небес.

В темной зелени садов острова разгораются золотые шары апельсин, желтые лимоны смотрят из сумрака, точно глаза огромных сов. Вершины апельсиновых деревьев освещены молодыми побегами желтовато-зеленой листвы, тускло серебрится лист оливы, колеблются сети голых лоз винограда.

Красно улыбаются встрече заре яркие цветы гвоздики и малиновые метелки шалфея, густой запах нарцисса плывет в свежем воздухе утра, смешиваясь с соленым дыханием моря.

Плеск волн – звучнее, они стали прозрачны, и пена их белеет, точно снег.

XXII

Квартал святого Якова⁴⁷ справедливо гордится своим фонтаном, у которого любил отдыхать, весело беседуя, бессмертный Джованни Боккачио и который не однажды был написан на больших полотнах великим Сальватором Роза,⁴⁸ другом Томазо Аниелло⁴⁹ – Мазаниелло, как прозвал его бедный народ, за чью свободу он боролся и погиб, – Мазаниелло родился тоже в нашем квартале.

Вообще – в квартале нашем много родилось и жило замечательных людей, – в старину они рождались чаще, чем теперь, и были заметней, а ныне, когда все ходят в пиджаках и занимаются политикой, трудно стало человеку подняться выше других, да и душа туго растёт, когда ее пеленают газетной бумагой.

До лета прошлого года другою гордостью квартала была Нунча, торговка овощами, – самый веселый человек в мире и первая красавица нашего угла, – над ним солнце стоит всегда немножко дольше, чем над другими частями города. Фонтан, конечно, остался доныне таким, как был всегда; всё

⁴⁷ Квартал святого Якова... – в Неаполе.

⁴⁸ Сальватор Роза – итальянский художник (1615–1673), участвовал в неаполитанском народном восстании 1647 г.

⁴⁹ Томазо Аниелло – Мазаниелло (1623–1647), рыбак, возглавивший восстание неаполитанского народа против политического и экономического гнета неаполитанского короля. На десятый день восстания он погиб от руки наемного убийцы.

более желтея от времени, он долго будет удивлять иностранцев забавной своей красотой, – мраморные дети не стареют и не устают в играх.

А милая Нунча летом прошлого года умерла на улице во время танца, – редко бывает, чтоб человек умер так, и об этом стоит рассказать.

Она была слишком веселой и сердечной женщиной для того, чтоб спокойно жить с мужем; муж ее долго не понимал этого – кричал, божился, размахивал руками, показывал людям нож и однажды пустил его в дело, проколов кому-то бок, но полиция не любит таких шуток, и Стефано, посидев немного в тюрьме, уехал в Аргентину; перемена воздуха очень помогает сердитым людям.

Нунча в двадцать три года осталась вдовой с пятилетней дочерью на руках, с парой ослов, огородом и тележкой, – веселому человеку не много нужно, и для нее этого вполне достаточно. Работать она умела, охотников помочь ей было много; когда же у нее не хватало денег, чтоб заплатить за труд, – она платила смехом, песнями и всем другим, что всегда дороже денег.

Не все женщины были довольны ее жизнью, и мужчины, конечно, не все, но, имея честное сердце, она не только не трогала женатых, а даже часто умела помирить их с женами, – она говорила:

– Кто разлюбил женщину – значит, он не умеет любить...
Артур Лано, рыбак, который юношей учился в семинарии,

готовясь быть священником, но потерял дорогу к сутане и в рай, заблудившись в море, в кабачках и везде, где весело, – Лано, великий мастер сочинять нескромные песни, сказал ей однажды:

– Ты, кажется, думаешь, что любовь – наука такая же трудная, как богословие?

Она ответила:

– Наук я не знаю, но твои песни – все.

И пропела ему, толстому, как бочка:

Это уж так водится:

Тогда весна была —

Сама богородица

Весною зачала.

Он, разумеется, хохотал, спрятав умные глазки в красный жир своих щек.

Так и жила она, радуясь сама, на радость многим, приятная для всех, даже ее подруги примирились с нею, поняв, что характер человека – в его костях и крови, вспомнив, что даже святые не всегда умели побеждать себя. Наконец, мужчина – не бог, а только богу нельзя изменить...

Лет десять сияла Нунча звездой, всеми признанная первая красавица, лучшая танцовка квартала, и, будь она девушкой, – ее, конечно, выбрали бы королевой рынка, чем она и была в глазах всех.

Даже иностранцам показывали ее, и многие из них очень

желали беседовать с нею наедине, – это всегда смешило ее до упада.

– На каком языке будет говорить со мною этот сто раз выстиранный синьор?

– На языке золотых монет, дурочка, – убеждали ее солидные люди, но она отвечала:

– Чужим я не могу продать ничего, кроме лука, чесноку, помидоров...

Были случаи, когда люди, искренно желавшие ей добра, говорили с нею очень настойчиво:

– Какой-нибудь месяц, Нунча, и – ты богата! Подумай хорошо над этим, вспомни, что у тебя есть дочь...

– Нет, – возражала она, – я люблю мое тело и не могу оскорбить его! Я знаю, – стоит только один раз сделать что-нибудь нехотя, и уже навсегда потеряешь уважение к себе...

– Но – ведь ты не отказываешь другим!

– Своим, и – когда хочу...

– Э, что такое – свои?

Она знала это:

– Люди, среди которых выросла моя душа и которые понимают ее...

Но все-таки у нее была история с одним форестьером⁵⁰ из Англии, – очень странный, молчаливый человек, хотя он хорошо знал наш язык. Молодой, а волосы уже седые, и поперек лица – шрам; лицо – разбойника, глаза святого. Одни

⁵⁰ Форестьер – иностранец.

говорили, будто бы он пишет книги, другие утверждали, что он – игрок. Она даже уезжала с ним куда-то в Сицилию и возвратилась очень похудевшей. Но он едва ли был богат, – Нунча не привезла с собою ни денег, ни подарков. И снова стала жить среди своих, – как всегда, веселая, доступная всем радостям.

Но вот однажды в праздник, когда люди выходили из церкви, кто-то заметил удивленно:

– Смотрите-ка, – Нина становится совсем точно мать!

Это была правда, как майский день: дочь Нунчи незаметно для людей разгорелась звездой, такую же яркой, как мать. Ей было только четырнадцать лет, но – очень рослая, пышно-волосая, с гордыми глазами – она казалась значительно старше и вполне готовой быть женщиной.

Даже сама Нунча удивилась, присмотревшись к ней:

– Святая мадонна! Неужели ты, Нина, хочешь быть красивой меня?

Девушка, улыбаясь, ответила:

– Нет, только такой, как ты, этого и для меня довольно...

И тогда впервые на лице веселой женщины люди увидели тень грусти, а вечером она сказала подругам:

– Вот наша жизнь! Не успеешь допить свой стакан до половины, а к нему уже потянулась новая рука...

Разумеется, сначала не заметно было и тени соперничества между матерью и Ниной, – дочь вела себя скромно, бережно, смотрела на мир сквозь ресницы и пред мужчинами

неохотно открывала рот; а глаза матери горели всё жадней, и всё призывней звучал ее голос.

Люди вспыхивали около нее, как паруса на рассвете, когда их коснется первый луч солнца, и это верно: для многих Нунча была первым лучом дня любви, многие благодарно молчали о ней, видя, как она идет по улице рядом со своею тележкой, стройная, точно мачта, и голос ее взлетает на крыши домов. Хороша она была и на рынке, когда стояла перед ярко-разноцветной кучей овощей, точно написанная великим мастером на белом фоне церковной стены, – ее место было у церкви святого Якова, слева от паперти, она и умерла в трех шагах от него. Стоит и – точно горит вся, веселыми искрами летают над головами людей ее бойкие шутки, ее смех и песни, которых она знала тысячи.

Она умела одеться так, что ее красота выигрывала, как доброе вино в стакане хорошего стекла: чем прозрачнее стекло – тем лучше оно показывает душу вина, цвет всегда дополняет запах и вкус, доигрывая до конца ту красную песню без слов, которую мы пьем для того, чтоб дать душе немножко крови солнца. Вино, о господи! Мир со всем его шумом и суетою не стоил бы ослиного копыта, не имей человек сладкой возможности оросить свою бедную душу хорошим стаканом красного вина, которое, подобно святому причастию, очищает нас от злого праха грехов и учит любить и прощать этот мир, где довольно-таки много всякой дряни... Вы только посмотрите сквозь ваш стакан на солн-

це, – вино расскажет вам такие сказки. . .

Стоит Нунча на солнце, зажигая веселые мысли и желание нравиться ей, – пред красивой женщиной стыдно быть незаметным человеком и всегда хочется прыгнуть выше самого себя. Много доброго сделано было Нунчей, много сил разбудила она и влила в жизнь. Хорошее всегда зажигает желание лучшего.

Да, а около матери всё чаще является дочь, скромная, как монахиня или как нож в ножнах. Мужчины смотрят, сравнивают, и, может быть, некоторым становится понятно, что иногда чувствует женщина и как обидно ей жить.

Идет время, всё ускоряя свой торопливый, мелкий шаг, золотыми пылинками в красном луче солнца мелькают во времени люди. Нунча всё чаще сдвигает густые брови, а порою, закусив губу, смотрит на дочь, как игрок на другого, стараясь догадаться, каковы его карты. . .

Проходит год, два, – дочь всё ближе к матери и – дальше от нее. Уже всем заметно, что парни не знают, куда смотреть ласковой – на ту или эту. А подруги, – друзья и подруги любят укусить там, где чешется, – подруги спрашивают:

– Что, Нунча, гасит тебя дочь?

Женщина, смеясь, отвечала:

– Большие звезды и при луне видны. . .

Как мать – она гордилась красотой дочери, как женщина – Нунча не могла не завидовать юности; Нина встала между нею и солнцем, – матери обидно было жить в тени.

Лано сочинил новую песенку, в первом куплете ее говорилось:

Будь я женщиной, – я тогда
Заставила бы дочь мою
Родить земле красавицу,
Как я в ее года...

Нунча не хотела петь эту песню. Шел слух, будто Нина не однажды уже говорила Нунче:

– Мы могли бы жить лучше, если б ты была более благо-
разумна.

И настал день, когда дочь сказала матери:

– Мама, ты слишком заслоняешь меня от людей, а ведь я уже не маленькая и хочу взять от жизни свое! Ты жила много и весело, – не пришло ли и для меня время жить?

– В чем дело? – спросила мать, виновато опустив глаза, – знала она, в чем дело.

Воротился из Австралии Энрике Борбоне, он был дровосеком в этой чудесной стране, где всякий желающий легко достает большие деньги, он приехал погреться на солнце родины и снова собирался туда, где живет свободней. Было ему тридцать шесть лет, бородатый, могучий, веселый, он прекрасно рассказывал о своих приключениях, о жизни в дремучих лесах; все принимали эту жизнь за сказку, мать и дочь – за правду.

– Я вижу, что нравлюсь Энрико, – говорила Нина, – а ты с

ним играешь, и это, делая его легкомысленным, мешает мне.

– Понимаю, – сказала Нунча. – Хорошо ты не станешь жаловаться мадонне на твою мать...

И эта женщина честно отошла прочь от человека, который – все видели – был приятен ей больше многих других.

Но известно, что легкие победы делают победителей заносчивыми, а если победитель еще дитя – дело совсем плохо!

Нина стала говорить со своей матерью не так, как заслуживала Нунча; и вот однажды, в день святого Якова, на празднике нашего квартала, когда все люди веселились от души, а Нунча уже великолепно станцевала тарантеллу, – дочь заметила ей при всех:

– Не слишком ли много танцуешь ты? Пожалуй, это не по годам тебе, пора щадить сердце...

Все, кто слышал дерзкие слова, сказанные ласково, замолчали на секунду, а Нунча в ярости крикнула, подпирая руками стройные бока:

– Мое сердце? Ты заботишься о нем, да? Хорошо, девочка, спасибо! Но – посмотрим, чье сердце сильнее!

И, подумав, предложила:

– Мы пробежим с тобою отсюда до фонтана трижды туда и обратно, не отдыхая, конечно...

Многим показалась смешной эта гонка женщин, были люди, которые отнеслись к этому как к позорному скандалу, но большинство, уважая Нунчу, взглянуло на ее предложение с серьезной шутливостью и заставило Нину принять вызов

матери.

Выбрали судей, назначили предельную скорость бега, – всё, как на скачках, подробно и точно. Было много женщин и мужчин, которые, искренно желая видеть мать победительницей, благословляли ее и давали добрые обеты мадонне, если только она согласится помочь Нунче, даст ей силу.

И вот мать и дочь стоят рядом, не глядя друг на друга, вот глухо ударил бубен, они сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие белые птицы, – мать в красном платке на голове, дочь – в голубом.

Уже с первых минут стало ясно, что дочь уступит матери в легкости и силе, – Нунча бежала так свободно и красиво, точно сама земля несла ее, как мать ребенка, – люди стали бросать из окон и с тротуаров цветы под ноги ей и рукоплескали, одобряя ее криками; в два конца она опередила дочь на четыре минуты с лишком, и Нина, разбитая, обиженная неудачей, в слезах и задыхаясь, упала на ступени паперти, – не могла уже бежать третий раз.

Бодрая, словно кошка, Нунча наклонилась над нею, смеясь вместе со многими:

– Дитя, – говорила она, поглаживая рассыпавшиеся волосы девушки своей сильной рукой, – дитя, надо знать, что наиболее сильное сердце в забавах, работе и любви – сердце женщины, испытанной жизнью, а жизнь узнаешь далеко за тридцать... дитя, не огорчайся!..

И, не давая себе отдохнуть после бега, Нунча снова поже-

лала танцевать тарантеллу:

– Кто хочет?

Вышел Энрико, снял шляпу и, низко поклонясь этой славной женщине, долго держал голову почтительно склоненной перед нею.

Грянул, загудел, зажужжал бубен, и вспыхнула эта пламенная пляска, опьяняющая, точно старое, крепкое, тедшое вино; завертелась Нунча, извиваясь, как змея, – глубоко понимала она этот танец страсти, и велико было наслаждение видеть, как живет, играет ее прекрасное непобедимое тело.

Плясала, она долго, со многими, мужчины уставали, а она всё не могла насытиться, и уже было за полночь, когда она, крикнув:

– Ну, еще раз, Энри, последний! – снова медленно начала танец с ним – глаза ее расширились и, ласково светясь, обещали много, – но вдруг, коротко вскрикнув, она всплеснула руками и упала, как подрубленная под колени.

Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца.

Вероятно...

XXIII

Остров спит – окутан строгой тишиною, море тоже спит, точно умерло, – кто-то сильною рукой бросил с неба этот черный, странной формы камень в грудь моря и убил в ней жизнь.

Если смотреть на остров из дали морской, оттуда, где золотая дуга Млечного Пути коснулась черной воды, – остров кажется лобастым зверем: выгнув мохнатую спину, он прильнул к морю огромной пастью и молча пьет воду, застывшую, как масло.

В декабре очень часты эти мертвенно тихие черные ночи, до того странно тихие, что неловко и не нужно говорить иначе, как шёпотом или вполголоса, – всё кажется, что громкий звук может помешать чему-то, что тайно зреет в каменном молчании под синим бархатом ночного неба.

Так и говорят – вполголоса – двое людей, сидя в хаосе камня на берегу острова; один – таможенный солдат в черной куртке с желтыми кантами и коротким ружьем за спиною, – он следит, чтоб крестьяне и рыбаки не собирали соль, отложившуюся в щелях камней; другой – старый рыбак, обритый, точно испанец, темнолицый, в серебряных баках от ушей к носу, – нос у него большой и загнут, точно у попугая.

Камни как будто окованы серебром, но море окислило белый металл.

Солдат молод и, конечно, говорит о том, что внушают ему года, старик возражает, неохотно и, порою, сердито:

– Кто же любит в декабре? В это время уже рождаются дети...

– Н-но! Если люди молоды – они не ждут...

– Нужно ждать...

– Ты ждал?

– Я, друг мой, не был солдатом, я работал, и всё, что человек должен испытать, – мною испытано в свои сроки...

– Не понимаю...

– Потом – поймешь...

Недалеко от берега в воде отражается голубой Сириус; если долго присматриваться к этому тусклому пятну на воде – рядом с ним становится виден пробковый буюк, круглый, точно голова человека, и совершенно неподвижный.

– Отчего ты не спишь?

Старик распахнул потертый плащ, рыжий от старости, и ответил, покашливая:

– У нас поставлена сеть, видишь буй?

– А...

– Три дня тому назад сеть одной компании была сорвана и спутана...

– Дельфины?

– Зимой? Нет, конечно. Может быть, акула, тонна... кто знает?

Под ногою какого-то зверя маленький камень сорвался с горы, побежал, шелестя сухою травой, к морю и звонко раз-

бил воду. Этот краткий шум хорошо принят молчаливой ночью и любовно выделен ею из своих глубин, точно она хотела надолго запомнить его.

Солдат тихонько напевает насмешливую песенку:

– Отчего старики плохо спят?
Догадайся, Умберто, подумай!
– Оттого, что слишком много
Пили в юности вина...

– Это не про меня сказано, – ворчливо отозвался старик.

– А еще отчего плохо спят старики?
Что ты скажешь, Бертино умный?
– Оттого, что в свое время
Не любили сколько нужно...

– Хорошая песня, дядя Пашкале?

– Ты сам узнаешь это, когда тебе минет шестьдесят... За-
чем спрашивать?

Долго оба молчали согласно с миром, онемевшим в ночи, потом старик, вынув трубку, постучал ею о камень, прислушался к сухим коротким звукам и сказал:

– Вы, мальчики, смеетесь хорошо, но не знаю, так ли хорошо вы умеете любить, как любили в старину...

– Ба! Знакомая песня... Любят всегда одинаково, я думаю...

– Ты думаешь! Надо знать. Вон, за горою, живет семья Сенцамане, – спроси у них историю деда Карло – это будет полезно для твоей жены.

– Что мне спрашивать незнакомых людей, если ты сам можешь рассказать эту историю...

Где-то невидимо летит ночная птица, – в воздухе трепещет особенный и странный звук – точно чем-то шерстяным торопливо отирают сухие камни.

Тьма на земле становится гуще, сырее, теплее, небо уходит выше, и всё ярче сверкают звезды в серебряном тумане Млечного Пути.

– В старину женщины ценились дороже...

– Будто? Не слышал.

– Люди часто воевали...

– Вдов оставалось много...

– Постоянно – пираты, солдаты, и почти каждые пять лет в Неаполе новые правители,⁵¹ – женщин надо было держать под замком.

– Это и теперь не плохо...

– Их воровали, точно кур...

– Хотя они больше похожи на лисиц...

⁵¹ Имеется в виду бурная история Неаполя на протяжении многих веков, когда норманнских завоевателей (1136–1194) сменяли солдаты германского императора Генриха VI, Анжуйскую королевскую династию (1266–1442) – Арагонская (1442–1501); свыше двухсот лет продолжалось испанское господство (1503–1707); вслед за австрийскими оккупантами приходили французские, вторгались войска Наполеона под предводительством Мюрата (1808–1815).

Старик замолчал, зажег трубку, – в неподвижном воздухе повисло белое облако сладкого дыма. Вспыхивает огонь, освещая кривой темный нос и коротко остриженные усы под ним.

– Ну, что же далее? – сонно спросил солдат.

– Слушать надо молча...

В трепете Сириуса такое напряжение, точно гордая звезда хочет затмить блеск всех светил. Море осеяно золотой пылью, и это почти незаметное отражение небес немного оживляет черную, немую пустыню, сообщая ей переливчатый, призрачный блеск. Как будто из глубин морских смотрят в небо тысячи фосфорически сияющих глаз...

– Я слушаю, – нетерпеливо нарушил солдат обиженное, рыбе молчание рыбака, и не спеша, негромко, старик начал сплетать повествование о том, что все и всегда будут слушать внимательно.

– Лет сто тому назад, вон там на горе, где густые сосны, жили греки Экеллани, горбатый старик, колдун и контрабандист, а у него – сын Аристидо, охотник, – тогда на острове еще водились козы. В ту пору здесь самой богатой семьей были Гальярди, – теперь они носят прозвище деда – Сенцамане, – половина виноградников была в их руках, восемь подвалов имели они и более тысячи бочек. Тогда наше белое вино ценилось даже во Франции, где, как я слышал, ничего не умеют ценить, кроме вина. Эти французы все игроки и пьяницы, они проиграли в карты сатане даже голову короля

своего...

Солдат тихонько засмеялся, и, отвечая его смеху, где-то близко всплеснула вода; оба молча насторожились, вытянув шеи к морю, а от берега кольцами уходила тихая рябь.

– Это – черния пробует наживу на крючках...

– Продолжай...

– Да... Гальярди. Их было трое братьев, – история говорит о среднем, Карлоне, как его называли за огромный рост и потрясающий голос. Он выбрал себе для сердца бедную девушку Джулию, дочь кузнеца, очень умную девушку, – силачи ведь не бывают умными. Что-то мешало им жениться, и они томились, ожидая дня своей свадьбы, а сын грека – не дремал, ему тоже нравилась Джулия. Он долго старался о том, чтоб она полюбила его, но не имел успеха и решил опозорить девушку, рассчитав, что Карлоне Гальярди откажется от порочной и тогда ему легко будет взять ее. В то время было строже, чем теперь...

– Н-ну, и теперь...

– Распутство – веселье богатых, а мы здесь все бедные, – сурово сказал старик и продолжал, точно себе самому напоминая прошлое:

– Однажды, когда девушка собирала срезанные ветки лоз, – сын грека, как будто оступившись, свалился с тропы над стеною ее виноградника и упал прямо к ногам ее, а она, как хорошая христианка, наклонилась над ним, чтоб узнать, нет ли ран. Стоная от боли, он просил ее:

– «Джулия, не зови людей на помощь, прошу тебя! Я боюсь, – если ревнивый жених твой увидит меня рядом с тобою – он меня убьет... Дай мне отдохнуть, я уйду...»

– Положив голову на колени ей, он притворился потерявшим сознание а она, испуганная, закричала о помощи, но, когда прибежали люди, – он вдруг вскочил на ноги, здоровешенек, но будто бы очень смущенный, и начал кричать о своей любви, о своих честных намерениях, клялся, что прикроет позор девушки браком, – поставил дело так, словно он, утомленный ласками Джулии, заснул на коленях ее. Простодушные люди поверили ему, несмотря на гнев девушки, забыв о том, что ведь она сама звала на помощь, – никто не знал, что характер грека зовется хитростью. Греков крестил чёрт для того, чтобы лучше запутать все дела христиан. Девушка клянется, что грек – лжет, а он убеждает людей, что Джулии стыдно признать правду, что она боится тяжелой руки Карлоне; он одолел, а девушка стала как безумная, и все пошли в город, связав ее, потому что она кидалась на людей с камнем в руке. А Карлоне уже услышал ее крики, бросился встречу ей, но когда ему сказали, что случилось, он упал на колени среди толпы, потом вскочил и ударил невесту свою левой рукою по лицу, а правой стал душить грека, – народ едва успел отнять его.

– Глупый был парень, – проворчал солдат.

– Ум честного человека – в сердце! Я сказал, что эта история была зимою, перед праздником рождения младенца

Иисуса. Всего за несколько дней. В этот праздник у нас люди дарят друг другу от избытков своих вино, фрукты, рыбу и птиц, – все дарят и, конечно, больше всех получают наиболее бедные. Я не помню, как узнал Карлоне правду, но он ее узнал, и вот в первый день праздника отец и мать Джулии, не выходявшие даже и в церковь, – получили только один подарок: небольшую корзину сосновых веток, а среди них – отрубленную кисть левой руки Карлоне Гальярди, – кисть той руки, которой он ударил Джулию, Они – вместе с нею – в ужасе бросились к нему, Карлоне встретил их, стоя на коленях у двери его дома, его рука была обмотана кровавой тряпкой, и он плакал, точно ребенок.

– «Что ты сделал с собою?» – спросили его.

– Он ответил:

– «Я сделал то, что следовало: человек, оскорбивший мою любовь, не может жить, – я его убил... Рука, ударившая безвинно мою возлюбленную, – оскорбила меня, я ее отсек... Я хочу теперь, чтоб ты, Джулия, простила меня, ты и все твои...»

– Они-то, конечно, простили его, но есть закон и для защиты негодяев – два года сидел Гальярди в тюрьме за грека, и очень дорого стоило братьям вытащить из нее Карлоне...

– Потом он женился на Джулии и хорошо жил с нею до старости, создав на острове новую фамилию – Безруких – Сенцамане...

Старик замолчал, усиленно раскуривая трубку.

– Не нравится мне эта история, – тихо сказал солдат. – Этот твой Карлоне – дикарь... И глупо всё...

– Твоя жизнь через сто лет тоже покажется глупостью, – внушительно проговорил старик и, выпустив большой клуб белого во тьме дыма, прибавил:

– Если только кто-нибудь вспомнит, что ты жил на земле...

Снова в тишине раздался плеск воды, теперь сильный и торопливый; старик сбросил плащ, быстро встал на ноги и скрылся, точно упал в черную воду, оживленную у берега светлыми точками ряби, синеватой, как серебро рыбьей чешуи.

XXIV

С поля в город тихо входит ночь в бархатных одеждах, город встречает ее золотыми огнями; две женщины и юноша идут в поле, тоже как бы встречая ночь, вслед им мягко стелется шум жизни, утомленной трудами дня.

Тихо шаркают три пары ног по темным плитам древней дороги, мощенной разноплеменными рабами Рима; в теплой тишине ласково и убедительно звучит голос женщины:

– Не будь суров с людьми...

– Разве ты, мама, замечала за мной это? – вдумчиво спрашивает юноша.

– Ты слишком горячо споришь...

– Горячо люблю мою правду...

С левой руки юноши идет девушка, щелкая по камню деревянными башмаками, закинув, точно слепая, голову в небо, – там горит большая вечерняя звезда, а ниже ее – красноватая полоса зари, и два тополя врезались в красное, как незажженные факелы.

– Социалистов часто сажают в тюрьму, – вздохнув, говорит мать.

Сын спокойно отвечает:

– Перестанут. Это ведь бесполезно...

– Да, но пока...

– Нет и не будет сил, которые могли бы убить молодое

сердце мира!

– Это – слова для песни, сынок...

– Миллионы голосов поют эту песню, и всё более внимательно слушает ее вся жизнь! Вспомни-ка: разве ты прежде так терпеливо и ласково слушала меня или Паоло, как слушаешь теперь?

– Да! Да, – но вот стачка принудила тебя уйти из родного города...

– Он мал для двоих, пусть остается Паоло. А стачку мы выиграли...

– Выиграли! – звучно откликнулась девушка. – Ты и Паоло...

Не кончив, она тихонько смеется, потом с минуту все идут молча. Навстречу им выдвигается, поднимаясь с земли, темный холм, – развалины какого-то здания, – над ним задумчиво опустил тонкие ветки ароматный эвкалипт, и, когда они трое поравнялись с деревом, ветви его как будто тихо вздрогнули.

– Вот – Паоло! – говорит девушка.

Черная высокая фигура отделилась от развалин и сюит среди дороги.

– Сердцем увидала? – спросил юноша, смеясь.

Впереди звучит эхом:

– Идешь?

– Да. Вот тебе – мои. Не провожайте меня дальше, не нужно! У меня всего пять часов пути до Рима, и я ведь намеренно-

но пошел пешком, чтоб собраться в дороге с мыслями...

Остановились... Высокий снял шляпу и говорит надорванным голосом:

– Ты можешь быть спокоен за мать и за сестру. Всё будет хорошо!

– Я знаю. До свидания, мама!

Она всхлипывает, стонет тихонько, потом звучат три крепких поцелуя и мужественный голос:

– Иди домой и спокойно отдыхай, поволновалась ты за эти буйные дни! Иди, всё будет хорошо! Паоло такой же сын тебе, как я! Ну, сестренка...

Снова поцелуи и сухой шорох ног по камням, – чуткая ночная тишина отражает все звуки, как зеркало.

Четыре фигуры, окутанные тьмою, плотно слились в одно большое тело и долго но могут разъединиться. Потом молча разорвались: трое тихонько поплыли к огням города, один быстро пошел вперед, на запад, где вечерняя заря уже погасла и в синем небе разгорелось много ярких звезд.

– Прощай! – тихо и печально раздается в ночи.

Издали откликнулся бодрый голос.

– Прощай! Не грусти, скоро увидимся...

Сухо стучат деревянные башмаки девушки, сиповатый голос говорит утешающие слова:

– Он не пропадет, донна Филомена, можете верить в это, как в милость вашей мадонны! У него – хороший ум, крепкое сердце, он сам умеет любить и легко заставляет других

любить его. А любовь к людям – это ведь и есть те крылья, на которых человек поднимается выше всего...

Город всё обильнее сеет во тьму свои скромные, бледные огни; слова высокого человека тоже сверкают, как искры.

– Когда человек несет в сердце своем слово, объединяющее мир, он везде найдет людей, способных оценить его, – везде!

У городской стены прижался к ней, присел на землю низенький белый кабачок и призывно смотрит на людей квадратным окном освещенной двери. Около нее, за тремя столиками, шумят темные фигуры, стонут струны гитары, нервно дрожит металлический голос мандолины.

Когда трое поравнялись с дверью, музыка замолкла, голоса стали тише, несколько фигур поднялось.

– Добрый вечер, товарищи! – сказал высокий. И десяток голосов ответил радостно, дружески:

– Добрый вечер, Паоло, товарищ! К нам? Стакан вина?

– Нет... Благодарю!

Мать, вздохнув, сказала:

– И тебя очень любят все наши...

– Наши, донна Филомена?

– Э, не смейся! Не чужая своему народу говорит с тобой.

Все любят вас: тебя и его...

Высокий взял девушку под руку, говоря:

– Все и – еще одна. Так?

– Да, – тихо сказала девушка. – Конечно...

Тогда мать рассмеялась негромко:

– Ах, дети!.. Слушаешь вас, смотришь и – веришь: да, вы станете жить лучше, чем жили мы...

И все трое рядом скрылись в улице города, узкой и рас-
трепанной, как рукав старой, изношенной одежды...

XXV

С утра шумно и обильно лился дождь, но к полудню тучи иссякли, их темная ткань истончилась, и, разорванную на множество дымных кусков, ветер угнал ее в море, а там она вновь плотно свилась в синевато-сизую массу, положив густую тень на море, успокоенное дождем.

На востоке небо темно, в темноте рыщут молнии, а над островом ослепительно пылает великолепное солнце.

Если смотреть на остров издали, с моря, он должен казаться подобным богатому храму в праздничный день: весь чисто вымыт, щедро убран яркими цветами, всюду сверкают крупные капли дождя – топазами на желтоватом молодом листе винограда, аметистами на гроздьях глициний, рубинами на кумаче герани, и точно изумруды всюду на траве, в густой зелени кустарника, на листве деревьев.

Тихо, как всегда бывает тотчас после дождя; чуть слышен тонкий звон ручья, невидимого среди камней, под корнями молочая, ежевики и пахучею, запутанного ломоноса. Внизу мягко звучит море.

Золотые стрелы дрока поднялись в небо и качаются тихонько, отягченные влагой, бесшумно стряхивая ее с причудливых своих цветов.

На сочном фоне зелени горит яркий спор светло-лиловых глициний с кровавой геранью и розами, рыжевато-желтая

парча цветов молочая смешана с темным бархатом ирисов и левкоев – всё так ярко и светло, что кажется, будто цветы поют, как скрипки, флейты и страстные виолончели.

Влажный воздух душист и хмелен, как старое, крепкое вино.

Под серой скалою, расколотою, изорванной взрывами, покрытой в трещинах жирными окисями железа, среди желтых и серых камней, от которых льется кисловатый запах динамита, сидят, обедая, четверо каменоломов – крепкие мужики в мокрых лохмотьях, в кожаных лаптях.

Не спеша, они вкусно едят из большой плошки крепкое мясо спрута, зажаренного с картофелем и помидорами в оливковом масле, и пьют поочередно красное вино из горлышка бутылки.

Двое из них – бритые и похожие друг на друга, как братья, – кажется даже, что они близнецы; один – маленький, кривой и колченогий, напоминает суетливыми движениями сухого тела старую ощипанную птицу; четвертый – широкоплечий, бородатый и горбоносый человек средних лет, сильно седой.

Отламывая большие куски хлеба, он расправляет ими усы, мокрые от вина, и, вложив кусок в темный рот, говорит, мерно двигая волосатыми челюстями:

– Это – сказки, это – ложь! Ничего страшного я не сделал...

Его карие глаза смотрят из-под густых бровей невесело,

насмешливо; голос у него тяжелый, сиплый, речь медленна и неохотна. Шляпа, волосатое разбойничье лицо, большие руки и весь костюм синего сукна обрызганы белой каменной мукою, – очевидно, это он сверлит в скале скважины для рядов.

Трое товарищей слушают его внимательно, не перебивая, но поочередно заглядывают в глаза ему, как бы говоря:

«Продолжай...»

Он рассказывает, двигая седыми бровями:

– Этот человек – его звали Андреа Грассо – пришел к нам в деревню ночью, как вор; он был одет нищим, шляпа одного цвета с сапогами и такая я же рваная. Он был жаден, бесстыден и жесток. Через семь лет старики наши первые снимали перед ним шляпы, а он им едва кивал головою. И все, на сорок миль вокруг, были в долгах у него.

– Такие люди есть, – сказал колченогий, вздохнув и качая головой.

Рассказчик взглянул на него, насмешливо спросив:

– Встречал?

Старик молча махнул рукою, бритые усмехнулись оба, как один, горбоносый выпил вина и продолжал, следя за полетом сокола в синем небе:

– Мне было тринадцать лет, когда он нанял меня, вместе с другими, носить камень на постройку его дома. Он обращался с нами более безжалостно, чем с животными, и когда мой товарищ, Лукино, сказал ему это, он ответил ему: «Осел

– мой, ты – чужой мне, почему я должен жалеть тебя?» Эти слова ударили меня в сердце, я стал смотреть на него более внимательно. Он со всеми обращался нагло и цинично – старик, женщина, ему всё равно, вижу я. А когда почтенные люди говорили ему, что это плохо, он возражал, смеясь в глаза им: «Когда я был беден, меня тоже не жалели». Он водил дружбу с попами, с карабинерами, полицией; остальные люди видели его только в дни горькой своей нужды, когда он мог делать с ними всё, что хотел.

– Такие люди есть, – повторил колченогий тихонько, и все трое сочувственно взглянули на него; один бритый молча протянул ему бутылку вина, старик взял ее, посмотрел на свет и сказал, перед тем как выпить:

– Пью за святое сердце мадонны!

– Он часто говаривал: «Всегда бедняки работали на богатых и глупые на умных, так и должно быть всегда».

Рассказчик усмехнулся, протянув руку к бутылке, – она была пуста. Он небрежно отбросил ее на камни, где валялись молотки, кирки и темной змеей вытянулся кусок бикфордова шнура.

– Мне, молодому тогда, и товарищам моим было особенно обидно слышать эти слова: они убивали наши надежды, наше желание лучшей жизни. Вот однажды я и Лукино, друг мой, встретив его вечером в поле, когда он, не спеша, ехал куда-то верхом, сказали ему вежливо, но внушительно: «Мы просим вас быть добрее к людям».

Бритые расхохотались, тихонько усмехнулся и кривой, а рассказчик шумно вздохнул.

– Да, конечно, глупо! Но молодость честна. Молодость верит в силу слова. Я скажу: молодость – это совесть всей жизни...

– Что ж он? – спросил старик.

– Он закричал нам, довольно храбро: «Пустите лошадь, разбойники!» И, вынув пистолет, показывал то одному, то другому. Мы сказали: «Вам, Грассо, нечего бояться нас, не на что сердиться, мы советуем вам, и только!»

– Это хорошо! – сказал один бритый, другой согласно наклонил голову; колченогий, плотно поджав губы, стал рассматривать камень, щупая его кривыми пальцами.

Они кончили есть. Один сбивал тонким прутом стеклянные капли воды со стеблей трав, другой, следя за ним, чистил зубы сухой былинкой. Становится всё более сухо и жарко. Быстро тают короткие тени полудня. Тихо плещет море, медленно течет серьезный рассказ:

– Эта встреча плохо отозвалась на судьбе Лукино, – его отец и дядя были должниками Грассо. Бедняга Лукино похудел, сжал зубы, и глаза у него не те, что нравились девушкам. «Эх, – сказал он мне однажды, – плохо сделали мы с тобой. Слова ничего не стоят, когда говоришь их волку!» Я подумал: «Лукино может убить». Было жалко парня и его добрую семью. А я – одинокий, бедный человек. Тогда только что померла моя мать.

Горбоносый камнелом расправил усы и бороду белыми, в известке, руками, – на указательном пальце его левой руки светлый серебряный перстень, очень тяжелый, должно быть.

– Мой поступок мог быть полезен людям, если б я сумел довести дело до конца, но у меня мягкое сердце. Однажды я, встретив Грассо на улице, пошел рядом с ним, говоря, как мог, кротко: «Вы человек жадный и злой, людям трудно жить с вами, вы можете толкнуть кого-нибудь под руку, и эта рука схватит нож. Я говорю вам: уходите от нас прочь, уезжайте». – «Ты глуп, малый!» – сказал он, но я стоял на своем. Он спросил, смеясь: «Сколько тебе дать, чтоб ты оставил меня в покое, – лиру, довольно?» Это было обидно, но я сдержался. «Уходите, говорю вам!» Я шел плечо в плечо с ним, с правой стороны. Он, незаметно, достал нож и ткнул меня им.левой рукою немного сделаешь, он и проткнул мне грудь на дюйм. Конечно, я бросил его на землю и ударил ногой, как бьют свиней. «Итак, ты уйдешь!» – сказал я ему, когда он ползал по земле. Оба бритые взглянули на рассказчика недоверчиво и опустили глаза. Колченогий, согнувшись, перевязывал кожаные ремни обуви.

– Утром, когда я еще спал, пришли карабинеры и отвели меня к маршалу,⁵² куму Грассо. «Ты честный человек, Чиро, – сказал он, – ты ведь не станешь отрицать, что в эту ночь хотел убить Грассо». Я говорил, что это еще неправда, но у них свой взгляд на такие дела. Два месяца я сидел в тюрьме

⁵² Маршал – здесь фельдфебель карабинеров.

до суда, а потом меня приговорили на год и восемь. «Хорошо, – сказал я судьям, – но я не считаю дело конченным!»

Он достал из камней непочатую бутылку и, сунув горло ее в усы себе, долго тянул вино; его волосатый кадык жадно двигался, борода оцетинилась. Три пары глаз молча и строго следили за ним.

– Скучно говорить об этом, – сказал он, передавая бутылку товарищам и разглаживая обрызганную бороду.

– Когда я вернулся в деревню, было ясно, что мне нет места в ней: все меня боялись. Лукино рассказал, что жить стало еще хуже за этот год. Он был скучен, как головня, бедняга. «Так», – подумал я и пошел к этому Грассо; он очень испугался, увидав меня. «Ну, я вернулся, – сказал я, – теперь уходи ты!» Он схватил ружье, выстрелил, но оно было заряжено на птицу дробью, а стрелял он мне в ноги. Я даже не упал. «Если б ты меня и убил, я пришел бы к тебе из могилы, я дал клятву мадонне, что выживу тебя отсюда. Ты упрям, я – тоже». Мы схватились, и тут я, нечаянно, сломал ему руку. Я этого не хотел, он первый бросился на меня. Прибежал народ, меня взяли. На этот раз я сидел в тюрьме три года девять месяцев, а когда кончился срок, мой смотритель, человек, который знал всю эту историю и любил меня, очень уговаривал не возвращаться домой, а идти в работники, к его зятю, в Апулию, – там у зятя много земли и виноградник. Но, конечно, я уже не мог отказаться от начатого. Я шел домой с твердым намерением не болтать больше лишних слов, я уже

понял тогда, что из десяти – лишних девять. У меня в сердце было одно: «Уходи!» Я пришел в деревню как раз в воскресенье, прямо к мессе, в церковь. Грассо был там, он сразу увидел меня, вскочил на ноги и стал кричать на всю церковь: «Этот человек явился убить меня, граждане, его прислал дьявол по душу мою!» Меня окружили раньше, чем я дотронулся до него, раньше, чем успел сказать ему что надо. Но – всё равно, он свалился на плиты пола, – его разбил паралич так, что отнялась вся правая сторона и язык. Умер он через семь недель после этого... Вот и всё. А люди сождали про меня какую-то сказку... Очень страшно, но – всё неправда.

Он усмехнулся, взглянул на солнце и сказал:

– Пора начинать...

Трое людей, молча и не спеша, поднялись на ноги, горбоносый уставился глазами в рыжие жирные щели скалы и повторил:

– Будем работать...

Солнце в зените, и все тени сожжены им.

Облака на горизонте опустились в море, вода его стала еще спокойнее и синей.

XXVI

Пепе – лет десять, он хрупкий, тоненький, быстрый, как ящерица, пестрые лохмотья болтаются на узких плечах, в бесчисленные дыры выглядывает кожа, темная от солнца и грязи.

Он похож на сухую былинку, – дует ветер с моря и носит ее, играя ею, – Пепе прыгает по камням острова, с восхода солнца по закат, и ежечасно откуда-нибудь льется его неутомимый голосишко:

Италия прекрасная,
Италия моя!..

Его всё занимает: цветы, густыми ручьями текущие по доброй земле, ящерицы среди лиловатых камней, птицы в чеканной листве олив, в малахитовом кружеве виноградника, рыбы в темных садах на дне моря и форестьеры на узких, запутанных улицах города: толстый немец, с расковырненным шпагою лицом, англичанин, всегда напоминающий актера, который привык играть роль мизантропа, американец, которому упрямо, но безуспешно хочется быть похожим на англичанина, и неподражаемый француз, шумный, как погремушка.

– Какое лицо! – говорит Пепе товарищам, указывая все-

видящими глазами на немца, надутого важностью до такой степени, что у него все волосы дыбом стоят. – Вот лицо, не меньше моего живота!

Пепе не любит немцев, он живет идеями и настроениями улицы, площади и темных лавочек, где свои люди пьют вино, играют в карты и, читая газеты, говорят о политике.

– Нам, – говорят они, – нам, бедным южанам, ближе и приятнее славяне Балкан, чем добрые союзники, наградившие нас за дружбу с ними песком Африки.⁵³

Всё чаще говорят это простые люди юга, а Пепе всё слышит и всё помнит.

Скучно, ногами, похожими на ножницы, шагает англичанин, – Пепе впереди его и напевает что-то из зауспокойной мессы или печальную песенку:

Мой друг недавно умер,
Грустит моя жена...
А я не понимаю,

⁵³ Колониальная экспансия Италии в Африке настойчиво провоцировалась кайзеровской Германией. В 1885–1887 годах Италия захватила Эритрею и Сомали. Итало-эфиопская война 1895–1896 годов закончилась поражением итальянских войск под Адуа и приостановила их продвижение в Африку. Следующим этапом колониальной политики Италии явилась война с Турцией в 1911–1912 годах. Военный успех Италии в значительной степени был предопределен дружественным нейтралитетом России и Франции. Дипломатическая поддержка Италии Францией и Россией повлекла дальнейший отход Италии от Тройственного Союза (союз Германии, Австро-Венгрии и Италии, заключенный в 1882 г.), резкое ухудшение итало-германских отношений, а впоследствии вступление Италии в империалистическую войну на стороне противников Германии.

Отчего она так грустна?

Товарищи Пепе идут сзади, кувыркаясь со смеха, и прячутся, как мыши, в кусты, за углы стен, когда форестьер посмотрит на них спокойным взглядом выцветших глаз.

Множество интересных историй можно рассказать о Пепе.

Однажды какая-то синьора поручила ему отнести в подарок подруге ее корзину яблок своего сада.

– Заработаешь сольдо!⁵⁴ – сказала она. – Это ведь не вредно тебе...

Он с полной готовностью взял корзину, поставил ее на голову себе и пошел, а воротился за сольдо лишь вечером.

– Ты не очень спешил! – сказала ему женщина.

– Но все-таки я устал, дорогая синьора! – вздохнув, ответил Пепе. – Ведь их было более десятка!

– В полной до верха корзине? Десяток яблок?

– Мальчишек, синьора.

– Но – яблоки?

– Сначала – мальчишки: Микеле, Джованни...

Она начала сердиться, схватила его за плечо, встряхнула.

– Отвечай, ты отнес яблоки?

– До площади, синьора! Вы послушайте, как хорошо я вел себя: сначала я вовсе не обращал внимания на их насмешки, – пусть, думаю, они сравнивают меня с ослом, я всё

⁵⁴ Сольдо – мелкая монета.

стерплю из уважения к синьоре, – к вам, синьора. Но когда они начали смеяться над моей матерью, – ага, подумал я, ну, это вам не пройдет даром. Тут я поставил корзину, и – нужно было видеть, добрая синьора, как ловко и метко попадал я в этих разбойников, – вы бы очень смеялись!

– Они растащили мои плоды?! – закричала женщина.

Пепе, грустно вздохнув, сказал:

– О нет. Но те плоды, которые не попали в мальчишек, разбились о стены, а остальные мы съели, после того как я победил и помирился с врагами...

Женщина долго кричала, извергая на бритую голову Пепе все проклятия, известные ей, – он слушал ее внимательно и покорно, время от времени прищелкивая языком, а иногда, с тихим одобрением, восклицая:

– О-о, как сказано! Какие слова!

А когда она, устав, пошла прочь от него, он сказал вслед ей:

– Но, право, вы не беспокоились бы так, если б видели, как метко попадал я прекрасными плодами вашего сада в грязные головы этих мошенников, – ах, если б вы видели это! – вы дали бы мне два сольдо вместо обещанного одного!

Грубая женщина не поняла скромной гордости победителя, – она только погрозила ему железным кулаком.

Сестра Пепе, девушка много старше, но не умнее его, поступила прислугой – убирать комнаты – на виллу богатого

американца. Она сразу же стала чистенькой, румяной и, на хороших хлебах, начала заметно наливать здоровым соком, как груша в августе.

Брат спросил ее однажды:

– Ты ешь каждый день?

– Два и три раза, если хочу, – с гордостью ответила она.

– Пожалела бы зубы! – посоветовал ей Пепе и задумался,

а потом спросил снова:

– Очень богат твой хозяин?

– Он? Я думаю – богаче короля!

– Ну, оставим глупости соседям! А сколько брюк у твоего хозяина?

– Это трудно сказать.

– Десять?

– Может быть, больше...

– Поди-ка, принеси мне одни не очень длинные и теплые, – сказал Пепе.

– Зачем?

– Ты видишь – какие у меня?

Видеть это было трудно, – от штанов Пепе на ногах его оставалось совсем немного.

– Да, – согласилась сестра, – тебе необходимо одеться! Но он ведь может подумать, что мы украли?

Пепе внушительно сказал ей:

– Не нужно считать людей глупее нас! Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка!

– Ведь это песня! – не соглашалась сестра, но Пепе быстро уговорил ее, а когда она принесла в кухню хорошие брюки светло-серого цвета и они оказались несколько длиннее всего тела Пене, он тотчас догадался, как нужно сделать.

– Дай-ка нож! – сказал он.

Вдвоем они живо превратили брюки американца в очень удобный костюм для мальчика: вышел несколько широковатый, но уютный мешок, он придерживался на плечах веревочками, их можно было завязывать вокруг шеи, а вместо рукавов отлично служили карманы.

Они устроили бы еще лучше и удобнее, но им помешала в этом супруга хозяина брюк: явилась в кухню и начала говорить самые грубые слова на всех языках одинаково плохо, как это принято американцами.

Пепе ничем не мог остановить ее красноречие, он морщился, прикладывал руку к сердцу, хватался в отчаянии за голову, устало вздыхал, но она не могла успокоиться до поры, пока не явился ее муж.

– В чем дело? – спросил он.

И тогда Пепе сказал:

– Синьор, меня очень удивляет шум, поднятый вашей синьорой, я даже несколько обижен за вас. Она, как я понял, думает, что мы испортили брюки, но уверяю вас, что для меня они удобны! Она, должно быть, думает, что я взял последние ваши брюки и вы не можете купить других...

Американец, спокойно выслушав его, заметил:

– А я думаю, молодчик, что надобно позвать полицию.

– Да-а? – очень удивился Пепе. – Зачем?

– Чтобы тебя отвели в тюрьму...

Это очень огорчило Пепе, он едва не заплакал, но сдержался и сказал с достоинством:

– Если это вам нравится, синьор, если вы любите сажать людей в тюрьму, то – конечно! Но я бы не сделал так, будь у меня много брюк, а у вас ни одной пары! Я бы дал вам две, пожалуй – три пары даже; хотя три пары брюк нельзя надеть сразу! Особенно в жаркий день...

Американец расхохотался; ведь иногда и богатому бывает весело.

Потом он угощал Пепе шоколадом и дал ему франк. Пепе попробовал монету зубом и поблагодарил:

– Благодарю вас, синьор! Кажется, монета настоящая?

Всего лучше Пепе, когда он один стоит где-нибудь в камнях, вдумчиво разглядывая их трещины, как будто читая по ним темную историю жизни камня. В эти минуты живые его глаза расширены, подернуты красивой пленкой, тонкие руки за спиною и голова, немножко склоненная, чуть-чуть покачивается, точно чашечка цветка. Он что-то мурлычет тихонько, – он всегда поет.

Хорош он также, когда смотрит на цветы, – лиловыми ручьями льются по стене глицинии, а перед ними этот мальчик вытянулся струною, будто вслушиваясь в тихий трепет шёл-

ковых лепестков под дыханием морского ветра.

Смотрит и поет:

– Фиорино-о...⁵⁵ фиорино-о...

Издали, как удары огромного тамбурина, доносятся глухие вздохи моря. Играют бабочки над цветами, – Пепе поднял голову и следит за ними, щурясь от солнца, улыбаясь немножко завистливой и грустной, но все-таки доброй улыбкой старшего на земле.

Чо! – кричит он, хлопая ладонями, пугая изумрудную ящерицу.

А когда море спокойно, как зеркало, и в камнях нет белого кружева прибоя, Пепе, сидя где-нибудь на камне, смотрит острыми глазами в прозрачную воду: там, среди рыжеватых водорослей, плавно ходят рыбы, быстро мелькают креветки, боком ползет краб. И в тишине, над голубою водой, тихонько течет звонкий задумчивый голос мальчика:

О море... море...

Взрослые люди говорят о мальчике:

– Этот будет анархистом!

А кто добрей, из тех, что более внимательно присматриваются друг ко другу, – те говорят иначе:

– Пепе будет нашим поэтом...

Пасквалино же, столяр, старик с головою, отлитой из се-

⁵⁵ Фиорино – цветочек.

ребра, и лицом, точно с древней римской монеты, мудрый и всеми почитаемый Пасквалино говорит свое:

– Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше!

Очень многие верят ему.

XXVII

В безлунную ночь страстной субботы по окраинам города, в узких щелях улиц медленно ходит женщина в черном плаще, лицо ее прикрыто капюшоном и не видно, обильные складки широкого плаща делают ее огромной, идет она молча и кажется немым воплощением неисчерпаемой скорби.

За нею столь же медленно, тесной кучей – точно одно тело – плывут музыканты, – медные трубы жутко вытянуты вперед, просительно подняты к темному небу и рычат, вздыхают; гнусаво, точно невыспавшиеся монахи, поют кларнеты, и, словно старый злой патер, гудит фагот; мстительно жалуются корнет-а-пистон, ему безнадежно вторят валторны, печально молится баритон, и, охая, глухо гудит большой барабан, отбивая такт угрюмого марша, а вместе с дробной, сухой трелью маленького сливается шорох сотен ног по камням.

Тускло блестит медь желтым, мертвым огнем, люди, опоясанные ею, кажутся чудовищно странными; инструменты из дерева торчат, как хоботы, – группа музыкантов, точно голова огромного черного змея, чье тело тяжело и черно влачится в тесных улицах среди серых стен.

Иногда это странное шествие ночью последних страданий Христа – изливается на маленькую площадь неправильных очертаний, – эти площади, точно дыры, протертые временем в каменной одежде города, – потом снова всё втиснуто

в щель улицы, как бы стремясь раздвинуть ее, и не один час этот мрачный змей, каждое кольцо которого – живое тело человека, ползает по городу, накрытому молчаливым небом, вслед за женщиной, возбуждающей странные догадки.

Немая и черная, словно окована непобедимой печалью, она что-то ищет в ночи, уводя воображение глубоко во тьму древних верований, напоминая Изиду,⁵⁶ потерявшую брата-мужа, растерзанного злым Сетом-Тифоном, и кажется, что от ее непонятной фигуры исходит черное сияние, облекая всё жутким мраком давно пережитого и воскресшего в эту ночь, чтобы пробудить мысль о близости человека к прошлому.

Траурная музыка гулко бьет в окна домов, вздрагивают стекла, люди негромко говорят о чем-то, но все звуки стираются глухим шарканьем тысяч ног о камни мостовой, – тверды камни под ногами, а земля кажется непрочной, тесно на ней, густо пахнет человеком, и невольно смотришь вверх, где в туманном небе неярко блестят звезды.

Но – вот вдали, на высокой стене, на черных квадратах окон вспыхнуло отражение красного огня, вспыхнуло, исчезло, загорелось снова, и по толпе весенним вздохом леса пронесся подавленный шёпот:

– Идут, идут...

⁵⁶ Изиды (точнее Исида) – одна из самых почитаемых богинь Древнего Египта, дочь бога солнца Ра, сестра и жена бога Озириса, растерзанного злым богом Сетом.

Там, впереди, родился и начал жить, возрастая, другой шум – более светлый, там всё ярче разгорается огонь; эта женщина пошла вперед как будто быстрее, и толпа оживленнее хлынула за нею, даже музыка как будто на секунду потеряла темп – смялись, спутались звуки, и смешно высоко свистнула, заторопившись, флейта, вызвав негромкий смех.

И тотчас же, как-то вдруг, по-сказочному неожиданно – пред глазами развернулась небольшая площадь, а среди нее, в свете факелов и бенгальских огней, две фигуры: одна – в белых длинных одеждах, светловолосая, знакомая фигура Христа, другая – в голубом хитоне – Иоанн, любимый ученик Иисуса, а вокруг них темные люди с огнями в руках, на их лицах южан какая-то одна, всем общая улыбка великой радости, которую они сами вызвали к жизни и – гордятся ею.

Христос – тоже веселый, в одной руке он держит орудие казни своей, всё в цветах, быстро размахивая другою, он что-то говорит, Иоанн – смеется, закинув кудрявую голову, юный, безбородый, красивый, как Дионис.

Толпа вылилась на площадь потоком масла и как-то сразу образовала круг, и вот эта женщина – черная, как облачная ночь, – вдруг вся, как бы поднявшись на воздух, поплыла ко Христу, а подойдя почти вплоть к нему, остановилась, сбросила капюшон с головы, и облаком опустился плащ к ногам ее.

Тогда, в веселом и гордом трепете огней, из-под капюшона поднялась и засверкала золотом пышных волос светозар-

ная голова мадонны, а из-под плаща ее и еще откуда-то из рук людей, ближайших к матери бога, всплескивая крыльями, взлетели в темный воздух десятки белых голубей, и на минуту показалось, что эта женщина в белом, сверкающем серебром платье и в цветах, и белый, точно прозрачный Христос, и голубой Иоанн – все трое они, такие удивительные, нездешние, поплыли к небу в живом трепете белых крыльев голубиных, точно в сонме херувимов.

– Gloria, madonna, gloria!⁵⁷ – тысячью грудей грянула черная толпа, и – мир изменился: всюду в окнах вспыхнули огни, в воздухе простерлись руки с факелами в них, всюду летели золотые искры, горело зеленое, красное, фиолетовое, плавали голуби над головами людей, все лица смотрели вверх, радостно крича:

– Слава, мадонна, слава!

Колебались в отблесках огней стены домов, изо всех окон смотрели головы детей, женщин, девушек – яркие пятна праздничных одежд расцвели, как огромные цветы, а мадонна, облитая серебром, как будто горела и таяла, стоя между Иоанном и Христом, – у нее большое розовое и белое лицо, с огромными глазами, мелко завитые, золотые волосы на голове, точно корона, двумя пышными потоками они падают на плечи ее. Христос смеется, звонко и весело, как и следует воскресшему, синеглазая мадонна, улыбаясь, качает головою, а Иоанн взял факел и, размахивая им в воздухе, брыз-

⁵⁷ Слава, мадонна, слава! (*Итал.*).

жет огнем, – он еще совсем мальчик и, видимо, очень любит шалости – такой тонкий, остроглазый и ловкий, точно птица.

Они все трое смеются тем непобедимым смехом, который возможен только под солнцем юга, на берегах веселого моря, и смеются люди, заглядывая в их лица, – праздничные люди, которые изо всего умеют сделать красивое зрелище, а сами – красивейшее.

Конечно – тут дети, они мечутся по земле около трех фигур, как белые птицы в воздухе над ними, и кричат звонко, радостно, возбужденно:

– Gloria, madonna, gloria!

Старухи – молятся: смотрят на эту троицу, прекрасную, как сон, и, зная, что Христос – столяр из улицы Пизакане, Иоанн – часовщик, а мадонна – просто Аннита Брагалья, золотшвейка, – старухи очень хорошо знают всё это и – молятся, шепчут увядшими губами хорошие слова благодарности мадонне за всё... за всё... и больше всего за то, что она есть...

Где-то торжественно поют, и невольно вспоминаешь старую, знакомую песнь:

Смерти празднуем умерщвление...

Светает, в церквах веселый звон, колокола, торопливо захлебываясь, оповещают, что воскрес Христос, бог весны; на площади музыканты сдвинулись в тесное кольцо – грянула

музыка, и, притопывая в такт ей, многие пошли к церквям, там тоже – органы гудят славу и под куполом летают множество птиц, принесенных людьми, чтобы выпустить их в ту минуту, когда густые голоса органа воспоют славу воскресшему богу весны.

Это славный обычай – вовлекать птиц, чистейшее изо всех живых существ, в лучший праздник людей; удивительно хорошо поет сердце в тот миг, когда сотни маленьких разноперых пичужек летают по церкви, и щебечут, и поют, садясь на карнизы, статуи, залетая в алтарь.

Площадь пустеет; три светлые фигуры, взяв под руки друг друга, запели что-то, дружно и красиво, и пошли в улицу, музыканты двинулись за ними, и толпа вслед им; бегут дети, в сиянии красивых огней они – точно рассыпанные бусы кораллов, а голуби уже уселись на крышах, на карнизах и – воркуют.

И снова вспоминается хорошая песня:

«Христос воскрес...»

И все мы воскреснем из мертвых, смертью смерть поправ.

Страсти-мордасти

Душной летней ночью, в глухом переулке окраины города, я увидел странную картину: женщина, забравшись в середину обширной лужи, топала ногами, разбрызгивая грязь, как это делают ребятишки, – топала и гнусаво пела скверненькую песню, в которой имя Фомка рифмовало со словом ёмкая.

Днем над городом могуче прошла гроза, обильный дождь размочил грязную глинистую землю переулка; лужа была глубокая, ноги женщины уходили в нее почти по колено. Судя по голосу, певица была пьяная. Если б она, устав плясать, упала, то легко могла бы захлебнуться жидкой грязью.

Я подтянул повыше голенища сапог, влез в лужу, взял плясунью за руки и потащил на сухое место. В первую минуту, она, видимо, испугалась, – пошла за мною молча и покорно, но потом сильным движением всего тела вырвала правую руку, ударила меня в грудь и заорала:

– Караул!

И снова решительно полезла в лужу, увлекая меня за собой.

– Дьявол, – бормотала она. – Не пойду! Проживу без тебя... поживи без меня... Краул!

Из тьмы вылез ночной сторож, остановился в пяти шагах от нас и спросил сердито:

– Кто скандалит?

Я сказал ему, что – боюсь, не утонула бы женщина в грязи, и вот – хочу вытащить ее; сторож присмотрелся к пьяной, громко отхаркнул и приказал:

– Машка – вылазь!

– Не хочу.

– А я те говорю – вылазь!

– А я не вылезу.

– Вздую, подлая, – не сердясь, пообещал сторож и добродушно, словоохотливо обратился ко мне: – Это – здешняя, паклюжница, Фролиха, Машка. Папироски нету?

Закурили. Женщина храбро шагала по луже, вскрикивая:

– Начальники! Я сама себе начальница... Захочу – купаться буду...

– Я текупаюсь, – предупредил ее сторож, бородатый крепкий старик. Эдак-то вот она каждую ночь, почитай, скандалит. А дома у ней – сын безногой...

– Далеко живет?..

– Убить ее надо, – сказал сторож, не ответив мне.

– Отвести бы ее домой, – предложил я.

Сторож фыркнул в бороду, осветил мое лицо огнем папиросы и пошел прочь, тяжело топая сапогами по липкой земле.

– Веди! Только допрежде в рожу загляни ей.

А женщина села в грязь и, разгребая ее руками, завизжала гнусаво и дико:

Как по-о мор-рю..

Недалеко от нее в грязной жирной воде отражалась какая-то большая звезда из черной пустоты над нами. Когда лужа покрылась рябью – отражение исчезло. Я снова влез в лужу, взял певицу под мышки, приподнял и, толкая коленями, вывел ее к забору; она упиралась, размахивала руками и вызывала меня.

– Ну – бей, бей! Ничего, – бей... Ах ты, зверь... ах ты, ирод... ну бей!

Приставив ее к забору, я спросил – где она живет. Она приподняла пьяную голову, глядя на меня темными пятнами глаз, и я увидел, что переносье у нее провалилось, остаток носа торчит, пуговкой, вверх, верхняя губа, подтянутая шрамом, обнажает мелкие зубы, ее маленькое пухлое лицо улыбается отталкивающей улыбкой.

– Ладно, идем, – сказала она.

Пошли, толкая забор. Мокрый подол юбки хлестал меня по ногам.

– Идем, милый, – ворчала она, как будто трезвея. – Я тебя приму... Я те дам утешеньице...

Она привела меня на двор большого, двухэтажного дома; осторожно, как слепая, прошла между телег, бочек, ящиков, рассыпанных поленниц дров, остановилась перед какой-то дырой в фундаменте и предложила мне:

– Лезь.

Придерживаясь липкой стены, обняв женщину за талию, едва удерживая расползавшееся тело ее, я спустился по скользким ступеням, нащупал войлок и скобу двери, отворил ее и встал на пороге черной ямы, не решаясь ступить дальше.

– Мамка, – ты? – спросил во тьме тихий голос.

– Я-а...

Запах теплой гнили и чего-то смолистого тяжело ударил в голову. Вспыхнула спичка, маленький огонек на секунду осветил бледное детское лицо и погас.

– А кто же придет к тебе? Я-а, – говорила женщина, наваливаясь на меня.

Снова вспыхнула спичка, зазвенело стекло, и тонкая, смешная рука зажгла маленькую жестяную лампу.

– Утешеньишко мое, – сказала женщина и, покачнувшись, опрокинулась в угол, – там, едва возвышаясь над кирпичом пола, была приготовлена широкая постель.

Следя за огнем лампы, ребенок прикручивал фитиль, когда он, разгораясь, начинал коптить. Личико у него было серьезное, остроносое, с пухлыми, точно у девочки, губами, – личико, написанное тонкой кистью и поражающе неуместное в этой темной сырой яме. Справившись с огнем, он взглянул на меня какими-то мохнатыми глазами и спросил:

– Пьяная?

Мать его, лежа поперек постели, всхлипывала и храпела.

– Ее надо раздеть, – сказал я.

– Так раздевай, – отозвался мальчик, опустив глаза.

А когда я начал стаскивать с женщины мокрые юбки – он спросил тихо и деловито:

– Огонь-то – погасить?

– Зачем же!

Он промолчал. Возясь с его матерью, как с мешком муки, я наблюдал за ним: он сидел на полу, под окном, в ящике из толстых досок с черной-печатными буквами – надписью:

ОСТОРОЖНО Т-во Н. Р. и К°

Подоконник квадратного окна был на уровне плеча мальчика. По стене в несколько линий тянулись узенькие полочки, на них лежали стопки папиросных и спичечных коробок. Рядом с ящиком, в котором сидел мальчуган, помещался еще ящик, накрытый желтой соломенной бумагой и, видимо, служивший столом. Закинув смешные и жалкие руки за шею, мальчик смотрел вверх в темные стекла окна.

Раздев женщину, я бросил ее мокрое платье на печь, вымыл руки в углу, из глиняного рукомойника, и, вытирая их платком, сказал ребенку:

– Ну, прощай!

Он поглядел на меня и спросил немножко шепеляво:

– Теперь – гасить лампу?

– Как хочешь.

– А ты – уходишь, не ляжешь?

Он протянул ручонку, указывая на мать:

– С ней.

– Зачем? – спросил я глупо и удивленно.

– Сам знаешь, – сказал он страшно просто и, потянувшись, прибавил:

– Все ложатся.

Сконфуженный, я оглянулся: вправо от меня – чело уродливой печки, на шестке – грязная посуда, в углу – за ящиком – куски смоленого каната, куча нащипанной пакли, поленья дров, щепки и коромысло.

У моих ног вытянулось и храпит желтое тело.

– Можно посидеть с тобой? – спросил я мальчика. Он, глядя на меня исподлобья, ответил:

– Она ведь до утра уж не проснется.

– Да мне ее не надо.

Присев на корточки к его ящику, я рассказал, как встретил мать, стараясь говорить шутливо:

– Села в грязь, гребет руками, как веслами, и поет... Он кивнул головою, улыбаясь бледненькой улыбкой, почесывая узенькую грудь.

– Пьяная потому что. Она и тверезая любит баловаться. Как маленькая всё равно...

Теперь я рассмотрел его глаза, – они действительно мохнаты, ресницы их удивительно длинные, да и на веках густо росли волосики, красиво изогнутые. Синеватые тени лежали под глазами, усиливая бледность бескровной кожи, высокий лоб, с морщинкой над переносьем, покрывала растрепанная

шапка курчавых рыжеватых волос. Неопишимо выражение его глаз – внимательных и спокойных, – я с трудом выносил этот странный, нечеловечий взгляд.

– У тебя – что с ногами-то?

Он завозился, высвободил из тряпья сухую ногу, похожую на кочережку, приподнял ее рукою и положил на край ящика.

– Вот какие ноги. Обе такие, с роду. Не ходят, не живут, а – так себе...

– А что это в коробочках?

– Зверильница, – ответил он, взял ногу рукою, точно палку, сунул ее в тряпки на дно ящика и ясно, дружески улыбаясь, предложил:

– Хошь – покажу? Ну, так садись хорошенько. Ты эдакого еще и не видал никогда.

Ловко действуя тонкими, непомерно длинными руками, он приподнялся на полкорпуса и стал снимать коробки с полок, подавая мне одну за другой.

– Гляди, – не открывай, а то – убегут! Прислони к уху, послушай. Что?

– Шевелится кто-то...

– Ага! Это-паучишка там сидит, подлец! Его зовут – Барабанщик. Хитрый!..

Чудесные глаза ласково оживились, на синеньком личике играла улыбка. Быстро действуя ловкими руками, он снимал коробки с полок, прикладывал их к своему уху, потом – к

моему и оживленно рассказывал:

– А тут – таракашка Анисим, хвостун, вроде солдата. Это – муха, Чиновница, сволочь, каких больше нет. Целый день жужжит, всех ругает, мамку даже за волосы таскала. Не муха, а – чиновница, которая на улице окнами живет, муха только похожая. А это – черный таракан, большущий, – Хозяин; он – ничего, только пьяница и бесстыдник. Напьется и ползает по двору голый, мохнатый, как черная собака. Здесь – жук, дядя Никодим, я его на дворе сцапал, он – странник, из жуликов которые; будто на церковь собирает; мамка зовет его – Дешевый; он тоже любовник ей. У нее любовников – сколько хочешь, как мух, даром что безногая.

– Она тебя не бьет?

– Она-то? Вот еще! Она без меня жить не может. Она ведь добрая, только пьяница, ну, – на нашей улице – все пьяницы. Она – красивая, веселая тоже... Очень пьяница, курва! Я ей говорю: «Перестань, дурочка, водку эту глохтить, богатая будешь», – а она хохочет. Баба, ну и – глупая! А она – хорошая, вот проспится – увидишь.

Он обаятельно улыбался такой чарующей улыбкой, что хотелось зареветь, закричать на весь город от невыносимой, жгучей жалости к нему. Его красивая головка покачивалась на тонкой шее, точно странный какой-то цветок, а глаза всё более разгорались оживлением, притягивая меня с неодолимой силой.

Слушая его детскую, но страшную болтовню, я на минуту

забывал, где сижу, и вдруг снова видел тюремное окно, маленькое, забрызганное снаружи грязью, черное жерло печи, кучу пакли в углу, а у двери, на тряпье, желтое, как масло, тело женщины-матери.

– Хорошая зверильница? – спросил мальчик с гордостью.

– Очень.

– Бабочков нету вот у меня, – бабочков и мотыльков!

– Тебя как зовут?

– Ленька.

– Тетка мне.

– Ну? А ты – какой человек?

– Так себе. Никакой.

– Ну, уж врешь! Всякий человек – какой-нибудь, я ведь знаю. Ты добрый.

– Может быть.

– Уж я вижу! Ты – робкий, тоже.

– Почему – робкий?

– Уж я знаю!

Он улыбнулся хитрой улыбкой и даже подмигнул мне.

– А почему все-таки робкий?

– Вот – сидишь со мной, значит – боишься ночью-то идти!

– Да ведь уж – светает.

– Ну, и уйдешь.

– Я опять приду к тебе.

Он не поверил, прикрыл милые мохнатые глаза ресницами и, помолчав, спросил:

– Зачем?

– Посидеть с тобой. Ты очень интересный. Можно прийти?

– Валяй! К нам все ходят...

Вздыхнув, он сказал:

– Обманешь.

– Ей-богу – приду!

– Тогда – приходи. Ты уж – ко мне, а не к мамке, ну ее к ляду! Ты давай дружить со мной, – ладно?

– Ладно.

– Ну вот. Ничего, что ты большой; тебе-сколько годов?

– Двадцать первый.

– А мне – двенадцатый. У меня – нету товарищей, одна Катька водовозова, так ее водовозиха бьет за то, что она ко мне ходит... Ты – вор?

– Нет. Почему – вор?

– У тебя очень рожа страшная, худущая, с таким носом, как у воров. У нас два вора бывают, один – Сашка, дурак и злой, а другой – Ванечка, так этот добрый, как собака. А у тебя коробочки есть?

– Принесу.

– Принеси! Я мамке не скажу, что ты придешь...

– Почему?

– Так. Она всегда радуется, когда мужчины в другой раз приходят. Вот, любит мужчин, шкуреха, – просто беда! Она – смешная девчонка, мамка у меня. Пятнадцати лет

ухитрилась – родила меня и сама не знает – как! Ты когда придешь?

– Завтра вечером.

– Вечером она уж напьется. А ты чего делаешь, если не воруеть?

– Баварским квасом торгую.

– Ой ли? Принеси бутылку, а?

– Конечно – принесу! Ну, я пошел.

– Валяй. Придешь?

– Обязательно.

Он протянул мне обе длинные руки, я тоже обеими руками сжал и потряс эти тонкие холодные косточки и, уже не оглядываясь на него, вылез на двор, точно пьяный.

Светало; над сырой кучей полуразвалившихся построек трепетала, угасая, Венера. Из грязной ямы под стеною дома смотрели на меня квадратными глазами стекла подвального окна, мутные и грязные, как глаза пьяницы. В телеге у ворот спал, широко раскинув огромные босые ноги, краснорожий мужик, торчала в небо густая, жесткая борода – в ней светились белые зубы, – казалось, что мужик, закрыв глаза, ядовито, убийственно смеется. Подошла ко мне старая собака, с плешью на спине, видимо, ошпаренная кипятком, понюхала ногу мою и тихонько, голодно провыла, наполнив сердце мое ненужной жалостью к ней.

На улицах, в лужах, устоявшихся за ночь, отражалось утреннее небо голубое и розовое, – эти отражения придава-

ли грязным лужам обидную, лишнюю, развращающую душу красоту.

На другой день я попросил ребяташек моей улицы наловить жуков, бабочек, купил в аптеке красивых коробочек и отправился к Леньке, захватив с собою две бутылки квасу, пряников, конфект и сдобных булок.

Ленька принял мои дары с великим изумлением, широко открыв милые глаза, – при дневном свете они были еще чудесней.

– У-ю-юй, – заговорил он низким, не ребячьим голосом, – сколько ты всего притащил! Ты, что ли, богатый? Как же это, – богатый, а плохо одетый и, говоришь, – не вор? Вот так коробочки! Ую-юй, – даже жалко тронуть, руки у меня немытые. Там – кто? Юх, – жучишка-то! Как медный, даже зеленый, ох ты, чёрт... А – выбегут да улетят? Ну уж...

И вдруг весело крикнул:

– Мамк! Слезь, вымой руки мне, – ты погляди, курятина, чего он принес! Это – он самый, вчерашний, ночной-то, который приволок тебя, как будочник, это он всё! Его тоже Ленька зовут...

– Спасибо надо сказать ему, – услышал я сзади себя негромкий, странный голос.

Мальчик часто закивал головой:

– Спасибо, спасибо!

В подвале колебалось густое облако какой-то волосатой

пыли, сквозь него я с трудом разглядел на печи вострепанную голову, обезображенное лицо женщины, блеск ее зубов, – невольную, нестираемую улыбку.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте, – повторила женщина; ее гнусавый голос звучал негромко, но – бодро, почти весело. Смотрела она на меня прищурясь и как будто насмешливо.

Ленька, забыв про меня, жевал пряник, мычал, осторожно открывая коробки, – ресницы бросали тень на щеки его, увеличивая синеву под глазами. В грязные стекла окна смотрело солнце, тусклое, как лицо старика, на рыжеватые волосы мальчика падал мягкий свет, рубашка на груди Леньки растегнута, и я видел, как за тонкими косточками бьется сердце, приподнимая кожу и едва намеченный сосок.

Его мать слезла с печи, намочила под рукомойником полотенце и, подойдя к Леньке, взяла его левую руку.

– Убег, стой, – убег! – закричал он и весь, всем телом, завертелся в ящике, разбрасывая пахучее тряпье под собой, обнажая синие неподвижные ноги. Женщина засмеялась, шевыряясь в тряпках, и тоже кричала:

– Лови его!

А поймав жука, положила его на ладонь своей руки, осмотрела бойкими глазами василькового цвета и сказала мне тоном старой знакомой:

– Эдаких – много!

– Не задави, – строго предупредил ее сын. – Она, раз, пья-

ная села на зверильницу-то мою, так столько подавила!

– А ты забудь про то, утешеньице мое.

– Уж я хоронил-хоронил...

– Я же тебе сама и наловила их после.

– Наловила! Те были – ученые, которых задавила ты, ду-
рочка из переулочка! Я их, которые издохнут, в подпечке хо-
роню, выползу и хороню, там у меня кладбище... Знаешь,
был у меня паук, Минка, совсем как мамкин любовник один,
прежний, который в тюрьме, толстенький, веселый...

– Ах ты, утешеньишко мое милое, – сказала женщина,
поглаживая кудри сына темной маленькой рукою с тупыми
пальцами. Потом, толкнув меня локтем, спросила, улыбаясь
глазами:

– Хорош сынок? Глазки-то, а?

– Ты возьми один глаз, а ноги – отдай, – предложил Ленъ-
ка, ухмыляясь и разглядывая жука. – Какой... железный!
Толстый. Мам, он – на монаха похожий, на того, которому
ты лестницу вязала, – помнишь?

– Ну как же!

И, посмеиваясь, она стала рассказывать мне:

– Это, видишь, ввалился однава к нам монашище, боль-
шущий такой, да и спрашивает: «Можешь ты, паклюжница,
связать мне лестницу из веревок?» А я сроду не слыхала про
такие лестницы. «Нет, говорю, не смогу я!» – «Так я, гово-
рит, тебя научу». Распахнул рясу-то, а у него все брюхо ве-
ревкой нетолстой окручено, – длинная веревница да крепкая!

Научил. Вяжу я, вяжу, а сама думаю: «На что это ему? Не церкву ли ограбить собрался?»

Она засмеялась, обняв сына за плечи и все поглаживая его.

– Ой, затейники! Пришел он в срок, я и говорю: «Скажи, ежели это тебе для воровства, так я не согласна!» А он смеется хитровато таково: «Нет, говорит, это – через стену перелезть, у нас стена большая, высокая, а мы люди грешные, а грех-от за стеной живет, – поняла ли?» Ну, я поняла: это ему, чтобы по ночам к бабам лазить. Хохотали мы с ним, хохотали...

– Уж ты у меня хохотать любишь, – сказал мальчик тоном старшего. – А вот самовар бы поставила...

– Так сахару же нету у нас.

– Купи поди...

– Да и денег нету.

– Уй, ты, пропивашка! У него возьми вот...

Он обратился ко мне:

– У тебя есть деньги?

Я дал женщине денег, она живо вскочила на ноги, сняла с печи маленький самовар, измятый, чумазый и скрылась за дверью, напевая в нос.

– Мамка! – крикнул сын вслед ей. – Вымой окошко, ничего не видать мне! – Ловкая бабенка, я тебе скажу! – продолжал он, аккуратно расставляя по полочкам коробки с насекомыми, – полочки, из картона, были привешены на бечев-

ках ко гвоздям, вбитым между кирпичами в пазы сырой стены. – Работница... как начнет паклю щипать, – хоть задохнись, такую пылицу пустит! Я кричу: «Мамка, да вынеси ты меня на двор, задохнусь я тут!» А она: «Потерпи, говорит, а то мне без тебя скучно будет». Любит она меня, да и всё! Щиплет и поет, песен она знает тыщу!

Оживленный, красиво сверкая дивными глазами, приподняв густые брови, он запел хриплым альтовым голосом:

Вот Орина на перине лежит...

Послушав немножко, я сказал:

– Очень похабная песня.

– Они все такие, – уверенно объяснил Ленька и вдруг встрепенулся. – Чу, музыка пришла! Ну-ко, скорее, подними-ко меня...

Я поднял его легкие косточки, заключенные в мешок серой, тонкой кожи, он жадно сунул голову в открытое окно и замер, а его сухие ноги бессильно покачивались, шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шарманка, выбрасывая лохмотья какой-то мелодии, радостно кричал басовитый ребенок, подвывала собака, – Ленька слушал эту музыку и тихонько сквозь зубы ныл, прилаживаясь к ней.

Пыль в подвале осела, стало светлее. Над постелью его матери висели рублевые часы, по серой стене, прихрамывая, ползал маятник величиною с медный пятак. Посуда на шест-

ке стояла немытой, на всем лежал толстый слой пыли, особенно много было ее в углах на паутине, висевшей грязными тряпками. Ленькино жилище напоминало мусорную яму, и превосходные уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого аршина этой ямы.

Мрачно загудел самовар, шарманка, точно испугавшись его, вдруг замолчала, чей-то хриплый голос прорычал:

– Р-рвань!

– Сними, – сказал Ленька, вздыхая, – прогнали... Я посадил его в ящик, а он, морщась и потирая грудь руками, осторожно покашлял:

– Болит грудишка у меня, долго дышать настоящим воздухом нехорошо мне. Слушай, – ты чертей видал?

– Нет.

– И я тоже. Я, ночью, всё в подпечек гляжу – не покажутся ли? Не показываются. Ведь черти на кладбищах водятся, верно?

– А на что тебе их?

– Интересно. Вдруг один чёрт – добрый? Водовозова Катя видела чёртика в погребке, – испугалась. А я страшного не боюсь.

Закутав ноги тряпьем, он продолжал бойко:

– Я люблю даже – страшные сны люблю, вот. Раз видел дерево, так оно вверх корнями росло, – листья-то по земле, а корни в небо вытянулись. Так я даже вспотел весь и проснулся со страху. А то – мамку видел: лежит голая, а собака жи-

вот выедаёт её, выкусит кусочек и выплюнет, выкусит и выплюнет. А то – дом наш вдруг встряхнулся да и поехал по улице, едет и дверями хлопает и окнами, а за ним чиновница кошка бежит...

Он зябко повел остренькими плечиками, взял конфекту, развернул цветную бумажку и, аккуратно расправив её, положил на подоконник.

– Я из этих бумажек наделаю разного, чего-нибудь хорошего. А то Катьке подарю. Она тоже любит хорошее: стеклышки, черепочки, бумажки и всё. А – слушай-ка: если таракана всё кормить да кормить, так он вырастет с лошадь?

Было ясно, что он верит в это; я ответил:

– Если хорошо кормить – вырастет!

– Ну да! – радостно вскричал он. – А мамка, дурочка, смеётся!

И он прибавил зазорное слово, оскорбительное для женщины.

– Глупая она! Кошку так уж совсем скоро можно раскормить до лошади верно?

– А что ж? Можно!

– Эх, корму нет у меня! Вот бы ловко!

Он даже затрясся весь от напряжения, крепко прижав рукой грудь.

– Мухи бы летали по собаке величиной! А на тараканах можно бы кирпич возить, – если он – с лошадь, так он сильный! Верно?

– Только вот усы у них...

– Усы не помешают, они – как вожжи будут, усы! Или – паук ползет огромный, как – кто? Паук – не боле котенка, а то – страшно! Нет у меня ног, а то бы! Я бы работал бы и всю свою зверильницу раскормил. Торговал бы, после купил бы мамке дом в чистом поле. Ты в чистом поле бывал?

– Бывал, как же!

– Расскажи, какое оно, а?

Я начал рассказывать ему о полях, лугах, он слушал внимательно, не перебивая, ресницы его опускались на глаза, а ротик открывался медленно, как будто мальчик засыпал. Видя это, я стал говорить тише, но явилась мать с кипящим самоваром в руках, под мышкой у нее торчал бумажный мешок, из-за пазухи – бутылка водки.

– Вот она – я!

– Ло-овко, – вздохнул мальчик, широко раскрыв глаза. – Ничего нет, только трава да цветы. Мамка, ты бы вот нашла тележку да свезла меня в чистое поле! А то – издохну и не увижу никогда. Шкура ты, мамка, право! – обиженно и грустно закончил он.

Мать ласково посоветовала ему:

– А ты – не ругайся, не надо! Ты еще маленький...

– «Не ругайся»! Тебе – хорошо, ходишь куда хошь, как собака всё равно. Ты – счастливая... Слушай-ка, – обратился он ко мне, – это бог сделал поле?

– Наверное.

– А зачем?

– Чтобы гулять людям.

– Чистое поле! – сказал мальчик, задумчиво улыбаясь, вздыхая. – Я бы взял туда зверильницу и всех выпустил их, – гуляй, домашние! А – слушай-ка! – бога делают где – в богадельне?

Его мать взвизгнула и буквально покатилась со смеха, – опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая:

– О, – чтоб те... о, господи! Утешеньишко ты мое! Да, чай, бога-то богомазы... ой, смехота моя, чудашка...

Ленька с улыбкой поглядел на нее и ласково, но грязно выругался.

– Корячится, точно маленькая! Любит же хохотать.

И снова повторил ругательство.

– Пускай смеется, – сказал я, – это тебе не обидно!

– Нет, не обидно, – согласился Ленька. – Я на нее сержусь, только когда она окошко не моет; прошу, прошу: «Выймой же окошко, я света божьего не вижу», а она всё забывает...

Женщина, посмеиваясь, мыла чайную посуду, подмигивала мне голубым светлым глазом и говорила:

– Хорошо утешеньице у меня? Кабы не он – утопилась бы давно, ей-богу! Удавилась бы...

Она говорила это улыбаясь.

А Ленька вдруг спросил меня:

– Ты – дурак?

– Не знаю. А что?

– Мамка говорит – дурак!

– Так ведь я – почему? – воскликнула женщина нимало не смущаясь. Привел с улицы пьяную бабу, уложил ее спать, а – сам ушел, нате-ко! Я ведь не во зло сказала. А ты уж сейчас ябедничать, у – какой...

Она говорила тоже, как ребенок, строй ее речи напоминал девочку-подростка. Да и глаза у нее были детски чистые, – тем безобразнее казалось безносое лицо, с приподнятой губой и обнаженными зубами. Какая-то ходячая, кошмарная насмешка, и – веселая насмешка.

– Ну, давайте чай пить, – предложила она торжественно.

Самовар стоял на ящике рядом с Ленькой, озорниковатая струйка пара, выбиваясь из-под измятой крышки, касалась его плеча. Он подставлял под нее ручонку и, когда ладонь увлажнялась паром, – мечтательно шурясь, вытирал ее о волосы.

– Вырасту большой, – говорил он, – сделает мамка тележку мне, буду по улицам ползать, милостинку просить. Попрошу и выползу в чистое поле.

– Охо-хо, – вздохнула мать и тотчас тихонько засмеялась. – Раем видит поле-то, милый! А там – лагеря, да охальники солдаты, да пьяные мужики.

– Врешь, – остановил ее Ленька, нахмурясь. – Спроси-ка его, какое оно, он видел.

– А я – не видала?

– Пьяная-то!

Они начали спорить, совсем как дети, так же горячо и нелогично, а на двор уже пришел теплый вечер, в покрасневшем небе неподвижно стояло густое сизое облако. В подвале становилось темно.

Мальчик выпил кружку чая, вспотел, взглянул на меня, на мать и сказал:

– Наелся, напился, – даже спать захотелось, ей-богу...

– И усни, – посоветовала мать.

– А он – уйдет! Ты уйдешь?

– Не бойсь, я его не пушу, – сказала женщина, толкнув меня коленом.

– Не уходи, – попросил Ленька, прикрыл глаза и, сладко потянувшись, свалился в ящик. Потом вдруг приподнял голову и с упреком сказал матери:

– Ты бы вот выходила за него замуж, венчалась бы, как другие бабы, – а то валандаешься зря со всяким... только бьют... А он – добрый...

– Спи, знай, – тихо сказала женщина, наклонясь над блюдцем чая.

– Он – богатый...

С минуту женщина сидела молча, схлебывая чай с блюдечка неловкими губами, потом сказала мне, как старому знакомому:

– Так вот мы и живем тихонько, я да он, а боле никого. Ругают меня на дворе – распутная! А – что ж? Мне стыдиться некого. К этому же – видите, как я снаружи испорчена?

Всякому сразу видно, для чего я гожусь. Да. Уснул сынок, утешеньишко мое. Хорошее дитя у меня?

– Да. Очень!

– Не налюбуюсь. Умница ведь?

– Мудрец.

– То-то! Отец у него – барин был, старичок; этот – как их зовут? Конторы у них, – ах ты! Бумаги пишут?

– Нотариус?

– Вот, он самый! Милый был старичок... Ласковый. Любил меня, я горничной у него жила.

Она прикрыла тряпьем голые ножки сына, поправила под его головой темное изголовье и снова заговорила, легко так:

– Вдруг – помер. Ночью было, я только ушла от него, а он ка-ак грохнется на пол, – только и житья! Вы – квасом торгуете?

– Квасом.

– От себя?

– От хозяина.

Она подвинулась поближе ко мне, говоря:

– Вы мною, молодой человек, не брезгуйте, теперь уж я не заразная, спросите кого хотите в улице, все знают!

– Я не брезгую.

Положив на колено мне маленькую руку со стертой кожей на пальцах и обломанными ногтями, она продолжала ласково:

– Очень я благодарна вам за Ленку, праздник ему сего-

дня. Хорошо это сделали вы...

– Надобно мне идти, – сказал я.

– Куда? – удивленно спросила она.

– Дело есть.

– Оставайтесь!

– Не могу...

Она посмотрела на сына, потом в окно, на небо и сказала негромко:

– А то – оставайтесь. Я рожу-то платком прикрою... Хочется мне за сына поблагодарить вас... Я – закроюсь, а?

Она говорила неотразимо по-человечьи, – так ласково, с таким хорошим чувством. И глаза ее – детские глаза на безобразном лице – улыбались улыбкой не нищей, а человека богатого, которому есть чем поблагодарить.

– Мамка, – вдруг крикнул мальчик, вздрогнув и приподнявшись, – ползут! Мамка же... иди-и...

– Приснилось, – сказала мне она, наклонясь над сыном.

Я вышел на двор и в раздумье остановился, – из открытого окна подвала гнусаво и весело лилась на двор песня, мать баюкала сына, четко выговаривая странные слова:

Придут Страсти-Мордасти,

Приведут с собой Напасти;

Приведут они Напасти,

Изорвут сердце на части!

Ой беда, ой беда!

Куда спрячемся, куда?

Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь.

Челкаш

Потемневшее от пыли голубое южное небо – мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, паровых винтов, острыми килями турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревушие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат – все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью, – к ним вздымаются с земли все новые и новые волны звуков – то глухие, рокочущие, они сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие, – рвут пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди – все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И

сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудями товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, – машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов, – в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум – подавлял, пыль, раздражая ноздри, – слепила глаза, зной – пек тело и изнурял его, и все кругом казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на

земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это – наступило время обеда.

I

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговки разную снедь и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в тенистых уголках, – появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубашке с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклокоченным черным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с

степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лет той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошел рядом с Челкашом, вполголоса говоря:

– Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут.

– Ну? – спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами.

– Чего – ну? Ищут, мол. Больше ничего.

– Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать? И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где возвышался пакгауз Добровольного флота.

– Пошел к черту! Товарищ повернул назад.

– Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то... Мишку не видал здесь?

– Давно не видал! – крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он, всегда веселый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный

сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот.

– Стой! Куда идешь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, тарщило глаза и было очень смешно.

– Сказано тебе – в гавань не смей ходить, ребра изломаю! А ты опять? – грозно кричал сторож.

– Здравствуй, Семеныч! мы с тобой давно не видались, – спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

– Хоть бы век тебя не видать! Иди, иди!..

Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку.

– Вот что скажи, – продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семеныча и приятельски-фамильярно потряхивая ее, – ты Мишку не видал?

– Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошел, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те...

– Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме», – стоял на своем Челкаш.

– С которым воруешь вместе, вот как скажи! В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдавило чугунной штыкой.

Пооди, брат, пока честью просят, пооди, а то в шею провожу!..

– Ага, ишь ты! а ты говоришь – не знаю Мишки... Знаешь вот. Ты чего же такой сердитый, Семеныч?..

– Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!.. Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно по-сматривал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

– Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой в досталь и уйду. Ну, сказывай, как живешь?.. жена, детки – здоровы? – И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: – В гости к тебе собираюсь, да все времени нет – пью все вот...

– Ну, ну – ты это брось! Ты – не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

– Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-бо-гу, хватит, Семеныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семеныч, осторожней! не попадись как-нибудь!..

Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская на-

право и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

– Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! – крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и вальявшихся на земле, отдыхая.

– Я – босый, так вот Семеныч следит, как бы мне ногу не напороть, – ответил Челкаш.

Подошли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль...

В этой бешеной суতোлке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки... Вспомнился товарищ, Мишка, – он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядинной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборван-

ном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русский, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно.

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами.

Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» – и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

– Что, брат, погулял, видно, здорово!.. – обратился он к Челкашу, дернув его штанину.

– Было дело, сосунок, было этакое дело! – улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. – С косовицы, что ли?

– Как же!.. Косили версту – выкосили грош. Плохи дела-то! Нар-роду – уйма! Голодающий этот самый приплелся, – цену сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..

– Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского человека там трёшну платили. Я вот годов десять тому назад

этим самым и промышлял. Придешь в станицу – русский, мол, я! Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и – получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.

– Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю... Нет, ей-богу, раньше там...

– Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше...

– Поди ты!.. – махнул рукой парень. – Сапожник, что ли? Али портной?.. Ты-то?

– Я-то? – переспросил Челкаш и, подумав, сказал: – Рыбак я...

– Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..

– Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда – все! Удочки такие есть для этого...

– Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидывали сети
По сухим берегам
Да по амбарам, по клетям!..

– А ты видал таких? – спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

– Нет, видать где же! Слышал...

– Нравятся?

– Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные...

– А что тебе – свобода?.. Ты разве любишь свободу?

– Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошел – куда хошь, делай – что хошь... Еще бы! Коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, – первое дело! Гуляй знай, как хошь, бога только помни...

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

– Сейчас вот мое дело... – говорил тот. – Отец у меня – умер, хозяйство – малое, мать-старуха, земля высосана, – что я должен делать? Жить – надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятя в хороший дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь – тесь-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него... долго... Года! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора заработать, сейчас бы я на ноги встал и – Антипу-то – накося, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе... Н-да! – Парень вздохнул. – А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятя идти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублей два ста тяпну, – шабаш! барин!.. Ан не выгорело. Ну и пойдешь в батраки... Своим хозяйством не исправлюсь я, ни в каком разе! Эхе-хе!..

Парню сильно не хотелось идти в зятя. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле.

Челкаш спросил:

– Теперь куда ж ты?

– Да ведь – куда? известно, домой.

– Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался.

– В Ту-урцию!.. – протянул парень. – Кто ж это туда ходит из православных? Сказал тоже!..

– Экой ты дурак! – вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил...

Смутно, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.

Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босяка косые взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голый грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

– Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? – начал было

он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

– Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

– Чего работать? – недоверчиво спросил парень.

– Ну, чего!.. Чего заставлю... Рыбу ловить поедем. Грести будешь...

– Так... Что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист... темень ты...

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:

– А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет...

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твердый жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.

– Ну? – сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятя зажиточный мужик, – за всю его

жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок по сравнению с ним, Челкашем, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина.

– Ведь я... не прочь... – заговорил он. – Работы ведь и ищу. Мне все равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, – больно уж тово... драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да еще и не таких, как ты.

– Ну, ладно, ладно! Согласен? – уже мягче переспросил Челкаш.

– Я-то? Аида!.. с моим удовольствием! Говори цену.

– Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

– Это мне не рука, брат!

Челкаш вошел в роль:

– Не толкуй, погоди! Идем в трактир!

И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш – с важной миной хозяина, покручивая усы, парень – с выраже-

нием полной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и боязни.

– А как тебя звать? – спросил Челкаш.

– Гаврилом! – ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегдатая заказал бутылку водки, шей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику:

«В долг все!» – на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважения к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

– Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале; в нем было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.

Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные...

Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин ворочился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю... Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру...

Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который – славный человек! – так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего.

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

– Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!.. как работать-то будешь?..

– Друг!.. – лепетал Гаврила. – Не бойсь! я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя!.. а?..

– Ну, ну!.. На, еще клюкни!

Гаврила пил и дошел наконец до того, что у него в глазах

все стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.

– Ну-ка, идем! – сказал Челкаш, вставая. Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.

– Развезло! – молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьет такой чаши, какую судьба дала испить ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчился за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно – нечто отеческое и хозяйственное. Малого было

жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного пово- зился, помычал и заснул.

II

– Ну, готов? – вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами.

– Сейчас! Уключина вот шатается, – можно разок вдарить веслом?

– Ни-ни! Никакого шуму! Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место.

Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь от борта судов о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство от берега с моря подымались темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

– Едем! – сказал Гаврила, спуская весла в воду.

– Есть! – Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в

полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием, – длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.

– Ну, что голова? болит? – ласково спросил Челкаш.

– Страсть!.. как чугун гудит... Намочу ее водой сейчас.

– Зачем? Ты на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очуаешься, – и он протянул Гавриле бутылку.

– Ой ли? Господи благослови!..

Послышалось тихое бульканье.

– Эй ты! рад?.. Будет! – остановил его Челкаш. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертась среди судов... Вдруг она вырвалась из их толпы, и море – бесконечное, могучее – развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков – лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды, и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно вползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блеснуть над сонным морем миллионами своих золотых очей – разноцветных звезд, жи-

вых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

– Хорошо море? – спросил Челкаш.

– Ничего! Только боязно в нем, – ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел и все блестела теплым голубым светом фосфора.

– Боязно! Экая дура!.. – насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство, – охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют – первые – остроту, вторая – цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты...

– А снасть-то где? – вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку. Челкаш вздрогнул.

– Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле:

– Ты вот что – сидишь, ну и сиди! А не в свое дело носа не суй. Наняли тебя грести, и греби. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завозился на скамье.

– Греби!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду.

– Ровней!..

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками.

– Кто кричит? – раздался с моря суровый окрик.

– Ну, дьявол, греби же!.. тише!.. убью, собаку!.. Ну же, греби!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!.. – шипел Челкаш.

– Богородице... дево... – шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

– Эй! кто орет? – донеслось снова.

Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

– Сам ты и орешь! – сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву:

– Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами – конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу – к рыбам!..

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился:

– Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в таких делах... Первый раз... Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошел меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...

– Какие дела? – сурово спросил Челкаш. – А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы, и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

– Темные дела, брат... Пусти для бога!.. Что я тебе?.. а?.. Милый...

– Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? – ну и молчи!

– Господи! – вздохнул Гаврила.

– Ну-ну!.. куксись у меня! – оборвал его Челкаш. Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды между бортами.

– Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чем – молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

– Эхма!.. – безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: – Судьбина моя пропащая!..

– Не ной! – внушительно шепнул Челкаш. Гаврила от этого шепота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапти.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

– Стой! – шепнул Челкаш. – Бросай весла! Упирайся руками в стену! Тише, черт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бор-

том по наросшей на камне слизи.

– Стой!.. Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь – на дне моря найду!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом, худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, – какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашем; он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки...

А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется?.. Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу... И тишина, от времени, становилась все зловещей... Но вот за стеной мола слышался плеск, шорох и что-то похожее на шепот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет...

– Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!.. – раздался глухой голос Челкаша.

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принял это в лодку. Спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

– Устал? – спросил он.

– Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю си-

лу!.. Хорошо ты, брат, заработал! Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там – получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитяtko?

– Н-нету! – Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захоте-

лось ободрить его.

– Эй! – усмехаясь, тихо заговорил он. – Что, здорово ты перепугался? а?

– Н-ничего!.. – выдохнул Гаврила и крикнул.

– Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место пройти... Отдохни-ка...

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду.

– Ну, гребь тише, чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише... А то, брат, тут народы серьезные... Как раз из ружья пошалить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь.

Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море – тучи расплылись по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

– Эх, кабы дождь пошел! – прошептал Челкаш. – Так бы мы и проехали, как за занавеской.

Слева и справа от лодки из черной воды поднялись ка-

кие-то здания – баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, глядя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то.

– Кордоны!.. – чуть слышно шепнул Челкаш.

С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему казалось, что он растет, – кости и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломило от напряженного рассматриванья тьмы, из которой – он ждал – вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: «Стой, воры!..»

Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по туго натянутым нервам, – он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе... Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл рот, – но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.

...Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой, голубой полосой. Он лег, и в

полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем, – поднялись, чтобы посмотреть на небо и на все, что поверх воды... Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

– Дурак, это крейсер таможенный... Это фонарь электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, черт, и себя и меня! Ну!..

И, наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ошупью схватив весла, двинул лодку.

– Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, черт тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Харя!.. Фонарь – только и всего. Тише веслами!.. Кислый черт!.. За контрабандой это сле-

дят. Нас не заденут – далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы... – Челкаш торжествующе оглянулся кругом. – Кончено, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив ты, дубина стоеросовая!..

Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина, и все сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нем – он был пуст и бездушен. Волнения этой ночи выглодали наконец из него все человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную думу.

– Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь тебя как – точно из

кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конец уж всему. Эй!..

Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

– Я слышу, – тихо сказал он.

– То-то! Мякиш... Ну-ка, садись на руль, а я – на весла, устал, поди!

Гаврила машинально переменял место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

– Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?

– Мне – ничего не надо. Только на берег бы... Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, – и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.

– Ну, скажи мне, – заговорил Челкаш, – придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Много в этом смаку?

– Какой уж смак! – робко и вздрагивая ответил Гаврила.

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

– Правее держи! – сказал Челкаш. – Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работка важная! Вот видишь как?.. Ночь одна – и полтысячи я тяпнул!

– Полтысячи?! – недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: – А это что же будет за вещь?

– Это – дорогая вещь. Все-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко?

– Н-да-а?.. – вопросительно протянул Гаврила. – Кабы мне так-то вот! – вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, черемухи... – Эх, важно бы!.. – грустно вздохнул он.

– Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгрозил – ну, для дома денег, положим, маловато...

– Это верно... для дому нехватка. У нас дорог лес-то.

– Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?

– Лошадь? Она и есть, да больно стара, черт.

– Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову... Овец... Птицы разной... А?

– Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пожил бы!

– Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе... Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо... Отец-то был из первых богатеев в селе...

Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, – он постепенно увлекся и вместо того, чтобы спрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

– Главное в крестьянской жизни – это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом – грош ему цена – да он твой. У тебя земля своя – и того ее горсть – да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь от всякого требовать уважения к тебе... Так ли? – воодушевленно закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем

имеет дело, и видел пред собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание.

– Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие – самолюбие бесшабашного удалыца – бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

– Замолот!.. – сказал он свирепо, – ты, может, думал, что я все это всерьез... Держи карман шире!

– Да чудак человек!.. – снова оробел Гаврила. – Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты, – много! Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающих...

– Садись, тюлень, в весла! – кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменялись местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и

плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашем быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца – рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем... Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда...

Челкаш чувствовал себя овеванным примиряющей, ласковой струёй родного воздуха, донесшего с собой до его уха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими... Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та

кровь, что течет в его жилах.

– Эй! а куда же мы едем? – спросил вдруг Гаврила. Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

– Ишь черт занес!.. Гребни-ка погуще...

– Задумался? – улыбаясь, спросил Гаврила.

– Устал...

– Так теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? – Гаврила ткнул ногой в тюки.

– Нет... Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу... Н-да!

– Пять сотен?

– Не меньше.

– Это, тово, – сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..

– По крестьянству?

– Никак больше! Сейчас бы...

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стушеванное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высывавшемуся из воды.

Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн.

– Стой! Тише! – скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

– Спят, что ли, черти?.. – ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. – Трап давай!.. Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..

– Селкаш это? – раздалось сверху ласковое мурлыканье.

– Ну, спускай трап!

– Калимера, Селкаш!

– Спускай трап, копченный дьявол! – взревел Челкаш.

– О, сердытый пришел сегодня... Элоу!

– Лезь, Гаврила! – обратился Челкаш к товарищу. В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

– Припаси к утру деньги, – коротко сказал ему Челкаш. – А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть хочешь?

– Спать бы... – ответил Гаврила и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта... Все было грустно и

звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся... Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

III

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок, и очень шел к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

– Эй, теленок, вставай!.. – толкнул он ногой Гаврилу. Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

– Ишь ты какой!.. – широко улыбнулся наконец Гаврила. – Баринот стал!

– У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

– Да ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

– Ну, а еще раз поехал бы? а?

– Еще?.. Да ведь это – как тебе сказать? Из-за какой корысти?.. вот что!

– Ну ежели бы две радужных?

– Два ста рублей, значит? Ничего... Это можно...

– Стой! А как душу-то загубишь?..

– Да ведь, может... и не загубишь! – улыбнулся Гаврила. – Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься. Челкаш весело хохотал.

– Ну, ладно! будет шутки шутить. Едем на берег... И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые, соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево – целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой гул, рокочущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга...

– Эх, разыграется к вечеру-то добре! – кивнул Челкаш головой на море.

– Буря? – спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

– Эге!.. – подтвердил Челкаш. Гаврила пытливо посмотрел на него...

– Ну, сколько ж тебе дали? – спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора.

– Вот! – сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое из кармана.

Гаврила увидал пестрые бумажки, и все в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

– Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это – сколько?

– Пятьсот сорок!

– Л-ловко!.. – прошептал Гаврила, жадными глазами прожоя пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. – Э-эхма!.. Кабы этикие деньги!.. – И он угнетенно вздохнул.

– Гульнем мы с тобой, парнюга! – с восхищением вскрикнул Челкаш. – Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделю... Сорок отделю! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

– Коли не обидно тебе – что же? Я приму! Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.

– Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурился, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и

греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

– А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин... – задумчиво сказал Челкаш.

– Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. – воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лету хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

– Приехали! – прервал он речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

– Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой – прощай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься? а?

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

– Нет... я... не пойду... я... – Гаврила задыхался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

– Что это тебя корчит? – спросил он.

– Так... – Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

– Ну тя к черту! – махнул рукой Челкаш. – Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка!.. Али расставанье со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

– Уходишь?! – звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шепотом Гаврилы:

– Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе?.. Ведь в одну ночь – только в ночь... А мне – года нужны... Дай – молиться за тебя буду! Вечно – в трех церквах – о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а

я бы – в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна – и богат! Сделай доброе дело! Пропащий ведь ты... Нет тебе пути... А я бы – ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

– На! Жри... – крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

– Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь – нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаете!..

– Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь... богач!.. – визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. – Эх ты, милый!.. Во век не забуду!.. Никогда!.. И жене и детям закажу – молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он – вор, гуляка, оторванный от всего родного – никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его

сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

– Осчастливил ты меня! – кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила все изливался:

– Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его – тебя – веслом... рраз!.. денежки – себе, его – в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться – как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?

– Дай сюда деньги!.. – рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло...

Гаврила рванулся раз, два, – другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи – и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлоблен.

– Что, счастлив ты? – сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воз-

духе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

– Рраз!..

Челкаш крикнул, схватился руками за голову, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с него и снова взбегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды – сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в теплую красную слизь... Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

– Брат, встань-кось! – шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

– Поди прочь!..

– Брат! Прости!.. дьявол это меня... – дрожа, шептал Гав-

рила, целуя руку Челкаша.

– Иди... Ступай... – хрипел тот.

– Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

– Про... уйди ты!.. уйди к дьяволу! – вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. – Чего тебе еще? Сделал свое дело... иди! Пошел! – И он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

– Тьфу! – плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

– Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

– Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. – презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. – Деньги взял? – сквозь зубы процедил он.

– Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!.. Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

– Возьми и ступай!

– Не возьму, брат... Не могу! Прости!

– Бери, говорю!.. – взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

– Прости!.. Тогда возьму... – робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.

– Врешь, возьмешь, гнус! – уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

– Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

– Брат! а простишь меня? Не хошь? а? – слезливо спросил он.

– Родимой!.. – в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь. – За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

– Эх, брат, брат!.. – скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно.

Два человека помолчали.

– Ну прощай! – насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в

путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

– Прости, брат!.. – еще раз попросил Гаврила.

– Ничего! – холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, все гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стального цвета мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие, тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сек воду и землю... ветер ревел... Все кругом наполнялось воем, ревом, гулом... За дождем не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке... И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.